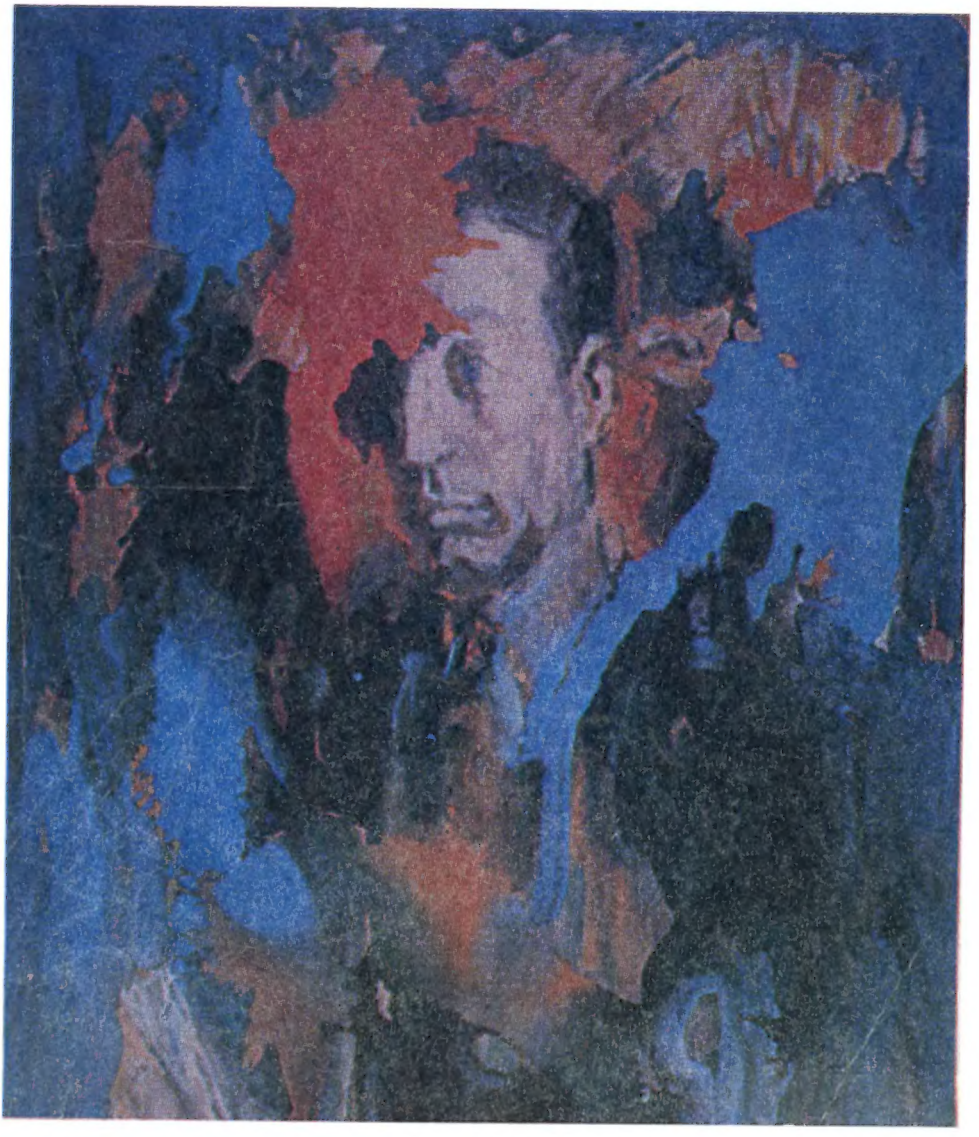
ISSN 0130 – 6545

9 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Семейный портрет (1983)

Цветные иллюстрации номера — работы болгарского художника
ДЕЧКО УЗУНОВА (1899—1986)

На 1-й странице обложки — **«Гео Милев» (1983)**

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

сентябрь **9** 1986

Содержание

КУРТ ВОННЕГУТ — Малый Не Промах *(Роман. Перевод с английского Р. Я. Райт-Ковалевой и М. Н. Ковалевой. Послесловие Г. Злобина)* 3

РАДОВАН ЗОГОВИЧ — Стихи из последней книги *(Переводы с сербскохорватского М. Павловой, А. Наль, А. Кушнера, А. Наймана. Предисловие Павла Топера)* 100

ВАН МЭН — Рассказы *(Перевод с китайского С. Торопцева)* 107

ВЕСЛАВ МЫСЛИВСКИЙ — Камень на камень. *(Роман. Окончание. Перевод с польского К. Старосельской)* 135

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — На самом дне *(Главы из книги. Окончание. Перевод с немецкого Э. Венгеровой)* 190

Культура и современность

Ксения Мяло — Глазами «последних свидетелей» 216

Критика

Н. АНАСТАСЬЕВ — Литература после Освенцима 221

НИКОЛА ПЕТЕВ — «...И все долги и праздники...» *(Заметки о молодой болгарской поэзии. Перевод с болгарского Марины Колевой)* 230

Наши публикации

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА — Как поет город от ноября до ноября *(Перевод с испанского, вступление и комментарии А. Гелескула)* 234

Среди книг

Издано в СССР

Е. Злобина — Поднявшиеся в небо *(Жозе Сарамаго. Воспоминания о монастыре)* ✦ Александр Сенкевич — Панорама древнейшей литературы *(И. Д. Серебряков. Литературы народов Индии)* ✦ О. Федосюк — Канада стала ближе *(Рассказы канадских писателей. Канадская новелла)* 241

Издано за рубежом

Олег Малевич — Фауст в эпоху НТР *(Иржи Кршенек. Томаш и Маркета)* ✦ О. Тимашева — В лабиринтах «женской души» *(Франсуаза Саган. Уставший от войны)* ✦ М. Гордышевская — Сорок лет назад *(Джеймс Боллард. Империя солнца)* 246

Из месяца в месяц 251

© «Иностранная литература», 1986

КУРТ ВОННЕГУТ

Малый Не Промах

РОМАН

Перевод с английского
Р. Я. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ и М. Н. КОВАЛЕВОЙ

Тебе, Джил

Предисловие

Малый Не Промах — прозвище, родившееся еще в те времена, когда умение метко стрелять, бить без промаха, прямо в яблочко — вообще виртуозное владение огнестрельным оружием — считалось у нас, на Среднем Западе, одним из главных достоинств настоящего мужчины. Со временем это прозвище приобрело несколько иной смысл — им награждали человека ловкого, пробивного, везучего, «любимца Фортуны»: такой своего не упустит, ему пальца в рот не клади.

Так что прозвище это двусмысленное, вроде двоякодышащей рыбы, которая родилась в океане, а потом приспособилась и к жизни на суше.

■

Я вставил в эту книжку несколько кулинарных рецептов, в качестве музыкальных пауз, чтобы у читателя слюнки потекли. Взял я эти рецепты из кулинарных книг: «Американская кухня» Джеймса Бирда, «Сборник классических рецептов итальянской кулинарии» Марчеллы Кэзан и «Американская кулинария» Би Сандлер. Честно говоря, я немного переделал эти рецепты, так что пользоваться этим романом вместо поваренной книги я никому не советую.

Тем более что у каждого серьезного любителя или любительницы поварского искусства должна быть собственная библиотечка поваренных книг.

■

В этой книге описан настоящий отель — это гранд-отель «Олофсон» в Порт-о-Пренсе в Гаити. Я очень люблю этот отель и уверен, что он всем понравится. Мы с моей любимой женой Джил Кременц жили там в так называемом «коттедже Джеймса Джонса». В этом коттедже была операционная, когда там стоял штаб бригады морской пехоты США — бригада оккупировала Гаити, чтобы охранять американские финансовые интересы, с 1915 по 1934 год.

Фасад простого деревянного флигеля, как и весь отель, потом разукрасили всякой резьбой, и он стал похож на пряничный домик.

Кстати, покупательная способность гаитянского доллара равна покупательной способности американского доллара, и американские доллары там везде в ходу. Только там, кажется, не принято изымать из обращения потрепанные в употреблении доллары и заменять их новыми купюрами. Там просто принимают любую долларо-

© 1982 by The Ramjac Corporation. Published by Delacorte Press/Seymour Lawrence

КУРТ ВОННЕГУТ — KURT VONNEGUT (род. в 1922 г.)

Американский писатель. Автор многих романов, рассказов, пьес. Советским читателям известен по переведенным на русский язык романам «Утопия 14», «Бойня номер пять», «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпионов» («ИЛ», 1975, № 1—2), «Да благословит вас бог, мистер Розуотер», рассказам. Роман «Малый Не Промах» вышел в Нью-Йорке в 1982 г. («Deadeye Dick». New York, Delacorte Press/Seymour Lawrence).

вую купюру, если она даже истерта до толщины папиросной бумажки и от нее остался клочочек не больше почтовой марки.

Года два назад, после возвращения из Гаити домой, я нашел у себя в бумажнике такой доллар и отослал его по почте владельцам отеля «Олофсон», Элу и Сью Зейц, с просьбой выпустить его на волю там, где он родился. В Нью-Йорке он не прожил бы и дня.

■

Джеймс Джонс (1921—1977), американский писатель, действительно жил в коттедже, который теперь называется «Коттедж Джонса». Он со своей женой Глорией провел там первые месяцы после свадьбы. Теперь для приезжих писателей большая честь жить именно в этих стенах.

Говорят, что в этом домике завелось привидение, но это не «дух» Джеймса Джонса, а чей-то другой. Мы его ни разу не видели. Но те, кто будто бы его видел, говорят, что это юноша белой расы, на нем белый халат и как будто он напоминает служителя больницы. В коттедже две двери: сзади — выход в здание отеля, спереди — на большое застекленное крыльцо.

Говорят, что привидение всегда проходит одним и тем же путем: появляется с черного хода, что-то ищет в шкафу, которого сейчас уже нет, а потом выходит через крыльцо. Но ни в самом отеле, ни на крыльце его никто никогда не встречал.

Видно, он что-то натворил или подсмотрел, когда тут, в коттедже, была операционная, и его мучает совесть.

■

В этой книге рассказано о четырех художниках — один из них жив: это мой друг Клифф Маккарти. Он живет в городе Афины, в штате Огайо. Трое других давно скончались. Это Джон Реттиг, Фрэнк Дювенек и Адольф Гитлер.

Клифф Маккарти — мой ровесник, и родился он примерно в том же районе США, что и я. Когда он поступил в художественную школу, ему постоянно вбивали в голову, что самый большой порок для художника — стать эклектиком, заимствующим стиль то у одного художника, то у другого. А недавно в университете штата Огайо у него была выставка «Тридцать лет работы», и он говорит: «Теперь я заметил, что был эклектиком». Но работы у него прекрасные и очень сильные. Моя любимая картина — «Портрет матери художника перед свадьбой в 1917 году». На ней изображена девушка в нарядном платье, и кто-то уговорил ее позировать в лодке, на корме. Лодка стоит в тихом узком затоне; речка совсем неширокая, ярдах в пятидесяти виден лесистый берег. И девушка смеется.

Джон Реттиг — реальное лицо. Одна из его картин находится в Музее изобразительных искусств города Цинциннати, называется «Распятие в Риме», и я ее точно описал.

И Фрэнк Дювенек — реальное лицо, у меня даже есть его работа «Голова мальчика». Это сокровище я получил в наследство от отца. Я почему-то всегда думал, что это портрет моего брата Бернарда — до того мальчик на него похож.

И Адольф Гитлер действительно учился живописи в Вене до первой мировой войны, и вполне возможно, что его лучшая работа называлась «Миноритская церковь в Вене».

■

Я вам объясню основную символику этой книги.

В ней говорится о забытом и заброшенном выставочном помещении в форме шара. Это моя голова теперь, когда мне скоро стукнет шестьдесят.

В книге описан взрыв нейтронной бомбы в густонаселенном районе. Вот так же в Индианаполисе уже нет многих людей, которых я любил, когда только начинал писать. Индианаполис стоит на месте, а тех людей уже нет на свете.

Гаити — это Нью-Йорк, где я сейчас живу.

Бесполый фармацевт, от лица которого ведется рассказ,— моя угасающая потенция. Преступление, которое он совершил в детстве,— символ всех моих прегрешений.

■

Это не история, а беллетристика, так что не вздумайте пользоваться этой книгой вместо справочника. К примеру, я говорю, что послом США в Австро-Венгрии, когда

началась первая мировая война, был Генри Клоус из Огайо. А на самом деле послом в то время был Фредерик Кортленд Пенфилд из Коннектикута.

И еще я пишу, что нейтронная бомба — что-то вроде волшебной палочки: людей она убивает мгновенно, а их имущество остается в целости и сохранности. Эту выдумку я позаимствовал у сторонников третьей мировой войны. Настоящая нейтронная бомба, взорвавшись в населенных местах, причинит куда больше страданий и разрушений, чем я описал.

Я неправильно написал и про креольское наречие, потому что главный герой книги, Руди Вальц, только начал изучать этот диалект французского языка. Я утверждаю, что в этом языке существует только настоящее время. Но это может показаться только начинающему изучать язык, особенно если креолы, разговаривая с иностранцем, понимают, что ему легче всего выучить для начала только настоящее время.

Мир.

К. В.

Кто эта Селия? Чем хороша,
Что все ее так превозносят?

Отто Вальц (1892—1960)

1

Всем, пока еще не рожденным, всем невинным, ничего не ведающим комочкам аморфного небытия: берегитесь жизни!

Я не уберегся от жизни. Я захворал жизнью в тяжелой форме. Я был легким комочком аморфного небытия, как вдруг открылся маленький смотровой глазок. В него хлынул свет, прорвался звук. Наперебой зазвучали голоса, рассказывая мне о том, кто я такой и что творится вокруг меня. Спорить с ними не приходилось. Они говорили, что я — мальчик по имени Рудольф Вальц. Так оно и было. Они говорили, что сейчас 1932 год. Так оно и было. Они говорили, что я нахожусь в Мидлэнд-Сити, в штате Огайо,— и так оно и было.

Эти голоса никогда не умолкают. Год за годом они сообщают мне все, до мельчайших подробностей. Я и сейчас их слышу. Знаете, что они мне говорят? Что сейчас идет тысяча девятьсот восемьдесят второй год и что мне уже пятьдесят лет.

И болтают, и болтают...

■

Моего отца звали Отто Вальц, его «глазок» открылся в 1892 году, и ему сообщили, что он унаследует порядочное состояние, нажитое главным образом продажей под видом лекарства знахарского снадобья под названием «Бальзам св. Эльма». Это был спирт, подкрашенный чем-то лиловым, для запаха туда клали гвоздику, корень сарсапарели и немного опиума и кокаина. Как говорится: «Пить-то не вредно, а бросишь — каюк».

Мой отец, как и многие наши знакомые, родился в Мидлэнд-Сити. Он был единственным сыном, и его мамаша, неизвестно почему, решила, что он станет вторым Леонардо да Винчи. Она устроила для него мастерскую на чердаке каретного сарая, стоявшего за их старинным особняком, и пригласила жуликоватого немца-мебельщика, который в молодости учился в Берлине, давать отцу уроки рисования и живописи по субботам и после школы.

И для учителя и для ученика это стало чудной халтурой. Учителя звали Август Гюнтер, и его смотровой глазок открылся в Германии году в 1850-м. Преподавание хорошо оплачивалось, не хуже, чем работа мебельщика, и при этом можно было пить сколько влезет.

После того как у моего отца огрубел голос, Гюнтер стал брать его с собой на всю ночь то в Индианаполис, то в Цинциннати, то в Луисвилл или в Кливленд под тем предлогом, что они посетят там картинные галереи или мастерские художников. Там они каждый раз ухитрялись как следует нализаться и ходили по самым шикарным борделям на всем Среднем Западе, где стали общими любимцами.

И собирался ли хоть один из них выдать их общий секрет: что учить моего папашу писать маслом или рисовать было бесполезно?

■

Кто мог бы поймать их с поличным? В Мидлэнд-Сити искусство никого не интересовало, и никто не полюбопытствовал, есть у моего отца способности к живописи или нет. Он мог бы с тем же успехом изучать санскрит — до этого никому не было дела.

Мидлэнд-Сити не Вена, не Париж. Это даже не Сент-Луис или Детройт. Это — настоящий Бусайрос. Это — Кокомо.

■

Мошенничество Гюнтера, конечно, было обнаружено, но слишком поздно. Его вместе с моим папашей арестовали в Чикаго — они буянили и крушили мебель в публичном доме. Выяснилось, что отец заразился гонореей, и так далее. Но отец уже был в свои восемнадцать лет забубенным гулякой.

Гюнтера разоблачили, выгнали без рекомендаций. Старики Вальцы — дед и бабка — были очень влиятельными людьми благодаря бальзаму св. Эльма. Они сообщили всем знакомым, что никто из порядочных людей не должен пускать этого Гюнтера на порог и давать ему работу — ни по столярной части, ни по какой другой, никогда.

Отца отослали к родственникам в Вену — лечиться от дурной болезни и заниматься живописью во всемирно известной Академии изящных искусств. Пока он был в море, в каюте первого класса на пароходе «Лузитания», великолепный особняк его родителей сгорел дотла. Пошел слух, что его спалил Август Гюнтер, но никаких улик не нашли.

Родители моего отца решили не строить новый особняк на старом месте и поселились на своей ферме в тысячу акров, а на пожарище остался только каретный сарай да яма от погреба.

Случилось все это в 1910 году — за четыре года до первой мировой войны.

■

Итак, отец явился в Академию изящных искусств с папкой рисунков, созданных в Мидлэнд-Сити. Я сам видел часть этих произведений — после смерти отца мама иногда с грустью перебирала их. Отец хорошо владел штриховкой, умел передать складки на драпировках,— видно, Август Гюнтер был мастером в этой области. Но все на рисунках отца как-то смахивало на цементные изделия — цементная дама в цементном платье прогуливала цементного песика, на лугу паслось цементное стадо, цементная ваза с цементными фруктами стояла на окне с цементными портьерами и так далее.

Сходство в своих портретах он тоже уловить не мог. Он показал в Академии несколько портретов своей матери, и я, глядя на них, совершенно не мог себе представить, как она выглядела на самом деле. Ее смотровой глазок закрылся задолго до того, как открылся мой. Я только знаю, что найти среди этих портретов хоть два схожих между собой было невозможно.

Отца просили зайти в Академию недели через две за ответом — могут его принять туда или нет.

Он тогда одевался в лохмотья, подпоясывался веревкой, ходил в залатанных штанах и так далее — хотя получал из дому огромные деньги. Вена была столицей великой империи, на улицах было много военных в роскошных мундирах и людей в самых экзотических костюмах, вино лилось рекой, везде гремела музыка, и отцу казалось, что идет настоящий карнавал. Вот он и решил нарядиться в маскарадный костюм — «голодающий художник». Смеху будет!

Наверное, он был очень хорош собой, потому что лет через двадцать пять, когда я его, так сказать, увидел своими глазами, он был самым красивым мужчиной в Мидлэнд-Сити. До самой смерти он был строен и подтянут. Росту в нем было шесть футов. Глаза синие-синие. А волосы золотистые, кудрявые, и его кудри ничуть не поредели до самого того часа, когда закрылся его смотровой глазок и он перестал быть Отто Вальцем и снова стал одним из комочков аморфного небытия.

■

Как было условлено, он зашел в Академию через две недели, и профессор вернул ему папку с рисунками, добавив, что его работы нелепы до смешного. Вместе с ним пришел еще один молодой человек, тоже очень обтрепанный, и ему тоже с презрением вернули его работы.

Звали этого типа Адольф Гитлер. Он был природный австриец. Приехал из города Линца.

Отец до того разозлился на профессора, что тут же отомстил ему. Он попросил Гитлера показать свои работы и просмотрел их на глазах у профессора, потом взял наугад одну картинку, сказал, что это гениальное произведение, и на месте купил ее у Гитлера, заплатив наличными больше, чем профессор, вероятно, мог бы заработать за месяц, а то и за несколько месяцев.

Примерно за час до этого Гитлер загнал свое пальто, чтобы хоть что-нибудь перекусить, а ведь зима была не за горами. Значит, если бы не мой папаша, Гитлер, может, помер бы с голоду или от воспаления легких еще в 1910 году.

Отец и Гитлер даже подружились — бывает, что людей так сводит жизнь,— они утешали друг дружку, развлекали, посмеивались над искусствоведами, не признававшими их, и так далее. Я знаю, что они несколько раз совершали вдвоем длинные пешие походы. Об их сердечной дружбе я узнал от мамы. Когда я, с годами, заинтересовался прошлым моего отца, уже назревала вторая мировая война и отец молчал как рыба о своей былой дружбе с Гитлером.

Подумать только: мой отец мог придушить самое мерзкое чудовище двадцатого века, мог бы просто дать ему умереть с голоду или замерзнуть под забором. А он вместо этого стал закадычным другом Гитлера.

Вот мое главное возражение против жизни как таковой: слишком уж много самых чудовищных ошибок можно совершить, пока живешь на свете.

■

Акварель, купленную моим отцом у Гитлера, и теперь считают лучшей работой чудовища, пока оно было художником. Картинка долго висела над кроватью моих родителей в Мидлэнд-Сити, штат Огайо. Она называлась «Миноритская церковь в Вене».

2

Отца очень хорошо принимали в Вене, и все знакомые считали, что он американский миллионер, который живет под видом нищего художника, и развлекался он так почти четыре года. В августе четырнадцатого года, когда вспыхнула первая мировая война, он вообразил, что карнавал теперь превратится просто в пикник на свежем воздухе, где-нибудь за городом. Он был так счастлив, так наивен, так доволен собой, что попросил своих влиятельных друзей — не могут ли они устроить его в венгерскую лейб-гвардию, где при офицерской форме полагалось носить шкуру барса.

Он был просто влюблен в эту барсову шкуру.

Но его вызвал к себе американский посол в Австро-Венгерской империи, некий Генри Клоус, который был родом из Кливленда и хорошо знал родителей моего отца. Тогда отцу было двадцать два года. Клоус объяснил отцу, что он потеряет американское гражданство, если вступит в иностранную армию, и что он, посол, навел справки об отце и узнал, что тот совсем не такой художник, каким он себя воображает, что он сорит деньгами, как пьяный матрос, и что обо всем этом посол сообщил родителям отца, уведомив их, что сынок совершенно потерял представление о действительности и что пора его срочно вызвать домой и определить на какую-нибудь стоящую работу.

— А если я откажусь? — спросил отец.

— Ваши родители решили больше вам денег не посылать,— сказал Клоус.

И отцу пришлось возвратиться домой.

■

Не думаю, чтобы он надолго задержался в Мидлэнд-Сити, если бы не то, что осталось от его родного дома — а именно помпезный каретный сарай. Он был шестиугольный. Он был каменный. Крыша на нем была шатровая, крытая шифером. Изнутри она опиралась на огромные дубовые балки. Все сооружение было как бы небольшим кусочком Европы, перенесенным на юго-запад штата Огайо. Это был подарок моего прадеда Вальца молодой жене, тосковавшей по родному Гамбургу. Все строение, до последнего камня, было точной копией картинки из любимой прабабушкиной книги немецких сказок.

Оно сохранилось до сих пор.

Однажды я водил по этому сооружению искусствоведа из Огайского университета, что в Афинах, штат Огайо. Он сказал, что оно похоже на амбар, построенный в средние

века на развалинах римской сторожевой башни времен Юлия Цезаря. А Цезаря-то убили две тысячи лет тому назад.

Только подумать...

■

Я думаю, что мой отец все же был не совсем бездарным художником. Как и его приятель Гитлер, он питал слабость к романтической архитектуре. Он стал перестраивать каретный сарай под студию художника, достойную нового Леонардо да Винчи, каким считала отца моя бабушка, его мать, обожавшая его.

— Бабка твоя совсем ума лишилась,— говорила мне мама.

■

Иногда я думаю, что у меня была бы совсем другая психика, если бы я вырос в обыкновенном маленьком американском домике — если бы наш дом был не таким огромным.

Отец распродал все экипажи, стоявшие в сарае,— сани, дрожки, фаэтон, карету, да мало ли что там было. Потом он велел сломать стенки всех десяти денников и комнаты для упряжи. Теперь ему лично принадлежало огромное помещение, а таких высоких потолков и такого простора не было ни в одной церкви и ни в одном официальном учреждении Мидлэнд-Сити.

Можно ли было там играть в баскетбол? Баскетбольная площадка имеет двадцать восемь метров в длину и пятнадцать в ширину. А дом, где прошло мое детство, имел всего двадцать четыре метра в диаметре. Так что он метра на четыре не дотянул до баскетбольной площадки.

■

В этом каретнике было двое ворот, куда легко могла бы въехать карета четверней: одни ворота выходили на юг, другие — на север. Отец велел снять створки северных ворот, и его старый наставник Август Гюнтер сделал из них два стола — обеденный стол и рабочий стол для отца, где он разложил на виду свои краски, кисти, мастихины, палочки угля и так далее.

Пролет застеклили — до сих пор это самое большое окно во всем Мидлэнд-Сити; оттуда падал северный свет — при таком освещении любили писать все великие художники.

И перед этим окном стоял мольберт отца.

■

Да, он снова связался с малопочтенным Августом Гюнтером, которому уже давно перевалило за шестьдесят. У старого Гюнтера была только одна дочь, Грэйс, так что к моему отцу он относился как к родному сыну. И более подходящего сына для Гюнтера трудно было себе представить.

Тогда мама была еще совсем девчушкой и жила она в особняке по соседству. Она до смерти боялась старика Гюнтера. Ей внушили, что все хорошие девочки должны убегать от него. И до самой смерти мама вздрагивала, когда при ней поминали Августа Гюнтера. Для нее он был пугалом. Она считала его чем-то вроде лешего.

Надо добавить, что отец наглухо заделал ворота, выходившие на юг: запер их, и рабочие законопатили все щели, чтобы не дуло. А потом Август Гюнтер сделал входную дверь. Это был вход в студию моего отца, где мне предстояло провести детство.

Над большой мастерской шла широкая шестиугольная галерея. Ее разделили перегородками, устроили там спальни, ванные комнаты и небольшую библиотеку.

Выше был пустой чердак под шатровой крышей, крытой шифером. Отцу чердак, как видно, был не нужен, и он не стал его переделывать.

Все это было ужасно нелепо, но мне кажется, что отцу именно этого и хотелось.

Отец был в таком восторге от огромного пространства с полом, мощенным булыжником, положенным в песчаный грунт, что и кухню собирался перенести на галерею. Но тогда прислуге пришлось бы возиться у нас за стенкой, и вся эта возня, да и кухонные запахи мешали бы нам спать. А подвального помещения для кухни не было.

Так что отцу пришлось скрепя сердце поместить кухню внизу, приткнуть ее под галереей и отгородить старыми досками. Там было тесно и душно. Но я полюбил эту кухоньку. Мне там было так спокойно, так уютно.

■

Многим людям казалось, что в нашем доме нечисто; и в самом деле, когда я родился, у нас чердак был заполонен силами зла. Там хранилась целая коллекция — более трехсот образцов старинного и современного огнестрельного оружия. Отец закупил все это в 1922 году, когда они с мамой проводили свой полугодовой медовый месяц, путешествуя по Европе. Отец не мог на них налюбоваться, а ведь они были не лучше, чем кобры или гремучие змеи.

Они несли смерть.

3

Смотровой глазок моей матери открылся в Мидлэнд-Сити в 1901 году. Она была на девять лет моложе отца. Как и он, мама была единственным ребенком в семье. Она была дочерью Ричарда Ветцеля, основателя и главного акционера мидлэндского отделения Национального банка. Ее звали Эмма.

Родилась она в роскошном особняке, где было множество слуг, рядом с домом, где вырос мой отец, но четыре года тому назад, в 1978 году, когда мы с ней жили в тесной конурке-«нужничке» в предместье Мидлэнд-Сити под названием Эвондейл, она умерла в полной нищете.

■

Она помнила, как горел родной дом моего отца,— ей тогда было девять лет, а мой отец ехал учиться в Вену. Но гораздо более сильное впечатление, чем этот пожар, на нее произвел мой отец, когда он, вернувшись из Вены, осматривал бывший каретный сарай, обдумывая, как перестроить его под мастерскую.

Впервые она увидела его сквозь живую изгородь, проходившую между их участками. Она была длинноногой, большеротой тринадцатилетней девчонкой и никогда в жизни не видала на мужчинах ничего, кроме рабочих комбинезонов и будничных пиджаков. Ее родители говорили про моего отца с восхищением — он был из прекрасной и к тому же богатой семьи. Они в шутку сказали девочке, что хорошо бы ей, когда она вырастет, выйти за него замуж.

И когда она поглядела на него в щелку, у нее бешено забилось сердце. Господи боже! Он был в алом, шитом серебром мундире, с плеча спускалась шкура барса, а на голове красовалась соболья шапка с пурпурным султаном.

Эту форму он привез домой вместе с другими сувенирами из Вены — это был парадный мундир майора венгерской лейб-гвардии, в которую ему так хотелось вступить.

■

Но лейб-гвардейские полки Австро-Венгрии, вероятно, в те дни уже переоделись в серую походную форму.

Приятель отца, Адольф Гитлер, австриец по происхождению, как-то ухитрился попасть не в австрийскую, а в германскую армию, потому что он всегда восхищался немцами и Германией. Он тогда уже носил серую походную форму.

■

В то время мой отец жил с родителями под Шепердстауном, но все свои сувениры хранил в старом каретном сарае. И в тот день, когда моя мама увидела его в форме, он раскрывал все старые чемоданы и сундуки вместе со своим прежним наставником Августом Гюнтером. Он нарядился в парадную форму, чтобы позабавить этого Гюнтера.

Они вынесли стол из сарая. Им захотелось позавтракать в тени старого каштана. Они принесли с собой пиво, хлеб и колбасу, сыр и жареную курицу — все это было местного производства. Кстати, этот сорт сыра называется «Лидеркранц», и все думают, что это импортный сыр, из Европы. На самом деле этот сыр стали впервые делать в Мидлэнд-Сити, штат Огайо, еще в 1865 году.

■

И вот отец, усаживаясь со старым Гюнтером за стол и предвкушая хороший завтрак, вдруг заметил, что сквозь живую изгородь на них с любопытством смотрит маленькая девочка, и он стал громко подшучивать над ней. Он сказал Гюнтеру, что давно

не был дома и забыл, как называются американские птички. Вон там за кустами сидит какая-то птичка, сказал он, потом стал описывать маму, как будто она была птичкой, и спросил у старика Гюнтера, как такие пташки называются.

Потом он стал подходить к «пташке» с кусочком хлеба и спрашивал: едят ли такие маленькие птички хлеб? Но мама сразу сбежала домой.

Она сама мне об этом рассказывала. И отец рассказывал.

■

Но потом она снова прибежала в сад и нашла такое место, откуда было удобнее подсматривать за ними так, чтобы они ее не замечали. На этот завтрак пожаловали еще два очень странных человека. Это были невысокие смуглые юноши, очевидно только что перешедшие вброд реку. Они были босиком, и штаны у них намокли выше колен. Мама никогда ничего подобного не видела, и вот почему: это были родные братья-итальянцы, а раньше в Мидлэнд-Сити итальянцев не видывали.

Это были восемнадцатилетний Джино Маритимо и его брат, двадцатилетний Марко Маритимо. С ними стряслась ужасная беда. Их не только никто не приглашал на завтрак — их и в Соединенные Штаты никто не звал. Еще тридцать шесть часов назад они были кочегарами на итальянском грузовом пароходе, стоявшем под погрузкой в Ньюпорт-Ньюсе, в штате Виргиния. Они удрали с корабля, чтобы не угодить на военную службу у себя на родине, ну и потому, что в Америке улицы вымощены золотом. По-английски они не знали ни слова.

В Ньюпорт-Ньюсе другие итальянцы забросили их, вместе с их картонными чемоданишками, в пустой товарный вагон поезда, отправлявшегося в неизвестном направлении. Поезд тронулся сразу. Солнце закатилось. Ночь стояла безлунная, беззвездная. Америка была сплошной тьмой и перестуком колес.

Откуда я узнал? Джино и Марко Маритимо на старости лет сами рассказывали мне об этом.

■

Где-то — может в Западной Виргинии — из этой бездонной тьмы возникли четверо американских бродяг, ввалились к Марко и Джино и, угрожая им ножами, отобрали у них чемоданчики, пальто, шляпы и башмаки.

Братьям еще повезло — им запросто могли перерезать глотки, просто так, для забавы. Кому какое дело?

■

Как им хотелось тогда, чтобы их смотровые глазки захлопнулись! Но кошмар длился и длился. Поезд останавливался не раз, но вокруг было так гнусно, что Джино и Марко не могли заставить себя выйти из вагона и остаться жить в таких мерзких местах. Но вскоре два железнодорожных сыщика с длинными дубинками вышвырнули их на одной из станций, и, хочешь не хочешь, им пришлось высадиться в пригороде Мидлэнд-Сити, на дальнем берегу Сахарной речки.

Их мучила жажда, они совсем изголодались. Им оставалось либо ждать смерти, либо что-то придумать. И они придумали. На другом берегу речки они увидели шатровую крышу, крытую шифером, и пошли туда. Чтобы заставить себя переставлять ноги и куда-то идти, они сделали вид, что им во что бы то ни стало надо добраться именно до этого дома.

Они перешли Сахарную речку вброд, боясь идти по мосту, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза.

Будь Сахарная речка поглубже, они бросились бы вплавь.

Тут-то они и удивились, не меньше, чем моя матушка, когда перед ними вдруг оказался молодой человек в алом, шитом серебром мундире и собольем кивере.

Когда отец взглянул на них — он сидел на скамье, под дубом, — Джино, младший из братьев, но всегда верховодивший, сказал по-итальянски, что они изголодались и согласны на любую работу, если их накормят.

Отец ответил им по-итальянски. Он хорошо знал еще несколько языков, свободно говорил по-французски, по-немецки и даже по-испански. Он предложил братьям присесть на скамью и поесть вволю; как видно, они здорово проголодались. Он добавил, что нельзя допускать, чтобы люди голодали.

Он был для них каким-то божеством. А ему ничего не стоило стать в их глазах божеством.

Когда они наелись, он провел их на чердак над галереей, в наш будущий арсенал. Там стояли две старые койки. В окошечки в куполе лился свет, веял свежий ветерок. Стремянка, крепко привинченная к полу чердака, вела наверх, в купол. Отец сказал братьям, что они могут пожить тут, пока не найдут чего-нибудь получше.

Он добавил, что внизу, в сундуках, лежат старые башмаки, свитера и всякая другая одежа: может, им что-нибудь пригодится.

На следующий день он дал им работу — рушить перегородки между стойлами и стенку комнаты для упряжи.

И хотя братья Маритимо впоследствии стали богатыми и весьма влиятельными людьми, а мой отец обнищал и впал в полное ничтожество, для братьев он как был, так и остался каким-то божеством.

4

И вот тогда-то, еще до того, как Америка вступила в первую мировую войну против Германской империи, и Австро-Венгерской империи, и Оттоманской империи, смотровые глазки отцовских родителей навек закрылись от угара — что-то испортилось в отопительной системе на их ферме, под Шепердстауном.

И мой отец стал главным акционером их семейной фармацевтической фирмы «Братья Вальц», но сам ничего в нее не вложил — разве что насмешку и презрение.

Отец являлся на собрания акционеров в берете, в заляпанном красками халате и сандалиях, приводил туда старика Августа Гюнтера, называя его своим адвокатом, и утверждал, что его дядья и все их сынки, фактически управлявшие делами фирмы,— люди невыносимо провинциальные, лишенные всякого чувства юмора, одержимые только жаждой наживы, и так далее.

Он спрашивал их, когда же они перестанут отравлять своих сограждан, и так далее. В то время его дядюшки со своими сыновьями открыли первые аптеки-закусочные по всему штату; они особенно гордились своими прохладительными напитками и не жалели затрат, чтобы их мороженое было на уровне мировых стандартов. А мой отец в насмешку всегда спрашивал их, почему в аптеке братьев Вальц мороженое на вкус точь-в-точь крахмальный клейстер, и так далее.

Понимаете, он был художником, и его интересовали куда более великие дела, чем какое-то там аптекарское дело. Кстати, теперь, пожалуй, пора сказать, какую профессию выбрал я сам. Угадайте-ка! Я, Руди Вальц, сын великого художника Отто Вальца, стал дипломированным фармацевтом.

■

Тогда-то конец тяжелой дубовой балки и упал на левую ногу отца. Вышло это по пьяному делу. Во время шумной пирушки в студии, где валялось много всяких инструментов и строительных материалов, отцу вдруг пришла в голову блестящая мысль, которую надо было безотлагательно осуществить. Во что бы то ни стало надо было заставить подвыпившую компанию взяться за работу под руководством моего папаши, и тут молодой владелец молочной фермы, по имени Джон Форчун, выпустил из рук конец балки. Балка упала на ногу отцу, раздробив кости стопы. Два пальца захватил некроз, их пришлось ампутировать.

Так что, когда Америка вступила в первую мировую войну, отца признали непригодным к военной службе.

■

Однажды отец, уже стариком, после того как он отсидел два года в тюрьме и они с матерью совсем разорились — у них отсудили все деньги и все собрание картин и других произведений искусства, — сказал мне, что для него самым большим разочарованием в жизни было то, что он никогда не служил в армии. Это была едва ли не последняя из его иллюзий: он считал, что рожден для великих подвигов на поле брани, и кто знает — может, так оно и было.

До конца жизни он, разумеется, завидовал Джону Форчуну. Человек, раздробивший ему стопу, стал героем в траншеях первой мировой войны, и отец мечтал сражаться плечом к плечу с ним и, как он, вернуться домой с медалями на груди. Единствен-

ной наградой, имевшей хотя бы отдаленное касательство к военным почестям, была похвальная грамота от губернатора штата Огайо за организацию сбора утиля в округе Мидлэнд во время второй мировой войны. Торжественной церемонии не было. Бумага просто пришла по почте — и все.

Когда эту награду прислали, отец сидел в тюрьме, в Шепердстауне. Мы с мамой привезли ему эту грамоту на очередное свидание. Мне было тогда тринадцать лет. Лучше бы мы сожгли эту грамоту и развеяли пепел по Сахарной речке. Для отца грамота была самым злым издевательством.

— Наконец-то я причтен к сонму бессмертных, — сказал отец. — Теперь мне осталось мечтать только о двух отличиях. Первое,— сказал он,— стать зарегистрированной собакой, а второе — получить место в нотариальной конторе.

Тут отец попросил у нас эту бумажку, чтобы при первой возможности употребить ее вместо туалетной бумаги, что он и не преминул сделать.

В тот день, вместо того чтобы сказать нам «До свидания!», он произнес, торжественно подняв палец:

— Зов природы!

■

И тогда же, осенью 1916 года, старый мошенник Август Гюнтер погиб при чрезвычайно загадочных обстоятельствах. Поднялся он спозаранку, часа за два до рассвета, приготовил себе сытный завтрак, скушал его с аппетитом, пока жена и дочь еще крепко спали. Он вышел из дому с охотничьей двухстволкой, подаренной моим отцом, собираясь встретиться с ним, с Джоном Форчуном и еще кое с кем из местной молодежи у окопчиков на краю луга на ферме отца Джона Форчуна. Они хотели пострелять диких гусей, заночевавших на тихих заводях Сахарной речки и на Хрустальном озере. На лугу была заранее рассыпана привада — дробленая кукуруза.

До места встречи он не дошел — во всяком случае так говорят.

Значит, он погиб где-то по дороге; ему надо было пройти пять миль до места встречи да еще перейти по мосту Сахарную речку. А через месяц его тело без головы нашли в устье Сахарной речки, чуть западнее Цинциннати — оно едва не уплыло вниз по Миссисипи, и дальше, в Мексиканский залив, и еще дальше, в океан.

Далековато от Мидлэнд-Сити!

Когда я был еще малышом, загадочная история обезглавленного Августа Гюнтера, погибшего давным-давно, за шестнадцать лет до моего рождения, все еще была самым легендарным из нераскрытых преступлений в моем родном городе. И у меня зародилась жуткая мечта. Я вообразил, что прославлюсь, стану героем моего родного города, если отыщу пропавшую голову Августа Гюнтера. После этого преступник, конечно, волей-неволей сознается, и его постигнет заслуженная кара, и так далее, а мэр нашего города нацепит мне на грудь медаль.

Я и не подозревал в те далекие времена, что меня самого, Руди Вальца, на весь свет ославят убийцей и наградят прозвищем Малый Не Промах.

■

Мои родители поженились в 1922 году, через четыре года после первой мировой войны. Отцу было тридцать, матери — двадцать один. Мама окончила колледж в Оберлине, штат Огайо, и получила степень бакалавра гуманитарных наук. Отец всегда хотел, чтобы все считали, будто он учился в одном из прославленных университетов Европы, а на самом деле окончил только среднюю школу. Однако он вполне мог бы часами читать лекции и по истории, и по расовому вопросу, и по биологии, даже по искусству и политике, хотя он сам редко брал книгу в руки. Все свои мнения и знания он натаскал по клочкам из того запаса информации и дезинформации, который имелся у его дружков и собутыльников в Вене, еще до первой мировой войны. И разумеется, одним из этих дружков был Гитлер.

■

Свадьбу сыграли и прием устроили в особняке Ветцелей, рядом со студией отца. И Ветцели и Вальцы гордились своим свободомыслием, так что брак был гражданским и его зарегистрировал судья. Шафером у отца был Джон Форчун, герой войны и владелец молочной фермы. Подружками мамы были ее соученицы по колледжу.

Ближайшие родственники отца, его дядья и двоюродные братья, которые зарабатывали для него деньги, пришли на свадьбу со своими женами, пробыли на торжественном приеме несколько минут, вели себя вполне корректно, но весьма холодно, и все сразу ушли. Отец сам был виноват, что они его так ненавидели.

Как вспоминала мама, отец сказал оставшимся гостям, что родственничкам пора обратно в лавку. Он расхохотался им вслед.

Что с него возьмешь — богема!

■

Они с мамой уехали в Европу и провели там свой медовый месяц, длившийся полгода. Пока они путешествовали, фирма «Братья Вальц» переехала в Чикаго — там у них уже была фабрика косметических товаров и три аптеки.

Когда мама с отцом вернулись домой, в городе, кроме них, никого из Вальцев уже не осталось.

■

Именно во время этого медового месяца отец и приобрел свою знаменитую коллекцию огнестрельного оружия или ее львиную долю — он закупил ее оптом. Они с мамой побывали в гостях у родственников одного из старых друзей отца, Рудольфа фон Фюрстенберга. Его родные жили около австрийского города Зальцбурга. Рудольф был убит на войне, так же как его отец и два брата, и меня назвали Рудольфом в его честь. В живых осталась его мать и младший брат, но они были вконец разорены. Все их имение пошло с молотка.

И мой отец купил у них коллекцию оружия — больше трехсот единиц; там было собрано все огнестрельное оружие, от самых первых образцов примерно по 1914 год. Там было и американское оружие, в том числе револьвер Кольта калибра 11,43 и винтовка Спрингфилда калибра 7,62, особенно мощная; отец научил меня владеть ею, смягчать сильную отдачу, чистить, разбирать и собирать ее с завязанными глазами — а было мне тогда только десять лет.

Большое ему спасибо...

■

Мать с отцом еще накупили у фон Фюрстенбергов кучу мебели, постельного белья, хрусталя и всяких старинных алебард и мечей, кольчуг, шлемов и щитов.

Мы с братом были зачаты на фамильном ложе фон Фюрстенбергов, с гербом в изголовье, под висевшей на стене акварелью «Миноритская церковь в Вене» кисти Адольфа Гитлера.

■

Во время медового месяца мои родители разыскивали Гитлера, но он в то время сидел в тюрьме.

На войне Гитлер получил чин ефрейтора и Железный крест за передачу донесений в штаб под огнем. Вышло так, что у отца оказались друзья — герои войны и по ту и по другую сторону фронта.

■

Мои родители еще приобрели флюгер с привратной башни у въезда в поместье фон Фюрстенбергов и водрузили его на купол своего жилища, так что оно стало видно отовсюду — выше были только окружной суд, несколько силосных башен, амбар на молочной ферме Форчунов и здание мидлэндского отделения Национального банка.

Этот флюгер стал сразу самым знаменитым произведением искусства в Мидлэнд-Сити. Соперничать с ним могла только статуя американского солдата у входа в парк Фэйрчайлда. Стрела флюгера была длиной больше трех метров, и по этому снегсшибательному древку один пустотелый всадник гнался за другим. Позади был австриец с пикой. А впереди скакал, спасаясь от смерти, турок с кривой саблей.

Этот флюгер, показывавший то в сторону Детройта, то в сторону Луисвилла и так далее, был создан в память снятия турецкой осады Вены в 1683 году.

Когда я был маленьким, я попросил своего брата Феликса — он был старше меня на семь лет и всегда врал мне напропалую — рассказать мне и моему приятелю, что этот флюгер означает. Тогда брат был уже старшеклассником. У него уже появился пре-

красный бархатный бас, благодаря которому он потом стал знаменитым диктором телевидения и радио.

— Если бы австрийцы не победили,— рокочущим басом объяснял он,— мама до сих пор была бы в гареме. А наш отец служил бы банщиком в турецких банях — подавал бы там полотенца, а тебя, и меня, и твоего дружка, наверное, выхолостили бы.

Тогда я верил каждому его слову.

5

Адольф Гитлер стал канцлером Германии в 1933 году, когда мне исполнился год. Отец, не видавший его с 1914 года, послал ему сердечные поздравления и акварель кисти самого Гитлера — «Миноритская церковь в Вене» — в подарок.

Гитлер пришел в восторг. Он написал, что с любовью вспоминает отца, пригласил его к себе лично в гости, в Германию, и обещал показать ему «новый порядок», который он строил, надеясь, что этот порядок продержится лет тысячу, а то и дольше.

Мама, папа и Феликс, которому исполнилось девять лет, в 1934 году уехали на полгода в Германию, оставив меня на попечение наших слуг, негров. Зачем им было брать меня с собой? Мне было всего два года. Наверное, тогда я и решил, что наши слуги — моя самая близкая родня. Я мечтал научиться всему, что они так прекрасно умели делать — варить, печь пироги, мыть посуду и стелить постели, стирать и гладить, вскапывать землю в саду и так далее.

Я и сейчас совершенно счастлив, когда мне удается приготовить вкусный обед и когда дом у нас блестит как стеклышко, а прибирал его я сам.

■

Я абсолютно не помню, как выглядели мои родичи, когда вернулись из Германии. Может быть, какой-нибудь гипнотизер пробудит у меня хоть одно воспоминание. Но я видел много фотографий отца с матерью в старых газетах, выходивших тогда в Мидлэнде, и в мамином альбоме, где она хранила их как память о счастливых днях. На маме — пестрое платье с широкой юбкой, в талию. На отце — кожаные штаны и гольфы по колено. А на Феликсе, хотя он формально и не имел права на это, потому что никогда не принадлежал к фашистской организации,— форма с широким кожаным поясом-патронташем, повязкой со свастикой и кинжалом за поясом, форма гитлерюгенда. Если бы Феликс даже был немецким мальчиком, он все равно был еще слишком мал, чтобы носить эту форму, но отец специально заказал ее детскому портному в Берлине.

А почему бы и нет?

■

Сразу же по возвращении моих родственничков домой, как писали об этом в нашей газете, отец водрузил драгоценный подарок Гитлера на стреле нашего флюгера. Это был нацистский флаг, огромный, как простыня.

Напомню: шел только 1934 год, и до второй мировой войны было еще далеко. Если считать пять лет большим сроком. Так что в то время поднять фашистский флаг в Мидлэнд-Сити можно было так же безнаказанно, как греческий, или ирландский, или конфедератский — словом, любой флаг. Это была игра, широкий жест, и мать уверяла, что весь город гордился и завидовал и отцу, и ей, и Феликсу. В Мидлэнд-Сити ни у кого, кроме них, не было друга, управляющего целым государством.

Я сам тоже попал в газету. На фотографии запечатлена вся наша семья — все стоят на улице, перед дверью, глядя вверх, на фашистский флаг. Меня держит на руках наша повариха, Мэри Гублер. Это она со временем научит меня жарить, варить и печь.

■

Кукурузные лепешки по рецепту Мэри Гублер. Смешать в миске полчашки муки, полторы чашки желтой кукурузной муки, чайную ложку соли, чайную ложку сахару и три чайных ложки соды. Добавить три взбитых яйца, чашку молока, полчашки сливок и полчашки растопленного масла. Выложить на хорошо смазанную маслом сковородку и выпекать 15 минут при 400°.

Нарезать квадратиками и подавать на стол горячими, завернув в салфетку.

■

Когда нас снимали для газеты, отцу было сорок два года. По словам мамы, он пережил в Германии глубокое духовное преображение. Он обрел новую цель и смысл жизни. Теперь ему было мало — стать художником. Он хотел стать учителем, политическим деятелем. Он хотел сражаться в Америке за новый, родившийся в Германии социальный строй, который со временем станет спасением для всего человечества.

Он глубоко заблуждался.

■

Как приготовить соус к жаркому по рецепту Мэри Гублер: чашку мелко нарубленного луку и три мелко нарубленных головки чесноку потомить в кастрюльке до мягкости в четверти фунта сливочного масла. Добавить полчашки кетчупа, четверть чашки коричневого сахару, чайную ложку соли, две чайных ложки свежемолотого перцу, щепотку «Табаско», столовую ложку лимонного сока, чайную ложку базилика и столовую ложку молотого красного перцу.

Довести до кипения и подержать пять минут на малом огне.

■

Итак, два с лишним года отец читал лекции, показывал фильмы и слайды о новой Германии по всему Среднему Западу. Он рассказывал трогательные истории про своего друга Гитлера и разъяснял, что теории этого Гитлера насчет разных высших и низших рас основаны на простых химических формулах. Например, чистокровный еврей — одна формула. Чистокровный германец — другая. Скрестите поляка с негром — и получите интересный экземпляр рабочей особи.

Как подумаю про это, просто жуть берет.

Я помню, как нацистский флаг висел в нашей гостиной,— а может быть, мне только кажется, что я его видел. Слышал я об этом наверняка. Флаг сразу, уже с порога, бросался в глаза нашим гостям. Флаг был такой красочный. Все вокруг тускнело по сравнению с ним — балки и каменные стены, большие столы, сделанные из створок ворот каретного сарая, силуэт грубого отцовского мольберта, похожий на гильотину, на фоне северного окна, средневековое оружие и доспехи, ржавеющие по углам.

■

Закрыв глаза, пытаюсь мысленно представить себе тот флаг. И не могу. Но при одном воспоминании меня бьет дрожь — в нашем доме везде, кроме кухни, зимой стоял жуткий холод.

■

Этот проклятый дом невозможно было натопить. Отцу нравились голые каменные стены, голые балки, на которые опиралась крыша над хранилищем оружия.

Даже в конце жизни, когда за отопление платил мой брат Феликс, отец и слышать не хотел ни о каком утеплении.

— Умру — тогда и утепляйтесь,— говорил он.

■

Ни мама, ни отец, ни Феликс никогда на холод не жаловались. Дома они очень тепло одевались и говорили, что во всех американских домах слишком жарко и что от этой жары замедляется кровообращение, люди становятся вялыми, тупыми, и так далее.

Видимо, все это тоже входило в нацистский кодекс чести.

Меня заставляли выходить из моей кухоньки на сквозняки, гулявшие по всему нижнему этажу, по-видимому, чтобы я стал закаленным и сильным. Но я снова пробирался на кухню, где было так тепло, так вкусно пахло. Там было очень весело — ведь это было единственное место в доме, где что-то делали, работали, хотя там было тесно, как в корабельном камбузе. А тем, кого обслуживали, тем, кто бездельничал, было предоставлено все огромное пространство в доме.

И в холодные дни, и даже не в очень большие холода почти вся негритянская прислуга, и дворник, и горничные набивались в тесную кухню, к поварихе и ко мне.

Они любили сидеть в тесноте. В детстве, как они мне рассказывали, они спали на широченных кроватях все вместе, целая куча братишек и сестер. Мне казалось, что это было ужасно весело. Я и до сих пор считаю, что это ужасно весело.

Там, в этой тесной кухне, все болтали наперебой, говорили, говорили без конца и хохотали, хохотали до слез. И я тоже хохотал и болтал вместе со всеми. Они меня приняли в свою компанию. Я был славным мальчишкой. Все меня любили.

— Что скажете про эти дела, мистер Руди? — спрашивал меня кто-нибудь из слуг, и я что-то говорил, иногда невпопад, но все делали вид, будто я изрек что-то очень важное или удачно сострил.

Если бы я умер в детстве, то, наверное, умер бы в полной уверенности, что жизнь — это наша маленькая кухня. Я отдал бы и теперь все на свете, чтобы вновь попасть в эту кухню — в самый холодный зимний день.

«О, дай мне вернуться в родную Виргинию...»

■

Потом нацистский флаг у нас спустили. Отец перестал разъезжать. По словам моего брата Феликса — он тогда был в восьмом классе,— отец даже перестал выходить из дому и отвечать на телефонные звонки и месяца три не читал писем. Он впал в такую глубокую депрессию, что все боялись, как бы он не покончил с собой, так что мама потихоньку вынула ключ от оружейной комнаты из его связки ключей. Но он этого даже не заметил. У него совсем пропала охота возиться со своим ненаглядным оружием.

Феликс говорит, что отец мог бы впасть в депрессию и без того, что творилось вокруг. Но письма, которые он получал, и телефонные звонки становились все более угрожающими, к нему зачастили агенты ФБР — все требовали, чтобы он зарегистрировался как агент иностранной державы в соответствии с законами нашей страны. Человек, который был шафером у него на свадьбе, тот самый Джон Форчун, перестал с ним разговаривать и рассказывал всем и каждому, что отец — человек бесхарактерный, но опасный.

Так оно и было.

Сам Форчун был по происхождению чистокровный немец. Его фамилия — точный перевод на английский язык слова «Глюк», что по-немецки значит «удача, счастье».

Этот Форчун так и не дал отцу возможности помириться с ним, потому что в 1938 году он вдруг отправился в Гималаи на поиски истинного счастья и высшей мудрости — словом, того, чего он не мог обрести в Мидлэнд-Сити, штат Огайо. Его жена умерла от рака. Детей у него не было. Очевидно, кто-то из них — он сам или его жена — страдал бесплодием. Молочная ферма, которой эта семья долго владела, обанкротилась, и ее отобрало мидлэндское отделение Национального банка.

А Джона Форчуна похоронили в рабочем комбинезоне — в столице Непала, городе Катманду.

6

После взрыва нейтронной бомбы в Мидлэнд-Сити не осталось ни одной живой души. Дней десять все газеты только об этом и писали. Шуму могло быть и побольше, если бы этот взрыв развязал третью мировую войну, но наше правительство поспешило заверить, что бомба была американского производства. В одном из выпусков последних известий — я слушал его по радио здесь, в Гаити,— ее даже назвали «своя, родная бомба».

Вот официальная версия этого происшествия: американский грузовик перевозил эту американскую бомбу по государственной магистрали, и бомба взорвалась. Считается, что это — несчастный случай. Как будто грузовик (если он и вправду был) проезжал мимо новой гостиницы «Отдых туриста» возле гуверовского «Парка «понтиаков» у Одиннадцатого поворота», когда взорвалась эта бомба.

Все население округа погибло, в том числе и пятеро преступников, ожидавших казни в камере смертников в исправительной колонии для взрослых, в Шепердстауне. Да, я разом потерял множество знакомых.

Но строения почти все уцелели, так и стоят, со всей обстановкой. Я слышал, что все телевизоры в гостинице «Отдых туриста» работают безотказно. И телефоны — тоже. И холодильная установка за стойкой бара по-прежнему в полном порядке. Все эти

весьма чувствительные приборы находились всего в нескольких сотнях ярдов от центра взрыва.

В Мидлэнд-Сити, штат Огайо, теперь никто не живет. Погибло около ста тысяч человек. Это приблизительно равно населению Афин при Перикле, в золотом веке. И двум третям населения Катманду.

И я никак не могу удержаться, чтобы не задать вот какой вопрос: значит, для кого-нибудь или для чего-нибудь нужно было, чтобы целая россыпь смотровых глазков закрылась в мгновение ока? А раз движимое и недвижимое имущество не пострадало, то, может быть, мир и не потерял ничего стоящего?

■

Мидлэнд-Сити, штат Огайо, от радиации чист. Новые жители могут въезжать хоть сейчас. Говорят, что город отдадут беженцам из Гаити.

Счастливого новоселья!

■

Там стоит Центр искусств. Уж если бы нейтронная бомба повреждала и строения, то прежде всего она опрокинула бы Центр искусств имени Милдред Бэрри, здание с виду такое незащищенное — хрупкий белый шар на четырех тонких опорах посреди Сахарной речки.

Этим помещением никто никогда не пользовался. Стены его галереи — голые. Как замечательно могли бы их использовать гаитяне — самые плодовитые художники и скульпторы в истории человечества!

Пусть бы самый талантливый из них восстановил студию моего отца. Пора настоящему художнику занять эту студию — ведь там такое чудесное освещение, с северной стороны.

■

Гаитяне говорят на креольском диалекте, это диалект французского языка, в котором есть только одно время — настоящее. Я прожил в Гаити с братом почти полгода и уже могу объясняться на этом языке. Мы с Феликсом содержим там гостиницу. Мы купили отель «Олофсон», похожий на пряничный домик. Стоит он у подножья скалы в Порт-о-Пренсе.

Представьте себе, что такое язык с одним только настоящим временем. Наш метрдотель Ипполит Поль де Милль, который говорит, что ему восемьдесят лет и у него пятьдесят девять потомков, как-то стал расспрашивать меня о моем отце.

— Он мертвый? — спросил он по-креольски.

— Мертвый,— подтвердил я. Спорить тут не приходилось.

— А что он делает? — спросил он.

— Пишет картины,— сказал я.

— Он мне нравится,— сказал он.

■

Свежая рыба в кокосовом соусе по-гаитянски. Две чашки тертого кокосового ореха завернуть в марлю; держа над мисочкой, облить чашкой горячего молока и отжать насухо. Еще два раза облить горячим молоком. Получается соус.

К фунту мелко нарезанного луку добавить чайную ложку соли, пол-ложки черного перцу горошком и чайную ложку молотого перцу. Пассеровать в масле, пока не станет мягче, но не подрумянивать. Четыре фунта свежей рыбы нарезать кусочками и слегка обжарить в течение двух-трех минут. Залить рыбу соусом, закрыть кастрюльку крышкой, держать на малом огне десять минут. Открыть кастрюльку, тушить рыбу до готовности, пока соус не загустеет.

Рассчитано на восьмерых гостей гранд-отеля «Олофсон», которые немного не в духе.

■

Представьте себе язык, в котором одно только настоящее время. Или представьте себе моего отца, который жил весь в прошлом. Фактически он провел большую часть своей взрослой жизни, кроме последних пятнадцати лет, за столиком венского кафе

перед первой мировой войной. Он навсегда остался юнцом лет двадцати или около того. Вот-вот он начнет писать шедевры. Вот-вот станет отчаянным рубакой. Пылким любовником, философом и благородным человеком он уже стал.

По-моему, он никогда не замечал, что живет в Мидлэнд-Сити, пока я не стал убийцей. Казалось, что он живет, как космонавт, в скафандре, дыша атмосферой довоенной Вены. Он так нелепо разговаривал с моими друзьями и с товарищами Феликса, когда мы по глупости приводили их к себе домой.

Я-то хоть не перенес того, что пришлось вынести Феликсу, когда он был еще в младших классах. В те годы отец обычно приветствовал его гостей салютом «Хайль, Гитлер!» и ждал, что они тоже ответят ему «Хайль, Гитлер!», и это все казалось ему веселой игрой.

— Господи боже,— сказал мне на днях Феликс,— мало того, что мы были самыми богатыми мальчишками в городе, где всем жилось очень нелегко, мало того, что у нас хранилось все это ржавое средневековое дерьмо и дом был похож на камеру пыток. Неужели нельзя было хотя бы, чтоб наш папаша не встречал всех без исключения, даже Иззи Финкельштейна, криком «Хайль, Гитлер!»?

■

Кстати, о том, сколько у нас тогда было денег, несмотря на Великую депрессию: отец продал все свои акции семейной фармацевтической фирмы еще в двадцатых годах, так что, когда во время депрессии аптеки «Братьев Вальц» прогорели, он от этого не пострадал. Он купил акции фирмы «Кока-кола», на которой депрессия совершенно не отразилась. А у мамы сохранились все закладные в банке, которые она унаследовала от своего отца. И благодаря тому, что фермеры разорялись, все их отличные земли переходили к держателю закладных, так что эти бумаги были все равно что чистое золото.

Подфартило, что и говорить.

■

Но аптеки «Братьев Вальц» погубила не столько депрессия, сколько продажа бутербродов и прохладительных напитков. Нечего было фармацевтам лезть еще и в пищевую промышленность. Пусть этим занимаются те, кто любит это дело и знает в нем толк.

Отец часто рассказывал анекдот про мальчика, которого выгнали из фармацевтической школы за то, что он не умел делать тарталетки с разной начинкой.

■

Я слышал, что осталась еще одна аптека «Братьев Вальц» в Каире, штат Иллинойс. Конечно, она ни ко мне, ни к моим родственникам никакого отношения не имеет. Кажется, ее реставрировали вместе с другими старинными постройками. Находится она в очень милом квартале в центре Каира. Улицы там вымощены булыжником, как пол в моем родительском доме, и освещаются газовыми фонарями.

Восстановили там еще и старинную бильярдную, и старинное питейное заведение, даже старинную пожарную каланчу и старинную аптеку. Кто-то отыскал старую вывеску с аптеки «Братьев Вальц» и водрузил ее над входом.

Вышло очень занятно.

Мне говорили, что там еще висит вывеска, расхваливающая «Бальзам св. Эльма».

Конечно, никто не отважился бы в нынешнее время продавать этот бальзам — ведь он очень вреден людям. Вывеску повесили просто для смеху. Но зато у них в рецептурном отделе можно получить всякие барбитураты, и амфетамин, и метаквалон [1] и прочие наркотики.

Да, наука на месте не стоит.

■

Когда я стал постарше и начал приводить своих друзей к нам домой, отец уже не поминал Гитлера. Наконец-то он понял, как изменилась теперь обстановка. Упоминание о Гитлере или о «новом порядке» в Германии с каждым днем все больше раздражало окружающих, так что лучше было выбирать для разговоров другие темы.

---

[1] Сильнодействующие патентованные средства. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Я и не собираюсь подтрунивать над моим отцом. Прежде чем увидеть свет, услыхать звуки, он был таким же комочком аморфного небытия, как все мы.

Но он почему-то считал, что все мои товарищи отлично знакомы с греческой мифологией, с легендами о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, с пьесами Шекспира и с «Дон Кихотом» Сервантеса, с «Фаустом» Гёте, с операми Вагнера, и так далее и тому подобное. Без сомнения, обо всем этом шли оживленные споры в венских кафе до первой мировой войны.

И мой отец вполне мог спросить восьмилетнего сынишку рабочего с завода сельскохозяйственных машин:

— Смотришь на меня, как будто я Мефистофель, верно? Думаешь, я и вправду черт? А?

И ждал, что́ мой маленький гость ему ответит.

И еще он мог сказать маленькой дочке швейцара в ХАМЛ [1], подавая ей стул:

Садись, дитя, на Трон Опасный...
Но вот осмелишься ли ты?

Почти все мои товарищи были из простых семей — после того как все богатые люди, кроме моих родителей, уехали отсюда, в этих местах поселились семьи бедняков.

Отец даже мог сказать малышу:

— Знаешь, кто я? Я Дедал! Хочешь, я тебе сделаю крылья, полетишь со мной! Примкнем к стае гусей, полетим на юг. Только берегись, не приближайся к солнцу, это опасно. Знаешь почему? А?

И ждал, что мальчишка ему ответит.

Уже на смертном одре в Городской больнице отец, перечисляя все свои недостатки и достоинства, сказал, что одного у него не отнимешь — он отлично ладил с детьми, и дети его любили.

— Я их понимаю! — добавил он.

■

Но как-то раз он встретил рекордным по нелепости приветствием уже не ребенка, а взрослую девушку — звали ее Селия Гилдрет. Она училась в выпускном классе, как и мой брат, и Феликс пригласил ее на бал выпускников. Вероятно, это было весной 1943 года — ровно за год до того, как я стал убийцей, точнее, дважды убийцей.

Шла вторая мировая война.

Феликс был председателем совета своего класса — и все потому, что у него был красивый бас. Сам Всевышний говорил его голосом — где устроить бал, нужно ли в классном ежегоднике писать под фотографиями не только фамилии, но и прозвища, и так далее. Кроме того, мой брат переживал любовную драму и делился со мной этими своими переживаниями, хотя мне было всего одиннадцать лет. Он окончательно порвал с Салли Фримен, девочкой, в которую был влюблен, и Салли, чтобы утешиться, влюбилась в Стива Адамса, капитана бейсбольной команды.

Председатель совета класса оказался без дамы перед самим балом, когда все девушки из хороших семей были уже приглашены.

И Феликс нашел блистательный выход. Он пригласил девушку, чьи родители принадлежали к самым низшим слоям общества, были неграмотные, безработные, а два ее брата сидели в тюрьме; сама она училась из рук вон плохо и ни в какой общественной жизни не принимала участия, но другой такой красавицы никто еще не видал. Ее родители были белые, но такие нищие, что им приходилось жить в негритянском квартале. Да, еще вот что: немногие молодые люди, которые пытались за ней ухаживать, несмотря на ее положение в обществе, пустили слух, что хороша-то она хороша, только холодна как ледышка.

Вот какой была эта Селия Гилдрет.

Она даже не надеялась, что ее пригласят на бал. Но чудеса, несомненно, случаются. Золушки рождаются ежеминутно.

И вот один из самых красивых, самых богатых, самых интересных мальчиков нашего города и к тому же председатель совета класса пригласил ее на бал.

■

Уже за несколько недель до бала Феликс без конца рассказывал, какая красавица Селия Гилдрет и какое неотразимое впечатление она произведет на всех,

[1] Христианская ассоциация молодых людей.

когда он войдет с ней, ведя ее под руку, как кинозвезду. Наверное, все почувствуют себя дураками — как можно было до сих пор не замечать Селию?

Отец, слыша все эти разговоры, решительно потребовал, чтобы Феликс перед балом привел Селию к нему в студию. Надо же ему взглянуть — он как-никак художник,— вправду ли эта Селия такая красавица, как утверждает Феликс. Мы с Феликсом к этому времени совсем перестали водить домой наших друзей.

Но в данном случае отец нашел средство заставить Феликса познакомить его с Селией. Если Феликс не приведет ее, отец не даст ему машину. Пусть отправляется со своей Селией на бал в автобусе.

■

Рецепт гаитянского бананового супа. Взять два фунта козлятины или цыпленка, добавить полчашки мелко нарубленного луку, чайную ложку соли, пол-ложки черного перцу и щепотку молотого красного перцу. Залить двумя квартами воды. Тушить час.

Затем добавить три очищенных клубня ямса и три очищенных банана, нарезанных кружочками. Тушить на малом огне, пока мясо не станет мягким. Вынуть мясо.

Получается восемь тарелок гаитянского бананового супа.

Bon appétit! [1]

■

Отцу делать было нечего, как всегда, но он волновался перед этим балом, как самый безмозглый школяр. И все время декламировал:

Кто эта Селия? Чем хороша,
Что все ее так превозносят?

Или ни с того ни с сего, во время ужина, когда все молча ели, он вдруг заявлял:

— Нет, таких красавиц на свете не бывает! Не верю, что эта девушка прекраснее всех!

Напрасно Феликс говорил, что Селия вовсе не первая красавица мира. Феликс повторял сто раз: «Да она просто самая хорошенькая девушка в классе, папа, и все». Но отец представлял себе более серьезную противницу.

Он, главный знаток и ценитель женской красоты в городе, должен был встретиться с несравненной красавицей, каких еще свет не видал.

Конечно, он в те дни не только руководил сбором утиля, но еще был уполномоченным противовоздушной обороны. И послал в военное министерство характеристику личности Гитлера, которого он теперь уже называл «гениальным убийцей-маньяком». Но все же он чувствовал себя отсталым, бесцветным и так далее, особенно когда читал в газетах и слушал по радио сообщения о боевых победах и везде встречал людей в военной форме. Ему необходимо было подбодрить себя, чтобы совсем не пасть духом.

Это и была его тайна. Если бы Феликс догадался, он и на милю не подпустил бы Селию к нашему дому. Он отвез бы ее на бал в автобусе.

А вышло вот что: когда Селию привезли знакомиться с отцом, на нем была роскошная, алая с серебром, форма майора венгерской лейб-гвардии, соболий кивер и шкура барса.

7

Слушайте: когда Феликс собрался поехать за Селией, отец еще не переоделся даже в свой костюм художника. На нем был свитер и домашние брюки, и он снова повторил Феликсу, что хочет только взглянуть на его барышню и что он вовсе не собирается наряжаться для нее. Встретятся они ненадолго, запросто. Встреча будет будничная, даже скучная.

Да, еще про автомобиль. Это был туристский «кидслер», выпущенный тут, в самом Мидлэнд-Сити, в 1932 году, когда «кидслеры» ни в чем не уступали, а иногда и превосходили немецкие «мерседесы» или английские «роллс-ройсы». Но в 1943 году он уже устарел и стал смешным музейным экспонатом. Феликс откинул верх. Перед задним сиденьем было еще одно, дополнительное, ветровое стекло. Мотор был шестна-

[1] Приятного аппетита! *(франц.)*

дцатицилиндровый, а два запасных колеса были закреплены в углублениях возле крыльев. Колеса походили на изогнутые шеи мчащихся вперед лошадей.

И Феликс протарахтел до негритянского квартала в этом потрясающем драндулете. Одет он был во взятый напрокат смокинг с гарденией в петлице. На сиденье рядом с ним лежал букетик из двух орхидей — для Селии.

Отец уже стоял в одном белье, и мама принесла ему военную форму. Она знала, что он задумал разыграть Феликса. Все, что затевал отец, она считала замечательным. И пока отец облачался, она обошла весь дом, выключая электрические лампочки и зажигая свечи. Они с отцом заранее, так чтоб никто не заметил, расставили повсюду свечи. Наверное, их было не меньше сотни.

И пока отец переодевался в свой алый с серебром мундир, она успела зажечь все свечи.

Я сам, стоя на галерее у своей комнаты, пришел в совершенный восторг, и мама с отцом, как видно, надеялись, что и Селия Гилдрет придет в такой же восторг. Мне казалось, что я попал в гигантский улей, где полно светлячков. А внизу стоял Король Ранних Сумерек.

Я был воспитан на старинных сказках, доставшихся мне в наследство, на мифах и легендах, рассказанных нам отцом, и все мои мысли были окрашены ими. Для меня да и для Феликса они стали второй натурой, и никто из ребят Мидлэнда не жил в том мире, где огоньки свечей кажутся живыми светлячками, и никто из наших сверстников не сочинял сказок про Короля Ранних Сумерек.

Но тут наш Король Ранних Сумерек отдал приказ:

— Распахните, распахните врата!

■

«А какие это врата?» — подумал я. Кажется, у нас всего две двери. Парадная дверь выходила на юг, а кухонная — на северо-восток. Но отец, как видно, имел в виду куда более величественные врата.

И он проследовал к огромным воротам для карет, в створки которых была врезана наша парадная дверь. Я их никогда не воспринимал как двери. Для меня они были частью стены моего дома, только не из камня. Но тут отец взялся за огромный засов, который не открывали тридцать лет. Засов не сразу поддался усилиям отца, но через миг плавно скользнул вбок, как ему и полагалось.

До этой минуты засов казался мне просто куском древнего металла на стене. Быть может, сильные руки могли бы вырвать его и убить врага. И резные навески казались мне такими же кусками металла. Но это были не старинные финтифлюшки, вывезенные из Европы. Это были настоящие мидлэндские навески, готовые служить в любую минуту.

Я прокрался вниз, благоговейно приближаясь к чуду.

Король Ранних Сумерек толкнул плечом сначала одну створку ворот, потом — другую. Стена моего дома исчезла. В пролете мерцали звезды и светила восходящая луна.

8

Мама, папа и я — все мы спрятались, когда Феликс приехал с Селией Гилдрет в громоздком «кидслере». Феликс тоже был потрясен — наш дом стал таким прекрасным! И когда он выключил работавший вхолостую мотор «кидслера», казалось, что тот все еще тихонько что-то бормочет. Это Феликс рокочущим, как мотор, голосом уговаривал Селию не пугаться, хотя она сейчас увидит в доме всякие неожиданные вещи. И я услышал, как она сказала:

— Извини, пожалуйста, но мне жутко. Я хочу отсюда уйти.

Надо бы Феликсу ее послушаться. Он должен был сразу увести ее. Она даже призналась через несколько минут, что ей вовсе не хотелось идти на бал, но родители велели ей не упрямиться, а она до того ненавидела свое платье, что боялась показаться в нем перед людьми, а богачей она всегда стеснялась и не хотела с ними знаться, и больше всего она любила сидеть в одиночестве, чтобы никто не пялил на нее глаза, не говорил бы ей всякие слова, чтобы не надо было в ответ сюсюкать, как воспитанной барышне, и так далее.

Феликс потом объяснил, почему он не увез ее сразу,— хотел доказать отцу, что он держит свое слово, хотя отец своего слова не сдержал. Теперь-то он призна-

ётся, что вообще начисто забыл про Селию. Вылез из машины и даже не подошел с другой стороны, не открыл для нее дверцу и не подал руку, чтобы помочь выйти.

Он в одиночестве пошел к новому великолепному входу, остановился, подбоченился и стал созерцать ослепительную россыпь маленьких огоньков — звездную россыпь.

Он мог бы рассердиться, но рассердится он потом. Он придет в бешенство. Но в первую минуту он только понял, что его отец после многих лет восторженной болтовни и нелепой трепотни создал истинно художественное произведение.

Такой красоты в Мидлэнд-Сити еще никогда не видывали.

■

И тут отец вышел из-за балки-опоры — эта самая балка много лет назад размозжила ему ногу — и стал перед Феликсом. В руке он держал яблоко. Селия смотрела на него сквозь ветровое стекло машины. И он громко воскликнул — так, что эхо раскатилось по нашему дому:

— Пусть же Елена, царица Трои, выступит вперед и потребует яблоко, если осмелится!

Селия не двинулась с места. Она окаменела.

А Феликс, который так и не успел вмешаться, по глупости ждал, что она все же выйдет из машины и возьмет яблоко, хотя дураку ясно, что она вообще не могла сообразить, что тут к чему.

Что она знала о Елене Троянской, о яблоке раздора? Кстати, отец сам ничего толком не знал. Он, как я теперь понимаю, все перепутал. Елене Троянской никто никакого яблока не давал, во всяком случае в награду.

Золотое яблоко, по греческому мифу, получила богиня Афродита — в награду за то, что была прекраснейшей из богинь. Юный смертный по имени Парис отдал ей предпочтение перед соперницами — Афиной и Гérой.

И хотя в весенний вечер 1943 года ничего бы от этого не изменилось, отец должен был сказать: «Пусть Афродита выступит вперед и потребует яблоко, если осмелится!»

А еще лучше было бы, если бы в тот вечер, когда класс Феликса устраивал бал, папочка велел, чтобы его связали, сунули в рот кляп и заперли на чердаке, где хранилось оружие.

Что же касается Елены Троянской, то о ней Селия Гилдрет слыхом не слыхала.

В мифе говорилось, что Елена была прекраснейшей из смертных и Афродита отдала ее Парису в обмен на яблоко.

Одно было плохо. Елена была уже замужем за царем Спарты, так что троянцу Парису пришлось ее похитить.

Из-за этого и разгорелась Троянская война.

■

И Селия действительно вышла из машины, но никакого яблока она так и не взяла. Когда Феликс подошел к ней, она сорвала с платья и бросила свой букетик, сбросила свои золотые бальные туфельки на высоких каблуках, купленные на последние деньги, так же как ее белое платье, а может быть, и кружевное бельишко. И ее страх, и возмущение, и ножки в чулках, и ее поразительное лицо были чудом из чудес, какое только в сказках и встретишь.

В Мидлэнд-Сити оказалась своя собственная богиня раздора.

Эта богиня танцевать не умела и не хотела, и своих одноклассников она терпеть не могла. Она сказала нам, что в кровь разодрала бы себе лицо, чтобы люди, глядя на нее, не видели то, чего в ней не было и нет. Она сказала, что лучше бы ей умереть, потому что ей стыдно от того, что́ про нее думают взрослые мужчины и даже мальчишки и как они ее обхаживают. Она сказала, что когда после смерти попадет на небо, то первым делом постарается у кого-нибудь там дознаться, что же, в конце концов, было написано у нее на лице и зачем.

■

Мы с Феликсом вспоминаем все, что говорила Селия в тот вечер,— мы с ним сидим рядом около нашего плавательного бассейна в Гаити.

Мы оба помним, как она сказала, что чернокожие добрее, лучше понимают жизнь, чем белые. Она ненавидела богачей. Она сказала, что надо бы расстрелять всех богачей, которые, как мы, живут в свое удовольствие, когда идет война.

И вдруг, позабыв о своих туфельках и своем букетике, она со всех ног помчалась домой.

■

Бежать ей надо было всего четырнадцать кварталов. Феликс полз за ней на своем «кидслере» вдоль обочины все четырнадцать кварталов, упрашивая ее сесть в машину. Но она нарочно шмыгнула в переулок, куда «кидслер» не мог протиснуться. Феликс так и не узнал, что с ней было потом. Встретились они только двадцать семь лет спустя, в 1970 году. Она тогда была замужем за Двейном Гувером, торговцем автомашинами фирмы «Понтиак», а Феликса только что выгнали с поста президента Национальной радиовещательной корпорации.

И он вернулся домой искать свои корни.

9

Дважды убийцей я стал так.

Весной 1944 года Феликса призвали на действительную военную службу в армию США. Он только что закончил второй семестр на факультете гуманитарных наук университета штата Огайо. Благодаря своему прекрасному голосу он стал одним из главных дикторов на студенческой радиостанции и к тому же был избран вице-председателем студенческого совета первого курса.

Он принес присягу в Колумбусе, но ему разрешили еще одну ночь провести дома, потому что следующий день, второе воскресенье мая, был Днем матери.

Слез никто не проливал, да и с чего было плакать — он должен был служить в армии только диктором на радиостанции. Но мы этого всего не могли знать и не плакали просто потому, что отец нам сказал: все наши предки гордились и радовались, что служили родине в военное время.

Помню, что у Марко Маритимо, который вместе с братом Джино уже стал крупнейшим строительным подрядчиком в нашем городе, был сын Джулио, которого тогда тоже призвали. И вечером, накануне Дня матери, Марко с женой привели своего сына к нам, и все семейство заливалось горючими слезами, никого не стесняясь, как плачут дети.

И не зря они рыдали. Их сына Джулио убили в Германии.

■

На рассвете, когда мама еще спала, мы с отцом и Феликсом пошли на стрельбище Мидлэндского клуба рыболовов и охотников, как и сотни раз прежде. Это был такой утренний воскресный ритуал. И хотя мне было всего двенадцать лет, я уже умел стрелять из револьверов, из ружей, из винтовок любого образца. И многие другие отцы тоже пришли с сыновьями, и все палили без устали.

Помню, там был начальник полиции Фрэнсис Кс. Морисси со своим сыном Бакки. Морисси был приятелем отца и шел охотиться на гусей вместе с ним и Джоном Форчуном в 1916 году, в тот день, когда пропал старый Август Гюнтер. Только недавно я узнал, что именно Морисси убил старика Гюнтера. Он нечаянно выпалил крупной дробью в футе от головы Гюнтера.

Голову как ветром сдуло.

И отец вместе с остальными, не желая, чтобы этот несчастный случай исковеркал всю жизнь Морисси — такое ведь с любым может стрястись,— пустил тело Гюнтера вниз по течению Сахарной речки.

■

В то утро мы с отцом и Феликсом никакого особенного оружия с собой не взяли. Так как Феликсу вскоре предстояло отправляться на фронт, мы взяли только винтовку Спрингфилда. Такие винтовки в американской пехоте уже сняли с вооружения и заменили винтовкой Гаранда. Но винтовками Спрингфилда еще пользовались снайперы — у них был особенно точный бой. В это утро все стреляли отлично, но я стрелял лучше всех, и меня за это наперебой хвалили. Но лишь после того, как я

в тот же день нечаянно застрелил беременную женщину, меня наградили прозвищем Малый Не Промах.

■

Но все-таки в это утро один приз я выиграл. После стрельбы отец сказал Феликсу:

— Дай-ка своему братцу Руди ключ.

Феликс удивился:

— Какой еще ключ?

И тут отец назвал то помещение, которое для меня с самого детства было все равно что святая святых. Сам Феликс получил ключ от него только в пятнадцать лет, а я до этого ключа даже никогда и не дотрагивался.

— Дай ему,— сказал отец,— ключ от оружейной комнаты.

■

Разумеется, я был слишком мал, чтобы мне можно было доверить этот ключ. Даже Феликсу рано было давать этот ключ в пятнадцать лет, а мне-то было всего двенадцать. Но когда я застрелил беременную женщину, выяснилось, что отец даже не помнит, сколько мне лет. Когда пришла полиция, я слышал, как отец сказал, что мне уже шестнадцать или около того.

Дело в том, что я для своих лет был очень высокого роста. Тогда и теперь рост среднего американца — меньше шести футов, а во мне было полных шесть. Вероятно, мой гипофиз на некоторое время взбунтовался, а потом пришел в норму. Я не вырос уродом — если не считать того, что меня наградили клеймом двойного убийцы,— потому что с возрастом сверстники догнали меня в росте.

Но в те годы я был ненормально высок для своего возраста и неимоверно худ. Наверное, я пытался стать каким-то суперменом, но раздумал — уж очень неодобрительно к этому отнеслись все окружающие.

■

После того как мы вернулись домой из Клуба рыболовов и охотников, я все время чувствовал ключ от оружейной — словно он вот-вот прожжет дыру в кармане,— а дома мне еще раз напомнили, что пора стать настоящим мужчиной, потому что Феликс уезжает. Мне пришлось отрубить голову двум цыплятам, которых собирались зажарить на ужин. Это была еще одна привилегия Феликса, и он часто заставлял меня смотреть, как это делается.

Местом казни был пень от старого каштана, под которым давным-давно завтракал отец со старым Августом Гюнтером в тот день, когда братья Маритимо прибыли в Мидлэнд-Сити. Там еще стоял мраморный бюст на пьедестале — ему тоже приходилось на это смотреть. Бюст был вывезен в числе других трофеев из поместья фон Фюрстенбергов в Австрии. Это был бюст Вольтера.

Перед казнью цыплят Феликс изображал Провидение. Он возвещал своим густым басом: «Если желаете сказать последнее слово — говорите!» или: «Взгляните на сей мир в последний раз!» — и так далее. Сами мы кур не держали. Каждое воскресенье утром сосед-фермер приносил пару цыплят, и их смотровые глазки мигом захлопывались под острым ножом в деснице Феликса.

А теперь, когда Феликс торопился на поезд до Колумбуса, а там ему надо было еще пересесть на автобус до Форт-Беннинга в Джорджии,— я должен был сделать это вместо него.

И я схватил куренка за ноги, и шлепнул его на плаху, и пропищал тоненьким, как грошовый свисток, голоском: «Взгляни на сей мир в последний раз!»

И покатилась цыплячья голова.

■

Феликс поцеловал маму, пожал руку отцу и сел в поезд на нашей станции. А мы с мамой и отцом заторопились домой, потому что ждали к ленчу весьма именитую гостью. Это была сама Элеонора Рузвельт, супруга президента США. Она объезжала военные заводы в захолустье, чтобы поднять дух рабочего люда.

Когда в Мидлэнд-Сити приезжал именитый гость, его или ее непременно приводили в студию моего отца — достопримечательностей в нашем городе было малова-

то. Обычно к нам в Мидлэнд-Сити приезжали лекторы, музыканты, певцы, которых приглашала Христианская ассоциация молодых людей. Я видел Николаса Мэррея Батлера, ректора Колумбийского университета — я был тогда совсем мальчишкой,— и Александра Вулкотта, знаменитого радиокомментатора, писателя и остряка, и рассказчицу Корнелию Отис Скиннер, и виолончелиста Григория Пятигорского, и так далее.

Мы знали, что миссис Рузвельт начнет свою речь, как и все прочие: «Не верится, что я и в самом деле приехала в Мидлэнд-Сити, штат Огайо».

Чтобы в студии пахло красками, как в настоящей студии художника, отец нарочно капал на заслонки воздушного отопления скипидар и льняное масло. Когда гость входил в студию, там уже звучала классическая музыка — отец всегда выбирал пластинки с записями классики (но только не немецкой, по крайней мере с тех пор, как он решил, что быть нацистом все-таки не совсем прилично).

У отца еще сохранились импортные вина — их подавали даже во время войны, а к ним сыр «Лидеркранц», и отец обязательно рассказывал, как его изобрели.

Кормили у нас превосходно, даже когда наступили военные времена и мясо выдавалось строго по карточкам: Мэри Гублер отлично умела приготовить не только всякую рыбу, которую ловили в Сахарной речке, но и мясные отходы, которые продавали без карточек, потому что все считали их несъедобными.

■

Рагу из требухи по рецепту Мэри Гублер. Взять свиные кишки, нарезать небольшими кусочками, хорошо промыть, часто сменяя воду, пока не сойдет весь жир.

Варить около трех-четырех часов с луком, травами, чесноком. Подавать с зеленью и овсяной кашей.

■

Мы угощали Элеонору Рузвельт именно этим блюдом, когда она приехала к нам в День матери в 1944 году — рагу из требухи по рецепту Мэри Гублер. Ей это блюдо очень понравилось, и так как она была настоящей демократкой, она пошла на кухню и долго разговаривала с Мэри Гублер и другой прислугой. Конечно, при ней, как водится, вертелись агенты секретной службы, и один из них спросил моего отца:

— А у вас, говорят, большая коллекция огнестрельного оружия?

Видно, агенты секретной службы о нас все разнюхали. И им, конечно, было известно, что некогда мой отец очень почитал Гитлера, но потом его отношение к «фюреру», надо думать, коренным образом изменилось.

Тот же агент секретной службы спросил, что это за музыку играет наш патефон.

— Это Шопен,— сказал отец. И когда этот агент открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, отец догадался, что именно он хочет узнать, и перебил его: — Шопен — поляк,— сказал отец.— Поляк — слышите? — поляк!

Кстати, только сейчас, когда мы с Феликсом тут, в Гаити, сравнивали наши воспоминания, мы поняли, что всех наших знатных гостей заранее предупреждали, что наш отец — никакой не художник. Потому что никто из них никогда не просил отца показать какие-нибудь свои работы.

■

А если бы кого-то забыли предупредить или у гостя хватило бы нахальства попросить отца показать ему свои произведения, тот, наверное, показал бы небольшое полотно, стоявшее на грубо сколоченном мольберте. На этот мольберт можно было поставить холст размерами приблизительно восемь футов на двенадцать. И, как я уже говорил, этот мольберт по ошибке легко было принять за гильотину, особенно в комнате, увешанной всяким старинным оружием.

Маленькое полотно, повернутое обратной стороной к посетителям, смахивало на упавший нож гильотины. Это был единственный холст, и других холстов на мольберте я никогда не видал за все наше существование на этой планете вместе с отцом; но, вероятно, некоторые гости все же не постеснялись заглянуть на ту сторону. Кажется мне, что миссис Рузвельт заглянула. И я уверен, что агенты секретной службы — тоже. Им-то надо было всюду сунуть свой нос.

А увидели они на холсте только причудливо и дерзко разбросанные мазки, достойные подающего надежды художника; тогда отец жил в довоенной Вене и ему было всего двадцать лет. Это был набросок — нагая натурщица в студии, которую отец снял, съехав от своих венских родственников. В студии был верхний свет. На столе, покрытом клетчатой скатертью, стояло вино, сыр и хлеб.

Ревновала ли его мама к этой голой натурщице? Конечно нет. Этого и быть никак не могло. Когда отец начинал эту картину, маме было всего одиннадцать лет.

■

Этот набросок был единственной работой моего отца, какую мне довелось видеть. В 1960 году, когда отец скончался и мы с мамой переехали в наш крохотный трехкомнатный «нужничок» в Эвондейле, мы повесили картину отца над камином. Этот самый камин и стал причиной мамииой смерти, потому что каминная доска была сделана из радиоактивного цемента, оставшегося от программы «Манхэттен» — программы создания атомной бомбы во время второй мировой войны. Я думаю, этот набросок еще валяется где-нибудь в нашей конурке, потому что Мидлэнд-Сити теперь находится под охраной Национальной гвардии. А для меня этот этюд имеет особое значение. Он служит доказательством того, что мой отец хоть на минуту в ранней-ранней юности почувствовал, что себя самого и собственную жизнь он может воспринимать всерьез.

Я словно слышу, как он, глядя на свой многообещающий набросок, с удивлением говорит сам себе:

— Боже ты мой, а ведь я все-таки художник!

Но он ошибался.

■

И вот за тем ленчем, когда мы поели потрохов и запили их черным кофе с крекерами и сыром «Лидеркранц», миссис Рузвельт рассказала нам, с какой гордостью, как самоотверженно и напряженно работают все — даже женщины — у конвейера по сборке танков на заводе «Грин даймонд». Там они трудились денно и нощно. Даже во время ленча в День матери стены отцовской студии тряслись от грохота проходящих танков. Танки шли на полигон, расположенный на месте бывшей молочной фермы Джона Форчуна, где потом братья Маритимо построили целый поселок «нужничков», получивший название Эвондейл.

Миссис Рузвельт знала, что Феликс только что ушел в армию, и она сказала, что просит бога хранить его. Она сказала, что ее мужу горше всего сознавать, что победа достигается ценой стольких жертв, стольких молодых жизней.

Как и отец, она тоже подумала, что мне уже шестнадцать лет — ее сбил с толку мой высокий рост. Во всяком случае, она решила, что меня тоже вот-вот должны забрать в армию.

Но она надеялась, что до этого дело не дойдет.

А я надеялся, что мой голос успеет огрубеть.

Она сказала, что после победы мир обновится, жизнь станет чудесной. Всем, кто нуждается в пропитании, в лечении, окажут помощь, и люди будут свободно высказывать вслух все, что они думают, будут по своей воле выбирать себе религию, какая им придется по душе. Ни одно правительство не посмеет творить беззаконие, потому что против него тогда сплотятся все государства в мире. Вот почему никогда не будет никакого нового Гитлера. Его раздавят, как клопа, не успеет он оглянуться.

Тут отец спросил у меня, почистил ли я винтовку Спрингфилда. Это была теперь моя обязанность — выдав ключ от оружейной комнаты, на меня возложили обязанность чистить все оружие.

Теперь Феликс уверяет, что отец считал это такой честью и сделал из ключа какой-то фетиш только потому, что ему самому было просто лень хоть разок почистить ружье.

■

Помню, что миссис Рузвельт вежливо осведомилась, умею ли я обращаться с огнестрельным оружием. Мама тоже в первый раз услыхала, что отец дал мне ключ от оружейной комнаты.

Отец объяснил им, что мы с Феликсом умеем пользоваться огнестрельным оружием малого калибра лучше, чем большинство военнослужащих, и повторил то, что твердят обычно все члены Национальной стрелковой ассоциации: как прекрасна и естественна эта влюбленность каждого истинного американца в огнестрельное оружие. Отец добавил, что стал нас обучать стрельбе с такого раннего возраста, чтобы мы научились осторожности, чтобы она стала нашей второй натурой.

— Никогда у моих мальчиков не будет несчастных случаев при пользовании огнестрельным оружием,— сказал он,— потому что уважение к оружию вошло в их плоть и кровь.

Я ничего не возразил, но сильно сомневался в том, что наш Феликс и его приятель Бакки Морисси — сын начальника полиции — достаточно осторожны с огнестрельным оружием. Уже по крайней мере года два Феликс и Бакки без ведома отца брали любое оружие из его коллекции, стреляли ворон, садившихся на кладбищенские памятники, прерывали телефонную связь, расстреливая изоляторы на столбах вдоль Шепердстаунского шоссе, и одному богу известно, сколько почтовых ящиков они пробили по всему штату; а однажды они даже устроили стрельбу по стаду овец возле Пещеры святого чуда.

Мало того, после большого футбольного матча в День благодарения между командами Шепердстауна и Мидлэнд-Сити шепердстаунские головорезы поймали Феликса и Бакки, когда те возвращались домой со стадиона, и хотели их избить, но Феликс распугал всю шайку, выхватив из-за пояса спрятанный под курткой заряженный автоматический «кольт».

Шутить он не любил.

■

Но, хвастаясь нашей осторожностью, отец ничего не знал об этих проделках. И когда миссис Рузвельт отбыла, он послал меня в оружейную и велел безотлагательно вычистить винтовку Спрингфилда.

Для всех этот день был праздником матери, а я в этот день прошел обряд посвящения в мужчины, хотя вряд ли дорос до этого. Но я собственноручно убил цыплят. Я стал хозяином склада, где хранилось столько оружия и боеприпасов. Как же мне было не гордиться! Следовало хорошенько прочувствовать и продумать, чего я достиг. У меня в руках была винтовка Спрингфилда. Ей было любо лежать у меня в руках. Она и была создана по руке настоящего мужчины.

Мне так полюбилась эта винтовка — а она полюбила меня за то, что я утром так здорово стрелял из нее,— что я, не выпуская ее из рук, поднялся по стремянке на самый верх, в купол. Мне хотелось посидеть там в одиночестве, посмотреть с высоты на крыши города, подумать о том, что мой брат, может быть, пошел на смерть, слушать и ощущать, как внизу на улице грохочут танки. Ах, сладостная тайна жизни!

У меня в нагрудном кармане осталась обойма с патронами. Она лежала там с утра. Приятно было чувствовать ее. Я вложил обойму в магазин винтовки, потому что знал — ей это очень нравится. Она с жадностью глотала эти обоймы.

Я двинул затвор вперед, дослал патрон, и он ушел в патронник. Я закрыл затвор. Теперь винтовка была заряжена боевым патроном, и курок был взведен.

Для такого опытного стрелка, как я, ничего опасного тут не было. Я мог бы опустить боек, не дав ему ударить по капсюлю. А потом я бы еще раз щелкнул затвором, и боевой патрон отлетел бы в сторону, как стреляная гильза.

А я вместо этого нажал на спуск.

10

Элеонора Рузвельт, вся в мечтах о светлом будущем, уже подъезжала к другому городку, чтобы поднять настроение у рабочего люда. Конечно, выстрела она и не слыхала.

Мама и отец слышали, как я выстрелил. И соседи тоже слышали. Но никто не понял — то ли это выстрел, то ли нет: все заглушали грохот и выхлопы танков. Эти новые машины, впервые нажравшиеся бензина, давали очень громкие выхлопы.

Но отец поднялся наверх — посмотреть, все ли у меня в порядке. Мало сказать! Я был на седьмом небе. Я услышал шаги отца, но мне было не до него. Я все еще стоял у оконца в куполе, сжимая в руках винтовку Спрингфилда.

Отец спросил меня, слышал ли я выстрел. Я сказал:

— Да.

Он спросил: кто-нибудь стрелял? Я сказал:

— Не знаю.

Я не спеша, спокойно сошел вниз по лестнице. Теперь у меня есть своя тайна. Буду, как сокровище, хранить в памяти выстрел из винтовки Спрингфилда над крышами нашего города.

Я никуда не целился. Не помню, задумался ли я о том, куда же попала пуля. Во всяком случае, я считал себя безупречным стрелком. Раз я ни во что не целился, значит, я ни во что и не попал.

Пуля для меня была чисто символической. А разве символ может кого-нибудь ранить? Для меня она была просто символом того, что я уже расстался с детством, стал настоящим мужчиной.

Почему же я не стрелял холостым патроном? Может быть, тогда выстрел стал бы символом чего-то совсем другого?

■

Я выбросил гильзу в корзинку, куда бросали все стреляные гильзы; их потом отдавали в утиль. Гильза стала членом великого военного братства «безымянных стреляных гильз».

Я разобрал винтовку, вычистил ее как следует, снова собрал — это я умел делать даже вслепую — и поставил на место.

Винтовка была моим лучшим другом.

Я вернулся к сидевшим внизу взрослым. Оружейную комнату я тщательно запер. Не всякому можно доверять все эти ружья. Не каждый умеет с ними обращаться. Есть же такие дураки, которые ни черта не смыслят в огнестрельном оружии.

■

После визита миссис Рузвельт я помог Мэри Гублер убрать со стола. Никто не замечал, что я помогаю нашей прислуге. Слуги у нас всегда были, но их считали невидимками. Мама и отец никогда не интересовались — кто их обслуживает, кто приносит и уносит все, что надо.

Конечно, я совершенно не был похож на девчонку. Никогда я не наряжался в женское платье; к тому же я был хорошим стрелком, играл и в футбол и в бейсбол и так далее. Разве странно, что я любил готовить? Лучшими поварами в мире всегда были мужчины.

В тот раз на кухне, после визита миссис Рузвельт, пока наша повариха Мэри Гублер мыла посуду, а я вытирал, Мэри сказала, что сегодня был самый знаменательный день в ее жизни. Она видела миссис Рузвельт и будет об этом рассказывать детям и внукам, и такого дня ей уже не видать. Таких великих событий в ее жизни никогда больше не будет.

У парадного входа раздался звонок. Конечно, большие ворота каретника были заперты на засов и на замок уже год — после того дурацкого случая с бедняжкой Селией Гилдрет. Теперь к нам опять входили через обыкновенную дверь.

Я услышал звонок и открыл. Ни мама, ни отец никогда сами дверей не открывали. За дверью стоял начальник полиции Морисси. У него был очень встревоженный и очень таинственный вид. Он сказал, что не хочет заходить, чтоб не тревожить мою маму, и попросил меня незаметно вызвать отца к нему, поговорить. Сказал, чтобы я тоже присутствовал при этом разговоре.

Даю честное слово: я и не подозревал, что стряслось какое-то несчастье.

Я вызвал отца. Значит, у нас с ним и с начальником полиции Морисси есть свои мужские дела, такие дела, о которых женщинам лучше не знать. Все равно они наверняка ничего не поймут. Я как раз вытирал руки чайным полотенцем.

А сам Морисси, как я узнал после — тогда я еще ничего не подозревал,— был повинен в убийстве: это он случайно, в молодости, застрелил из ружья Августа Гюнтера.

Теперь он тихо сообщил отцу и мне, что Элоиза Метцгер, беременная жена заведующего отделом городских новостей газеты «Горнист-обозреватель» Джорджа Метцгера, только что убита выстрелом из винтовки — она пылесосила ковер в спальне для гостей на втором этаже их дома на Гаррисон авеню, в восьми кварталах от нас. Стекло пробито пулей.

Внизу домашние забеспокоились, услышав, что пылесос гудит и гудит на одном месте.

Начальник полиции Морисси сказал, что смерть миссис Метцгер была мгновенной, так как пуля попала ей прямо в лоб. Боли она не почувствовала. Она даже не узнала, что ее сразило.

Пулю подняли с пола спальни; она была в медной оболочке и потому осталась целехонька, хотя и пробила стекло и голову миссис Метцгер.

— Послушайте, я спрашиваю вас обоих как старый друг вашей семьи,— сказал Морисси,— пока не началось официальное расследование и я для вас просто человек, да еще семейный: скажите, никто из вас не знает, откуда примерно час тому назад могла взяться винтовочная пуля калибра семь и шестьдесят две сотых в медной оболочке?

Я умер.

Но остался в живых.

■

Отец точно знал, откуда взялась пуля. Он слышал выстрел. Он видел меня на верху лестницы, в куполе, с винтовкой Спрингфилда в руках.

Он со свистом втянул воздух сквозь крепко сжатые зубы. Такой звук издавали мученики, когда их пытали. Он сказал:

— Господи!..

— Да,— сказал Морисси. Видно было, что он понимал: все равно проку не будет, даже если нас строго накажут за этот несчастный случай — такое ведь с любым может стрястись.

Конечно, он со своей стороны сделает все, что в его силах, чтобы все в городе поняли, что это просто несчастный случай. Может быть, даже удастся убедить людей, что пуля прилетела неизвестно откуда.

Все знают, что не у нас одних в городе есть винтовка калибра 7,62.

Я немного ожил. Взрослый, облеченный властью человек, сам начальник полиции, верит, что я ничего плохого не сделал. Просто мне не повезло. Такое несчастье со мной больше никогда не повторится. Это уж точно.

Я перевел дух. Я ему поверил.

11

Значит, все будет в полном порядке.

Я твердо уверен, что и жизнь отца, и жизнь моей матери, и моя жизнь была бы в полном порядке, если бы отец не сделал того, что он сделал в следующую минуту.

Он полагал, что при своем положении в обществе он обязан вести себя благородно, ничего другого ему не остается.

— Стрелял мой сын,— сказал он,— но виноват один я.

— Постой, Отто, погоди минутку,— предостерег его Морисси.

Но отец уже сорвался с места и кинулся в дом, крича матери и Мэри Гублер и всем, кто мог его услышать:

— Я виноват! Я во всем виноват!

Подошли еще несколько полицейских. Они вовсе не собирались арестовывать или хотя бы допрашивать ни меня, ни отца, они просто хотели доложиться Морисси. Они совершенно не собирались делать нам ничего плохого без приказаний Морисси.

И они, конечно, слышали, как отец каялся: «Я во всем виноват».

■

Кстати, зачем было беременной женщине, матери двоих детей, возиться с пылесосом в праздничный день, в День матери? Сама виновата: она прямо-таки напрашивалась, чтобы ей влепили пулю в лоб, верно?

■

Феликс, конечно, пропустил самое интересное — он ехал в военном автобусе, направлявшемся в Джорджию. Его даже назначили старшим в этом автобусе — уж очень мощный командирский бас был у него,— но все это пустяки по сравнению с тем, что творилось со мной и с отцом.

И Феликс никогда почти ничего не говорил о том, что случилось в этот роковой день — в День матери. Только недавно, уже здесь, в Гаити, он вдруг сказал мне:

— А знаешь, почему наш старик взвалил на себя всю вину?

— Нет,— сказал я.

— Это было первое настоящее событие в его жизни. И ему захотелось посмаковать этот подарок судьбы. Наконец-то с ним что-то приключилось! И он хотел, чтобы это приключение тянулось как можно дольше!

■

И вправду, отец устроил из всего этого настоящий цирк. Он не только покаялся безо всякой надобности, он еще схватил молоток, лом, долото и кривой нож-мачете, которым я рубил головы цыплятам, и затопал вверх по лестнице к оружейной комнате. У него был свой ключ, но им он не воспользовался. Он с размаху сшиб и расколотил замок.

Его никто не удерживал — все остолбенели от страха.

И никогда, честно скажу, ни разу он ни в чем, ни на одну секунду, ни единым словом не обвинил меня. Всю вину он взял на себя, всю жизнь считал, что только он, он один виноват во всем и до конца жизни ему не искупить эту вину. Выходит, я был просто ни в чем не повинным и перепуганным насмерть зрителем этого спектакля вместе с мамой, и Мэри Гублер, и начальником полиции Морисси, и, кажется, еще восемью полицейскими.

Отец переломал все винтовки, просто лупил по всей стойке молотком. Во всяком случае, ему удалось их согнуть, расщепить. Было разбито несколько старинных ружей. Интересно, сколько стоила бы эта коллекция теперь, если бы она досталась мне и Феликсу в наследство? Думаю, что не меньше ста тысяч долларов, а может, и больше.

Отец поднялся в купол, где я побывал так недавно. И там он умудрился сделать то, что, как говорил потом Марко Маритимо, вообще не под силу одному человеку, да еще с такими мелкими и неподходящими инструментами. Отец подсек основание купола и скинул его вниз. Купол сорвался с уцелевших слабых креплений, покатился по шиферной крыше и грохнулся вместе с флюгером прямо на машину начальника полиции Морисси, стоявшую внизу, у входа.

И воцарилась мертвая тишина.

Я и все остальные зрители стояли внизу, у лестницы, ведущей в оружейную комнату, и смотрели вверх. Да, отец устроил в Мидлэнд-Сити, штат Огайо, настоящую душераздирающую мелодраму. Но вот она кончена. Главный герой возвышался над нами, побагровевший с натуги; он тяжело дышал, но все же неимоверно гордился собой, стоя под открытым небом и подставив грудь ветру.

12

По-моему, отец очень удивился, когда после всех этих событий нас с ним доставили в тюрьму. Правда, он никогда ни с кем об этом не говорил, но я думаю — и Феликс со мной согласен,— он был настолько не от мира сего, что вообразил, будто достаточно переломать ружья и сорвать крышу с дома, и все само собой уладится.

Он решил заплатить за свою преступную халатность, не дожидаясь, пока ему предъявят счет за то, что он доверил мальчишке оружие и боеприпасы. Вот это класс!

И я понял это, увидев, как он гордо стоит на верхней ступеньке лестницы, на фоне неба, и я с радостью уверовал, что так оно и будет: расплатился сполна, ей-богу, расплатился сполна!

А нас взяли и увезли в кутузку.

Мама слегла в постель и неделю не вставала.

Марко и Джино Маритимо, у которых были в распоряженни сотни рабочих, еще до вечера лично явились латать крышу. Их никто не звал. Весь город уже знал, в какой переплет мы попали. Но, разумеется, люди больше всего жалели мужа и двоих детей той женщины, которую я убил.

К тому же Элоиза Метцгер была на сносях, так что я, в сущности, разом убил двоих.

Помните, что сказано в Библии: «Не убий».

■

Начальник полиции Морисси уже отказался от всяких попыток спасти отца и меня, раз уж отцу так нравилось каяться и добиваться кары и возмездия. Он махнул рукой и оставил нас на попечении доброго пожилого лейтенанта и стенографиста. Отец велел мне подробно описать, как я выстрелил из винтовки, и я все рассказал коротко и начистоту. И стенографист все записал.

А потом отцу вздумалось добавить от себя — и его слова тоже застенографировали:

— Он ведь еще совсем мальчишка. По закону и по совести за его действия ответственны мы — я и его мать. За все, кроме пользования огнестрельным оружием. Тут я один отвечаю за то, что позволил ему брать оружие, и только я один отвечаю за ужасный случай, который произошел сегодня днем. Сын всегда был послушным ребенком и вырастет стойким и честным мужчиной. Я ни в чем не могу упрекнуть его. Я сам дал ему винтовку и боевые патроны, хотя он для этого еще слишком мал, и оставил его без присмотра.

Отец тогда уже знал, что мне всего двенадцать лет, а не шестнадцать или «около того».

— Отпустите его, он тут ни при чем. И моя несчастная жена тоже ни при чем. Я, Отто Вальц, будучи в здравом уме и твердой памяти, подтверждаю под присягой и клянусь спасением души, что я, и только я, виноват во всем.

■

По-моему, он опять очень удивился, когда нас не отпустили домой. Разве можно было еще чего-то требовать от человека после такого исчерпывающего признания?

Но его отвели в камеру в подвале полицейского управления, а меня посадили в камеру на верхнем, третьем этаже, куда сажали женщин и малолетних преступников моложе шестнадцати лет. Там сидела только одна арестованная — негритянка из пригорода, которую сняли с автобуса за то, что она избила белого шофера. Родилась она далеко на Юге. От нее-то я и услышал впервые, что при рождении наш смотровой глазок открывается, а когда он закроется — это и есть смерть.

Там, где она родилась, все это знают. Она сказала, что теперь жалеет, что отколошматила водителя автобуса — он оскорбил ее только за то, что она черная.

— Просила я кого-нибудь, чтобы мой смотровой глазок открылся? А он вдруг открылся в один прекрасный день, и я услышала: «Вот еще одна черномазая. Черным родиться — с бедой породниться». А когда у этого бедняги шофера, которого из-за меня свезли в больницу, смотровой глазок открылся, он услышал, как над ним говорят: «А этот — белый. Беленький, счастливчик».

Помолчав, она продолжала:

— Открылся мой смотровой глазок. Вижу — женщина, спрашиваю: «Ты кто?» А она говорит: «Я твоя мама». А я спрашиваю: «Как живем, мама?» А она мне: «Худо живем. Денег нету, работы нету, жить негде, папа твой на каторге, а у меня уже семеро детей, кроме тебя, проклюнулись их смотровые глазки, и все тут». Я говорю: «Мама, может, ты знаешь, как мой смотровой глазок закрыть, вот и закрой, да поскорей». А она говорит: «Ты меня, дитя, лучше не искушай! Это тебя нечистый подбивает!»

Она спросила меня, как это белый мальчик, такой аккуратненький, нарядный, взял да и угодил в тюрьму. И я рассказал ей, что произошел несчастный случай. Я чистил винтовку, а она случайно выстрелила и убила женщину, так далеко, что я и не видел.

Я уже репетировал свою оправдательную речь, хотя отец считал, что тут и говорить не о чем.

— Ох, господи боже ты мой,— сказала мне негритянка.— Закрыл ты чей-то глазок. Неладно вышло, ох как неладно...

■

Мне тогда показалось, что мой смотровой глазок только сию минуту открылся и я еще не успел привыкнуть к тому, что вижу и слышу, а мой отец уже снес крышу с нашего дома, и все называют меня убийцей. Слишком уж быстро все происходит на нашей планете.

Я и дух не успел перевести.

Но в полиции все было спокойно. Да и что могло произойти в тихий воскресный вечер?

Часто ли заведомые убийцы сидели в тюремной камере в Мидлэнд-Сити? Тогда я ничего не знал, но я просмотрел впоследствии статистику преступности за 1944 год. Убийц у нас до тех пор не бывало. Случаев со смертельным исходом было всего восемь: три дорожно-транспортных происшествия, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и одно дорожно-транспортное происшествие, совершенное в трезвом состоянии. Одного человека пришибли в драке в негритянском ночном клубе. Еще одного — в ночном клубе для белых. Какой-то человек застрелил своего зятя, приняв его за вора. А теперь добавилось еще одно дело: я убил Элоизу Метцгер.

Я не подлежал суду как несовершеннолетний. Судить могли только моего отца. Морисси объяснил мне все заранее — в самом начале, когда он еще думал, что мы с отцом можем надеяться на благоприятный исход дела. Так что я не боялся, хотя мне было не по себе.

Но вот чего я не знал: Морисси тем временем решил, что мы с отцом и в самом деле опасные идиоты, потому что мы не только выкладываем все как на духу, но еще и наговариваем на себя. Конечно, сограждане дойдут до белого каления: выходит, мы чуть ли не гордимся тем, что я так метко влепил пулю в лоб миссис Метцгер. Словно миссис Метцгер и ее осиротевшие чада и домочадцы — это нам трын-трава. А вот мы, папаша и я, видно, считаем себя кинозвездами, раз закатываем сцены раскаяния, как в кино.

Морисси нас больше не выгораживал, и над нашими головами мало-помалу, исподволь, как при съемке «рапидом», сгущались тучи, угрожая пародией на взаправдашний суд Линча. Для начала, когда я лежал без сна на своей койке, стараясь забыть, что со мной стряслось, меня вдруг окатили из ведра ледяной водой.

Два полицейских рывком поставили меня на ноги, завернули мне руки за спину и надели наручники. Они защелкнули у меня на ногах кандалы и потащили в комнату на том же этаже, чтобы, как они заявили, снять отпечатки пальцев.

Я был высокий, но очень хлипкий и легкий, как коробок спичек. Только в одном я мог сравняться с настоящим мужчиной — я умел противостоять отдаче тяжелого ружья. На стрельбище охотничьего клуба под руководством отца и брата я научился напрягать все тело, чтобы выдержать отдачу мощной винтовки, охотничьего ружья или револьвера — выдержать легко, весело и тут же вновь изготовиться к стрельбе.

Отпечатков пальцев оказалось мало. Полицейские решили снять еще и отпечаток лица. Они сначала сунули мою руку в неглубокую кювету с липкой черной краской, а потом ткнули меня туда лицом.

Когда мне дали поднять голову, один из полицейских сказал, что вот теперь я стал настоящим черномазым. До этой минуты я думал, что полицейские — мои лучшие друзья и вообще лучшие друзья всем людям.

■

Меня решили выставить на всеобщее обозрение в специальной клетке для преступников, которые дожидались следствия,— в подвале старого здания окружного суда, на другой стороне улицы. Было десять часов вечера. День матери еще не кончился. В суде никого не было. В верхних этажах даже не включили свет. Свет зажгли только в подвале.

Полицейские считали, что мне незачем появляться перед людьми в приличном виде — пускай всем будет ясно, что и полиция возмущена моим преступлением. Но насажать мне синяков, как взрослому преступнику, они не решились — как бы это не вызвало сочувствия. Поэтому они ткнули меня носом в липкую черную жижу.

И все это было грубым нарушением Билля о правах Конституции Соединенных Штатов Америки.

■

Меня посадили в эту клетку в подвале суда. Клетка была большая, прямоугольная, из прочной металлической сетки, натянутой между вертикальными железными трубами. Клетка была доступна для обозрения со всех четырех сторон. В ней стояли скамейки. Человек на тридцать, как мне показалось. Там было полно плевательниц, но уборной не было, так что, когда одному из заключенных надо было выйти, приходилось вызывать кого-нибудь и под конвоем выводить его в ближайшую уборную.

Кандалы с меня сняли.

Зрители еще не собрались. По ту сторону проволочной сетки оказались только полицейские. Они и показали мне то, что мне предстояло увидеть еще не раз — пальцы, скрюченные и вцепившиеся в ячейки сетки. Один за другим люди — мужчины и женщины — будут продираться к решетке, расталкивая толпу, чтобы поглазеть на меня вблизи, и все они, почти машинально, будут так же цепляться пальцами за сетку.

Глянь-ка на обезьянку!

■

Кто же были те люди, что пришли поглазеть на обезьянку? Многие из них были просто родные и знакомые полицейских; как видно, их приглашали примерно вот так: «Хотите взглянуть на мальчишку, который сегодня убил беременную женщину? Приходите, он сидит у нас в подвале. Я уж вас пропущу. Только смотрите — никому ни словечка. А то набежит толпа — хлопот не оберешься».

Но были и почетные гости — уважаемые граждане, влиятельные лица, которым, как считается, надо знать все. Дежурный полицейский позвонил им по телефону, полагая, что им необходимо «быть в курсе». Пускай посмотрят. Долг есть долг, ничего не попишешь. Многие пришли с семьями. Принесли даже грудного младенца.

Насколько мне известно, только два человека сказали полицейским, что выставлять мальчишку на всеобщее обозрение в клетке — гнусное беззаконие, от которого разит средневековьем, и так далее. Это были, разумеется, братья Джино и Марко Маритимо — по правде говоря, единственные друзья, которые остались нам верны. Знаю я это только потому, что братья сами мне рассказывали. Их пригласили вскоре после того, как они заделали дыру в нашей крыше на месте свергнутого купола. Это постыдное приглашение было сделано таким тоном, как будто речь шла о самом обычном развлечении.

■

Я как-то уже упоминал об Александре Вулкотте, знаменитом радиокомментаторе, писателе и остроумнейшем человеке, который был когда-то у нас в гостях. Он придумал чудесное прозвище для пишущей братии: «Подонки, запятнанные чернилами».

Поглядел бы он на меня в моей клетке.

■

Два часа подряд я высидел на той скамейке. Я молчал, слушая разные выкрики. Иногда я сидел прямо. Иногда я весь съеживался, опускал голову и руками, заляпанными чернилами, зажимал то уши, то глаза, тоже заляпанные чернилами. Под конец мой мочевой пузырь чуть не лопнул. Я напустил прямо в штаны, только чтобы никого не звать. Ну и что? Я был все равно что цирковой урод. Или дикарь с острова Борнео.

■

Впоследствии, беседуя с древними стариками, я выяснил, что в Мидлэнд-Сити я был единственным выставленным на позор преступником с тех пор, когда приговоренных к смерти вешали публично на площади перед зданием суда. Меня наказали с вопиющей, невиданной жестокостью. Это был беспрецедентный случай. Но все сочли, что это вполне нормально, за исключением братьев Маритимо и, как ни странно, Джорджа Метцгера, заведующего отделом городских новостей газеты «Горнист-обозреватель», мужа той самой женщины, которую я убил несколько часов назад.

Но до прихода Джорджа Метцгера зрители вели себя так, будто для них издеваться над негодяями — дело привычное. Может, они частенько мечтали об этом. Они явно считали, что я обязан выслушивать их внимательно и почтительно.

Чего только я не слышал: «Эй, ты! С тобой разговаривают, понял?» или: «Черт подери, смотри мне в глаза, сукин ты сын», и так далее.

Они поминали друзей и родственников, раненных или убитых на войне. Некоторые из них были жертвами аварий на производстве, здесь, в глубоком тылу. Но их нравственные выкладки были куда как просты. Все эти солдаты, моряки и даже рабочие на военных заводах отдают самое дорогое, что у них есть,— жизнь, чтобы на земле было побольше доброты, а я взял да и отнял жизнь, частицу этой доброты.

Что же я сам думал о себе? Я думал, что я, как видно, просто выродок, недочеловек и мне теперь не место на нашей планете. Если человек вдруг стреляет из вин-

товки Спрингфилда над крышами родного города, значит, у него в голове винтиков не хватает!»

И если бы я захотел ответить на все эти выкрики, я, наверное, должен был бы повторять как заведенный: «У меня винтиков в голове не хватает! Винтиков не хватает!»

■

Селия Гилдрет подошла к клетке. Я не видел ее целый год после того жуткого вечера перед балом, но я ее сразу узнал. Она по-прежнему была первой красавицей в городе. Не могу понять, зачем они ее пригласили. Наверное, приглашение получил ее спутник. Она шла под руку с Двейном Гувером — тогда он, по-моему, был каким-то гражданским инспектором от авиационного корпуса сухопутных сил.

Почему-то он не служил в армии. Я-то знал, кто он такой, потому что он превосходно разбирался в автомобилях и мой отец иногда приглашал его привести в порядок наш «кидслер». Впоследствии Двейн женился на Селии и стал самым преуспевающим продавцом автомобилей в наших местах.

Селия покончила с собой в 1970 году, двенадцать лет назад, наглотавшись «Драно», порошка для чистки канализации — это смесь щелока и цинковой стружки. Такого жуткого самоубийства я даже вообразить не могу. А было это за несколько месяцев до открытия Мемориального центра искусств имени Милдред Бэрри.

Селия знала, что скоро откроется Центр искусств, а наша радиостанция, все политиканы и прочие говорили, как преобразится жизнь в Мидлэнд-Сити. Но под рукой у Селии была банка «Драно» с разными угрожающими надписями, а ждать ей уже стало невмоготу.

Повидал я горя на своем веку.

13

Теперь, когда я хорошо знаком с Гаити, знаю и здешних колдунов, и знахарей, знаю про всякие заклинания и амулеты, про добрых и злых духов, которые могут вселяться в любое живое существо, в любую вещь, я иногда думаю — имеет ли хоть малейшее значение, что именно я сидел в клетке в подвале старого здания суда в тот давний день. Вместо меня можно было засадить в клетку какую-нибудь корягу, или кость диковинной формы, или сляпанную из глины куклу с соломенными волосами — лишь бы все верили, что в эту куклу вселилась нечистая сила, что это воплощение зла, каким в Мидлэнд-Сити считали меня.

Все почувствовали себя хоть на время в безопасности. Воплощение зла заперто в клетку, скорчилось там на узкой скамейке.

Можете сами на него полюбоваться.

■

В полночь все посторонние лица были удалены из подвала.

— Все, граждане,— говорили полицейские,— представление окончено,— и так далее. Они имели право называть меня «представлением». Я был зрелищем, вроде театра.

Но из клетки меня не выпустили. А как славно было бы принять теплую ванну, забраться в свою постель, лечь на чистые простыни и спать до самой смерти.

Мучения мои еще не кончились. Меня охраняли шесть полицейских — трое в форме, трое в штатском, но все — с револьверами. Я мог бы даже назвать марку и калибр револьверов. Не было там ни одного такого, который бы я не сумел разобрать, тщательно вычистить и снова собрать. Я точно знал, куда надо капнуть масла. И если бы мне в руки дали эти револьверы, я мог бы гарантировать, что ни один из них не даст осечки.

Очень неприятно, когда револьвер дает осечку.

Шесть дежурных полицейских заведовали представлением под названием «Руди Вальц», и по их виду я понимал, что сейчас объявлен антракт, но спектакль не кончился. На меня пока не обращали внимания, как будто дали занавес.

Внезапно полицейские ожили, словно их включили в сеть. Наверху распахнулась и захлопнулась дверь. Кто-то крикнул: «Он тут!» Полицейские откликнулись, как эхо: «Он тут, он тут». Никто не назвал посетителя, но это был кто-то особенный, необыкновенный. И я услышал его шаги по лестнице.

Я подумал: а вдруг это палач? Или, может, пришел сам начальник полиции Фрэнсис Кс. Морисси, давнишний друг нашей семьи, который еще ни разу не показывался. А может быть, это мой отец?

Это был Джордж Метцгер, овдовевший в тридцать пять лет, муж той женщины, которую я застрелил. Тогда ему было на пятнадцать лет меньше, чем мне теперь, когда я пишу эту книгу, он был еще совсем молодым, но мне, в моем тогдашнем возрасте, он казался стариком. У него уже была лысина на макушке. Он был худой, очень горбился, и одет он был странно, у нас в Мидлэнде никто так не одевался: на нем были серые фланелевые брюки и твидовый спортивный пиджак — позже, уже в университете Огайо, я увидел, что так одевались профессора-англичане. Он целыми днями сидел в редакции «Горниста-обозревателя» и что-то строчил.

Я не знал, кто он такой. У нас дома он никогда не бывал. Да и в нашем городе он прожил всего год. Он был бродячим газетчиком. Его к нам переманили из редакции «Индианаполис таймс». Впоследствии, на судебном процессе, выяснилось, что он — сын бедных родителей, родился в Кеноше, в штате Висконсин, учился в Гарварде и дважды плавал в Европу на пароходах-скотовозах, отрабатывая проезд. А наш адвокат пытался сыграть на том, что он когда-то был членом коммунистической партии и пытался вступить в бригаду имени Авраама Линкольна во время гражданской войны в Испании.

Метцгер носил очки в толстой роговой оправе, глаза у него покраснели от слез, а может, и от табачного дыма. Спускаясь ко мне в подвал, он тоже курил, а сзади шел сыщик, которого за ним посылали. И он вел себя так, будто он сам преступник, докуривал свою сигарету с таким видом, будто это его последняя сигарета перед расстрелом и сейчас его поставят к стенке.

Я бы ничуть не удивился, если бы полицейские тут же пристрелили этого беднягу у меня на глазах. Я уже ничему не удивлялся. Я до сих пор ничему не удивляюсь. Я застрелил беременную женщину и вызвал этим лавину совершенно немыслимых последствий.

Как я могу вообще спокойно вспоминать мою первую встречу с Джорджем Метцгером? Вот какой фокус я придумал, чтобы спокойно вспоминать самое жуткое в моей жизни. Я твержу себе, что это просто пьеса. И все живые люди — просто актеры. Они и ведут себя как положено на сцене. Передо мной не жизнь, а произведение искусства.

Итак:

Подвал. Полночь. Шестеро полицейских выстроились у стены. Руди, мальчик, измазанный чернилами, сидит в клетке посреди подвала. По лестнице с сигаретой во рту спускается Джордж Метцгер, чью жену недавно застрелил Руди. За ним с видом церемониймейстера идет сыщик. Полицейские затаили дух в предвкушении событий. То-то будет забава.

Метцгер (увидев Руди, в ужасе). **Господи боже! Что это такое?**

Сыщик. **Это малый, что застрелил вашу супругу, мистер Метцгер.**

Метцгер. **Что вы с ним сделали?**

Сыщик. **Да не волнуйтесь вы за него. Он в порядке. Хотите, он вам споет-спляшет? Мы его заставим спеть и сплясать.**

Метцгер. **С вас станется.**

Пауза.

Ладно. Я посмотрел, какой он. Отпустите меня домой, к детям.

Сыщик. **А мы-то думали, что вы ему скажете пару слов...**

Метцгер. **Разве это обязательно?**

Сыщик. **Нет, сэр. Но мы с ребятами подумали и решили: надо вам предоставить эту драгоценную возможность.**

Метцгер. **Я думал, это официальное приглашение! Вы приказали, чтобы я следовал за вами.** (Вдруг сообразив, что происходит.) **Но это же не официально! Это... Это не по правилам!**

Сыщик. **Да нас тут и нет, никого нет. Я дома, сплю. И вы спите. И ребята спят у себя дома. Верно, ребята?**

Полицейские притворно храпят.

Метцгер (с гадливым любопытством). **Но чего вы от меня ждете, джентльмены? Чего бы вам хотелось?**

Сыщик. Вот если бы вы сейчас вырвали у кого-нибудь из нас револьвер да пульнули в этого богача, в сволочь нацистскую, в этого засранца, мы бы вам и слова не сказали. Правда, нам было бы не так просто выпутаться. Тут такое бы началось — всем сразу глотки не заткнешь.

Метцгер. Значит, по-вашему, мне лучше ограничиться словесными оскорблениями?

Сыщик. Кое-кто вместо слов пускает в ход каблуки да кулаки.

Метцгер. Значит, я должен его избить?

Сыщик. Боже упаси! Как вам могла прийти в голову такая чушь?

Полицейские, кривляясь, изображают возмущение и ужас — как можно такое подумать!

Метцгер. Я только спросил.

Сыщик. А ну-ка, ребята, давайте его сюда!

Полицейские бросаются отпирать клетку, выволакивают Руди. Он в ужасе рвется у них из рук.

Руди. Я не виноват! Простите! Я нечаянно! Я не знал! (И так далее.)

Двое полицейских держат Руди перед Метцгером — пусть он ему задаст как следует, измордует в свое удовольствие.

Сыщик (к Метцгеру и Руди). Мало ли что бывает. Люди частенько с лестницы падают. Мы их сами и в больницу отвозим. Сплошь да рядом такое случается — с пьяницами, с неграми, которые забывают, где их место. Но вот такой пижон, малолетний убийца, нам еще никогда не попадался.

Метцгер (ему хочется поскорее уйти, он чувствует, что жизнь его доконала). Что же это за день такой...

Сыщик. Не желаете отхлестать его как следует по мягкому месту? А ну, мальчики, спускай с него штанишки, пусть дядя его отшлепает.

Полицейские спускают с Руди штаны, заставляют его повернуться и нагнуться — спиной к Метцгеру.

Эй, кто-нибудь, дайте человеку чем сподручнее отхлестать этого малого по заднице!

Остальные полицейские ищут какое-нибудь подобие хлыста. Первый полицейский поднимает с пола кусок электрокабеля фута в два длиной и с довольной миной подает его Метцгеру. Тот берет машинально, не глядя.

Метцгер. Большое спасибо.

Первый полицейский. Пожалуйста!

Руди. Простите! Я же нечаянно!

Все молча ждут первого удара. Метцгер, не двигаясь, вдруг взывает к высшим силам.

Метцгер. Боже! Зачем ты сотворил такое зверье, как мы? Мы не имеем права жить! (Роняет хлыст, поворачивается, идет к лестнице, тяжело поднимается вверх по ступенькам.)

Все застыли на месте. Дверь наверху отворяется и захлопывается. Руди все еще стоит, согнувшись. Проходит двадцать секунд.

Первый полицейский (будто во сне). Господи, как же он до дому доберется?

Сыщик (будто во сне). Пешочком. Погода хорошая.

Первый полицейский. А далеко он живет?

Сыщик. В шести кварталах отсюда.

Занавес.

■

Конечно, это было не совсем так. Я в точности все не запомнил. Но в общем примерно так оно и было.

Мне позволили выпрямиться, натянуть штаны. Умыться мне так и не дали. Но мистер Метцгер все же сумел привести в чувство этих не злых от природы деревенских ребят, служивших в полиции, показать им, до какого озверения они дошли.

Больше надо мной не издевались и немного спустя отвезли домой, к маме.

Так как мистер Метцгер был мужем той женщины, которую я застрелил, он мог не только уговорить полицию больше меня не трогать, но и повлиять на общественное мнение всего города, чтобы меня все же простили. Что он и сделал — на другой день

после моей несчастной оплошности поместил в нашей газете «Горнист-обозреватель» короткое заявление в траурной рамке:

«Моя жена убита механизмом, который никогда не должен попадать в руки ни одному человеку. Называется он — огнестрельное оружие. Он выполняет мгновенно, на расстоянии, самое черное из всех человеческих желаний: убить.

Вот оно, воплощение зла.

Мы не в силах покончить со злыми желаниями, одолевающими род человеческий. Но мы можем покончить с механизмами, которые осуществляют злые желания.

Я даю вам священную заповедь: РАЗОРУЖАЙТЕСЬ».

14

Пока я сидел в клетке, другие полицейские избили моего отца в полицейском управлении, в доме напротив. Не надо было ему отказываться от простого и легкого выхода, который предлагал начальник полиции Морисси. Но теперь было уже поздно.

Полицейские и вправду спустили его с лестницы, даже не стали делать вид, что он сам свалился. Очевидно, начались всякие дурацкие расистские разговоры. Отец потом вспоминал, как он лежал и кто-то, стоя над ним, издевательски спрашивал: «Ну что, нацист, нравится быть негритосом, а?»

Меня привели повидаться с отцом после моей встречи с Джорджем Метцгером. Отец лежал в подвальном помещении, избитый, в полном отчаянии.

— Взгляни на своего никудышного отца,— сказал он.— Ничтожный я человек.— Если он и удивился, увидев меня, то очень удачно это скрыл. Он с таким упоением играл роль беспомощного, никудышного человека, что, по-моему, даже не заметил, что его собственный сын вымазан чернилами с ног до головы. Он даже не спросил меня, что со мной сделали.

И ему в голову не пришло, что не надо бы мне слышать его покаянные речи о том, как его еще в юности совратили, как он стал пьянствовать и шляться по публичным домам. Я бы так никогда и не узнал, что они со стариком Гюнтером вытворяли, когда вся семья была уверена, что они посещают музеи и студии художников. И Феликс никогда бы об этом не узнал, если бы я ему не рассказал. А мама так ничего и не узнала, в этом я уверен.

Я-то, конечно, ей ни слова не сказал.

Может, двенадцатилетний мальчишка как-нибудь и примирился бы с этими откровениями — ведь все это было давным-давно. Но отцу еще вздумалось добавить, что он до сих пор регулярно ходит к девкам, хотя у него самая чудесная женушка на свете. Он совсем пал духом.

■

А полиция к этому времени поутихла. Наверное, многие опомнились, сами удивились, что это они натворили.

Может, сам начальник полиции Морисси сказал: мол, хватит, кончайте. Адвоката у нас не было, защищать наши права было некому. Взять адвоката отец отказался наотрез. Но окружной прокурор или еще кто-то, как видно, велел, чтобы меня отправили домой и перестали валять дурака.

Во всяком случае, после свидания с отцом меня усадили на жесткую скамейку в коридоре и велели ждать. Меня оставили одного, я по-прежнему был весь в чернилах. Я мог встать и уйти. Полицейские ходили мимо, не обращая на меня никакого внимания.

И тут молодой полицейский в новой форме остановился около меня с таким видом, будто ему велели вынести ведро с помоями, и сказал:

— А ну, встань, убивец. Велено тебя препроводить домой.

На стене висели часы. Они показывали час ночи. Закон мной больше не занимался. По закону я был просто свидетелем по делу о преступной небрежности при хранении опасного оружия. Скоро должно было начаться следствие. Мне предстояло давать свидетельские показания.

■

И вот самый заурядный полицейский повез меня домой. Смотрел он на дорогу, но думал все время обо мне. Он сказал, что теперь я всю жизнь должен думать о

миссис Метцгер, о том, что она лежит в холодной могиле, и что на моем месте он бы, может, руки на себя наложил. Он выразил надежду, что кто-нибудь из родственников миссис Метцгер рано или поздно отомстит мне, когда я меньше всего буду этого ждать,— может, завтра, а может, когда я уже вырасту, буду полон надежд, сделаю блестящую карьеру, обзаведусь семьей. И тот, кто будет мне мстить, наверное, всласть поизмывается надо мной.

Я был слишком опустошен, полумертв, я ни за что не запомнил бы его имя, но он меня заставил его заучить. Звали его Энтони Сквайрс, и он сказал, что мне непременно надо запомнить его имя — ведь я, наверное, захочу на него наябедничать, потому что всем полицейским велено разговаривать с задержанными вежливо при любых обстоятельствах, а он всю дорогу будет обзывать меня и нацистским ублюдком, и кучей кошачьего дерьма, и еще обругает меня всякими словами, печатными и непечатными, какие только придут на ум.

Он еще объяснил мне, почему он не в армии, хотя ему всего двадцать четыре года. У него обе барабанные перепонки лопнули, потому что и отец и мать били его в детстве чем ни попадя.

— А как-то они держали мою руку над газом,— сказал он.— А с тобой такое вытворяли?

— Нет,— сказал я.

— А надо бы,— сказал он.— Хотя, может, уже поздно. Что толку запирать конюшню, когда лошадь уже свели.

Конечно, я не весь разговор помню от слова до слова — память у меня стала дырявая. Но приблизительно так он и говорил. А одну его фразу я запомнил точно, могу поклясться.

— Знаешь, как я тебя буду звать? — сказал он.— Сам буду звать и другим скажу.

— Не знаю,— сказал я.

И он сказал:

— Малый Не Промах.

■

Он не довез меня до самой двери. В доме было темно. Луны не было. Свет фар выхватил из темноты груду каких-то странных обломков. Вчера утром их тут не было. Конечно, это были обломки купола и знаменитого флюгера. Их свалили с машины начальника полиции и оставили тут, прямо у дороги.

Парадная дверь была заперта, как обычно. Ее всегда на ночь запирали, так как вокруг нас поселилась разиая голытьба и еще считалось, что у нас в доме много так называемых произведений искусства. У меня в кармане лежал какой-то ключ, но это был не тот ключ.

Это был ключ от оружейной комнаты.

■

Кстати, полицейский Энтони Сквайрс много лет спустя стал начальником сыскного отделения, а потом заболел нервным расстройством. Теперь его уже нет в живых. Он подрабатывал за стойкой бара в новой гостинице «Отдых туриста», когда его смотровой глазок закрылся от взрыва доброй старой нейтронной бомбы.

■

Шоколадный крем по рецепту миссис Джино Маритимо. Шесть унций горького шоколада накрошить в кастрюльку. Растопить в духовке при температуре 250°.

Две чайных ложки сахару растереть с четырьмя желтками, взбить до бледно-желтого цвета, смешать с растопленным шоколадом, прибавить четверть чашки крепкого кофе и две столовых ложки рома. Две трети чашки холодных сливок взбивать, пока не загустеют. Смешать с остальным. Осторожно размешать, разложить в чашки, поставить на двенадцать часов в холодильник.

На шесть порций.

■

Итак, День матери 1944 года закончился. А когда я оказался перед запертой дверью родного дома, уже начался следующий день. В темноте я пробрался к нашему черному ходу. Но и эта дверь была на запоре. Больше дверей в доме не было.

Никого не предупредили, что я вернусь, а слуги у нас все были приходящие. Значит, я мог разбудить только мою мать. Но я не хотел ее видеть.

Я ни разу не заплакал после того, что сделал я и что сделали со мной. А теперь я горько плакал, стоя у запертой двери моего дома. Рыдал я так горько и громко, что вдруг залаяли собаки. Кто-то в этой крепости завозился за дверью, пытаясь открыть сложный медный замок. Дверь отворилась. Передо мной стояла моя мать Эмма, тогда еще сама сущий ребенок. После окончания школы она никогда не несла никакой ответственности, никогда не работала. Детей вырастила прислуга. Она была бесполезным украшением дома.

Считалось, что ничего плохого с ней никогда не случится. Но вот она стоит в тоненьком купальном халатике, и ни мужа, ни слуг, ни старшего сына, уже говорившего глубоким басом, около нее нет. А перед ней стою я — нелепый, писклявый последыш, убийца.

Ей вовсе и не захотелось обнять меня, осыпать поцелуями мою вымазанную чернилами головушку. Она не любила никаких проявлений чувств. Когда Феликс уходил на войну, она пожала ему руку, чтобы подбодрить его, а потом, когда поезд уже отошел на полмили, послала ему вслед воздушный поцелуй.

О господи, разве я хочу попрекнуть, обвинить в злодействе эту женщину, с которой я жил бок о бок столько лет. Когда отец умер, мы с ней поселились вместе, как старые-престарые супруги. У нас никого больше не было, вообще никого и ничего. Она не была плохая. Но в жизни просто ни на что не годилась.

— Чем это ты так вымазался? — спросила она. Она видела, что я весь в чернилах. Она берегла себя. Видно, она боялась дотрагиваться до меня — как бы не замараться.

Она совершенно не понимала, что мне нужно, и стояла в дверях, загораживая вход и мешая мне войти. А мне только и надо было лечь в постель и укрыться с головой. Только этого я и хотел. Я до сих пор, в общем, только к этому и стремлюсь.

А тогда она мешала мне войти, как будто колебалась — впустить меня или нет. И расспрашивала: скоро ли придет домой отец, и уладится ли все, наконец, и так далее.

Ей хотелось услышать, что все хорошо, и я ей так и сказал. Я сказал, что отец в порядке, и я тоже в порядке, сказал, что отец скоро вернется домой. Ему только надо еще кое-что объяснить. Она меня впустила, и я лег спать, как и мечтал.

Такие выдумки всегда успокаивали ее, изо дня в день, из года в год, почти до конца жизни. Но к концу жизни она стала воинственной и язвительной — этакий провинциальный Вольтер, циник, скептик и так далее. Вскрытие обнаружило, что у нее в мозгу было несколько небольших опухолей, и доктора сказали, что это, безусловно, и вызвало перемену в ее характере.

■

Отца посадили в тюрьму на два года, а Джордж Метцгер подал на него и на маму в суд и отсудил все их имущество, оставив им только самое необходимое из мебели и кое-как залатанную крышу над головой. Оказалось, что все состояние матери давно переведено на имя отца.

Отец не старался себя выгородить. Не слушая ничьих советов, он так и не пригласил адвоката. Он признал себя виновным сразу же, когда его арестовали, и во время следствия тоже признавал себя виновным, ни слова не сказав о том, что его совсем недавно так избили, что живого места не осталось, хотя все это прекрасно видели. Взяв на себя роль своего собственного и моего адвоката, он даже не заявил, что наши сограждане грубо нарушили закон, вымазав меня чернилами и выставив на посмешище, хотя мне было всего двенадцать лет.

Наших сограждан он вообще ни в чем не винил. Зато они его винили во всех грехах. И мой отец, такой позер и краснобай, оказался хрупким, как бумажный стаканчик. Видно, он всегда чувствовал, что ни черта не стоит. Держался он только на том, что деньги плыли и плыли ему прямо в руки, а на них можно было купить что угодно.

А меня несказанно удивило вовсе не то, что отец оказался таким нестойким. Куда поразительней было то, что ни мама, ни я ничему не удивились.

Все было как раньше.

■

Когда мы вернулись домой после следствия, которое, кстати, проводилось как раз накануне похорон миссис Метцгер, нам позвонил из Форт-Беннинга мой брат Феликс. Он сказал, что командир рекомендовал послать его через три месяца в офицерскую школу. Выдвинул он его потому, что видел, как хорошо Феликс распоряжался, когда их отряд везли в военном автобусе.

Я ничего не говорил, но все слышал по параллельному аппарату.

Феликс спросил, как у нас дела, но ни отец, ни мать ему не сказали правды.

Мать пошутила:

— Ты же нас знаешь. Мы как Старушка Миссисипи — все катим волны вперед.

15

На процессе отца защищал адвокат, но сам он в это время уже отбывал срок. Было бы куда лучше, если бы он просто-напросто уступил Джорджу Метцгеру без всяких судов. По крайней мере ему не пришлось бы выслушивать показания свидетелей, подтверждавших, что он восхищался Гитлером, никогда по-настоящему не работал, только воображал себя художником, нигде, кроме средней школы, не учился, что его еще в юности несколько раз арестовывали в разных городах, что он постоянно обижал своих родных — честных работяг, и так далее, и так далее.

В потоке издевок мог бы потонуть и крейсер. Молодой адвокат, представлявший интересы Джорджа Метцгера, вначале предлагал свои услуги отцу. Звали его Бернард Кетчем, и братья Маритимо привели его на следствие и уговаривали отца нанять его и поручить ему все дело. Этого адвоката не взяли на военную службу, так как он был одноглазый. Когда он был мальчишкой, товарищ выбил ему глаз из игрушечного ружья.

Кетчем беспощадно обличал отца, так же как обличал бы Метцгера, если бы его нанял отец. Разумеется, он все время напоминал присяжным, что миссис Метцгер была беременна. Ее нерожденного младенца он сделал главным лицом в городе. Кетчем даже называл это дитя не «он», а «она», потому что врачи говорили, что это была девочка. И хотя Кетчем, конечно, ее никогда не видел, он трогательно рассказывал, какие у нее малюсенькие пальчики на ручках и ножках.

Много лет спустя нам с Феликсом пришлось нанять того же Кетчема и просить его возбудить дело против Комиссии по координации ядерных исследований, строительной компании братьев Маритимо и компании по производству декоративного цемента «Долина Огайо» по обвинению в убийстве нашей матери при посредстве радиоактивной цементной каминной доски.

Тогда мы с Феликсом и получили внушительную сумму денег и смогли купить этот отель, взяв старика Кетчема в пайщики.

Кетчему я дал такое указание:

— Не забудьте сказать на суде, какие прелестные пальчики на ручках и ножках были у моей матери.

■

После того как отец проиграл дело, пришлось отпустить всех слуг. Платить нам было нечем, и Мэри Гублер вместе с остальными покинула нас, обливаясь слезами. Отец все еще сидел в тюрьме, так что он был избавлен от присутствия при этом горьком расставании И ему не пришлось пережить то жуткое утро, когда мама и я одновременно проснулись в своих комнатах, вышли на галерею второго этажа и стали прислушиваться и принюхиваться.

В доме ничего не стряпали.

И никто не убирал залу внизу, и горничная не ждала, пока мы встанем и можно будет убрать наши постели.

Это было очень странно.

Конечно, я тут же приготовил завтрак. Мне это было легко и привычно. Так началась моя жизнь в роли домашней прислуги — сначала у матери, а потом и у обоих моих родителей. До конца своей жизни они ни разу не готовили еду, не мыли посуду, не стирали, никогда не стелили постели, не вытирали пыль, не пылесосили ковры, не подметали, не покупали продукты. Все за них делал я и притом неплохо учился в школе.

Вот какой я был мальчик-пай!

■

Яичница по рецепту тринадцатилетнего Руди Вальца. Нарезать, сварить и откинуть на сито две чашки шпината. Добавить две столовые ложки сливочного масла, чайную ложку соли и щепотку мускатного ореха. Подогреть и переложить в три огнеупорные чашки или мисочки. Сверху залить яйцом, посыпать тертым сыром. Запекать пять минут при температуре 375°.

Три порции: для папы-медведя, для мамы-медведицы и для сынишки-мишки, который готовил, а потом вымоет посуду и все уберет.

■

Выиграв процесс, Джордж Метцгер с двумя детьми уехал во Флориду. Насколько мне известно, с тех пор в Мидлэнд-Сити никто из них не показывался. Да и прожили они у нас совсем недолго. Не успели они прижиться, как неизвестно почему откуда ни возьмись прилетела пуля и угодила прямо в лоб миссис Метцгер. И они ни с кем не успели близко познакомиться, так что и переписываться им было не с кем.

Двое их детей, Юджин и Джейн, после убийства почувствовали себя в школе такими же отщепенцами, как и я. Теперь мы оказались на одной ступеньке с несколькими ребятами, чьих отцов или братьев убили на войне. Все мы были неприкасаемыми, прокаженными — не по своей вине, а потому, что всех нас коснулась рука Смерти.

Вполне можно было бы заставить нас звонить на ходу в колокольчик — так в темные средние века прокаженных заставляли предупреждать о своем приближении.

Забавно.

■

Юджина и Джейн, как я недавно узнал, назвали так в честь Юджина В. Дебса, рабочего-героя из Терре-Хота, что в Индиане, и Джейн Аддамс из Седарвилла, штат Иллинойс, получившей Нобелевскую премию за свою общественную деятельность. Дети Метцгера были гораздо младше меня, и мы учились в разных школах. И только совсем недавно я узнал, что они были такими же «прокаженными», как и я, узнал, как им жилось во Флориде, и так далее, и так далее.

Источником этой информации о семье Метцгеров был, конечно, их адвокат, а теперь и наш адвокат, Бернард Кетчем.

Только в пятьдесят лет, то есть через тридцать восемь лет после того, как я одной пулей погубил миссис Метцгер, а заодно и себя, и своих родителей, я решился спросить про Метцгеров. Было это у плавательного бассейна в два часа ночи. Все обитатели отеля спали, да их было не так уж много. Был там Феликс со своей новой, пятой женой. Был там и Кетчем со своей первой и единственной женой. И я там был. А где была пара для меня? Кто знает? Иногда мне кажется, что у меня гомосексуальные наклонности, но я не уверен. Вообще я никогда никого еще не любил.

И алкоголя в рот не брал, разве только в лекарствах, куда входил спирт в гомеопатических дозах,— а тут все остальные пили шампанское. Если хотите знать, с двенадцати лет я не пил ни кофе, ни чая, даже не принимал лекарств: ни аспирина, ни слабительных, ни от изжоги, ни антибиотиков. Это особенно странно для дипломированного фармацевта, единственного и бессменного ночного продавца дежурной аптеки в Мидлэнд-Сити, где я работал много-много лет.

Так тому и быть.

Я только что угостил своих собеседников и угостился сам: в качестве сюрприза я заблаговременно, еще вчера, приготовил шоколадный крем. И еще порция осталась.

Нам было о чем подумать и поговорить и в узком кругу, и во всеуслышание, потому что наш родной город недавно стал пустыней после взрыва нейтронной бомбы. И наши смотровые глазки тоже могли бы навеки закрыться, если бы мы не уехали оттуда — покупать этот отель.

Когда мы услышали, что в нашем родном городе действительно произошел этот взрыв, я процитировал строфу из Уильяма Купера [1], которую давным-давно написала

[1] Английский поэт (1731—1800).

мне на память очень милая преподавательница английского языка, отвлекая меня от мрачных мыслей о самоубийстве,— тогда я был еще совсем мальчишкой:

Господь, творящий чудеса,
Ступает по волнам
И мчится с бурей в небесах,
Спеша на помощь к нам.

И когда мы доели шоколадный крем, я спросил Кетчема:

— Как там поживают Метцгеры?

Феликс уронил ложку. В нашей семье давным-давно категорически воспрещалось расспрашивать о Метцгерах. Это табу было наложено главным образом ради меня. А тут я его сам нарушил, так же естественно, как подавал сладкое.

Старый Кетчем тоже удивился:

— Вот уж не думал, что кто-то из семьи Вальцев может вдруг спросить, как поживают Метцгеры.

— Я сам только раз в жизни спросил про них,— сказал Феликс.— Когда вернулся из армии. И больше не спрашивал. В армии я был вне опасности, завязал полезные знакомства и был уверен, что смогу хорошо зарабатывать и стану важной персоной.

Он действительно стал весьма важной персоной. Впоследствии он стал президентом Эн-би-си, жил в особнячке на крыше небоскреба, разъезжал в шикарной машине и так далее.

Но его, как у нас говорят, хватило ненадолго. Его выкинули из Эн-би-си двенадцать лет тому назад, когда ему было всего сорок четыре, и он никак не мог найти подходящего места. Для него этот отель был просто подарок судьбы.

— Когда я вериулся домой, я был, так сказать, «гражданином мира»,— рассказывал Феликс.— Я мог жить в любом городе, в любой стране, а мог и не жить. Кому было до этого дело? В любом месте, где я мог поставить перед собой микрофон, я чувствовал себя как дома. И я отнесся к отцу, и к матери, и к брату как к жителям какого-нибудь несчастного, разрушенного войной городка, через который я проезжал. Они мне жаловались на свою жизнь, как жаловались пострадавшие в разрушенных городах, а я им машинально выражал сочувствие. Я им и вправду сочувствовал. Честное слово.

Но я пытался во всем найти светлую сторону, как обычно стараются делать проезжие, и я спросил: что же эти Метцгеры, никогда не имевшие ломаного гроша, теперь будут делать со своим состоянием чуть ли не в миллион долларов?

И матушка, которая была самым безобидным существом на свете, пока у нее не разрослись под конец все эти опухоли,— продолжал Феликс,— вдруг закатила мне пощечину.

А тут еще и отец заорал на меня: «Какое нам дело, что́ Метцгеры будут делать со своими капиталами? Это их деньги, а не наши, понял? И чтобы я никогда больше про это не слыхал! Мы бедные люди! К чему нам засорять себе мозги делами всяких миллионеров!»

■

По словам Кетчема, Джордж Метцгер увез свое семейство во Флориду потому, что там, в Седар-Кэе, продавалась какая-то еженедельная газета, потому, что там всегда тепло, и еще потому, что это очень далеко от Мидлэнд-Сити. За небольшую сумму он купил газету, а на остальные деньги — две тысячи акров земли около города Орландо.

— Правду говорят, что у дураков деньги не держатся, но бывает и по-другому,— сказал Кетчем по поводу этого капиталовложения, сделанного в 1945 году.— Эта неприглядная пустошь, друзья и сограждане, которую Джордж записал на имя своих детей — они и сейчас ею владеют,— превратилась в волшебный ковер, на котором раскинулась сказочная страна для родителей с детьми, прославившаяся на весь мир, — страна Уолта Диснея, «Диснейлэнд»!

Журчанье воды аккомпанировало нашей беседе. Мы были далеко от океана, но бетонный дельфин рядом изрыгал тепловатую струю в плавательный бассейн. Этот дельфин нам достался вместе с отелем, как и метрдотель Ипполит Поль де Милль, за-

нимавшийся вуу-дуу[1]. Одному богу известно, с какими тайными источниками связан дельфин. Одному богу известно, с какими тайнами связан Поль де Милль. Но этот Поль де Милль утверждал, что он, если захочет, может воскресить давно умершего человека и тот встанет и будет разгуливать повсюду.

Я ему не поверил.

— Я вас потрясаю,— сказал он по-креольски.— В один прекрасный день я вам это показываю.

■

По словам Кетчема, Джордж Метцгер все еще жив, и живет он очень скромно, ему это нравится, и по-прежнему издает газету в Седар-Кэе. У него есть в запасе небольшой капитал, так что ему все равно, покупают читатели его газету или нет. Но он, между прочим, сразу же потерял многих подписчиков: они стали выписывать новую газету, которая не разделяет убеждений этого Метцгера насчет войны, огнестрельного оружия, того, что все люди — братья, и так далее.

Но его дети — люди богатые.

— А кто-нибудь читает его газету? — спросил Феликс.

— Нет,— сказал Кетчем.

— Он не женился? — спросил я.

— Нет,— сказал Кетчем.

Пятая жена Феликса, Барбара,— первая по-настоящему любившая его жена,— сказала, что ей страшно думать, как это старый Джордж Метцгер сидит один-одинешенек в Седар-Кэе. Сама она родилась в Мидлэнд-Сити, как мы все, и окончила там обычную школу. Она работала в рентгеновском кабинете. Там они с Феликсом и познакомились. Она делала снимок его плеча. Ей было всего двадцать три года. Теперь она ждала ребенка от Феликса и бесконечно радовалась этому. Она свято верила, что дети — радость жизни.

Она носила первого законного ребенка Феликса. У него был еще незаконный ребенок в Париже, родившийся во время войны, и до сих пор неизвестно, где этот младенец. А все предыдущие его жены, конечно, знали, как предохранить себя.

И прелестная Барбара Вальц говорила про старого Джорджа Метцгера:

— Но ведь у него есть где-то дети, они должны во что бы то ни стало узнать, какой он герой, они должны его обожать.

— Да они с ним уже сколько лет не разговаривают,— с нескрываемым злорадством проговорил Кетчем. Он явно радовался, когда у людей неприятности. Это его забавляло.

Барбара была поражена.

— Почему? — спросила она.

Кстати, родные дети Кетчема с ним тоже давно не разговаривали и давно удрали из Мидлэнд-Сити — потому и спаслись от взрыва нейтронной бомбы. У него было два сына. Один дезертировал в Швецию во время вьетнамской войны и лечил там алкоголиков. Другой стал сварщиком на Аляске: он провалился на всех экзаменах в Гарвардской школе права, где учился когда-то его отец.

— Твой ребеночек будет задавать тебе этот вопрос, и очень скоро,— сказал Кетчем; его забавляло и все плохое, что случалось с ним самим, а не только чужие несчастья.— Так и спросит: почему, почему, почему?

Выяснилось, что Юджин Дебс Метцгер жил в Афинах, что в Греции, и был владельцем нескольких танкеров, плававших под флагом Либерии.

Его сестра, Джейн Аддамс Метцгер, как я помню, толстая некрасивая девочка — та самая, которая застала уже бездыханную мать около включенного пылесоса,— была, по словам Кетчема, все такая же толстая и неинтересная, жила с драматургом, чехом-эмигрантом, на Молокаи, одном из Гавайских островов, где у них был конный завод — они выращивали арабских лошадей.

— Она мне прислала пьесу своего возлюбленного,— сказал Кетчем,— думала, что я, может быть, найду для нее продюсера, потому что, по ее представлению, у нас в Мидлэнд-Сити, штат Огайо, этих продюсеров как собак нерезаных, ступить некуда.

[1] Таинственные обряды или приемы, связанные с колдовством, знахарством, заклинаниями и ведовством, распространенные среди негров Вест-Индии и юга Америки (возможно, африканского происхождения).

А мой брат Феликс перефразировал известный стишок о том, что «на Бродвее в Нью-Йорке сколько огней, столько разбитых сердец», заменив «Бродвей» на «Гаррисон авеню» (это главная улица в Мидлэнд-Сити).

— На Гаррисон авеню в Мидлэнд-Сити сколько огней, столько разбитых сердец,— продекламировал он. Потом встал и пошел за новой бутылкой шампанского.

Но на лестнице главного входа в отель растянулся какой-то гаитянский художник — его сморил сон, пока он ждал туристов, любого туриста, который возвращался после веселого вечера в городе. У художника было с собой несколько ярких, кричащих картин, тут был и Адам с Евой и змием-искусителем, и сценки из жизни гаитянской деревни, причем на этих картинах все люди держали руки в карманах — художник рисовать руки не умел,— и все эти шедевры были расставлены на лестнице по обе стороны.

Феликс его не потревожил. Он осторожно переступил через спящего. Если бы кому-нибудь показалось, что Феликс нарочно толкнул его ногой, Феликсу было бы неодобрять. Тут положение особое, не то что в колониях. Гаитянское государство родилось после единственного в мире успешного восстания рабов. Попробуйте представить себе, что это такое. В истории еще не было случая, чтобы восстание рабов окончилось победой, чтобы рабы добились самоуправления, сами наладили связи с другими народами и выгнали чужаков, которые считали, что гаитянам на роду написано быть рабами. И когда мы покупали этот отель, нас предупредили, что каждому белому или вообще светлокожему грозит тюрьма, если он ударит гаитянина или даже просто обругает его — словом, будет вести себя с ним как хозяин с рабом.

И это было вполне понятно.

■

Пока Феликса не было, я спросил Кетчема, хорошую ли пьесу написал чех-эмигрант. Он сказал, что о сем ни он, ни Джейн Метцгер судить не могут: пьеса написана по-чешски.

— Мне сказали, это комедия,— добавил он.— Может быть, ужасно смешная.

— Наверное, куда смешнее моей пьесы,— сказал я. А дело в том, что двадцать три года назад, в 1959 году, я участвовал в конкурсе драматургов, организованном фондом Колдуэлла, и, как ни странно, победил; вместо премии мою пьесу поставил «Театр Де-Лис» в Гринич-Виллидж. Пьеса называлась «Катманду». Героем был Джон Форчун, владелец молочной фермы, тот самый друг, а потом враг моего отца, который похоронен в Катманду.

Тогда я жил у моего брата и его третьей жены, Женевьевы. Жили они в Гринич-Виллидж, и я спал у них на диване в гостиной. Феликсу исполнилось всего тридцать четыре года, но он уже руководил радиостанцией и собирался стать директором телевизионного управления рекламного агентства «Баттен, Бартон, Дарстайн и Осборн». И он уже шил себе костюмы только в Лондоне.

Пьеса «Катманду» прошла всего один раз. Впервые я оказался вдали от Мидлэнд-Сити, в городе, где меня никто не мог называть Малый Не Промах.

16

Всех критиков Нью-Йорка почему-то очень смешило, что автор «Катманду» — дипломированный фармацевт, окончивший университет в штате Огайо. Они сразу поняли, что я не бывал ни в Индии, ни в Непале. Они пришли бы в восторг, если бы узнали, что и писать-то эту пьесу я начал еще в средней школе. А как они растрогались бы, если бы узнали, что учительница английского языка сказала мне, что я непременно должен стать писателем и во мне теплится искра божия, причем сама она никогда нигде не бывала, ничего путного не видела и к тому же была старой девой. А какое подходящее имя было у этой особы — Наоми Шоуп.

Она пожалела меня, но я уверен, что ей и саму себя было жаль. Жуткая у нас была жизнь! Она была странная, одинокая, у нас ее считали чудачкой, потому что она вся ушла в чтение книжек, это была ее единственная радость. А я был вообще прокаженным. Да и дружить с ровесниками мне было некогда. После занятий в школе я бежал закупать продукты, а дома сразу же начинал готовить ужин. Я стирал все белье в нашей старой, скверной стиральной машине, стоявшей в котельной

Я подавал ужин отцу и маме, иногда и гостям, а потом мыл посуду. Посуда накапливалась с утра, после завтрака и ленча.

Потом я делал уроки, пока у меня не слипались глаза, и валился в постель. Иногда не хватало сил раздеться. А вставал я в шесть утра, гладил белье, пылесосил в комнатах. Потом подавал завтрак отцу и маме и ставил в духовку ленч. Потом застилал все постели и бежал в школу.

— А что же делают твои родители пока ты хозяйничаешь? — спросила мисс Шоуп. Она вызвала меня в свой маленький кабинет после урока, на котором я крепко спал. На стенке ее кабинета висела фотография знаменитой поэтессы Эдны Сент-Винсент Миллей. И мисс Шоуп пришлось объяснять мне, кто это такая.

Я слишком стеснялся откровенно рассказывать старой мисс Шоуп, что делали мои родители целыми днями. Они слонялись по дому, как призраки, в купальных халатах, в ночных туфлях — если только не ждали гостей. Они часами смотрели куда-то в пространство. Иногда они осторожно обнимали друг друга и вздыхали. Они были похожи на привидения.

И в следующий раз, когда Ипполит Поль де Милль предложит мне вызвать какого-нибудь мертвеца, я скажу:

— Навидался я их! Хватит!

■

Так что я сказал мисс Шоуп, что отец и плотничает дома, и, конечно, много пишет и рисует, и даже имеет антикварное дельце. А по правде говоря, отец в последний раз брал в руки инструменты в тот день, когда он снес купол с дома и переломал все свои винтовки. Я никогда не видел, чтобы он рисовал или писал красками. А его антикварная торговля состояла в том, что он распродавал понемногу остатки трофеев, привезенных из Европы в лучшие времена.

На эти деньги мы покупали еду и топливо. И еще одним источником средств было небольшое наследство, завещанное моей матери родственником из Германии. Она получила эти деньги, когда уже закончилась судебная тяжба. Иначе и их забрали бы Метцгеры. Но основную поддержку нам оказывал Феликс, он был необычайно щедр, и нам никогда не приходилось о чем-то его просить. И я сказал мисс Шоуп, что мама работает в саду и помогает нам: мне — по хозяйству, а отцу — в его антикварном деле, ведет переписку с друзьями, очень много читает и так далее.

Однако вызвала меня мисс Шоуп по другому поводу: она прочитала мое сочинение на заданную тему «Кто из граждан Мидлэнда — мой любимый герой?»

Моим любимым героем был Джон Форчун, который умер в Катманду, когда мне было всего шесть лет. У меня даже уши загорелись, когда мисс Шоуп со слезами на глазах сказала мне, что за сорок лет работы в школе она не читала лучшего сочинения.

— Ты непременно должен стать писателем,— сказала она,— и ты должен покинуть этот убийственный город как можно скорее. И тебе надо найти то, что у меня не хватило духу искать,— добавила она.— Именно то, что мы все должны искать, не сдаваясь.

— А что это? — спросил я.

Вот что она ответила:

— Свой собственный Катманду...

■

Она призналась, что внимательно наблюдала за мной последнее время.

— И ты словно разговариваешь сам с собой.

— А с кем мне еще разговаривать? — сказал я.— Да я и не разговариваю по-настоящему.

— Вот как? — удивилась она.— А что же ты делаешь?

— Ничего,— сказал я. Я никому не рассказывал об этом и ей тоже говорить не стал.— Просто у меня такая нервная привычка,— сказал я. Конечно, ей понравилось бы, если бы я открыл ей все свои тайны, но я так и не доставил ей этого удовольствия.

Я решил, что безопаснее всего, мудрее всего молчать как могила и быть холодным как лед и с ней, и со всеми другими.

А ответить на ее вопрос я мог бы так: я просто напевал себе под нос. Это было джазовое пение — изобретение негров. Они таким пением без слов прогоняли тоску и

печаль, и я тоже. «Бууби дууби хопхоп»,— пел я себе под нос; и еще: «Скедди уии, скиди уа» — и так далее. «Биидн оп! Биидн оп!»

И мили летели мимо, и годы летели мимо. «Фуудли йа, фуудли йа. Занг риипа доп. Фаааааааааааааааа!»

■

Торт «Линцер» (по рецепту из газеты «Горнист-обозреватель»). Смешать полчашки сахару с чашкой сливочного масла, хорошенько растереть. Добавить два желтка, полчайной ложки лимонной цедры.

Смешать чашку муки, четверть ложки соли и чайную ложку корицы, четверть ложки гвоздики. Высыпать в масло, растертое с сахаром. Добавить чашку миндаля (не жареного) и чашку жареных лесных орехов, нарубленных очень мелко.

Раскатать две трети этой массы до толщины в четверть дюйма. Выложить на глубокий противень. Густо смазать малиновым вареньем (полторы чашки). Раскатать остальную массу, нарезать полосками длиной около десяти дюймов. Слегка закрутить и положить сверху сеткой. Защипнуть края. Разогреть духовку до 350 градусов и выпекать около часа, затем остудить при комнатной температуре.

Этот торт был одним из самых популярных в Вене, столице Австрии, перед первой мировой войной!

■

Я ничего не говорил отцу и матери о том, что хочу стать писателем, пока не угостил их неожиданно своим изделием — тортом «Линцер» по рецепту газеты «Горнист-обозреватель».

Когда я подал торт, отец как-то встряхнулся, ожил и сказал, что торт словно перенес его на сорок лет назад. И прежде чем он снова отключился от действительности, я ему передал то, что мне сказала Наоми Шоуп.

— Полуженщина-полуптица,— сказал он.

— Простите, сэр? — сказал я.

— Мисс Шоуп,— сказал он.

— Не понимаю,— сказал я.

— Она, несомненно, сирена,— сказал он.— А сирена — это полуженщина-полуптица.

— Я знаю, что такое сирена.

— Значит, ты знаешь, как они завлекают моряков своими сладкими песнями и те разбиваются о скалы.

— Да, сэр,— сказал я. После того как я застрелил миссис Метцгер, я стал всех взрослых мужчин величать «сэр». Моя жуткая жизнь становилась от этого немножко веселее, так же как от негритянских песенок без слов. Я представлял себя каким-то «нижним чином», ниже некуда.

— А что сделал Одиссей, чтобы безнаказанно проплыть мимо сирен? — спросил отец.

— Забыл,— сказал я.

— Он сделал то, что я советую и тебе делать каждый раз, когда кто-нибудь скажет, что у тебя есть какой-то талант,— сказал он.— Хотел бы я, чтобы мой отец сказал мне те слова, что я говорю тебе.

— Что именно, сэр? — сказал я.

— Залепи уши воском, мой мальчик, и привяжи себя к мачте,— сказал отец.

■

— Но я написал сочинение про Джона Форчуна, и она сказала, что сочинение отличное,— настаивал я. Вообще я очень редко на чем-нибудь настаивал. После того как я посидел в клетке, весь измазанный чернилами, я пришел к выводу, что лучше всего и для меня и для окружающих, если я ничего не буду хотеть, ничем не буду восторгаться, по возможности ни к чему не буду стремиться, чтобы никогда больше никого не обидеть, никому не повредить.

Иными словами, я не смел прикасаться ни к чему на этой планете — будь то мужчина, женщина, ребенок, вещь, животное, растение или минерал,— может, все они подсоединены к контактному детонатору, к взрывчатке! Как шарахнет!

И для моих родителей было неожиданностью то, что я весь прошлый месяц работал до поздней ночи над сочинением на тему, которая меня очень волновала... Родители никогда не интересовались, чем я занимаюсь в школе.

Школа...

— Ты написал про Джона Форчуна? — спросил отец.— Но что же ты мог про него написать?

— Я покажу тебе это сочинение,— сказал я.— Мисс Шоуп мне его вернула.

— Нет-нет, не надо,— сказал отец.— Расскажи своими словами.— Теперь я думаю, что он и читать-то по-английски почти не умел.— Мне интересно, что ты про него написал, ведь я с ним был довольно близко знаком.

— Знаю,— сказал я.

— Почему же ты меня не расспросил о нем? — поинтересовался отец.

— Не хотел тебя беспокоить,— сказал я.— Тебе и так приходится думать о многом.— Я знал, как отцу больно вспоминать о том, что из-за своего преклонения перед Гитлером он потерял такого друга, как Джон Форчун, но ничего не добавил. Я и так принес ему достаточно горя. Я всем принес одно горе.

— Он вел себя как дурак,— сказал отец.— Разве можно в Азии искать мудрость? Та проклятая книжка погубила его.

— Знаю — «Потерянный горизонт» Джеймса Хилтона,— сказал я. Это был очень популярный роман, вышедший в 1933 году, через год после того, как открылся мой смотровой глазок. В романе была описана крошечная страна, совершенно отрезанная от всего мира, где люди старались не обижать друг друга, не делать никому зла, где все были счастливы и оставались вечно молодыми. Хилтон написал, что эта воображаемая райская страна находится где-то в Гималайских горах и называется «Шангри-Ла».

Прочитав эту книгу, Джон Форчун после смерти жены уехал в Гималаи. В те времена даже самые образованные люди, не чета Джону Форчуну, нередко верили в царство мира, радости, душевного покоя, которое на самом деле где-то существует и его можно отыскать, как спрятанное сокровище капитана Кидда. В Катманду часто бывали разные путешественники, но им приходилось идти туда тем же путем, которым прошел Джон Форчун,— тропою от границы Индии, через горы и джунгли. Дорогу туда проложили только в 1952 году, когда я получил диплом фармацевта.

Господи боже, а теперь там построен огромный аэропорт. Мой зубной врач Герберт Стакс был там уже три раза, и у него в приемной полным-полно всяких непальских сувениров. Вот почему ни он, ни его семья не пострадали от нейтронной бомбы. Они как раз были тогда в Катманду.

■

Отец удивился, словно я каким-то сверхъестественным способом узнал и про Джона Форчуна, и про «Потерянный горизонт».

— Откуда ты все это знаешь? — спросил он меня.

— Я просмотрел все старые газеты в нашей библиотеке.

— Да? — удивился отец. По-моему, он даже не знал дороги в библиотеку-читальню.— А разве там хранятся старые газеты? — недоверчиво спросил он.

— Да, сэр,— сказал я.

— Господи, сколько же их там скопилось! — сказал он.— День за днем, неделя за неделей...

Он еще спросил меня, многие ли ходят туда «рыться в этом старье»? Может быть, он был недоволен тем, что газеты с его собственным прошлым не выбросили на помойку. А я там наткнулся на его письма в редакцию, в которых он превозносил Гитлера.

— Так-так,— сказал он.— Но я надеюсь, что книжку Хилтона ты не станешь читать?

— «Потерянный горизонт»? — спросил я.— Да я ее уже прочитал.

— Ты ее всерьез не принимай,— сказал он,— все это чушь. Тут у нас такое же Шангри-Ла, как и везде.

Теперь, когда мне стукнуло пятьдесят, я думаю, что так оно и есть.

И тут, в Гаити, я впервые сформулировал эту мысль, которая так мучила меня в отрочестве. Скоро по желанию нашего правительства мы должны будем вернуться в Мидлэнд-Сити, взять то, что мы хотим, из личного имущества и предъявить пра-

вительству иск о возмещении убытков. Теперь уже ясно: весь наш округ станет лагерем для беженцев, может, его даже обнесут колючей проволокой.

Мрачная мысль: а вдруг взрыв нейтронной бомбы не такая уж случайность?

Так или иначе в ожидании нашего короткого возвращения в Мидлэнд-Сити я как-то в разговоре дал ему условное название, которое Кетчемы и мой брат с женой приняли без всяких возражений. Я назвал его «Шангри-Ла».

17

В тот вечер, когда я сказал отцу, что мне хочется стать писателем, в тот вечер, когда мы ели торт «Линцер», отец велел мне стать фармацевтом, и я его послушался. Как говорил Феликс, отцу с матерью не хотелось терять своего последнего слугу, и их можно было понять: они и так уже много всего потеряли.

И отец медленно, словно совершая ритуал, раскурил сигару, сунул обгорелую спичку в остатки торта и снова сказал:

— Стань фармацевтом! Займись делом своих предков. У нас в семье никаких талантов в области искусства никогда не было и не будет! Ты понимаешь, как мне больно это говорить. Мы — люди деловые, и надеяться на успех в другой профессии нам нечего.

— Феликс у нас одаренный,— сказал я.

— Любой цирковой уродец по-своему талантлив,— сказал отец.— Да, такой бас, как у Феликса, редко встретишь. Но ведь обычно он читает чужой текст, который ему пишут другие, по-настоящему одаренные люди. А слышал бы ты, что́ он несет, когда перед ним нет текста.

Я ничего не ответил, и он продолжал:

— И ты, и я, и твоя мать, и твой брат — потомки солидных, здоровых, твердолобых, лишенных воображения, лишенных музыкального слуха, неотесанных немцев, единственной добродетелью которых было умение работать не покладая рук, пока хватит сил. Посмотри на меня — мне льстили, за мной ухаживали, мне врали всякий вздор и сбили меня с пути, а мне было предназначено судьбой заниматься делом, быть может, и скучным, но полезным для общества. Не отрекайся от своей судьбы, как я. Займись тем, что тебе на роду написано. Стань фармацевтом!

■

И я стал фармацевтом. Но я не бросил писать, хотя больше никому об этом не рассказывал. Я резко оборвал бедняжку Наоми Шоуп в первый же раз, как она завела речь про мою «искру божию». Я ей сказал, что не желаю изменять своей первой любви — фармацевтике. Так я потерял своего единственного друга и снова остался один в целом мире.

Когда я поступил в университет и объявил, что хочу специализироваться по фармацевтике, мне позволили дополнительно заниматься и на других факультетах. И на втором году обучения, никому об этом не докладывая, я прошел курс драматургии. Тогда я уже наслышался про писателя Джеймса Тэрбера, который тоже учился в Колумбусе, а потом уехал в Нью-Йорк и стал писать смешные истории про таких же людей, каких было полно в Мидлэнд-Сити. Самым шумным успехом пользовалась его пьеса «Настоящий мужчина».

«Скууби дууби ду-оп! Дидли-а! Дидли-а!» А вдруг я смогу писать, как он?

И я переделал свое сочинение про Джона Форчуна в пьесу.

■

А кто же в это время занимался дома хозяйством? Конечно, по-прежнему я. И так же, как я не был типичным школьником, я не стал и типичным студентом. Я все еще жил дома, но ездил в Колумбус — сто миль в оба конца — раза три-четыре в неделю, в зависимости от расписания занятий.

Честно говоря, всякую вкусную стряпню я забросил. Я без конца кормил родителей консервами и к тому же иногда подавал обед уже за полночь. Мама и отец немножко ворчали, но, в общем, не сердились на меня.

Кто же платил за мое обучение? Конечно, мой брат.

Да, теперь я признаю, что «Катманду» — дурацкая пьеса. Я так долго с ней возился — уже когда получил диплом и начал работать ночным продавцом в аптеке Шрамма — только из-за нескольких заключительных слов. Они заслуживали того, чтобы прозвучать со сцены. Притом авторство принадлежало не мне: это были последние слова самого Джона Форчуна, которые я нашел в старом номере «Горниста-обозревателя».

Дело было вот в чем: Форчун исчез, пропал без вести где-то в Азии в 1938 году. Сначала он присылал открытки — из Сан-Франциско, потом из Гонолулу, затем — с островов Фиджи, из Манилы, из Мадраса и так далее. Но потом открытки перестали приходить. Последняя пришла из Индии, из города Агра, где находится Тадж-Махал.

В 1939 году, задолго до того, как в Мидлэнд-Сити узнали, что́ в конце концов случилось с Форчуном, в газете «Горнист-обозреватель» появилось письмо, в котором были такие слова: «По крайней мере он видел Тадж-Махал».

Но потом, как раз в конце второй мировой войны, в газету пришло письмо от английского врача, который провел много-много лет в плену у японцев. Звали его Дэвид Брокеншайр. Мне легко припомнить его фамилию, потому что он стал одним из персонажей моей пьесы.

Этот доктор Брокеншайр прошел один всю пешеходную тропу до Катманду. Он изучал народную медицину. Он уже прожил год в Непале, когда несколько местных жителей принесли к нему на носилках белого человека. Они сказали, что этот человек упал без чувств прямо у входа во дворец. У незнакомца было двустороннее воспаление легких. Конечно, это был Джон Форчун, и его одежда показалась и англичанину и непальцам такой странной, что его спросили, как она называется. «Да это же простой честный рабочий комбинезон доброго старого штата Огайо».

Так закрылся смотровой глазок Джона Форчуна, и похоронили его там же, в Катманду; но перед смертью он успел нацарапать записку, и доктор Брокеншайр обещал доставить эту записку рано или поздно в газету «Горнист-обозреватель» в Мидлэнд-Сити. Но доктор не торопился бежать к ближайшему почтовому ящику. Вместо этого он отправился скитаться сначала по Тибету, потом по Северной Бирме, оттуда попал в Китай, где его взяли в плен японцы. Они решили, что он шпион. А он даже не знал, что идет какая-то война.

Потом он об этом написал книгу. Я ее читал. Ее нелегко достать, но стоит постараться. Книжка очень интересная.

Но главное то, что он смог переслать в Мидлэнд-Сити последние слова Джона Форчуна вместе с картой Катманду, на которой отмечена его могила, только через шесть лет после смерти Форчуна. В записке говорилось следующее:

«Моим друзьям и врагам под каштанами Огайо: валите сюда. В Шангри-Ла хватит места всем».

18

Пьеса «Катманду» — мой вклад в западную культуру — шла три раза; спектакли были платные — один в Нью-Йорке, в «Театр Де-Лис», в 1960 году, в том месяце, когда скончался мой отец, а через три года дважды на сцене Фэйрчайлдовской средней школы в Мидлэнд-Сити. Кстати, главную женскую роль в мидлэндской постановке играла Селия Гилдрет-Гувер, которой мой отец давным-давно пытался вручить яблоко.

В первом акте пьесы — действие происходило в Мидлэнд-Сити — Селия, которая потом наглоталась порошка «Драно», играла роль духа жены Джона Форчуна. Во втором акте она была загадочной восточной красавицей, которую он повстречал в Тадж-Махале. По пьесе, она предлагает показать ему путь в Шангри-Ла и ведет его через горы и джунгли по тропе в Катманду. А потом, когда Форчун произносит свои предсмертные слова, обращенные к землякам в Мидлэнд-Сити, и умирает, она ничего не говорит, и тут оказывается, что это и есть дух его покойной жены.

Роль нелегкая, а Селия никогда раньше на сцене не выступала. Она и была только женой торговца автомобилями марки «понтиак», но, по-моему, она играла ничуть не хуже профессиональной актрисы, выступавшей в этой роли в Нью-Йорке, а может, и лучше. Во всяком случае, Селия была гораздо красивее. Это потом она от

амфетамина стала совсем старухой, покрылась морщинами, исхудала так, что у нее зубы торчали и щеки ввалились.

А фамилию актрисы, игравшей эту роль в Нью-Йорке, я уже забыл. Кажется, она бросила сцену после «Катманду».

■

Кстати, об амфетамине: старый приятель отца Гитлер, должно быть, один из первых начал им пользоваться. Недавно я читал, что у Гитлера сохранился до конца этакий блеск в глазах и петушиная поступь, потому что его личный врач все увеличивал и увеличивал ему дозы витаминов и амфетамина.

■

Сразу после окончания университета я поступил ночным продавцом в аптеку Шрамма, на шесть ночей в неделю с полуночи до рассвета. Я все еще жил с родителями, но уже мог вносить в наше общее хозяйство весьма ощутимую сумму. Работа у меня была опасная: все лавки и магазины закрывались, только аптека Шрамма была открыта всю ночь, а это притягивало всяких бандитов и психов, как маяк во тьме. Моего предшественника, старого Малькольма Хайатта, который учился в школе еще с моим отцом, убил какой-то приблудный бродяга. Этот бродяга свернул с шоссе у шепердстаунского шлагбаума, закрыл выстрелом из обреза смотровой глазок старика Хайатта и снова вырулил на магистраль.

Но его поймали на границе штата Индиана, а судили, признали виновным и приговорили к смертной казни в Шепердстауне. Его смотровой глазок закрыли на электрическом стуле. За микросекунду он увидел и услышал много чего. А еще через микросекунду он снова стал всего лишь комочком аморфного небытия.

И поделом ему.

■

Аптекой, кстати, теперь владел некто Хортон, житель Цинциннати. Из прежних владельцев, Шраммов, в городе уже никого не осталось. А раньше их можно было считать дюжинами.

И нас, Вальцев, раньше в городе было множество. Но когда я начал работать в аптеке, нас оставалось всего четверо — мама, отец, я и еще первая жена моего брата, Донна. Она была из пары близняшек, похожих друг на друга как две капли воды. Они с Феликсом развелись, но она по-прежнему называла себя Донна Вальц. Так что она была не настоящая Вальц, не по крови, а только по фамилии.

И вообще она никогда не носила бы фамилию Вальц, если бы не несчастье, которое с ней случилось в тот день, когда Феликс вернулся домой с военной службы. Он с ней только что познакомился, потому что ее семья переехала в Мидлэнд-Сити из Кокомо, штат Индиана, когда он еще был в армии. И он даже не отличал Донну от ее сестры-близняшки Дины.

Они поехали прокатиться в машине ее отца. Слава богу, что хоть машина была не наша. У нас никакой машины уже не было. И вообще у нас не было ни хрена, и отец все еще отбывал заключение. Но Феликс сам вел машину. Он сидел за рулем, и тормоза заело. Машина была довоенного образца, старый «гудзон». Послевоенных машин еще не было.

Донна врезалась головой в ветровое стекло, так что с этих пор ее никто уже не путает с сестрой. Она на сестру больше не похожа. Но Феликс на ней женился, как только она выписалась из больницы. Ей было всего восемнадцать лет, но у нее все зубы уже были вставные — и верхние и нижние.

Теперь Феликс шутит, что его свадьба была «скоропалительной». Родичи и друзья Донны считали, что Феликс обязан на ней жениться, любит он ее или не любит — да и сам Феликс был того же мнения. Обычно «скоропалительными» называют такие браки, когда нужно «покрыть грех». Согрешил с девушкой — значит надо поскорее покрыть грех, жениться на ней. Но Феликс не согрешил со своей первой женой до свадьбы, а просто нечаянно разбил ей всю физиономию.

— Уж лучше бы она от меня забеременела,— сказал он мне недавно.— Все равно пришлось на ней жениться из-за того, что я ей физиономию расквасил.

■

Еще задолго до того, как я удрал в Нью-Йорк, на премьеру моей пьесы, какой-то пьянчужка ввалился в аптеку Шрамма в два часа ночи и, скосив глаза на

висевшую над прилавком табличку, прочитал мою фамилию: Рудольф Вальц, дипл. фарм.

Наверное, он знал что-то о нашем почтенном семействе, хотя, по-моему, я с ним никогда не встречался. Но он был до того пьян, что сразу спросил меня напрямик:

— Ты тот Вальц, что пристрелил женщину, или тот, что всадил девушку головой в ветровое стекло?

Помню, что он требовал молочный коктейль с шоколадным сиропом. А у нас в аптеке уже пять лет никакими напитками не торговали и миксера для приготовления коктейлей не было. Но он все канючил:

— Тогда дай мне немножко молока, мороженого и шоколадного сиропа, я сам себе собью коктейль.— Потом свалился как сноп.

■

Он не назвал меня Малый Не Промах. И вообще мне почти никогда и никто не бросал в лицо это прозвище. Но я часто слышал его за спиной, в толпе — в магазинах, в кино, в кафе. Иногда кто-то орал эти слова, проносясь мимо в машине. Впрочем, это были чаще всего либо пьяные, либо подростки. Ни один взрослый, уважаемый человек не позволил себе назвать меня этой кличкой.

Но с ночными дежурствами в аптеке Шрамма было сопряжено одно неприятное и непредвиденное обстоятельство: там был телефон. И почти каждую ночь какой-нибудь расхрабрившийся юный остряк звонил мне и спрашивал, не я ли тот самый Малый Не Промах.

Да, это я. Был и останусь. Навсегда.

■

На этой работе можно было вволю почитать, и на полках лежали груды журналов. Да и дела, которыми мне приходилось заниматься по ночам, были несложными и никакого отношения к приготовлению лекарств не имели. Главным образом я продавал сигареты, и, как ни странно, наручные часы, и самые дорогие духи. Ясно, что и часы и духи покупали кому-то в подарок, ко дням рождения или юбилеям, о которых вспомнили слишком поздно, когда все другие магазины были уже закрыты.

И однажды ночью, читая журнал «Райтерс дайджест», я увидел объявление о том, что фонд Колдуэлла объявляет конкурс на лучшую пьесу. Не теряя времени, я тут же принялся стучать на машинке — это была старенькая, разбитая «Корона», на которой мы печатали этикетки. Я строчил новый вариант пьесы «Катманду».

И я получил первую премию.

■

Жаркое в маринаде по рецепту Рудольфа Вальца, дипл. фарм. Смешать в кастрюльке чашку виноградного уксуса, полчашки белого вина, полчашки яблочного уксуса, две мелко нарезанные луковицы, две мелко нарезанные морковки, щепотку рубленого сельдерея, два лавровых листка, шесть зерен ямайского перца, две головки чесноку, две столовые ложки черного перца, столовую ложку соли. Довести до кипения.

Залить горячим маринадом кусок вырезки, фунта на четыре, в глубокой миске. Перевернуть мясо в маринаде несколько раз. Закрыть миску и поставить в холодильник на три дня. Переворачивать мясо в маринаде несколько раз в день.

Вынуть мясо из маринада, обсушить. Облить на глубоком противне восемью столовыми ложками топленого жира. Жарить в духовке, пока не подрумянится. Слить жир. Положить мясо обратно на противень, разогреть маринад и залить мясо. Томить в духовке часа три. Слить сок, удалить лишний жир. Держать жаркое на противне горячим.

Растопить в кастрюльке три столовые ложки масла, добавить три столовые ложки муки и столовую ложку сахару. Постепенно добавлять маринад, размешивая, пока не получится однородный соус. Прибавить чашку толченого имбиря и, не доводя до кипения, подержать на медленном огне минут шесть.

Пальчики оближете!

■

Три дня я не говорил ни отцу, ни матери, что я победил на конкурсе. Как раз три дня мясо вылеживается в маринаде. Когда я подал жаркое, для них это был сюрприз, потому что ни мама, ни папа никогда на кухню не заходили. Они сидели за столом, как послушные детишки, и ждали, что им подадут.

И когда они, наконец, наелись досыта и все благодарили меня и расхваливали жаркое, я обратился к ним с такой речью:

— Мне уже двадцать семь лет, двенадцать лет я для вас все готовил, и мне это было очень приятно. Но теперь я получил премию за свою пьесу, и через три месяца в Нью-Йорке будет премьера. И мне, конечно, надо быть там за полтора месяца до спектакля, чтобы присутствовать на всех репетициях. Феликс сказал, что я могу пожить у них с Женевьевой,— продолжал я,— спать можно в гостиной на диване. Они живут всего в трех кварталах от театра.— Кстати, свою жену Женевьеву Феликс теперь называет Подмалевкой. Она была почти безбровая, губки тоненькие, так что, когда ей хотелось, чтобы на нее обратили внимание, она рисовала себе брови, губы, подводила глаза и так далее.

Я сказал родителям, что договорился с Синтией Гублер, невесткой нашей прежней поварихи Мэри Гублер, чтобы она ходила к ним и обслуживала их, а я ей сам буду платить — денег я накопил достаточно.

Я не ожидал возражений — ведь с обслугой все было налажено,— и они не возражали. Вроде того, как бывает в пьесах и романах с хорошим концом: все ошибки забыты, все довольны, никаких нерешенных проблем не осталось.

Первой отозвалась моя мама.

— Прекрасно,— сказала она.— Счастливого пути!

— Да,— сказал отец.— Счастливого пути!

Разве я мог знать, что отцу жить оставалось всего несколько месяцев.

19

Время летит. Не успел я опомниться — и вот я уже на Кристофер-стрит, в Гринич-Виллидж. Полдень. Я смотрю на полотнище над театральным подъездом, и снежинки нежно целуют меня в лоб и щеки. Четырнадцатое февраля 1960 года. И отец, насколько мне известно, жив-здоров. На полотнище крупными буквами написано:

КАТМАНДУ

Новая драма

Руди Вальца

Репетиции кончились. В этот вечер должна была состояться премьера. У отца в Вене когда-то была студия с запыленным окошком в потолке и обиженной натурщицей, где ему стало ясно, что никакой он не художник. А теперь мое имя красовалось над подъездом нью-йоркского театра, где мне стало ясно, что я никакой не драматург. Пьеса была обречена на провал. С каждой репетицией несчастные актеры все больше чувствовали, какая это ерунда, какая тоска зеленая.

И актеры, и режиссер, и представители фонда Колдуэлла, который после этого наотрез отказался субсидировать какие бы то ни было конкурсы,— все перестали со мной разговаривать. В театр меня больше не пускали. И нельзя сказать, что я требовал чего-то невозможного. Виноват я был в том, что ни черта не понимал в собственной пьесе, знал ее хуже всех. Со мной и разговаривать не стоило.

И если кто-нибудь все-таки меня спрашивал, что значит та или иная реплика, мне казалось, что я сам слышу эти слова впервые в жизни. И я растерянно бормотал что-то невнятное: «Господи, да я уж и не помню, что бы это такое значило...»

И мне было совершенно безразлично, что я этим хотел сказать.

А дело было вот в чем: я был потрясен тем, что я уже больше не Малый Не Промах. Вдруг оказалось, что никто не знает, что я не такой, как все,— что я убил наповал беременную женщину. Я чувствовал себя как газ, который много лет держали в закупоренной бутылке с ярлычком, а потом вдруг взяли и выпустили на свободу.

Я перестал стряпать. Стряпал тот Малый Не Промах, который старался хоть чем-то ублажить, побаловать тех, кому он так страшно навредил.

И на пьесу мне было теперь наплевать. Это тот Малый Не Промах, которого мучили угрызения совести там, в Мидлэнд-Сити, видел в смерти старого Джона Форчуна, бессмысленно погибшего в Катманду, далеко-далеко от своей родины, какое-то величие. Он и сам мечтал забраться куда-нибудь подальше и околеть.

И потому, когда я глядел на свое имя на полотнище над театральным подъездом в Гринич-Виллидж, это был уже не я. И вообще никто. Казалось, что у меня в голове вместо мозгов выдохшееся имбирное пиво.

И когда актеры еще о чем-то меня спрашивали, начинался такой разговор, как с бедным Шелдоном Вудкоком — актером, игравшим Джона Форчуна:

— Помогите мне, пожалуйста, хоть за что-то уцепиться в этом образе.

— Да вы прекрасно играете,— говорю я.

— Как это я могу прекрасно играть, когда он у вас такой косноязычный,— говорит он.

— Он же простой фермер,— говорю я.

— В том-то и дело,— говорит он.— Слишком уж простой, простачок. Мне все время кажется, что я играю идиота, а ведь он у вас задуман не таким уж идиотом, верно?

— Зачем же — идиотом? — говорю я.

— Он ни разу не объяснил, чего это его так тянет в Катманду,— говорит актер.— Остальные то стараются помочь ему попасть в Катманду, то мешают ему добраться до Катманду, а я все думаю: «Да какое им всем дело, попадет он в этот чертов Катманду или нет? А почему не на Огненную Землю? Почему не в Дубьюк? Он такой болван — не все ли ему равно, куда его занесет?»

— Но он-то ведь ищет Шангри-Ла,— говорю я.— Он не раз говорит, что хочет найти Шангри-Ла.

— Тридцать четыре раза,— говорит он.

— Простите?

— Он у вас тридцать четыре раза повторяет: «Я ищу Шангри-Ла».

— Вы считали? — спрашиваю.

— Да, не поленился,— говорит он.— Многовато для двухчасового спектакля, тем более что этот персонаж практически ничего другого и не говорит.

— Можете несколько реплик вычеркнуть, если хотите,— говорю я.

— Каких именно? — спрашивает он.

— Да тех, которые вам кажутся лишними,— отвечаю я.

— А вместо этого что говорить? — спрашивает он.

— А что бы вам хотелось сказать? — поинтересовался я.

Тут он еле слышно выругался, но взял себя в руки. Вскоре меня перестали пускать в театр.

— Может быть, вы об этом не задумывались,— с горестной кротостью сказал он,— но ведь актеры не сами сочиняют то, что они говорят на сцене. Кажется, что актер говорит свои слова — если он как актер чего-то стоит,— но на самом деле все это, до последнего словечка, пишет заранее такой человек, автор,— понимаете?— драматург.

— Ну, тогда говорите то, что я написал, и больше ничего,— сказал я. Но в этих словах таился совсем иной смысл: впервые в жизни я вырвался из дому, и у меня кружилась голова, и плевать мне было на все, что со мной будет. Пусть пьеса провалится ко всем чертям, меня в Нью-Йорке все равно никто в лицо не знает. Тут меня не арестуют. Тут меня не выставят на позор в клетке, вымазанного чернилами.

Обратно домой я во всяком случае не собирался. Устроюсь где-нибудь в Нью-Йорке фармацевтом. Фармацевты всюду нужны. Буду, как мой брат Феликс, посылать домой деньги. А потом, постепенно, попробую жить своим домом, своей жизнью; может, поищу подходящую спутницу, посмотрю, что из этого выйдет.

— Растолкуйте мне, как провести мою главную сцену, когда я умираю на руках у доктора Брокеншайра в Катманду под музыку индийского ситара,— попросил Вудкок.

— Ладно,— сказал я.

— Я думаю, что я — в Шангри-Ла,— сказал он.

— Верно,— сказал я.

— И я знаю, что я сейчас умру,— говорит он.— Я не думаю, что просто болен и скоро пойду на поправку.

— Но доктор ясно вам сказал, что вы при смерти,— объясняю я.

— Тогда как же я могу думать, что я в Шангри-Ла? — спрашивает он.

— Простите? — спрашиваю я.

— Да я же сам все время твержу, что в Шангри-Ла никто не умирает. А если я умираю, как же я могу при этом находиться в Шангри-Ла?

— Надо будет об этом подумать,— сказал я.

— Вы что, собираетесь в первый раз об этом подумать? — воскликнул он.

И так далее и тому подобное.

— Семнадцать раз,— говорит он.

— Простите? — откликаюсь я.

— Да я же семнадцать раз говорю: «В Шангри-Ла никто не умирает».

■

До премьеры оставались считанные часы, а я побрел из театра в двухэтажную квартиру моего брата — до нее было три квартала. Снежок шел редкий, снежинки сразу таяли. С тех пор как я приехал в Нью-Йорк, я и газет не читал, и радио не слушал, и даже не знал, что на юго-западе штата Огайо вновь наступило Великое оледенение — там разыгралась такая снежная буря, какой и старожилы не упомнят.

И когда в театре поднялся занавес и начался первый акт «Катманду», буря ворвалась в заднюю дверь старого каретного сарая в моем родном городе и распахнула изнутри огромные ворота — точно так же, как распахнул их когда-то, давным-давно, мой отец перед Селией Гилдрет.

Люди судачат о том, что в Гринич-Вилледж, куда ни пойдешь, обязательно наткнешься на педераста, а мне в этот день бросались в глаза одни только бесполые существа, нейтро... Это были такие же одиночки, как я, они тоже привыкли ждать любви невесть откуда, и были точно так же, как я, уверены, что все милое, желанное — непременно заминировано, насторожено, как западня.

И у меня родилась ужасно смешная мысль. Когда-нибудь мы все, бесполые, нейтро, повыползем из своих норок и устроим демонстрацию. Я даже придумал, что именно будет написано на нашем знамени, которое развернется во всю ширину Пятой авеню. Огромными буквами, в четыре фута вышиной, там будет начертано одно слово:

EGREGIOUS

Многие думают, что это слово значит «ужасный», или «непростительный», или «из ряда вон выходящий», но на самом деле это слово гораздо интереснее. Оно означает, что кто-то «отбился от стада».

Только представьте себе: тысячная толпа людей, и каждый из них «отбился от стада», каждый из них — отщепенец.

■

Я открыл своим ключом двухэтажную квартиру Феликса. Она немножко напоминала наш родной дом, потому что спальня хозяев была наверху и там была большая галерея, а внизу, под ней,— столовая, она же гостиная. Мы с Феликсом уже расставили мебель поудобнее — после спектакля мы ждали гостей. Угощение мы заказали в ресторане. Как я уже сказал, сам я не желал ничего готовить.

Но вряд ли кому-нибудь в здравом уме вздумалось бы явиться к нам в гости.

Я не имел никакого отношения к гостям, так же как не имел отношения к своей глупой пьесе. Я снова стал мальчишкой, каким был до того, как застрелил миссис Метцгер. Мне только что сравнялось двенадцать лет.

Я-то думал, что побуду один в этой квартире, я решил, что Феликс и его жена Женевьева — Подмалевка — задержались на радиостанции. Она по-прежнему вела там прием посетителей, а Феликс разбирал свой письменный стол, собираясь перейти на более престижную работу к Баттену, Бартону, Дарстайну и Осборну.

Они в свою очередь, естественно, предполагали, что я — в театре, вношу последние поправки в текст пьесы перед самым спектаклем. Я им не сказал, что мне запретили туда приходить.

Я вышел на галерею, сел на жесткий стул с прямой спинкой. Так я частенько сидел в каретном сарае, когда мне было двенадцать лет и я еще был в буквальном смысле слова невинным существом — хорошо было сидеть совсем тихо на галерее, ловить все звуки, всплывавшие ко мне снизу. Я не подслушивал. Я вслушивался в музыку слов.

Так вот и вышло, что я случайно подслушал, как окончательно рушится брак моего братца, услышал весьма нелестные характеристики и Феликса, и свою, и наших родителей, и Женевьевы, и всяких незнакомых мне людей. Женевьева первой ворвалась в квартиру, шипя от злобы, как бешеная кошка, а за ней через полминуты влетел Феликс. Она приехала на такси, а Феликс гнался за ней на другой машине. И внизу подо мной, но невидимо для меня, разыгрался дикий нестройный дуэт для скрипки и контрабаса. У них обоих были такие красивые голоса. Она была скрипкой, а он — контрабасом.

А может, это была музыкальная комедия. Может быть, выходило очень смешно, когда две красивые богатые человекообразные обезьяны в современной городской квартире с такой ненавистью бросаются друг на друга.

Двухэтажная квартира

Новая комедия

Руди Вальца

Двухэтажная квартира в Гринич-Вилледж. Дорогая, очень современная белая мебель. Много свежих цветов, свежие фрукты. Великолепная электронная система. Женевьева Вальц, красивая молодая женщина, которой приходится рисовать свое лицо до последней черточки, как будто она — фарфоровая кукла, влетает через парадную дверь в совершенном бешенстве. За ней входит Феликс, ее муж, преуспевающий молодой человек в лондонском костюме. Он тоже взбешен до предела. На галерее сидит Руди Вальц, младший брат Феликса, фармацевт из Огайо. Он высокий, красивый малый, но до того беспол, до того застенчив, что похож не на живого человека, а на консервированного тунца. Странно и невероятно, но он — автор пьесы, премьера которой состоится через несколько часов. Он сознает, что пьеса никудышная. Он считает себя ошибкой природы. И жизнь считает ошибкой природы,— может, и жить-то не стоит. Но он пытается еще на что-то надеяться, дать жизни еще один шанс. Его гнетет страшная тайна. Они с братом скрыли от Женевьевы, что он — убийца. Все трое окончили обычную среднюю школу на Среднем Западе, но Женевьева теперь говорит почти как англичанка, а Феликс — как государственный секретарь, окончивший Гарвардский университет. Только у Руди еще сохранилось провинциальное произношение.

Женевьева. Отстань от меня. Ступай на работу.

Феликс. Я помогу тебе уложить вещи.

Женевьева. Сама справлюсь.

Феликс. А ты можешь сама дать себе пинка в зад, когда будешь выходить отсюда?

Женевьева. Ты спятил. И вся семья у тебя ненормальная. Слава богу, что у нас нет детей.

Феликс. Жил-был мальчишка в Дандѝ,

Любил обезьяну дня три,
Родился урод,
Все наоборот:
Зад огромный,
А сам криворот.

Женевьева. А я и не подозревала, что твой папаша из Дандѝ. (Открывает шкаф.) **Поглядн, какие тут красивые чемоданы!**

Феликс. А ты их набей своим барахлишком. Чтоб тут от тебя и духу не осталось!

Женевьева. Кажется, портьеры пропахли моими духами. Придется тебе их сжечь.

Феликс. Складывай вещички, детка. И поскорей!

Женевьева. Но это и мой дом, не только твой! Конечно, чисто теоретически.

Феликс. Я тебе заплачу, я от тебя откуплюсь.

Женевьева. А я оставлю твоему братцу все свои тряпки. Я и брать ничего не буду. Уйду как есть, все начну заново.

Феликс. Что это значит?

Женевьева. Неужели не понимаешь? Это значит — пойду к Саксу или Блумингдейлу голышом и возьму с собой только кредитную карточку.

Феликс. Нет, про моего брата и твои тряпки.

Женевьева. Мне кажется, ему бы понравилось быть женщиной. Наверное, он должен был родиться девчонкой. И тебе было бы лучше, ты мог бы на нем жениться. Я желаю тебе счастья, хотя тебе, может, и трудно в это поверить.

Феликс. Все кончено.

Женевьева. Мы сто раз об этом говорили.

Феликс. Нет, теперь все кончено навсегда.

Женевьева. Да, уж теперь всему конец — и точка. Убирайся отсюда, дай мне спокойно сложить вещи.

Феликс. Что, я не имею права приютить родного брата?

Женевьева. Я тебе тоже была родная жена. Разве ты не помнишь, как нас регистрировали в ратуше? Ты, наверное, решил, что это опера и тебе надо пропеть «Да-да!». А если у вас такая дружная семья, почему никто из твоей родни на свадьбу не явился?

Феликс. Тебе же так не терпелось выскочить замуж.

Женевьева. Мне не терпелось? Возможно. Мне хотелось выйти замуж. Я ждала этого счастья. И мы ведь были счастливы, правда?

Феликс. Да, как будто.

Женевьева. Пока не появился твой братец.

Феликс. Он не виноват.

Женевьева. Ты виноват.

Феликс. Я? Чем же?

Женевьева. Раз уж все-все кончено, я тебе сейчас объясню. Но потом не обижайся.

Феликс. Говори: чем же я виноват?

Женевьева. Ты так его стыдишься. Ты, наверное, и своих родителей стыдишься. Почему ты меня с ними до сих пор не познакомил?

Феликс. Они вечно болеют, из дому не выходят.

Женевьева. Да, конечно, при ста тысячах долларов в год нам было не по карману съездить к ним. Может, они уже померли?

Феликс. Нет.

Женевьева. Или сидят в психушке?

Феликс. Нет.

Женевьева. Люблю навещать людей в психушке. Моя мать сидела в психушке, когда я еще училась в школе, и я к ней ходила. Она была чудесная, и я тоже была прелесть. Я же тебе рассказывала, что моя мать одно время была в психиатрической больнице?

Феликс. Да.

Женевьева. Я считала, что тебе надо знать, если мы захотим завести ребенка. Тут стыдиться нечего. А может быть, это стыдно?

Феликс. Ничего стыдного тут нет.

Женевьева. Вот и расскажи мне всю-всю подноготную про твоих родителей, все, даже самое скверное.

Феликс. Нечего мне рассказывать.

Женевьева. А хочешь, я тебе скажу, что в них плохого? Ты ими недоволен. Тебе хочется чего-то другого, пошикарней. Ах, какой ты сноб!

Феликс. Тут все гораздо сложнее.

Женевьева. Сомневаюсь. Что в тебе такого особенно сложного? Что-то не припомню. Ты любой ценой хочешь производить хорошее впечатление — вот и все, что в тебе есть.

Феликс. Нет, во мне все-таки есть кое-что посерьезнее.

Женевьева. Нет. Ничего, кроме дешевого лоска, в тебе не было, пока твой братец не приехал. А он оказался балаганным уродом.

Феликс. Не смей его так называть.

Женевьева. Я тебе только сказала, что ТЫ о нем думаешь. А какие были обязанности у меня, у твоей жены? Защищать твое самолюбие? Делать вид, что твой брат — такой же, как все? По крайней мере, я никогда его не стыдилась. Это ты сгорал со стыда.

Феликс. Я?

Женевьева. Тебя узнать нельзя было, как только он появлялся. Ты же умирал со стыда. Думаешь, он не замечал? Думаешь, он не замечал, что у нас всегда все готово к приему гостей, только мы почему-то никогда никого не зовем?

Феликс. Я его оберегал.

Женевьева. Его? Ты себя оберегал! А из-за чего мы поругались — ведь не из-за того же, что я ему сказала. Уж он-то на меня не может пожаловаться. Нет, ты разозлился из-за того, что я тебе сказала.

Феликс. Да, при людях — так, что сто человек слышали.

Женевьева. Кроме нас в приемной было ровно пять человек. И никто ничего не слыхал — я тебе сказала шепотом. Но ты так на меня заорал, что в самом Чикаго было слышно. А я сегодня утром была такая счастливая — я вдруг по-настоящему поняла, что я замужем, но только это продолжалось всего несколько секунд, потому что тут-то ты на меня и заорал. А мне казалось, что я так чудесно выгляжу, и все мною любуются, и ты так меня любишь... Если помнишь, мы сегодня с утра пораньше целовались и так далее... Сожги заодно и простыню вместе с портьерами у кровати. А в приемной было пятеро посетителей, и они, наверное, думали: «Вот счастливица! Какая же у нее жизнь, какой любовник, если она с самого утра так и светится!» И тут в приемную входит молодой человек, одет с иголочки, такой светский, такой мужественный! Так вот он, любовник! Наклонился, поцеловал, а она что-то шепчет ему на ухо. Видать, эта парочка со Среднего Запада шикарно устроилась в Старом Готаме![1]

Феликс. А зачем ты мне на ухо сказала гадость?

Женевьева. И повторю: «Скажи своему братцу, чтоб он принял ванну!»

Феликс. Нашла время говорить такое!

Женевьева. У него сегодня премьера, а он воняет, как поросенок. Ни разу не мылся с тех пор, как приехал.

Феликс. По-твоему, это очень романтично?

Женевьева. По-моему, это семейная жизнь. Оборотная сторона семейной жизни. Ну, с меня хватит. (Вытаскивает чемодан из шкафа, открывает, швыряет раскрытый чемодан на кушетку.) Смотри, чемодан уже разинул пасть — есть просит.

Феликс. Прости меня, пожалуйста, за то, что я сказал.

Женевьева. Сказал? Ты на меня орал! Ты орал: «Заткнись, мать твою так!» Ты орал: «Если тебе не нравятся мои родные, убирайся к чертям!»

Феликс. Но я сразу же спохватился.

Женевьева. Еще бы! Заткнулся как миленький. А я ушла из приемной — навсегда. Все, друг сердечный. Зачем только ты за мной потащился, чучело деревенское!

В шкафу груда спортивной одежды, лыжные штормовки, непромокаемые комбинезоны, меховые куртки и так далее. Женевьева роется в шкафу, вытаскивает то, что ей надо, бросает на диван рядом с открытым чемоданом. Феликс совсем сник. Его мужская самоуверенность исчезает на глазах. Характер у него слабоват, он из тех позеров, которые не выносят, когда на них не обращают внимания. И чтобы Женевьева обратила на него внимание, он пытается разжалобить ее своей откровенностью.

Феликс (громко, униженно). Ты права, ты права! Права!

Женевьева (не слушая). И нырять ты меня так и не научил!

Феликс. Мне стыдно за свою семью! Ты права! Я виноват!

Руди на все это никак не реагирует. Он сидит и молчит

Женевьева. Обещал научить нырять с аквалангом...

Феликс. Отец в тюрьме сидел, если хочешь знать!

Женевьева (удивленно, с любопытством). Да что ты говоришь!

Феликс. То, что ты слышишь.

Женевьева. А за что?

Пауза.

Феликс. За убийство.

Женевьева (волнуясь). Господи, какой ужас!

Феликс. Теперь ты все знаешь. На радио бы такую новость с руками оторвали.

---

[1] Шутливое название Нью-Йорка.

Женевьева. Черт с ним, с радио. Ох, как твоему брату досталось! И тебе, наверное, тоже плохо пришлось.

Феликс. Нет, я в порядке.

Женевьева. С чего бы это, интересно! А твой брат, бедняжка,— теперь понятно, почему он такой. А я-то думала, что он дефективный. Знаешь, иногда при родах младенцев душит пуповина или еще что. Я думала, что он слабоумный гений.

Феликс. Это еще что такое?

Женевьева. Так бывает: дурак дураком, а что-нибудь одно делает блестяще — например, играет на рояле.

Феликс. Нет, он на рояле не играет.

Женевьева. Ну, зато пьесу написал, ее даже в театре поставили. Может, он мыться не любит. Может, у него друзей нет. Может быть, он вообще боится людей — ни с кем не разговаривает. Но пьесу-то он написал. И запас слов у него огромный. Мы с тобой вместе меньше знаем слов, чем он один, а иногда он такое скажет — и умно и остроумно.

Феликс. Он дипломированный фармацевт.

Женевьева. Потому-то я и подумала, что он слабоумный гений. Такое сочетание тоже ненормально: он и драматург, он же и фармацевт. Но ведь он же и сын убийцы. Неудивительно, что он стал таким. Хочет, чтоб его никто не замечал, будто он невидимка. В воскресенье я видела, как он шел по Кристофер-стрит, такой высокий, красивый, вылитый Гэри Купер, но больше никто его не замечал. Зашел в кафе, сел за столик, а его даже не обслуживают — потому что его там и нет. Ничего удивительного.

Феликс. Только не расспрашивай про убийство.

Пауза.

Женевьева. Можешь быть спокоен. А что, твой отец и сейчас в тюрьме?

Феликс. Нет, но мог бы там быть. А мог бы уже умереть.

Женевьева. Теперь все прошло — как только я все поняла.

Феликс. Жен, пожалуйста, не уходи. Не хочу я быть одним из этих типов, которые только и делают, что женятся и разводятся, опять женятся и опять разводятся. Они, наверное, какие-то больные.

Женевьева. А мне даже нельзя вернуться на радио — после этого скандала. Так неудобно вышло!

Феликс. А я не хочу, чтобы ты работала.

Женевьева. Но я люблю работать. Люблю, чтобы у меня были свои деньги. А что мне еще делать — сидеть дома целыми днями?

Феликс. Заведи ребеночка.

Женевьева. Да что ты? Господи боже!

Феликс. А почему бы и нет?

Женевьева. Ты и вправду считаешь, что я была бы хорошей матерью?

Феликс. Самой лучшей!

Женевьева. А кого бы ты хотел? Мальчика или девочку?

Феликс. Все равно. Я и мальчика и девочку буду любить одинаково.

Женевьева. О господи! Я сейчас разревусь.

Феликс. Только не бросай меня. Я так тебя люблю!

Женевьева. Не брошу!

Феликс. Веришь, что я люблю тебя?

Женевьева. Придется поверить.

Феликс. Иду на работу. Уберу все в ящиках. Извинюсь перед всеми за эту дурацкую сцену. Я во всем виноват. Брат у меня вонючий грязнуля. Ему надо принять ванну, спасибо, что ты об этом сказала. Обещай, что будешь тут, когда я вернусь.

Женевьева. Обещаю.

Феликс уходит. Женевьева убирает вещи в шкаф.

Руди (кашляет). Кхе-кхе...

Женевьева (испуганно). Кто там?

Руди (встает во весь рост). Это я.

Женевьева. Господи!

Руди. Я не хотел вас пугать.

Женевьева. Вы все слышали.

Руди. Не хотел вмешиваться.

Женевьева. Да мы сами не верим в то, что мы тут наболтали.

Руди. Ничего. Я все равно хотел принять ванну.

Женевьева. Не обязательно.

Руди. Дома у нас зимой так холодно. Отвыкаешь принимать ванну. Мы даже не обращаем внимания, притерпелись, что от нас пахнет.

Женевьева. Мне так неприятно, что вы все слышали.

Руди. Да нет, не волнуйтесь. Я бесчувственный, как резиновый мячик. Вы сказали, что меня никто не замечает, что меня даже не обслуживают...

Женевьева. Вы и это слышали?

Руди. Все оттого, что я — бесполый, нейтро. У меня нет пола. Меня вся эта сексуальная возня даже не интересует. Никто не знает, сколько таких бесполых людей, потому что они — невидимки. А я вам вот что скажу — их здесь миллионы. Им бы устроить парад с плакатами: РАЗОК ПОПРОБОВАЛ — С МЕНЯ ХВАТИТ; ЖИЛ ОДИН ДЕСЯТЬ ЛЕТ, САМОЧУВСТВИЕ ОТЛИЧНОЕ; ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ ПОДУМАЙ О ЧЕМ-НИБУДЬ, КРОМЕ СЕКСА.

Женевьева. А вы, оказывается, остроумный.

Руди. Слабоумный гений. В жизни ни на что не гожусь, зато подмечаю самое забавное.

Женевьева. Мне жаль вашего отца.

Руди. Да он никого не убивал.

Женевьева. Правда?

Руди. Он и мухи не обидит. Но отцом он был плохим. Мы с Феликсом стеснялись приглашать товарищей к нам домой, нам было за него так неловко. Ничего он не умел, ничего не делал, но воображал, что на нем вся земля держится. Его в детстве, по-моему, избаловали до безобразия. Иногда мы его просили помочь нам делать уроки, а потом нам в школе говорили, что он все объяснял неверно. Знаете, что бывает, когда еноту дают кусок сахару?

Женевьева. Не знаю.

Руди. Еноты всегда «полощут» еду, прежде чем съесть.

Женевьева. Да, я об этом как будто слышала. У нас в Висконсине водятся еноты.

Руди. Енот возьмет сахар, окунет его в воду и начинает мыть, мыть, мыть — без конца.

Пауза.

Женевьева. Ну да! Пока весь сахар не растает!

Руди. Вот так мы с Феликсом росли. В конце концов мы обнаружили, что отца у нас фактически нет. Только мама до сих пор считает его самым великим человеком на свете.

Женевьева. Но вы же все равно любите своих родителей.

Руди. Нейтро никого не любят. Зато и ненависти ни к кому не питают.

Женевьева. Но вы же годами вели все хозяйство дома, правда? Или нет?

Руди. Нейтро — чудесные слуги. Они не претендуют на особое внимание, а готовят почти всегда прекрасно.

Женевьева (ей жутко). Вы такой странный человек, Руди Вальц.

Руди. Потому что это я — убийца.

Женевьева. Что?

Руди. Да, у нас в семье есть убийца. Только это не отец. Это я.

Пауза.

Занавес.

■

Тогда я помешал моему брату завести ребеночка. Женевьева тут же ушла из двухэтажной квартиры — не захотела оставаться наедине с убийцей,— и больше они с Феликсом не виделись. Теперь тому ребенку было бы двадцать два года. А ребенку, которого носила Элоиза Метцгер, когда я ее застрелил, было бы уже тридцать восемь! Только подумать...

А кто знает, что делали бы сейчас эти взрослые люди вместо того, чтобы где-то плавать в пустоте в виде комочков аморфного небытия? У них сейчас хватало бы дел.

■

До сих пор я не рассказал Феликсу, что подслушал с галереи его разговор с Женевьевой и спугнул ее из роскошной квартиры — так что она уже не вернулась. Разбил семью. В это время со мной без конца что-то случалось, как и тогда, когда я нечаянно застрелил миссис Метцгер.

Вот и все, что я могу сказать.

■

Мне очень захотелось сказать своей невестке, что перед ней не кто-нибудь, а настоящий убийца, что со мной надо считаться. Я тоже возжаждал славы.

20

Наутро после того, как моя пьеса «Катманду» прошла один-единственный раз и тут же была снята, мы с Феликсом летели над местностью, белой и пустынной, как наша жизнь. Феликс расстался со своей третьей женой. Я стал мишенью для шуток всего Нью-Йорка. Мы летели в шестиместном частном самолете над юго-западной окраиной штата Огайо, безжизненной, как полярная шапка на Северном полюсе. Где-то под нами лежал Мидлэнд-Сити. Электричество не работало. Телефоны молчали.

Неужели там еще кто-то мог остаться в живых?

Небо было ясное, стояла полная тишь. Буран, наделавший столько бед, уже свирепствовал где-то за Лабрадором.

■

Мы с Феликсом летели на самолете, принадлежавшем компании «Бэрритрон лимитед», производившей сложные боевые системы. Там работало самое большое количество рабочих в Мидлэнд-Сити. Кроме нас в самолете были Фред Т. Бэрри — основатель и единственный хозяин «Бэрритрона», его матушка Милдред и их личный пилот.

Мистер Бэрри был холостяком, мать его вдовела, и оба они были неутомимыми путешественниками. Из их разговора мы с Феликсом поняли, что они следят за культурной жизнью во всем мире — ездят вместе на все кинофестивали, на премьеры всех балетов и опер, на вернисажи, и так далее, и тому подобное. И не мне было подсмеиваться над тем, что они так легкомысленно шатаются по свету, потому что именно на мою премьеру они спешно прилетели в своем самолете в Нью-Йорк. Ни меня, ни Феликса они не знали, а с моими родителями у них тоже было только шапочное знакомство. Но они сочли своим долгом приехать на премьеру первой многоактной пьесы, написанной гражданином Мидлэнд-Сити и поставленной в профессиональном театре.

Как же я мог не любить их за это?

И это еще не все: эта пара — мама с сыном — досидели до самого конца «Катманду». До самого конца досидели человек двадцать, в том числе и мы с Феликсом. Я знаю — сам пересчитал всех зрителей. И мать и сын аплодировали, свистели и топали ногами, когда опускался занавес. Они никого не стеснялись. А миссис Бэрри здорово умела свистеть. Она родилась в Англии и в молодости выступала в мюзик-холле, подражая голосам всяких птичек, подслушанным в разных концах Британской империи.

■

Мистер Бэрри любил свою матушку гораздо больше, чем я свою. Когда миссис Бэрри скончалась, он решил обессмертить ее имя — он подрядил братьев Маритимо построить Центр искусств на опорах посреди Сахарной речки и назвал этот Центр в ее честь.

А моя мама сорвала все его планы, убедительно объяснив окружающим, что и Центр искусств, и его экспонаты — несусветное уродство.

А потом рванула нейтронная бомба. В Мидлэнд-Сити ни души не осталось — теперь никто не знает про Милдред Бэрри, некому этим интересоваться.

Кстати, идея поселить беженцев в нашем городе, где уцелели только пустые до-

ма, с каждым днем становится все более популярной. Сам президент считает, что это «счастливая возможность». Наш адвокат Бернард Кетчем, который живет здесь в гостинице «Олофсон», говорит, что беженцы из Гаити могли бы, по примеру белых американцев, заново «открыть» Флориду, Виргинию, Массачусетс, да мало ли что еще. Им надо просто высадиться на берег и начать обращать жителей в «вудуизм».

— Всем давно известно,— говорит он,— что можно прибрать к рукам любое место на земле, где люди жили уже тысячелетиями,— надо только бесконечно твердить такую мантру: «Мы их открыли, мы их открыли, мы их открыли...»

■

У Милдред, матушки Фреда Бэрри, был английский выговор, и она даже не старалась от него избавиться, хотя прожила в Мидлэнд-Сити лет двадцать пять, если не больше.

Я знаю, что черные слуги ее обожали. Она сама любила над собой посмеяться и без конца смешила слуг своими выходками.

Сейчас, летя в маленьком самолете, она подражала и соловью из Малайзии, и новозеландскому сычику, и так далее. Я понял главную ошибку моих родителей: они считали, что не должны никому ни в коем случае подавать повод для смеха.

■

Мне все время хочется сказать, что Фред Т. Бэрри был величайшим нейтро, какого я встречал. У него, разумеется, никакой так называемой «личной жизни» не было. У него даже друзей не было. Глядя на него в самолете, когда все мы были на волосок от смерти, я понял, что ему глубоко безразлично, жив он или умер. И на то, что могу погибнуть я, или Феликс, или его матушка, или перепуганный до смерти летчик, школьный товарищ моего брата, ему наплевать. И где мы сядем, если у нас забарахлит мотор, прежде чем мы долетим до Цинциннати — ближайшего открытого аэродрома,— это его тоже не волнует.

Но то, что мистер Бэрри так любил общество своей матушки и охотно сопровождал ее на премьеры, концерты, спортивные состязания и тому подобное, доказывало что угодно, только не бесполую сущность нейтро. Раз ему настолько нравится хоть что-то в жизни, ему не придется в ближайшем будущем участвовать в великом параде нейтро.

И его матушке тоже.

■

Фреду и его матушке действительно понравилась пьеса «Катманду», они долго не ложились спать, чтобы дождаться первых выпусков утренних газет и прочитать рецензии. Их очень рассердило, что ни один критик не досидел до конца и не узнал, нашел Джон Форчун Шангри-Ла или нет.

Мистер Бэрри сказал, что ему хотелось бы увидеть эту пьесу в исполнении только актеров из Огайо. Он добавил, что нью-йоркским артистам никогда не понять, почему простой фермер до конца жизни искал великую мудрость в Азии, хотя вряд ли там можно найти какую-то великую мудрость.

А года через три, как я уже говорил, желание мистера Бэрри исполнилось: мидлэндский «Клуб парика и маски» поставил «Катманду» на школьной сцене, и главную женскую роль поручили несчастной Селии Гувер.

О, господи...

■

Я по-прежнему называл Фреда Т. Бэрри «мистер Бэрри», будто он был старше самого Создателя. А ведь тогда ему было всего каких-нибудь пятьдесят лет — мне теперь как раз столько. А его матушке было семьдесят пять, и жить ей оставалось еще лет восемь до того, как она попыталась спасти летучую мышь, висевшую вниз головой на портьере в гостиной.

Мистер Бэрри был изобретателем-самоучкой и очень ловким дельцом. Вооружением он занялся совершенно случайно. Оказалось, что таймеры, выключавшие и включавшие стиральные машины, которые он делал на старом автомобильном заводе Кидслера, можно использовать в военных целях. Это идеальное приспособление для

бомбометания. Теперь бомбы отделялись от самолетов через определенные промежутки времени и ложились точно по цели. Когда война кончилась, стали поступать заказы на еще более сложное оружие, и мистер Бэрри стал привлекать к работе все более выдающихся ученых, инженеров и техников, чтобы держаться на уровне.

Было приглашено много японских специалистов. Мой отец принимал у себя первых итальянцев, прибывших в Мидлэнд-Сити. Мистер Бэрри пригласил первых японцев.

Мне никогда не забыть, как японец впервые пришел к нам, в аптеку Шрамма, когда я служил там ночным продавцом. Я уже говорил, что наша аптека, как маяк, притягивала всяких психов и лунатиков — а этот японец был тоже вроде лунатика, поскольку его притягивала луна. Он ничего не собирался покупать. Он только хотел, чтобы я вышел полюбоваться каким-то чудом при лунном свете.

Угадайте, что это было. Это была шатровая шиферная крыша моего родного дома всего в нескольких кварталах от моей работы. Вместо прежнего купола был теперь остроконечный конус, покрытый светло-серым толем. При свете полной луны он сверкал, как снег.

Японец улыбался и показывал в небо, на крышу. Он и не подозревал, с какими событиями связан для меня этот дом. Он просто хотел поделиться со мной своим восторгом — поблизости я один в это время не спал.

— Фудзияма,— сказал он. — Священный вулкан Японии.

■

У мистера Бэрри, как у большинства самоучек, голова была забита уймой всяких сведений, которых он случайно нахватался где попало,— сведений, не известных никому, кроме него. Например, он вдруг спросил меня, знаю ли я, что сэр Галахад[1] был еврей?

Я вежливо ответил, что не знаю. Мы сидели в самолете Бэрри. Я ждал, что сейчас услышу какую-нибудь обидную антисемитскую шуточку. Но я ошибся.

— Даже сами евреи не знают, что сэр Галахад был еврей,— продолжал он. — Про Христа знают, про Галахада — нет. А я у каждого знакомого еврея спрашиваю: «Как это вы никогда не хвалитесь, что сэр Галахад тоже еврей?» Я даже всем говорю, где они могут об этом прочитать. Я им говорю: «Первым делом прочитайте про Святой Грааль».

Фред Т. Бэрри излагал это так: некий иудей по имени Иосиф Аримафейский после Тайной Вечери взял чашу, из которой пил Христос. Он верил, что Христос был богом.

Иосиф принес чашу к подножию креста, на котором был распят Христос, и собрал в нее капли крови Учителя. Иосифа заключили в тюрьму за сочувствие христианам. Он был лишен воды и пищи, но прожил в темнице несколько лет. Оказалось, что чаша, которая была при нем, ежедневно наполнялась пищей и водой.

И римляне отпустили Иосифа. Они не знали про чашу, иначе они, наверное, отобрали бы ее. Иосиф отправился в Англию — проповедовать учение Христа. Всю дорогу его поила и кормила чаша. И этот бродячий еврей основал первую христианскую церковь в Англии, в Гластонбери. Он воткнул свой посох в землю — и тот стал живым деревом, расцветающим каждый сочельник.

Можете себе представить...

У Иосифа были дети, и чаша досталась им в наследство — ее потом называли «Святой Грааль».

Но прошло пять веков, и за это время Святой Грааль куда-то исчез. Король Артур и его рыцари искали как одержимые эту чашу — самую священную для англичан реликвию. Рыцари один за другим возвращались ни с чем. Но шли послания с неба, что эти рыцари недостаточно чисты сердцем и потому Святой Грааль от них скрыт.

Но вот сэр Галахад предстал перед двором в Камелоте, и все поняли, что он совершенно чист сердцем. И он отыскал Святой Грааль. Он отыскал Грааль не только потому, что был чист духом, но и потому, что имел на это законное право — он был последним потомком бродячего еврея Иосифа Аримафейского.

---

[1] Один из рыцарей Круглого Стола.

■

Мистер Бэрри объяснил мне, откуда произошло выражение «мишень для шуток». Первой мишенью на состязаниях стрелков из лука был просто пень. Я сказал ему, что я, должно быть, стал мишенью для шуток всего Нью-Йорка, как тот самый пень.

А мать Фреда сказала мне, имея в виду себя:

— Привет вам от мишени для шуток Мидлэнд-Сити, Венеции в Италии, Мадрида в Испании, Ванкувера в Британской Колумбии, Каира в Египте — да и вообще любого стоящего города, какой ни назови.

■

Феликс завязал разговор с пилотом Тигром Адамсом про Селию Гилдрет, ставшую в замужестве Селией Гувер. Тигр Адамс, который был в школе на класс старше Феликса, пригласил ее один раз на вечер — и с него хватило. Он сказал, что ей еще повезло — вышла замуж за продавца автомобилей, которому было плевать, как там у нее работает мотор. «Пирожок с ничем»,— сказал он. Так у нас говорят про автомобиль — очень роскошный, красивый, со всякими штучками, а хорош он на ходу или нет — никого не касается.

От Тигра Адамса я услышал тогда одну интересную вещь: каждый вечер Селию можно встретить в ХАМЛе, где она занимается в разных кружках: изучает каллиграфию, современные танцы, торговое право и все такое. Она там занимается уже два года, а то и дольше.

Феликс, наклонившись к Адамсу, спросил его, как Двейн относится к тому, что его жена по вечерам никогда не бывает дома. И Адамс ответил, что Двейн, должно быть, уже отказался от попыток заинтересовать ее любовью. Мертвое дело. Двейн, как видно, утешился в объятиях другой красотки.

— Наверное, это для него вроде чистки зубов от камня.— Адамс расхохотался. — Каждый должен это проделывать обязательно два раза в год.

— Знойный городок, ничего не скажешь,— заметил Феликс.

— Пусть лучше делом побольше занимаются,— сказал Адамс. — Если все города станут такими, как Голливуд и Нью-Йорк, страна просто погибнет.

■

После того как мы приземлились в Цинциннати, на единственной открытой взлетно-посадочной полосе, я понял, что ее, не считаясь с расходами, расчистили специально для нас. Вот каким важным человеком был Фред Т. Бэрри. Выяснилось, что у него было здесь срочное дело, но ни он, ни его матушка нам не проговорились. Видно, авиация очень нуждалась в той секретной работе, которую для нее выполнял «Бэрритрон». Вертолет уже ожидал Фреда Т. Бэрри, чтобы доставить его прямо в Мидлэнд-Сити, где он должен был оценить и ликвидировать повреждения, нанесенные заводу ураганом.

Для того чтобы ему разрешили взять нас с собой, он сказал, что мы с Феликсом — два самых ответственных лица во всем «Бэрритроне». И мы снова поднялись в воздух, на этот раз в трескучей конструкции, которую изобрел еще Леонардо да Винчи. Наверное, Леонардо хотел сделать что-то вроде мифической химеры — полуорла-полукоровы.

Этот образ придумал Фред Т. Бэрри: «Полуорел-полукорова».

Он подарил мне еще один образ, когда тень нашей летательной машины тяжелее воздуха скользила по нетронутой снежной целине там, где раньше пролегало шоссе Цинциннати — Мидлэнд-Сити.

Меня всего скрючило от страха, и я сидел, скорчившись в своем кресле, вспоминая ужасы, о которых я слышал и читал в Нью-Йорке. Ясно, что внизу, под нами, тысячи людей умирают или уже умерли. Сколько времени понадобится для розыска всех тел и для восстановления разрушенных зданий? Наверное, Мидлэнд-Сити и Шепердстаун теперь напоминают французские города, через которые проходила линия фронта во время первой мировой войны.

Но Фред Т. Бэрри, неисправимый оптимист и весельчак, сказал мне:

— Ничего особенного, просто большая драка подушками.

— Как? — переспросил я.

— Люди всегда ведут себя во время снежной бури так, будто настал конец све-

та,— сказал он. — Как птицы после захода солнца. Птицам кажется, что солнце больше никогда не взойдет. Прислушайтесь к птичьим голосам на закате.

— Простите, сэр? — сказал я.

— Через несколько дней или недель снег растает,— сказал он,— и выяснится, что все в порядке, никто особенно не пострадал. Правда, вам сообщат по радио, что столько-то человек погибло во время бурана, но ведь их все равно ждала неизбежная смерть. Кто-то умер от рака, проболев одиннадцать лет, а по радио и его объявят жертвой этого бурана.

Мне стало легче. Я выпрямился, уселся поудобнее.

— Этот буран — просто вселенская драка подушками,— сказал он.

Его мать рассмеялась. Оба они — и мать и сын — были так бесхитростны, так бесстрашны. Им так весело жилось!

■

Но Фред Т. Бэрри, наверное, хоть на минуту пожалел о своих словах, когда мы делали круг над нашим каретным сараем и заходили с севера к нашей крыше. Большое северное окно до половины занесло снегом. Сугробы завалили доверху заднюю, кухонную дверь Глядя на это из вертолета, я даже подумал, что в доме стало уютнее, что сугробы защитят его от ветра.

Но мы пришли в ужас, увидев, что делалось у южной стены. Ворота, распахнутые для Селии Гилдрет в 1943 году, снова были открыты настежь. Потом мы обнаружили, что задняя дверь не выдержала напора ветра, буран ворвался в дом и распахнул огромные южные ворота. Казалось, разверстая пасть пытается изрыгнуть сугробы, наваленные внутри. На какую же высоту намело снегу в доме? Футов на шесть, а то и больше.

21

Фреда Т. Бэрри и его матушку высадили из вертолета на крышу «Бэрритрона». Мистер Бэрри продолжал внушать всем, что мы с Феликсом — его служащие, и строго наказывал летчику, чтобы он нас доставил, куда нам надо, и чтоб он не бросал нас и делал все, что мы скажем. Мы так подружились, столько вместе пережили, что всем хотелось видеться почаще, и казалось, что в Мидлэнд-Сити нет других таких славных, таких интересных людей, как мы. И так далее.

Однако мистер Бэрри лет десять не давал о себе знать, а его матушку я вообще больше никогда не видел. С глаз долой — из сердца вон. Так уж у них повелось, у этих Бэрри.

И мы с Феликсом гоняли на военном вертолете, как на такси. Мы вернулись к нашему каретному сараю. Никаких следов на снегу не было. На нас были куртки, шляпы и перчатки, а вот сапог не было. Мы были в обычных городских полуботинках, и когда мы беспомощно барахтались, пробираясь внутрь, в них набился снег. Может, наши родители лежат под этой снежной горой? Тогда они, наверное, уже погибли.

Мы подошли к лестнице, до половины засыпанной снегом. Зная наших родителей, мы предполагали, что, как только начался буран, они, наверное, сразу же легли спать. И они ни за какие блага не вылезли бы из-под одеял, даже когда внизу закрутилась вся эта адская свистопляска. Мы с Феликсом зашли в их спальню. Постель была пуста. Вдобавок с нее исчезли все простыни и одеяла. Очевидно, мама и отец закутались в эти одеяла и простыни и в конце концов решили спуститься вниз.

Я поднялся еще выше, туда, где раньше была наша оружейная комната, а Феликс осмотрел все спальни на галерее.

Мы боялись найти замерзшие тела, окоченевшие, негнущиеся, как железные прутья,— такой холод стоял там. У меня в голове мелькнули слова: «Замороженные фонды».

Феликс крикнул с галереи:

— Есть тут кто-нибудь?

А потом, когда я спустился из оружейной, он взглянул на меня и сказал измученным голосом:

— Приятно вернуться в родной дом.

■

Мы нашли маму и отца в городской больнице. Отец был при смерти — двустороннее воспаление легких и вдобавок почечная недостаточность. У мамы были обморожены пальцы на руках и на ногах. Отец захворал еще до бурана и как раз собирался лечь в больницу.

Прежде чем снег окончательно завалил все улицы, мама вышла в пургу в халате, ночных туфлях и ночной рубашке, накинув на плечи парадный мундир венгерской лейб-гвардии и нахлобучив на лоб соболью шапку. Она обморозила руки и ноги, но ей удалось знаками подозвать бульдозер-снегоочиститель. И рабочие завернули ее с отцом в одеяла и отвезли в больницу, где, к счастью, имелся аварийный дизельный движок.

Когда мы с Феликсом вошли в вестибюль больницы, не зная, найдем ли мы там своих родителей, мы пришли в ужас от того, что там творилось. Сотни совершенно здоровых людей кинулись туда искать убежища, хотя там еле хватало места для тяжелобольных. Все уборные были загажены, и пострадавшие уже разбрелись по всей больнице, ища, чего бы поесть и где бы примоститься.

Это были мои земляки. Они снова становились пионерами, первопоселенцами. Они закладывали новый поселок.

Они толпились у справочного стола, а мы с Феликсом пытались пробиться сквозь эту толпу. Можно было подумать, что мы — на Клондайке и толпа золотоискателей штурмует бар. Я сказал Феликсу, что попытаюсь прорваться к справочному столу, а он пусть смотрит — нет ли тут знакомых, может быть, они что-нибудь знают про наших родителей.

И когда я протискивался сквозь толпу, мне слышалось непрерывное жужжание, словно тысячи невидимых насекомых кружили над моей головой. В больничном вестибюле было жарко и сыро, тут могли бы развестись тучи настоящих насекомых, но это были не насекомые, а мое внутреннее состояние. Эти гудящие рои не осаждали меня в Нью-Йорке, но здесь, в родном городе, они снова вернулись. Это были обрывки информации: то, что я знал о других людях, и то, что они знали обо мне.

Конечно, я был знаменитостью в Мидлэнд-Сити, и до моего слуха долетел — или мне так казалось — чей-то громкий шепот: «Малый Не Промах».

Я не подавал виду, что слышу этот шепот. Стоило ли встречаться глазами с кем-то из них и укорять вот того мужчину или вон ту женщину за то, что они меня обозвали Малый Не Промах?

Эту кличку я заслужил.

Пробившись к справочному столу, я понял, что большинство толпившихся вокруг людей искали не информации, а сочувствия. Измотанным до предела женщинам за столом не задавали ни одного серьезного вопроса.

Вот типичные образчики вопросов:

— Скажите, мисс, что нового?

— Где нам достать одеяла?

— Вы знаете, что в дамской комнате нет туалетной бумаги?

— Скажите, у вас только тяжелобольным дают отдельную палату?

— Вы не можете разменять мне монетку, а то у меня нет мелочи, а надо позвонить, как только автомат заработает.

— У вас правильные часы?

— Можно нам занять конфорку в кухне, всего минут на пятнадцать?

— Тут мой доктор, мистер Митчелл? Правда, я пока здорова, но сообщите ему, пожалуйста, что я здесь, на всякий случай.

— Вы уже составили список прибывших? Сказать вам мою фамилию?

— Извините, можно где-нибудь получить деньги по чеку?

— Хотите, я вам помогу?

— У моей матери левая нога разболелась, никак не проходит. Что мне делать?

— Да что там делает наша электрокомпания?

— Скажите, надо сообщать, что у меня еще с первой мировой войны вся нога нашпигована шрапнелью?

Я восхищался тремя женщинами, сидевшими за справочным столом. Они отвечали так терпеливо, так вежливо. Только одна из них вдруг рассердилась на бывшего офицера первой мировой войны с нашпигованной шрапнелью ногой. Он был недоволен ее кратким ответом и сказал, что она не годится в медицинские сестры, раз

не слушает пациентов, которые ей пытаются пожаловаться на свои болезни. Я смутно припомнил, кто он такой — ни в какой войне он никогда не участвовал. Это был один из братьев Гэтч, которые работали в строительной компании братьев Маритимо, пока их не выгнали за кражу инструментов и строительных материалов.

А значит, именно с его дочкой я учился в одной школе, звали ее не то Мэри, не то Марта, не то Мария, она была класса на два старше меня и в магазинах тащила с прилавков все, что под руку попадется. Всегда старалась подольститься к одноклассникам — дарила им краденые вещи, чтобы купить их дружбу.

А тут женщина за столом с горечью объясняла папаше этой вороватой девицы, что она просто домашняя хозяйка и что она не спала целые сутки. А сейчас уже наступал вечер.

И я вдруг понял, кто она такая, узнал ее, и не смутно, а совершенно точно. Для меня она, не спавшая двадцать четыре часа, стала воплощением многострадальных милосердных женщин всех стран, всех веков. Она не называла себя «сестрой милосердия», но такие, как она, были сестрами милосердия, скромными, простыми.

А меня всегда до слез трогают такие самоотверженные женщины, тем более что моя мама была такая холодная, воинственно-беспомощная старая карга.

Но кто же была эта поистине прекрасная, бескорыстная, милая женщина, сидевшая у справочного стола? Какая неожиданность! Это была Селия Гувер, урожденная Гилдрет, жена торговца автомобилями марки «понтиак» — та, которую в школе считали глупой и недалекой. Я хотел, чтобы Феликс посмотрел на нее, но не мог его отыскать. А в последний раз он ее видел в тот вечер, когда она убежала по пустырю, и было это давным-давно, в 1943 году.

■

Она была роботом, встроенным в стол. От усталости ей изменяла память. Я спросил ее, не лежат ли в больнице мистер Отто Вальц и его жена, и Селия посмотрела в картотеке. Да, машинально сказала она, Отто Вальц в тяжелом состоянии, лежит в отдельной палате, и посетителей к нему не пускают, потому что он очень плох, но состояние Эммы Ветцель-Вальц вполне удовлетворительно, и ее поместили в палату для выздоравливающих, устроенную в подвальном этаже.

Значит, еще один член нашего почтенного семейства угодил в подвал.

В больничном подвале я никогда не бывал. Но слыхал я о нем еще с детских лет: там был городской морг.

Туда сразу же отвезли Элоизу Метцгер, которой я влепил пулю в лоб.

■

Феликса я разыскал в уголке вестибюля, куда он забился, злясь на толпу. Он ничего не сделал, чтобы отыскать маму и отца. Толку от него не было никакого.

— Помоги мне, Руди,— взмолился он. — Мне опять всего семнадцать лет. — И это была правда. — А кто-то сейчас назвал меня Бархатный Туман,— удивленно сказал он. Так прозвали знаменитого эстрадного певца Мела Торме́ за его бархатный голос. Так и Феликса прозвали в старших классах. — И назвал он меня так с издевкой,— говорил Феликс,— в насмешку, будто я должен стыдиться самого себя. Толстенный, и глаза голубые, как ледышки. Не очень молодой, в пиджачной паре. Но с тех пор, как я ушел в армию, меня так никто не называл.

Я сразу догадался, о ком он говорит. Не иначе как Джерри Митчелл — его одноклассник и злейший враг.

— А-а,— сказал я. — Это Джерри Митчелл!

— Разве это он? — сказал Феликс. — Такой толстый. И лысый.

— Мало того,— сказал я. — Он теперь стал врачом.

— Жалко мне его пациентов,— сказал Феликс. — Помню, как он мучил собак и кошек, а хвастался, что производит научные эксперименты.

Это были пророческие слова. Доктор Митчелл вскоре создал себе обширную практику, проповедуя, что в наше просвещенное время никто не должен терпеть дискомфорт, неудовлетворенность, так как теперь есть пилюли от чего угодно. И он выстроил для себя прекрасный огромный особняк на Фэйрчайлдовских холмах, совсем рядом с особняком Двейна и Селии Гувер, и с его легкой руки не только Селия, но и его собственная жена и еще бог знает сколько людей стали отравлять свой мозг и убивать душу амфетамином.

У меня в голове жужжал рой обрывков всякой информации, и вот что я выудил оттуда: доктор Джером Митчелл женился на Барбаре, в девичестве Сквайрс, младшей сестре Энтони Сквайрса. Того самого Энтони Сквайрса, полицейского, который придумал мне прозвище Малый Не Промах.

■

Мы все были около постели моего отца, когда он умирал: мама, Феликс и я. Джино и Марко Маритимо, верные до конца, приехали в больницу на собственном бульдозере. Потом оказалось, что эти милые старички наделали дорогой много бед и причинили ущерб на сотни тысяч долларов: раздавили чьи-то машины, стоявшие возле домов, снесли заборы, сбили кое-где пожарные колонки и почтовые ящики. А теперь их не пустили в палату — пришлось им стоять в коридоре, потому что к отцу пускали только близких родственников.

Отец лежал в кислородной палатке. Его накачали антибиотиками, но организм не смог справиться с воспалением легких. Слишком много других бед. В больнице сбрили его прекрасные, густые, как у юноши, кудри и усы, чтобы они не вспыхнули от случайной искры в кислороде, которым дышал отец. Когда мы с Феликсом вошли к нему в палату, он спал, но неспокойно, метался с закрытыми глазами — наверное, его мучили кошмары.

Мама находилась там уже несколько часов. Ее отмороженные руки и ноги были засунуты в пластиковые мешки, наполненные желтой мазью, так что она не могла до нас дотронуться. Оказалось, что ее лечили методом, изобретенным здесь, в Мидлэнд-Сити, в это самое утро доктором Майлсом Пендлтоном. Мы думали, что всех обмороженных так лечат. Но оказалось, что этот экспериментальный метод первый и единственный раз в истории испытали на нашей матери.

Она была человеком в роли морской свинки, а мы об этом и не подозревали. К счастью, ей это не повредило.

■

Смотровой глазок моего отца навсегда закрылся к вечеру, перед заходом солнца. На следующий день после премьеры моей пьесы — первого и последнего спектакля. Отцу было шестьдесят восемь лет. Мы с Феликсом слышали от него одно-единственное последнее слово:

— Мама,— позвал он. А мама рассказала нам, о чем он с ней говорил незадолго до смерти. Он сказал, что он всегда любил детей, всегда старался быть честным и что он по крайней мере пытался внести красоту в жизнь Мидлэнд-Сити, хотя сам так и не стал настоящим художником.

■

Он упомянул про оружие, но ничего не объяснил. По словам мамы, он только сказал: «Оружие...».

Все переломанное и перебитое им оружие, в том числе и роковая винтовка Спрингфилда, было сдано в утиль во время войны, туда же сдали и флюгер. Но быть может, это разбитое оружие убило еще кучу народу: его переплавили, и металл пошел на бомбы, снаряды, ручные гранаты и так далее.

Крошки не бросай — наберешь на каравай!

■

Насколько я понимаю, у отца была только одна сокровенная тайна, которую он мог бы выдать перед смертью — кто убил Августа Гюнтера и куда девалась его голова. Но он ничего не сказал. А кому до этого было дело? Какую пользу принесло бы нашему обществу, если бы Фрэнсиса Кс. Морисси, начальника полиции, который уже собирался в отставку, стали судить за то, что он сорок четыре года тому назад случайно снес голову старику Гюнтеру выстрелом из крупнокалиберного ружья?

Не буди спящих псов!

■

Когда мы с Феликсом пришли к отцу, он уже совсем впал в детство.

Ему казалось, что его мамочка где-то рядом. Он умер в полной уверенности, что некогда был обладателем одной из десяти гениальнейших картин на свете. Но

это не была «Миноритская церковь в Вене» Адольфа Гитлера. Перед смертью отец ни разу не вспомнил Гитлера. За фюрера ему уже влетело по первое число. По его мнению, одним из величайших художественных произведений в мире была картина Джона Реттига «Распятие в Риме», которую он купил за гроши в Голландии еще в юности. Теперь эта картина висит в Музее изобразительных искусств в Цинциннати.

Кстати, «Распятие в Риме» — одна из немногих коммерческих удач отца за всю его долгую жизнь, и не только в области искусства, но вообще в какой бы то ни было области. Когда им с матерью пришлось распродавать все свои сокровища, чтобы расплатиться с Метцгерами, они воображали, что за одни картины можно выручить сотни тысяч долларов. Насколько я помню, они дали объявление в одном из журналов по искусству, что продается ценная коллекция картин и осмотреть это собрание серьезные коллекционеры или работники музеев могут на месте, у нас дома, по предварительной договоренности.

До Мидлэнд-Сити взглянуть на картины добралось человек пять, насколько я помню, и все они, увидев коллекцию, покатывались со смеху. Помню, что один из покупателей хотел приобрести сотню картин оптом для своего нового мотеля в городке Билокси, штат Миссисипи. Но остальные, как мне показалось, понимали и любили искусство.

И все-таки одна картина заинтересовала знатоков — это «Распятие в Риме». Музей Цинциннати купил ее за небольшую сумму, и купил не потому, что они оценили ее гениальность, а потому, что ее написал уроженец Цинциннати. Картина была маленькая, не больше листа картона, который вкладывают в мужские рубашки, не больше незаконченной работы отца — нагой натурщицы в его венской студии.

Джон Реттиг умер в год моего рождения — в 1932 году, но в отличие от меня он уехал из своего родного города и никогда больше туда не возвращался. Он жил на Ближнем Востоке, потом в Европе и наконец осел в городе Волендаме, в Голландии. Там он обрел вторую родину, и там отец «открыл» его перед первой мировой войной.

Город Волендам стал для Джона Реттига его Катманду. Когда отец его встретил, этот уроженец Цинциннати был обут в деревянные башмаки.

■

«Распятие в Риме» подписано: «Джон Реттиг». Дата — 1888 год. Реттиг написал ее за четыре года до рождения отца. Купил ее отец году в 1913-м. Феликс думает, что отец отправился в это короткое увеселительное путешествие по Голландии вдвоем с Гитлером. Кто его знает.

«Распятие в Риме» изображает город Рим, который я никогда не видал. Но я знаю о Риме достаточно, чтобы понимать, что картина так и кишит грубыми архитектурными анахронизмами. Например, Колизей изображен в целости и сохранности, но за ним виден шпиль христианского храма, а некоторые архитектурные детали и памятники вообще принадлежат к гораздо более поздней эпохе, даже позже, чем эпоха Возрождения, может быть, вообще к девятнадцатому веку. На картине шестьдесят восемь крошечных, но четких человеческих фигурок, они будто пляшут на каком-то карнавале среди всех этих архитектурных и скульптурных шедевров. Мы с Феликсом как-то в детстве пересчитали эти фигурки. И еще сотни намечены только импрессионистическими мазками и точками. Развеваются флаги. Стены разукрашены гирляндами. Весело у них там.

И только, если попристальнее всмотреться в картину, увидишь, что двоим из шестидесяти восьми не больно-то весело. Они изображены в нижнем левом углу и ничем не отличаются от остальных, разве что одной мелочью — они распяты на крестах.

Мне кажется, что эта картина — напоминание, хотя и до чрезвычайности мягкое, о беспечной бесчеловечности человека к человеку — во все времена, как и во времена Джона Реттига.

Я думаю, эта картина написана на ту же тему, что и «Герника» Пикассо,— я ее видел. Я видел «Гернику» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в перерыве между репетициями «Катманду».

Вот это картина!

22

Когда отец умер, я пошел в полном одиночестве побродить по коридорам больницы.

Может быть, некоторые и бормотали мне вслед: «Малый Не Промах», а может, и нет. Народу там было много.

И вдруг на четвертом этаже я неожиданно увидел зрелище необычайной красоты. В конце коридора была залитая солнцем комната отдыха для больных. И снова я залюбовался Селией Гувер, урожденной Гилдрет. Она уснула на диване, и ее одиннадцатилетний сын бережно охранял ее покой. Наверное, она взяла его с собой в больницу, чтобы не оставлять дома в пургу.

Он сидел, выпрямившись, на краешке дивана. Даже во сне она не отпускала его. Она крепко держала его за руку. Мне показалось, что, если он попытается встать, она и в полусне заставит его снова сесть рядом.

И ему, кажется, было хорошо.

■

Да... так вот... Через десять лет этот самый мальчик стал всем известным гомосексуалистом и жил в одиночестве, вдали от родного дома, в старой гостинице «Фэйрчайлд». Его отец, Двейн Гувер, отрекся от него. Мать стала затворницей. Он зарабатывал на жизнь, играя по вечерам на рояле в баре «Ату его!» в новой гостинице «Отдых туриста».

А я по-прежнему работал ночным продавцом в аптеке Шрамма, как и до провала моей пьесы в Нью-Йорке. Отца похоронили на Голгофском кладбище, не так уж далеко от Элоизы Метцгер. Мы обрядили его в халат, какие носят художники, дали ему в левую руку палитру, даже на большой палец надели, как полагалось. А почему бы и нет?

Городские власти забрали старый каретный сарай за неуплату налогов в течение пятнадцати лет. Теперь внизу стояли скелеты старых ломаных автобусов и грузовиков, их растаскивали на части все кому не лень. Верхние этажи были завалены «замороженными фондами» архивов городского управления, скопившимися еще перед первой мировой войной.

Мы с матерью жили в крохотной трехкомнатной конурке-«нужничке» на участке, застроенном братьями Маритимо в поселке Эвондейл. Мы переехали туда месяца через три после смерти отца. Это жилье, в сущности, подарили нам братья Маритимо, Джино и Марко. С нас даже задатка не взяли. Мы с мамой были разорены вконец, а Феликс тогда еще не начал хорошо зарабатывать, и, кроме того, ему предстояло платить алименты не одной бывшей жене, а двум. Но старые друзья Джино и Марко сказали, чтобы мы не беспокоились и въезжали поскорее. Они, как выяснилось, цену за дом назначили такую мизерную, что мы потом без труда заложили его. Это был дом-образчик: возле него уже и садик разбит, на окнах жалюзи, мощеная дорожка от калитки до крыльца, фонарь на столбе перед домом и всякие другие дорогостоящие излишества, о которых большинство покупателей и не просили, например, прекрасный подвал, настоящий кафель в ванной, и стенной шкаф орехового дерева у мамы в спальне, и электрическая посудомоечная машина, и мусоропровод, и духовка, и ниша для обеденного стола в кухне, и камин с красивой каминной доской в гостиной, и очаг с вертелом во дворике, и ограда высотой в восемь футов на заднем дворе, и так далее, и тому подобное.

■

И вот, в 1970 году, когда мне уже было тридцать восемь лет, я все еще готовил для мамы, убирал по утрам ее постель, стирал на нее и так далее. Мой брат, которому было сорок четыре года, стал президентом Эн-би-си, жил в особнячке на крыше небоскреба над Центральным парком, входил в первый десяток самых элегантных мужчин страны и разводился уже с четвертой женой. Мы с мамой прочли в одной газетке, будто они просто поделили этот особняк на крыше пополам, перегородив его стульями. И заходить на чужую половину ни один из них не имел права.

Там еще писали, что Феликсу грозит отставка, потому что вечерние телепередачи его Эн-би-си просто невозможно смотреть.

Но Феликс это всегда отрицал.

■

Да... а еще у Фрэда Т. Бэрри умерла мать, и строительной компании братьев Маритимо поручили возвести Мемориальный центр искусств имени Милдред Бэрри посреди Сахарной речки. Я не видел мистера Бэрри уже десять лет.

Но Тигр Адамс, его летчик, как-то зашел в аптеку Шрамма часа в два ночи. Я спросил его, как поживает мистер Бэрри, и он сказал, что тот ничем на свете, кроме Центра искусств, не интересуется.

— Говорит, что хочет подарить штату Огайо собственный Тадж-Махал,— рассказывал он.— Понятно, невмоготу ему в одиночестве. И если бы не этот Центр искусств, он бы, по-моему, руки на себя наложил.

На следующий день я зашел почитать про Тадж-Махал в нашу библиотеку-читальню, которую собирались снести, настолько этот район захирел. Приличные люди зимой туда ходить не любили, потому что там всегда было полно бездомных бродяг, заходивших погреться.

О Тадж-Махале я, конечно, слыхал и раньше. Да и кто о нем не слыхал? И в моей пьесе про него тоже шла речь. Старый Джон Форчун успел перед смертью взглянуть на Тадж-Махал. Он из тех мест прислал последнюю открытку, но я не знал никаких подробностей, когда, как и почему Тадж-Махал был построен.

Выяснилось, что он был закончен в 1643 году [1], за триста один год до того, как я застрелил Элоизу Метцгер. Строили его двадцать тысяч человек в течение двадцати двух лет.

И построен был этот мавзолей в память любимой жены. Вот кого ни у Фреда Т. Бэрри, ни у меня никогда не было. Звали ее Бегам Арджуман Бану. Она умерла родами. Муж ее, повелевший воздвигнуть этот мавзолей, не жалея затрат, был владыка из династии Великих Моголов и звали его Шах-Джахан.

■

Тигр Адамс рассказал мне еще об одном человеке, которого я тоже давно не видал. Он сказал, что двое суток тому назад, ночью, он шел на посадку в аэропорту имени Вилла Фэйрчайлда и в самую последнюю секунду ему пришлось взять ручку на себя, потому что на посадочной полосе оказался человек.

Кто-то свалился прямо посреди полосы да так и лежал. В аэропорту в это время было всего два человека из персонала — дежурный на башне и один из братьев Гэтч, натиравший полы в помещении аэровокзала. И полотеру пришлось выехать на собственной машине за этим человеком на взлетно-посадочную полосу.

Он втащил таинственное существо в свою машину. И тут узнал Селию Гувер. Она была босая, в одной ночной рубашке и накинутой на плечи шинели мужа; забрела она миль за пять от своего дома и попала в темноте на взлетно-посадочную полосу, приняла ее за шоссе. И тут внезапно зажглись посадочные огни, и реактивный самолет «Бэрритрона» прошел над ней так низко, что разделил ей волосы пробором.

Никто не известил полицию, вообще никого не известили. Гэтч просто отвез ее домой.

Потом Гэтч рассказал Тигру, что в доме не было ни души, некому было спросить, где побывала Селия, никто не обрадовался, что она вернулась, и так далее. Она одна вошла в дом и, наверное, одна легла в постель. После того как она вошла, наверху минуты на три зажегся свет, потом погас. Наверное, свет включали в ванной.

И, по словам Тигра, Гэтч сказал, глядя на дом, где все окна были темные:

— Спи крепко, солнышко мое.

■

Но все было не совсем так. Дома ее встретил пес, но она никакого внимания на него не обратила. Гэтч понял, что ей наплевать на собачий восторг. Она даже не приласкала пса, не похвалила, не позвала с собой наверх.

Пес, ньюфаундленд по имени Спарки, принадлежал Двейну Гуверу, но Двейн теперь почти не бывал дома. И Спарки был рад и счастлив, когда кто-нибудь приходил. Гэтчу Спарки тоже ужасно обрадовался.

---

[1] В действительности сооружение Тадж-Махала было закончено в 1652 году.

■

Хотя я стараюсь ни к кому не привязываться и хотя с тех пор, как я убил Элоизу Метцгер, у меня появилось такое чувство, что мне на земле не место, Селию я все же любил, пусть немного. Ведь она играла в моей пьесе и очень серьезно относилась к моему произведению, так что мне она стала казаться не то дочкой, не то сестренкой.

Чтобы быть идеально отчужденным от всего, идеальным нейтро, мне не следовало писать пьесу.

Чтобы быть идеальным нейтро, мне не следовало покупать себе новый «мерседес». Я не шучу: после смерти отца десять лет я еженощно работал в аптеке, жил очень скромно в Эвондейле, так что накопил на белый восьмиместный «мерседес-280» и у меня еще осталась куча денег.

Это похоже на какой-то забавный анекдот. Вдруг Малый Не Промах разъезжает по городу на прекрасной, как волшебный корабль, белой машине, что-то бормоча со скоростью мили в минуту. На самом деле я просто пел, чтобы разогнать тоску. «Фиидили уотт э бу-бу!» — распевал я в собственном «мерседесе», и «Рэнг-а-дэнг уии!», и так далее. «Фуудили эт! Фуудили эт!»

■

Вот самое тревожное, что Тигр Адамс рассказал про Селию: оказывается, за семь лет, миновавших с тех пор, как она играла в моей пьесе, бедняжка так подурнела, что стала уродиной, точно злая ведьма в сказке «Волшебник из страны Оз».

Именно так и сказал мне Тигр: «Черт подери, Руди, ты не поверишь, но она стала уродиной, как ведьма в «Волшебнике из страны Оз».

■

А неделю спустя она явилась ко мне в аптеку в полночь — в «час ведьм».

23

Я только что пришел на работу. Я стоял у задней двери, любовался своим новым «мерседесом» и слушал слегка приглушенный шум, похожий на шум волн, разбивающихся о берег где-то неподалеку. На самом же деле это был шум гигантских девятиосных грузовиков, которые мчались по государственной магистрали. Ночь была благоуханная. Мне не хватало только укулеле — так я разнежился.

Я стоял спиной к провизорской — там хранились лекарства от всех известных человеку болезней. Звон колокольчика известил меня о том, что в аптеку кто-то вошел. Конечно, это мог быть налетчик-убийца. Всегда можно было ждать, что ворвутся налетчики-убийцы или просто грабители. За те десять лет, что прошли после смерти отца, меня грабили шесть раз.

Вот какой я был герой.

Я пошел обслуживать покупателя — если это покупатель. Заднюю дверь я оставил незапертой. Если это грабители, я попытаюсь улизнуть через заднюю дверь и спрятаться в зарослях бурьяна за грудой пустых консервных банок. Пусть он или она сами берут что хотят. Я им, во всяком случае, помогать не стану.

Покупатель — если это покупатель — рассматривал темные очки, выставленные на крутящейся подставке. Но кому могли ночью понадобиться темные очки?

Это оказался какой-то недомерок. Но не настолько он был мал, вполне мог бы пронести обрез под длинной солдатской шинелью, едва не волочившейся по полу.

— Что вам угодно? — бодро спросил я. Может быть, у него голова разболелась или геморрой замучил.

Существо повернулось ко мне, и я увидел изборожденную морщинами маску с почти беззубым ртом — все, что осталось от лица Селии Гувер, когда-то первой красавицы города.

И тут моя память снова пишет пьеску.

Убогая аптека в самом нищем квартале маленького городка на Среднем Западе. Время — после полуночи. Руди Вальц, толстый бесполый фармацевт, узнает в полоумной старой ведьме-наркоманке Селию Гувер, некогда первую красавицу города.

Руди. Миссис Гувер!

Селия. Мой герой!

Руди. Я? Что вы!

Селия. Да! Да! Именно вы! Мой герой, мой драматург!

Руди (озадаченный). Не надо! Прошу вас!

Селия. Ваша пьеса изменила всю мою жизнь!

Руди. Да, вы прекрасно играли в ней.

Селия. Все дивные слова, которые я произносила,— ведь это вы их написали. Я за миллион лет таких чудных слов не смогла бы придумать.

Руди. У вас все слова звучали гораздо лучше, чем я написал.

Селия. Я стояла на сцене, передо мной — зрители, они не сводили с меня глаз, слушали, как глупенькая Селия Гувер произносит эти изумительные слова. Они ушам своим не верили.

Руди. Мне тоже все казалось чудом.

Селия (подражая выкрикам публики). «Автора! Автора!»

Руди. Здешняя публика ни один спектакль так хорошо не принимала. Что еще я могу сделать для вас?

Селия. Написать новую пьесу.

Руди. Это была моя первая и последняя пьеса.

Селия. Неправда! Я пришла, чтобы вдохновить вас. Поглядите-ка, у меня новое лицо. Оно должно вдохновить вас. Взгляните на мое новое лицо! Придумайте слова, подходящие для такого лица! Напишите пьесу про безумную старуху!

Руди (глядя на улицу за окном). Где вы поставили свою машину?

Селия. Я всегда мечтала о таком лице, думала: хорошо бы с таким лицом родиться! Скольких несчастий можно было бы избежать. Все при виде меня говорили бы: «Не троньте эту безумную старуху!»

Руди. Ваш муж дома?

Селия. Ты — мой муж! Я пришла, чтобы тебе это сказать!

Руди. Селия, вы больны! Как зовут вашего врача? Кто вас лечит?

Селия. Ты — мой врач. Во всем городе ты один помог мне обрести радость жизни, твои волшебные, исцеляющие слова — мое лекарство! Я не могу жить без этих слов!

Руди. Вы потеряли туфли.

Селия. Я сбросила их! Ради тебя! Я все туфли выбросила! Все — в мусорном ящике!

Руди. Как вы добрались сюда?

Селия. Пешком. И домой вернусь пешком.

Руди. Но на дороге полно битого стекла.

Селия. Ради тебя я прошла бы хоть по раскаленным угольям. Я люблю тебя. Я без тебя не могу.

Руди обдумывает это признание, у него возникает циничная догадка, и он вдруг чувствует себя глубоко усталым.

Руди (скучным голосом). Без наркотиков...

Селия. Что за парочка! Безумная старуха и Малый Не Промах!

Руди. Вы хотите получить у меня наркотики без рецепта.

Селия. Я люблю тебя!

Руди. Да, конечно. Но не любовь, а наркотики доводят человека до того, что он в полночь готов идти по битому стеклу. Что вам нужно, Селия,— амфетамин?

Селия. Нет, по правде говоря...

Руди. Что именно?

Селия (небрежно, как будто это самое обычное лекарство). Бифетамин Пеннвальта, пожалуйста!

Руди. «Черные красотки»?

Селия. Разве их так называют? Никогда не слыхала.

Руди. Но вы знаете, какие они черные, блестящие.

Селия. Ты слышал, что мне нужно?

Руди. Здесь вы их не получите.

Селия (возмущенно). Но мне их прописывали годами!

Руди. Не сомневаюсь. Но сюда вы за ними ни разу не приходили, с рецептом или без рецепта — ни разу.

Селия. Но я еще пришла просить тебя — напиши для меня пьесу!

Руди. Вы пришли, потому что вас больше не пускают ни в одну аптеку. И я вам не дам этот яд, хотя бы сам господь бог выписал вам рецепт.

Селия. Просто не верится, что ты такой злой!

Руди. Кто же тот добряк, что травил вас столько лет? Знаю, доктор Митчелл — заодно с владельцами аптеки на Фэйрчайлдовских холмах! Теперь они до смерти перепугались, что довели вас до такого состояния. Но слишком поздно.

Селия. Почему ты так страшишься любви?

За прилавком звонит телефон. Руди снимает трубку.

Руди. Простите. (В трубку.) Аптека Шрамма. (Спокойно выслушивает короткий вопрос.) Так меня прозвали. (Вешает трубку.) Кто-то хотел узнать, вправду ли я — Малый Не Промах. Вот что, миссис Гувер, я хорошо знаю, что такое многолетняя привычка к амфетамину: полагаю, что через некоторое время вы впадете в буйство. Конечно, если придется, я все стерплю, но мне бы хотелось помочь вам вернуться домой.

Селия. Подумаешь, всезнайка!

Руди. Где сейчас ваш муж? Можно ему позвонить? Он дома?

Селия. В Детройте.

Руди. Но ваш сын, кажется, живет недалеко отсюда?

Селия. Я ненавижу его, и он меня ненавидит.

Руди. Право, мы как будто уже играем пьесу про безумную старуху. Я позвоню доктору Митчеллу.

Селия. Он меня больше не лечит. Двейн избил его на прошлой неделе за то, что он давал мне эти пилюли столько лет подряд.

Руди. Двейн молодец!

Селия. Правда, мило? А как только Двейн вернется из Детройта, он отправит меня в сумасшедший дом.

Руди. Вам так необходима помощь. Вам необходимо помочь.

Селия. Тогда обними меня! Не нужен мне этот бифетамин Пеннвальта! Ничего мне не нужно! (Деловито смахивает с прилавка на пол все лекарства, косметику и прочее.)

Руди. Не надо, прошу вас!

Селия. О, я расплачусь, за все расплачусь, что вздумается разбить. Денег у меня хватит. (Вынимает из кармана шинели пригоршню золотых монет.) Видал?

Руди. Золотые!

Селия. А как же! Я шутить не люблю! Мой муж собирает монеты, понимаешь?

Руди. Но тут на несколько тысяч долларов!

Селия. Все твои, все, солнышко мое! (Сыплет деньги к его ногам.) Теперь поцелуй меня или дай немножко бифетамина Пеннвальта!

Руди идет к телефону, набирает номер. Ожидая, пока ответят, тихонько напевает себе под нос: «Скидди-уа, скидди-уу» и т. д.

Куда ты звонишь?

Руди. В полицию.

Селия. Ах ты, жирная скотина! (Сбивает с прилавка вертушку с темными очками.) Сволочь нацистская!

Руди (в трубку). Это Руди Вальц, из аптеки Шрамма. Кто говорит? А, это ты, Боб! Не узнал твой голос. Мне тут нужна помощь.

Селия. Что, помощи просишь? Вот тебе помощь! (Бьет и ломает все, что попадается под руку.) Убийца! Маменькин сынок!

Руди (в трубку). Нет, никакой уголовщины. Душевнобольная.

Занавес.

■

Но Селия успела сбежать до прихода полиции. Когда полицейские пришли и увидели, что она натворила, ее уже не было: она босиком, как тогда, ушла в темноту. Второй раз.

Да, история повторяется.

Полицейские пошли ее искать. Ее могли ограбить, изнасиловать. Ее могли искусать собаки. Могла сбить машина.

Тем временем я стал убирать аптеку, где она учинила такой разгром. Аптека мне не принадлежала, она была чужая, так что не в моей власти было прощать или не прощать Селию. Придется сообщить мужу Селии, и потом ему придется выложить тысячу долларов, если не больше. Селия перебила самые дорогие духи. За часы она тоже взялась, но часы уцелели. Разбить часы фирмы «Таймекс» практически невозможно. Почему-то чем дешевле часы, тем они прочнее.

Пока я убирал, меня мучила совесть. Может быть, надо было ее обнять, успокоить или дать ей амфетамин? Лекарства успели так повредить ее мозг, что она уже не была прежней Селией Гувер. Она стала чудовищем. Если бы я согласился писать пьесу про нее теперешнюю, она не смогла бы запомнить ни одной реплики. Ее пришлось бы играть другой актрисе — в жутком парике, с вычерненными зубами.

Какие же чудесные слова мог бы автор вложить в уста такой вот безумной старухи?

И я придумал: зрители были бы потрясены, если бы Селия сыграла столетнюю старуху и под конец объявила бы им, сколько ей лет на самом деле. Ведь тогда, когда она разнесла нашу аптеку, ей было всего сорок четыре года.

И еще у меня мелькнула мысль: может быть, надо, чтобы за сценой прозвучал Глас божий. У актера, которому дадут эту роль, должен быть голос как у моего брата.

И актриса в роли Селии будет спрашивать: зачем господь послал ее на эту землю?

И тут за сценой Глас божий пророкочет:

— Чтобы плодиться и размножаться. Меня больше ничего не интересует. Все остальное — вздор.

■

А у Селии было потомство, не то что у меня. Я решил отложить уборку и позвонить ее сыну Кролику. Наверное, он сейчас у себя в номере гостиницы «Фэйрчайлд» — только что вернулся с работы в «Отдыхе туриста».

Он не спал. Кто-то мне сказал, что Кролик вовсю нюхает кокаин. Впрочем, может, это была просто сплетня.

Я сказал ему, кто я такой, объяснил, что его мать была у меня в аптеке и что ей, несомненно, нужна помощь.

— Вот я и решил сообщить вам,— добавил я.

Я посмотрел в угол и увидал мышонка, который подслушивал, что я говорю. Но мышонку придется догадываться, о чем разговор — он слышал только мои слова.

А на другом конце провода этот несчастный молодой педик, которого лишили наследства, хохотал до упаду. Кролик не пожалел мать, узнав, как тяжело она больна. Ни слова не сказал. Страшно было слушать, как он гогочет. Значит, он ненавидит ее всерьез.

Но потом он приутих и спросил меня: может, лучше мне позаботиться о своих собственных родственниках?

— О чем это вы? — сказал я. А мышонок, навострив ушки, прислушивался к моему голосу, не пропускал ни словечка.

— Вашего братца только что вытурили с Эн-би-си,— сказал он.

Я ответил, что это просто сплетня.

Он сказал, что это вовсе не сплетня. Он только что слышал это по радио.

— Совершенно официально,— сказал он.— Наконец-то они до него добрались.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил я.

— Он просто фальшивый герой из Мидлэнд-Сити,— сказал он.— В этом городе все любят пускать пыль в глаза.

— Очень мило говорить так про свой родной город,— сказал я.

— И отец ваш был фальшивый художник. Ни разу ничего хорошего не нарисовал. Я сам — фальшивка. Я и играть-то по-настоящему не умею. И ты фальшивка. Порядочной пьесы написать не можешь. Нам всем надо сидеть дома, где мы еще на что-то годимся. А твой братец тут-то и сделал ошибку. Уехал из дома. А в заправдашней жизни всегда фальшивки вылавливают. То и дело ловят таких жуликов.

Он опять захохотал, и я повесил трубку.

Но тут снова зазвонил телефон — звонил мой брат из своего особнячка в Манхэттене.

— Все правда,— сказал он. И всем известно, что его выгнали с работы.— Мне здорово повезло,— сказал он,— мне еще никогда в жизни так не везло.

— Ну, если так, то я рад за тебя,— сказал я. Я стоял у телефона, под ногами хрустели разбитые очки и позвякивали золотые монеты. Полицейские пришли и ушли так быстро, что я им даже не успел сказать про золото.

Да, золото! Золото! Золото!

— Впервые в жизни я узнал, что я по-настоящему из себя представляю,— сказал Феликс.— Теперь женщины будут относиться ко мне просто как к человеку, а не смотреть на меня как на влиятельного чиновника, который может оказать им протекцию.

Я сказал, что вполне понимаю, какое это для него облегчение. В это время он был женат на Шарлотте, и я спросил: как она относится ко всему этому.

— Да я же и говорю именно про нее,— сказал он.— Она вышла замуж не просто за какого-то Феликса Вальца. Она вышла замуж за президента Эн-би-си.

Я никогда не видел Шарлотту. По телефону она разговаривала со мной очень мило — может быть, немножко притворялась. Пыталась говорить со мной как с членом своей семьи. Думала, что со мной надо говорить приветливо, каков бы я ни был. Даже не знаю, было ли ей известно, что я убийца.

А Феликс только что сказал мне, что она не в своем уме.

— Ну, это сильно сказано,— возразил я.

Но потом я узнал, что Шарлотта так рассвирепела, что срезала все пуговицы с его костюмов — со всех пиджаков, курток, рубашек, даже со всех пижам. И все пуговицы спустила в мусоропровод.

Да, бывает, что люди так разозлятся друг на друга. Тут они на все способны.

— А как мама к этому отнеслась? — спросил Феликс.

— Она еще ничего не знает,— сказал я.— Наверное, прочтет в утренних газетах.

— Ты ей скажи, что я никогда не был так счастлив,— попросил он.

— Ладно,— сказал я.

— Боюсь, ей будет очень неприятно,— сказал он.

— Ну, все же не так, как было бы полгода назад. Теперь у нее свои проблемы.

— Она больна? — спросил он.

— Нет, нет, нет,— сказал я. Она, конечно, уже была больна, только я об этом еще не знал.— Ее ввели в правление нового Центра искусств, и...

— Ты мне уже говорил,— сказал он.— Это очень любезно со стороны Фреда Т. Бэрри.

— Да, а теперь они воюют как кошка с собакой, спорят о современном искусстве,— сказал я.— Она закатила жуткий скандал из-за первых же двух вещей, которые он купил, хотя он за них заплатил из своего кармана.

— Что-то непохоже на нашу маму,— сказал Феликс.

— Одна из вещей — работа Генри Мура.

— Английского скульптора? — спросил Феликс.

— Да. А другая — картина какого-то Рабо Карабекьяна,— сказал я.— Статуя уже стоит в саду, и мама говорила, что это просто что-то вроде опрокинутой восьмерки. А картину решили повесить у самого входа, и это первая вещь, которую видят посетители. Она все зеленая. Размером с дверь каретного сарая. На ней — одна вертикальная оранжевая полоса, и называется она «Искушение святого Антония». Мама написала в газету, что эта картина оскорбляет память нашего отца и память всех настоящих художников на свете — и живых и мертвых.

Телефон замолчал. Я так и не узнал отчего. Я со своим аппаратом ничего не делал. Может быть, мой провод перегрыз мышонок. Он куда-то делся — может, грыз провод за стенкой. А может быть, в подвале дома моего брата кто-то поставил «подслушку». Может, частный сыщик, приглашенный его супругой, хотел собрать о нем порочащие сведения и предъявить их на бракоразводном процессе. Все возможно.

Потом телефон снова заработал. Феликс говорил, что хочет вернуться в Мидлэнд-Сити, найти свои корни. Он говорил совершенно не то, что мне рассказывал Кролик Гувер. Он говорил, что в Нью-Йорке сплошь одни фальшивки. Он перечислил имена своих бывших одноклассников. Сказал, что хочет пить с ними пиво и ходить на охоту.

Упомянул он и нескольких знакомых девушек. Мне было не совсем ясно, зачем он хотел с ними встретиться: все они давно были замужем и нарожали детей или

уехали из нашего города. Но он даже не упомянул о Селии Гувер, и я ему о ней напоминать не стал, не сказал, что она стала страшной безумной старухой и только что разгромила нашу аптеку. Потом он объявит во всеуслышание, под влиянием наркотика, который ему прописывал врач, что она была единственной женщиной, которую он любил, и что именно на ней он должен был жениться.

Но Селии уже не будет в живых.

24

Я охотно попытался бы подробнейшим образом проанализировать характер Селии Гувер, если бы думал, что это имеет хоть какое-то отношение к тому, что она покончила с собой, наглотавшись «Драно». Но как фармацевт, я считаю себя обязанным отдать должное амфетамину, который ее до этого довел.

Вот предостережение, прилагаемое в обязательном порядке к каждой партии амфетамина при выпуске с фабрики:

«Амфетамином часто злоупотребляют. Наблюдается привыкание, возникает наркомания, тяжелые нарушения социальной адаптации. Известны случаи, когда пациенты самовольно увеличивали дозы в несколько раз. Резкое прекращение приема после длительного употребления больших доз вызывает апатию, депрессивное состояние; отмечены изменения в электроэнцефалограмме во время сна.

Хроническое отравление амфетамином вызывает острый дерматоз, бессонницу, раздражительность, повышенную возбудимость, изменение личности. Наиболее тяжелые симптомы хронической интоксикации дают картину психоза, почти не отличимого от шизофрении».

Угощайтесь!

■

Я уверен, что конец двадцатого столетия войдет в историю как эпоха фармацевтического шарлатанства. Мой родной брат приехал из Нью-Йорка, одуревший от всяких наркотиков: дарвона, риталина, метаквалона, валиума и черт знает от чего еще. И все это он получил по рецептам врачей. Он сказал, что приехал искать свои корни в родной почве, но когда я услыхал, как он травит себя лекарствами, я подумал, что скоро он и собственную задницу не сможет найти, хоть и будет шарить обеими руками. Я подумал, что он просто чудом сообразил, где надо свернуть с магистрали.

Правда, в дорожное происшествие он все же угодил — в своем новехоньком белом «роллс-ройсе». Покупка этого «роллс-ройса» тоже была безумной выходкой наркомана.

Его только что выгнали с работы, и его бросила четвертая жена, а он покупает машину за семьдесят тысяч долларов.

Он нагрузил ее всей своей одежей без единой пуговицы — и подался в Мидлэнд-Сити. И когда он добрался до дома, его бессвязную болтовню даже трудно было назвать нормальной речью — он твердил одно и то же как одержимый. Ему хотелось всего лишь двух вещей. Во-первых, найти свои корни, а во-вторых, найти женщину, которая взялась бы пришить все срезанные пуговицы. Пуговицы остались только на костюме, что был на нем. Он пострадал, как никто другой, когда у него срезали все пуговицы на всех костюмах и пальто: они были сшиты в Лондоне, а там всюду — вместо «молний» на ширинках, на манжетах — ставились пуговицы, которые и вправду расстегивались и застегивались. Когда он решил показаться маме и мне в пиджаке без пуговиц, расстегнутые манжеты болтались у него, как у пирата из «Питера Пэна».

■

На левом крыле новехонького «роллс-ройса» была большая вмятина, и царапина, и какая-то пыльная синяя полоса, которая шла через левую дверцу. Очевидно, Феликс задел за что-то синее. И он, как и мы все, недоумевал, что бы это могло быть.

До сих пор это так и осталось для нас тайной, хотя я с радостью могу сказать: Феликс никаких наркотиков больше не употребляет, разве что иногда выпьет немного спиртного или кофе. Он вспоминает, как предложил руку и сердце какой-то девице, которую подхватил по дороге у шлагбаума при въезде в родной штат.

— Удрала от меня в центре Мансфилда,— рассказывал он на следующий вечер. Оказывается, он свернул туда, чтобы купить ей цветной телевизор или стереопроигрыватель — в общем все, что она попросит,— хотел ей доказать, как она ему нравится.— Наверное, там я и заработал эту вмятину,— сказал он. Он помнил, какой наркотик сделал его таким безмозглым и влюбчивым.— Все от метаквалона,— сказал он.

■

Теперь я часто вспоминаю те паршивые домишки, мимо которых я проезжал всю жизнь, да и все американцы проезжают мимо таких убогих домиков, где во дворе стоят самые дорогие автомобили, а иногда и яхта на трейлере. И около нашей с мамой конурки под навесом откуда ни возьмись вдруг появился новый «мерседес», а на лужайке — новехонький «роллс-ройс» с откидным верхом. Феликс с ходу въехал на машине прямо на газон перед домом — хорошо еще, что не сбил фонарный столб и не переломал кустарник.

Он ворвался в дом, крича:

— Блудный сын вернулся! Режьте упитанного тельца! — и так далее. Мы с мамой ждали его домой, но совершенно не знали, когда он надумает явиться. Мы переоделись, уже выходили из дому и на всякий случай оставили для Феликса незапертой боковую дверь.

На мне был парадный костюм, тесный, как шкурка на сардельке,— в последнее время я здорово растолстел... А все из-за того, что я сам так вкусно готовил. Я испробовал много новых рецептов, и получалось отлично. А на маме, не прибавившей ни одного грамма за пятьдесят лет, было то же самое черное платье, которое Феликс ей купил на похороны отца.

— Вы куда это собрались, а? — спросил Феликс.

Мама объяснила ему:

— Мы — на похороны Селии Гувер.

Так Феликс узнал, что той девочки, которую он когда-то пригласил на бал выпускников, уже нет в живых. Последний раз он ее видел, когда она босиком убегала от него через пустырь — в непроглядную темень.

Если бы он сейчас захотел ее догнать, пришлось бы ему последовать за ней далеко — туда, куда после смерти уходят души человеческие.

■

Хорошо бы поставить в кино такую сцену: Феликс на небесах, в смокинге, в котором он собирался на бал старшеклассников, держит в руках золотые туфельки Селии и зовет ее, зовет без конца: «Селия! Селия! Где ты, отзовись! У меня твои бальные туфельки!»

■

Словом, пришлось нам взять с собой Феликса на похороны. Под действием метаквалона он уверил себя, что он и Селия были влюблены друг в друга еще в школе и что он должен был на ней жениться.

— Такую девушку я искал всю жизнь, но так и не понял, что это она и есть,— сказал он.

Теперь я сознаю, что мы с мамой должны были тогда отвезти его прямо в больницу, чтобы там из него выкачали весь этот яд. Но мы сели в его машину, сказали, как проехать в церковь. Верх был откинут, так ехать на похороны было совершенно неприлично, да и сам Феликс был в жутком виде. Галстук сбился на сторону, рубашка грязная, дня два не брит, оброс щетиной. Купить «роллс-ройс» у него время нашлось, а купить пару рубашек ему и в голову не пришло. Не желал он покупать рубашки с пуговицами, пока не найдет женщину, которая пришила бы ему все пуговицы.

■

И мы отправились в Первую методистскую церковь, и Феликс сидел за рулем, а мама — на заднем сиденье. И надо же, чтобы судьба подстроила такую штуку: Феликс чуть не закрыл смотровой глазок своей первой жены Донны, когда она вы-

ходила из машины возле дома своей сестры-двойняшки на Арсенал авеню. Она сама была бы виновата, если бы угодила под нашу машину, потому что вышла не с той стороны, даже не посмотрев — не едет ли кто. Она сидела за рулем. Но на суде Феликсу пришлось бы плохо, если бы он ее сшиб, потому что уже один раз она из-за него пробила головой ветровое стекло и он все еще платил ей за это громадные алименты, да к тому же на суде выяснилось бы, что он принимает наркотики, и так далее. Я уверен в одном: присяжные бы этому богачу в «роллс-ройсе» спуску не дали.

Феликс даже не узнал свою первую жену, Донну; мне думается, что и она его не узнала. А когда я ему объяснил, кого он чуть не раздавил насмерть, он отозвался о ней очень нелестно. Вспомнил, что после того, как она врезалась в ветровое стекло, голова у нее была вся в шрамах. Стоило ему погладить ее по голове и нащупать пальцами эти шрамы, как он вдруг представлял себе, что играет в гандбол и в руках у него мяч.

— И я сразу начинал высматривать, кому бы его перебросить,— сказал он.

■

Но хуже всего Феликс со своим дружком и благодетелем метаквалоном вел себя в церкви. К началу службы мы опоздали, пришлось сидеть на самых задних скамьях — там все равно сидели все посторонние, а родственники усопшей сидели впереди, так что, если бы мы зашумели, родственникам пришлось бы оборачиваться, смотреть, кто это там нарушает тишину.

Служба началась спокойно. Я услышал, как кто-то заплакал в первых рядах — это была горничная-негритянка Лотти Дэвис, служившая у Гуверов. Только она да Двейн Гувер и оплакивали Селию. Остальные видели ее в последний раз лет семь тому назад, когда она играла главную женскую роль в моей пьесе «Катманду».

Ее сын не пришел.

Ее врач тоже не пришел.

Родители ее давно умерли, все братья и сестры разъехались кто куда. Знаю, что один из братьев был убит на войне в Корее. И кто-то клялся, что видел ее сестру Шерли в толпе статистов в новой версии боевика «Кинг-Конг».

Может, так оно и было.

На похороны пришло человек двести. По большей части это были служащие, друзья, покупатели и поставщики Двейна. По всему городу ходила молва — как ему необходима поддержка и как он всенародно каялся в том, что был плохим мужем и довел жену до самоубийства. Мне рассказывали, что на следующий день после самоубийства Селии он пришел в бар «Ату его!» и во всеуслышание заявил:

— Принимаю на себя только половину вины, а вторая — на совести этого сукина сына доктора Джерри Митчелла. Проверяйте, какими лекарствами ваш доктор пичкает вашу жену. Вот и все, что я хотел вам сказать.

■

Сцена, наверное, была потрясающая. По вечерам, примерно с пяти до половины седьмого вечера, народу в баре было полно — там собирался неофициальный совет заправил Мидлэнд-Сити. Правда, несколько крупных дельцов вроде Фреда Т. Бэрри вели игру в мировом масштабе, и разговоры в баре их не интересовали. Но всем, кто занимался крупными делами или надеялся получить выгодный подряд у нас в округе, было бы просто глупо не показаться там хоть раз в неделю и не выпить там кружку пива. В этом «Ату его!» пиво лилось рекой.

Кстати, Двейн был одним из совладельцев гостиницы «Отдых туриста». Его контора по продаже автомобилей была на том же заасфальтированном участке, рядом с гостиницей. А в баре служил тапером Кролик, его сынок, которого он лишил наследства. Рассказывали, что, когда Кролик пришел наниматься тапером, управляющий спросил Двейна, как он к этому относится, на что Двейн ответил, что он и слыхом не слыхал ни о каком Кролике и ему наплевать, наймут его или нет, лишь бы он умел играть на рояле.

Говорят, Двейн еще добавил, что не выносит бренчанья на рояле, потому что оно мешает разговаривать. Он просит об одном — чтобы до восьми часов вечера никакой музыки не было. И хотя Двейн Гувер прямо ничего не говорил, он устроил так, что его недостойный сын никогда не попадался ему на глаза.

■

На похоронах Селии я вдруг отключился, замечтался. Нечего было ожидать, что я услышу что-нибудь новое, возвышенное. Даже священник, его преподобие Чарльз Харрелл, не верил ни в бога, ни в черта. Даже сам священник не верил, что каждая жизнь по-своему значительна, что каждая смерть может потрясти и заставить понять что-то необычайно важное, и так далее. Мертвое тело — это просто товар средней руки, пришедший со временем в негодность. И толпа провожающих — серийная продукция невысокого качества, которая тоже в свой час пойдет в утиль.

И сам город уже был обречен. Центр почти вымер. Все жители ездили за покупками в окрестные поселки. Тяжелая промышленность прогорела. Население постепенно разбредалось кто куда.

Да и вся наша планета была обречена на гибель. Рано или поздно она все равно взорвется, если не успеет до того отравиться насмерть. Она, можно сказать, уже наглоталась «Драно».

Так, сидя в церкви на задней скамье, я мысленно построил теорию — что такое жизнь и зачем она нам дана. Я себе представил, что и мама, и Феликс, и его преподобие Харрелл, и Двейн Гувер — клетки гигантского, мощного организма какого-то животного. Не стоит всерьез воспринимать нас как обособленные личности. И мертвое тело Селии в гробу, насквозь пропитанное ядовитым «Драно» и амфетамином, может быть, просто отмершая клеточка необъятной поджелудочной железы величиной с Млечный Путь.

Смешно же, если я, микроклеточка, стану принимать свою жизнь всерьез!

И я почувствовал, что улыбаюсь во весь рот во время похорон.

Но я сразу же согнал улыбку с лица. Я испуганно огляделся — не заметил ли кто. Один человек все видел. Он стоял на другом конце нашего ряда и не отвернулся, когда наши взгляды встретились. Он смотрел на меня не отрываясь, и я первым отвел глаза. Но я его не узнал. На нем были огромные дымчатые очки, и свет отражался от зеркальных стекол. Это мог быть кто угодно.

■

Но тут я сам стал центром всеобщего внимания — его преподобие Харрелл произнес мое имя. Он говорил про Руди Вальца. Это был я. Пусть знает тот, кто следит за нашим жалким существованием в электронный микроскоп: и у нас, ничтожных клеточек, есть собственные имена, и пусть мы многого не знаем, но свои имена все же помним.

Его преподобие достопочтенный Харрелл рассказал прихожанам про те полтора месяца, когда и он сам, и покойная Селия Гувер, и драматург Руди Вальц познали благословенное, святое бескорыстие, которого так не хватает в нашем мире. Он рассказывал о постановке моей пьесы «Катманду». Сам он играл роль Джона Форчуна, пилигрима, отправившегося из Огайо в никуда, а Селия играла его жену, явившуюся с того света. Актер он был очень талантливый. В нем было что-то львиное.

По-моему, Селия вполне бы могла влюбиться в него. Собственно говоря, она могла бы влюбиться и в меня. Разницы никакой: и я, и его преподобие Харрелл — оба мы в этом смысле не представляли никакого интереса.

И, как может только очень талантливый актер его преподобие Харрелл представил постановку «Катманду» в «Клубе парика и маски» событием необычайной важности для всего города. Особенно он превозносил Селию. По правде говоря, все могли бы получить такое же удовольствие на хорошем баскетбольном матче. Но зрители не без удовольствия побывали в тот вечер и на спектакле.

■

Его преподобие Харрелл сказал:

— Как жаль, что Селия не дожила до завершения строительства Мемориального центра искусств имени Милдред Бэрри на Сахарной речке, но ее участие в постановке «Катманду» доказывает, что искусство процветало в Мидлэнд-Сити и до того, как был построен этот Центр.— Он провозгласил, что самые прекрасные центры искусств в каждом городе — это человеческие души, а не дворцы и мавзолеи. Он снова обратил внимание аудитории на меня.— Вот там, в заднем ряду, сидит центр искусств, именуемый Руди Вальц,— сказал он.

И тут Феликс и его дружок метаквалон зарыдали в голос. Феликс ревел, как сирена пожарной машины, и никак не мог остановиться.

25

Слава богу, тут началось чтение молитв, потом заиграл орган, и после этого гроб поставили на катафалк. А то громкие стенания Феликса нарушили бы всю церемонию похорон. Мы с мамой решили на кладбище не ехать. Нам только и хотелось — увести Феликса из церкви и доставить его в городскую больницу. Единственной нашей мыслью было — не выскочить из церкви впереди гроба.

Приехали мы позже всех, машину пришлось поставить в дальнем конце стоянки, и окрестные ребятишки уже восхищенно сгрудились вокруг нашего «роллс-ройса». Конечно, они таких машин никогда не видали, но хорошо знали эту марку. Они с таким благоговением созерцали нашу машину, словно уже шли за открытым гробом в похоронной процессии.

Кстати, Селию везли в закрытом гробу. Наверное, хотели скрыть, во что ее превратил порошок «Драно».

Мы усадили Феликса на заднее сиденье — он не сопротивлялся. Он только рыдал, забившись в угол, но верх-то был откинут. Мне кажется, посади мы его на дерево, хоть на самую верхушку, среди птичьих гнезд, он и там сидел бы и рыдал, ничего не замечая вокруг.

Но ключей мы у него допроситься не могли. В такое время он ни о чем земном, в том числе и о ключах, думать не желал. Пришлось мне самому обшарить его карманы. А мама все время торопила меня: скорей, скорей! Я случайно обернулся к церкви и увидел, что Двейн Гувер, должно быть, сказав, чтобы никто за ним не ходил — ему нужно срочно поговорить с Феликсом по личному делу,— уже идет к нам.

Можно было ожидать, что он захочет быть поближе к катафалку и, чтобы избежать любопытных, а может быть, и укоризненных взглядов, забьется в уголок закрытого «кадиллака», принадлежавшего владельцу похоронного бюро, который поедет следом за катафалком. Не тут-то было — он явно намеревался пройти все пятьдесят ярдов по стоянке, а там, кроме нас, никого не было, потому что мы выскочили из церкви раньше всех. Точь-в-точь как в ковбойском фильме: перепуганные горожане сбились в кучу, а измученный, но не сломленный герой идет тяжелым шагом навстречу роковой судьбе. Один.

Катафалк подождет.

Дело — прежде всего.

■

Если эту встречу представить в виде небольшой пьески, декорации будут очень простые. В глубине сцены — обочина тротуара, обозначающая край стоянки. «Роллс-ройс» с откинутым верхом — самый дорогой предмет реквизита — надо припарковать у обочины, въехав справа. Задник за обочиной можно расписать кустиками и деревьями.

Красивая деревянная табличка объясняет более точно, где происходит действие:

ПЕРВАЯ МЕТОДИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СТОЯНКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ф е л и к с рыдает, скорчившись на заднем сиденье «роллс-ройса». Мама — ее зовут Э м м а — и я, Р у д и, стоим около машины, ближе к зрителям Эмма, вне себя от нетерпения, торопит с отъездом, а Руди шарит по карманам Феликса, ища ключи от машины.

Ф е л и к с. Да кому какое дело, где они, эти ключи!

Э м м а. Скорей, прошу тебя — скорей!

Р у д и. Сколько же карманов эти проклятые лондонские портные делают в одном пиджаке? Черт бы тебя побрал, Феликс!

Ф е л и к с. Я жалею, что вернулся домой — вот до чего ты меня довел!

Эмма. Нет, я сейчас умру!

Феликс. Я так ее любил.

Руди. Да что ты? (Случайно оборачивается к церкви и приходит в ужас, увидев, что к ним идет Двейн.) Ох, боже ты мой!

Феликс. Помолись за нее! Мне тоже больше ничего не остается.

Руди. Феликс, выходи из машины!

Эмма. Нет, нет! Пусть только пригнется.

Руди. Мама, оглянись же! Сюда идет Двейн!

Эмма (оборачивается; испуганно). Ему же полагается быть рядом с покойницей!

Руди. Феликс, вылезай сейчас же! Кажется, кто-то собирается вытрясти из тебя душу.

Феликс. Я только что вернулся домой.

Руди. Я не шучу. Сюда идет Двейн. Неделю назад он чуть не вытряхнул душу из доктора Митчелла. Сейчас он и до тебя доберется.

Феликс. Драться мне с ним, что ли?

Руди. Скорей вылезай из машины, беги!

Феликс выбирается из машины, жалобно причитая. Слезы у него высохли. Опасность для него настолько нереальна, что он даже не оборачивается туда, откуда ему что-то грозит. Он разглядывает машину — вмятину на боку, царапину — и даже не видит, что справа подошел Двейн.

Феликс. Взгляните-ка! Жалость-то какая!

Двейн. Жаль, жаль! Такая чудная машина!

Феликс (оборачивается, видит Двейна). Привет! Вы — муж.

Двейн. А вот вы тут при чем?

Феликс. Что?

Двейн. Да, я ее муж, и у меня большое горе, но реветь так, как вы, я бы не смог. На моей памяти никто так не рыдал — ни мужчина, ни женщина. Вы-то тут при чем?

Феликс. Мы еще в школе любили друг друга...

Двейн задумывается. Феликс вынимает из кармана пузырек с таблетками, хочет открыть.

Эмма. Нет, нет, никаких таблеток!

Руди. Мой брат не совсем здоров.

Эмма. Да он сумасшедший! А я им так гордилась!

Двейн. Я бы очень огорчился, если бы думал, что он ненормальный. Нет, надеюсь, что он плачет именно потому, что он — самый нормальный человек из всех нас.

Эмма. Но драться он не умеет. И никогда не умел.

Руди. Мы едем в больницу.

Феликс. Погодите, черт побери! Я заплакал, потому что я абсолютно нормальный. Самый нормальный во всей этой выгребной яме! Что тут творится, черт вас дери?

Эмма. Сам напросился — смотри, как бы тебе мозги не вышибли!

Феликс. Хуже, чем ты, нет матери на свете!

Эмма. Нет! Я ни разу в жизни не опозорила ни себя, ни свою семью перед людьми, запомни это!

Феликс. Да ты и пуговицы никогда не пришила. Нет чтобы приласкать ребенка, поцеловать!

Эмма. А что тут плохого?

Феликс. Никогда не была настоящей матерью.

Двейн. Объясните мне все-таки, почему вы заплакали?

Феликс. А кто нас воспитывал? Ты знаешь? Прислуга, вот кто! Эту леди каждый год в День матери следовало бы угощать углем и розгами. Мы с братом негров знаем куда лучше, чем белых,— могли бы даже на эстраде их изображать.

Двейн. Похоже, он на самом деле спятил, а?

Феликс. Эймос и Энди — парный конферанс!

Эмма. Какое унижение! О-о! Меня никогда в жизни никто так не унижал! Да, нигде и никогда! А я ведь в молодости весь мир объехала!

Двейн. Только у вас никогда жена не кончала самоубийством. Или муж.

Эмма. Понимаю, как вы намучились, а тут еще это несчастье.

Двейн. Не знаю, в каких странах вы побывали, но есть ли в целом мире такое место, где самоубийство близкого человека не считалось бы величайшим позором?

Эмма. Ступайте назад, к друзьям. Повторяю — мне так стыдно за сына, что лучше бы он лежал мертвый. Идите к своим друзьям.

Двейн. Куда? Вон к тем людишкам? Знаете что — я бы сам по себе сюда пришел, даже если бы вас тут не было. Если бы я случайно не наткнулся на вас, я, может, шел бы и шел, пока не дошел бы до Катманду. Только я один из всего нашего города не бывал в Катманду. Мой зубной врач там был.

Эмма. Вы лечитесь у Герба Стакса?

Двейн. Конечно. И Селия тоже — вернее, лечилась.

Эмма. Странно, что мы там не встречались.

Феликс. А это потому, что он чистит зубы пастой «Глим» с флюористаном.

Эмма. Я не отвечаю за то, что Феликс плетет. Не понимаю, как он руководил крупнейшей телекомпанией.

Двейн. Селия никогда мне не говорила, что вы были влюблены друг в друга. Она жаловалась до последних дней, что ее все равно никто не любит, к чему ей лечить зубы?

Эмма. И радио тоже. Он и радиовещанием заправлял.

Феликс. Ты мешаешь серьезному разговору — как всегда. Да, мистер Гувер, мы с Селией были влюблены друг в друга, еще в школе, но только сейчас, в церкви, я понял, что она была единственной женщиной, которую я любил, и, может быть, единственной, кого я буду любить вечно. Надеюсь, я вас не обидел?

Двейн. Нет, я очень рад. Вряд ли я похож на счастливого человека, но я и вправду счастлив. Сейчас катафалк начнет сигналить, чтобы я не опоздал, кладбище скоро закроют. Она была как этот «роллс-ройс», верно?

Феликс. Я не знал женщины прекраснее. Вы не обижайтесь, не надо.

Двейн. Что вы, что вы! Какая тут обида! Пусть любой, кто хочет, повторяет, что он не знал женщины прекраснее. Надо было вам на ней жениться, а не мне.

Феликс. Я был недостоин ее. Смотрите, какую вмятину я сделал на своем «роллс-ройсе»!

Двейн. Вы задели за что-то голубое.

Феликс. Послушайте. Она гораздо дольше продержалась с вами, чем могла бы продержаться рядом со мной. Такого негодного мужа, как я, еще свет не видал.

Двейн. Я куда хуже вас. Я просто сбежал от нее, она была со мной очень несчастлива, а я не знал, что делать, да и некому было сбыть ее с рук. Машины я умею продавать, это я постиг. И чинить умею — без дураков. Одного я не знал — как привести в порядок эту женщину. Даже ума не приложу, где такие инструменты достать. Так что я поставил ее на прикол и позабыл о ней. Жаль, что вы не попались нам в это время — вы бы нас обоих спасли. Но сегодня вы мне доставили огромную радость. По крайней мере мне теперь не приходится упрекать себя, что моя бедная жена прожила всю жизнь, так и не узнав, что такое настоящая любовь.

Феликс. Где я? Что я тут наговорил? Что я натворил?

Двейн. Поехали со мной на кладбище. Мне все равно — нормальный вы или псих. Но этому несчастному продавцу автомобилей станет немного легче, если вы поплачете еще немного, пока мы будем хоронить мою бедную жену.

Занавес.

26

Мне кажется, все мы воспринимаем нашу жизнь как роман, и я убежден, что психологам, историкам и социологам было бы полезно признать это. Если человек — женщина или мужчина — выходит за пределы положенного ему срока (в среднем этот срок — шестьдесят лет с чем-то), то вполне возможно, что сюжет его жизни уже, в сущности, исчерпан и осталось только одно — эпилог. Жизнь еще тянется, но рассказывать больше не о чем.

Многим людям так не по душе доживать свой эпилог, что они кончают жизнь самоубийством. Как не вспомнить Эрнеста Хемингуэя. Как не вспомнить Селию Гувер, урожденную Гилдрет.

Биография моего отца, как мне кажется и как, вероятно, казалось ему самому, закончилась, когда я застрелил Элоизу Метцгер, а он принял на себя мою вину и полицейские сбросили его с железной лестницы. Художника из него не вышло, не вышло из него и солдата — но он мог по крайней мере вести себя как настоящий герой, храбро и честно, если бы только представилась возможность.

Именно такой он и видел свою жизнь в мечтах.

И тут возможность представилась. Он вел себя как настоящий герой, храбро и честно. А его сбросили с лестницы, как мешок с мусором.

Уже тогда должно было где-то появиться слово:

КОНЕЦ.

Оно не появилось. Но все последующие годы были чем-то вроде эпилога к его жизни — просто свалка каких-то случайных, незначительных событий, всякий хлам, какие-то обрывки и ошметки, коробочки и пакеты черт знает с чем.

И в истории народов может случиться такое. Иногда народ думает, что творит эпос, но сюжет его уже исчерпан, а жизнь все идет. Может, история моей родины как эпос кончилась после второй мировой войны, когда Америка была самой богатой, самой процветающей страной на Земле, когда она собиралась стоять на страже мира и справедливости, потому что только она одна владела атомной бомбой.

КОНЕЦ.

Феликсу эта теория пришлась по душе. Он сказал, что история его собственной жизни закончилась, когда он стал президентом Эн-би-си и вошел в первый десяток самых элегантных мужчин в нашей стране.

КОНЕЦ.

Правда, он считает, что самое лучшее время в его жизни — как раз эпилог, а не основная история. Похоже, что это можно сказать о многих людях.

Бернард Кетчем пересказал нам один диалог Платона: древнего старика спрашивают, что чувствует человек, который по старости уже не интересуется сексом. Старик говорит, что ощущение такое, будто тебе разрешили соскочить с дикого жеребца.

А Феликс сказал, что у него было точно такое же чувство, когда его выперли из Эн-би-си.

■

Может быть, это очень плохо, что многие люди стараются сделать из своей жизни как можно более занимательную историю. Ведь всякий сюжет — это нечто искусственное, вроде механического, бьющего задом мустанга в питейном заведении.

А еще хуже, когда целый народ пытается стать героем исторического романа.

Хорошо бы выбить на мраморе над входом в здание Организации Объединенных Наций и в здания всех парламентов малых и больших государств: ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ИСТОРИИ ЗА ПОРОГОМ.

■

Мне думается, что именно на похоронах Селии Гувер я и соскочил с истории своей жизни, как с дикого жеребца, когда его преподобие Харрелл публично отпустил мне мой грех — убийство Элоизы Метцгер в те давние годы. Хотя, возможно, это произошло еще два года спустя, когда мою мать в конце концов прикончила радиоактивная каминная доска.

Я старался искупить по мере сил свою вину перед ней и перед отцом, считая, что я разбил их жизнь. Но теперь она ни в каких услугах не нуждалась. Эта история кончилась.

■

Быть может, мы так никогда бы и не узнали, что ее убила каминная доска, если бы у нас не объявился один искусствовед, преподававший в университете штата Огайо, в городе Афины. Звали его Клифф Маккарти. Он был и художником. Но жизнь Клиффа Маккарти никогда не пересеклась бы с нашей жизнью, с нашими судьбами, если бы газеты столько не писали о маминых протестах против произведений, приобретенных Фредом Т. Бэрри для Центра искусств. Клифф прочитал об этом в журнале «Наш народ». И конечно, мама не нападала бы с такой страстью на Фреда Т. Бэрри, если бы у нее в мозгу не развивались мелкие опухоли из-за облучения от радиоактивной каминной доски.

Колесики цепляются за колесики... Шестеренки судьбы!

В журнале «Наш народ» маму называли «вдовой известного художника из штата Огайо». Клифф Маккарти уже много лет, при финансовой поддержке известного кливлендского филантропа, работал над книгой обо всех выдающихся художниках штата Огайо, но о моем отце он никогда не слыхал. Поэтому он посетил наш «нужничок» и сфотографировал неоконченную работу отца, висевшую над камином. Больше фотографировать было нечего, и он сделал несколько снимков с разной экспозицией своей большой камерой на трехногом штативе. Я думаю, просто из вежливости.

Его камера заряжалась кассетами с плоской пленкой четыре на пять, и несколько отснятых кассет он зачем-то вынул из своего кофра.

Одну из них он случайно забыл на камине. Через неделю, проезжая мимо, он свернул с шоссе и заскочил к нам за своей забытой кассетой.

Дня через три он позвонил мне по телефону и сказал, что вся пленка в этой кассете засветилась до черноты и один его товарищ, учитель физики, утверждает, что пленка лежала рядом с источником сильнейшего радиоактивного излучения.

■

По телефону он мне сообщил еще одну новость. Он читал дневник выдающегося художника Фрэнка Дювенека, который тот вел до конца жизни. Умер он в 1919 году в возрасте семидесяти одного года. Лучшие и наиболее плодотворные годы жизни Дювенек провел в Европе, но после того, как его жена скончалась в Италии, во Флоренции, он вернулся на родину, в Цинциннати.

— В этом дневнике есть запись о вашем отце,— сказал мне Маккарти.— Дювенек прослышал о великолепной студии, которую строил молодой художник в Мидлэнд-Сити, и шестнадцатого марта тысяча девятьсот пятнадцатого года он поехал взглянуть на эту студию.

— А что он пишет?

— Пишет, что студия прекрасная и любой художник мира полжизни отдал бы за такую студию.

— Я спрашиваю, что он пишет про моего отца?

— Кажется, он ему понравился,— сказал Маккарти.

— Вот что,— сказал я.— Я прекрасно знаю, что мой отец не был никаким художником, да и сам отец это знал. Дювенек, верно, был единственный настоящий художник, который видел, как отец пускает пыль в глаза. Пожалуйста, скажите мне, что написал Дювенек про отца, пусть это будет даже что-то очень обидное.

— Ладно, я вам прочитаю вслух,— сказал Маккарти и тут же прочел: — «Отто Вальца надо расстрелять. Его надо расстрелять, ибо он — живое доказательство того, что у нас в стране доказывать совершенно ни к чему: что художник — ничтожество, никакого значения не имеющее».

■

Я стал разузнавать, кто у нас ведает гражданской обороной. Я надеялся, что у такого человека есть счетчик Гейгера или какой-нибудь другой прибор для измерения радиоактивности. Выяснилось, что ответственный за гражданскую оборону нашего округа — некто Лоуэлл Ульм, владелец автосервиса на шоссе, у шлагбаума перед аэропортом. Это лично ему мы должны будем звонить по телефону, если разразится третья мировая война. У него-то и был счетчик Гейгера.

И он заехал к нам после работы. Сначала ему пришлось зайти домой за этим самым счетчиком. Оказалось, что безобидная с виду доска над камином, перед которым мама сидела часами, глядя в огонь или повыше, на неоконченную картину отца,— эта доска таила в себе смерть. Лоуэлл Ульм сказал так:

— Будь я проклят, да ведь эта чертова доска опаснее, чем детская коляска из Хиросимы.

■

Маму и меня переселили в новую гостиницу «Отдых туриста», а в это время рабочие в скафандрах, как астронавты на Луне, обезвреживали наш домишко в Эвондейле. И вот в чем ирония судьбы: будь моя мама обыкновенной матерью, домашней хозяйкой, которая только и мечется то в кухню, то в погреб, бегает за покупками и так далее, и будь я типичным маменькиным сынком, бездельником, который только и ждет, чтоб его накормили, а сам слоняется по гостиной, смертельную дозу облучения вместо нее получил бы я.

Но Джино и Марко Маритимо к тому времени уже скончались, так ничего и не узнав. Им было бы очень тяжело узнать, что дом, который они фактически подарили нам, таил в себе такую опасность. Смотровой глазок Марко закрылся примерно за месяц до похорон Селии Гувер — он умер своей смертью, а через несколько месяцев Джино случайно погиб на строительстве Центра искусств. Вышло все до крайности глупо: Джино пытался наладить механизм подъемного моста в Центре искусств — через неделю должно было состояться торжественное открытие,— и его убило током. В общем, во время постройки Центра искусств имени Милдред Бэрри погибло всего два человека.

Не представляю себе, сколько человек погибло в Индии, на строительстве Тадж-Махала. Наверное, сотни, а то и тысячи. Красота редко достается по дешевке.

■

Но сыновья Джино и Марко, узнав про каминную доску, отнеслись к этому делу очень серьезно. Они были чрезвычайно расстроены — не меньше, чем были бы их отцы, и от расстройства рассказали нам даже больше, чем следовало, потому что мы с Феликсом потом решили подать в суд на их компанию, а впоследствии и на очень многих других людей. Они нам рассказали, что эта каминная доска валялась на свалке, в бурьяне, позади завода декоративного цемента, где-то на окраине Цинциннати. Там эту доску углядел старый Джино, она показалась ему еще вполне пригодной, и он купил ее по дешевке для образцового домика в Эвондейле, где потом поселил нас.

Нам вообще повезло, да и кое-какие честные люди помогли нам дознаться, откуда брали цемент для нашей каминной доски, и выяснилось, что следы ведут в Ок-Ридж, в штате Теннесси, где производили чистый уран-235 для атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Почему-то правительство разрешило продавать оставшийся цемент как отходы военной промышленности, хотя очень многим было известно, что он сильно радиоактивен.

В данном случае правительство вело себя так же безответственно, как глупый мальчишка, который баловался с заряженной винтовкой Спрингфилда под куполом каретного сарая.

■

Когда мы с мамой вернулись в наш «нужничок», оказалось, что камина у нас больше нет. Нас не было дома только сутки, но вместо камина уже возникла гладкая стена и вся гостиная была выкрашена заново. Строительная компания братьев Маритимо все перестроила за свой счет, даже трудно было заметить, что у нас тут когда-то был камин.

Во время перестройки Феликса не было дома. Он поступил на работу под чужим именем, хотя его наниматели знали, кто он такой на самом деле и кем он был раньше, и теперь он работал диктором на радиостанции в Саут-Бенде, штат Индиана. Ничего унизительного в этом не было. Феликс делал именно то, что всегда хотел делать, что ему было по душе. Наркотиков он больше не употреблял. И мы им очень гордились.

■

Мама сказала очень характерную для нее фразу, увидев, что камина у нас больше нет:

— Ах, какой ужас! Просто жить не хочется без камина!

Что же в ее жизни было романом, а что — просто эпилогом? — спросите вы. Мне кажется, что ее жизнь походила на жизнь отца в том отношении, что к нашему — моему и моего брата — появлению на свет от их романа оставался только эпилог. Жизнь ее сложилась так, что вся история оказалась с гулькин нос: не успела она начаться, как тут же и кончилась. Например, раскаиваться маме было не в чем — но прежде всего потому, что она никогда не испытывала искушения согрешить. И она не собиралась отправляться на поиски какого бы то ни было Святого Грааля, потому что это дело чисто мужское, а еще потому, что у нее уже была своя чаша, из которой сыпались и лились через край всякие вкусности — ешь и пей, сколько душе угодно!

Мне кажется, что в Америке многие женщины сейчас жалуются именно на это: они считают, что роман их жизни — чересчур уж коротенький, а эпилог слишком растянут.

А мамина история кончилась, как только она вышла замуж за самого красивого и богатого мужчину в городе.

27

Едва мама сказала, что ей просто жить не хочется без камина, как зазвонил телефон. Мама взяла трубку. Обычно я первым подходил к телефону, но теперь она как-то всегда опережала меня. С тех пор как она стала местной Жанной д'Арк, сражающейся с абстрактным искусством, ее живо интересовал каждый телефонный звонок.

Прошел уже год после открытия Центра искусств имени Милдред Бэрри, где было много речей и много выступлений известных деятелей искусства со всей нашей страны. Но сейчас этот Центр опустел, никто туда не ходил, как и в старый универмаг в центре города или на заброшенный вокзал, где когда-то пересекались Монроевская и Нью-Йоркская центральная железные дороги, а теперь там даже рельсы были сняты.

Маму вывели из правления Центра искусств за резкие выступления на заседаниях и за то, что она весьма нелестно отзывалась об этом Центре в печати, на церковных собраниях, в клубах садоводов и так далее. Ее всюду приглашали — она была блестящим, остроумным оратором. Зато Фред Т. Бэрри совсем затих, как затихла жизнь в его Центре. Несколько раз мимо меня проезжал его «линкольн», стекла в кабине были затемненные, и я понятия не имел, там он или нет. Видел я иногда и самолет его фирмы «Бэрритрон» в аэропорту, но его самого ни разу не встречал. Я ждал, что когда-нибудь снова услышу о нем от его служащих, заходивших иногда в нашу аптеку. Но потом я понял, что служащие мистера Бэрри бойкотируют аптеку Шрамма как днем, так и ночью, потому что я, младший сын моей матушки, служу там.

Так что для меня было полной неожиданностью, что мама говорит по телефону с самим Фредом Т. Бэрри и не с кем иным. Он с отменной вежливостью выразил надежду, что мама будет дома в течение часа и соблаговолит принять его. Никогда раньше он и не заглядывал в нашу конурку. Сомневаюсь, что он вообще когда-нибудь бывал в Эвондейле.

Мама сказала: пусть он приходит хоть сейчас. Вот ее точные слова, произнесенные совершенно бесстрастно, тоном человека, который не знает, что такое поражение:

— Что ж, приходите, если вам угодно.

■

Мы с мамой еще не обсуждали всерьез, какой вред радиоактивная доска над камином могла нанести нашему здоровью, наоборот, нам дали понять, что это нежелательно — ни сейчас, ни впоследствии. Ульм, ответственный за гражданскую оборону, разбогатевший владелец автосервиса, созвонился по этому вопросу с кем-то из членов Комиссии по координации ядерных исследований в Вашингтоне, и ему сказали, что главное — предотвратить панику. Для предотвращения паники всех рабочих, ломавших наш камин в защитной одежде, заставили дать присягу — держать всю эту историю в тайне во имя патриотизма и ради безопасности родины. Пока мы с мамой жили в новой гостинице «Отдых туриста», в Эвондейле по указанию Вашингтона было объявлено, что наш дом кишел термитами и что защитная одежда для рабочих была необходима, потому что они уничтожали насекомых при помощи цианида.

Хороши насекомые!

И мы не поддавались панике, как положено честным гражданам. Мы спокойно ждали прихода Фреда Т. Бэрри. Я стоял у большого окна и глядел на улицу сквозь щелки жалюзи. Мама отдыхала в кресле-массажере — мой брат Феликс подарил ей это кресло на позапрошлое рождество. Оно незаметно вибрировало и успокаивающе жужжало под ней. Мотор массажера работал на тихом ходу.

Мама сказала, что она совсем не чувствует последствий какой-то там радиации, хотя и знает об этом.

— А ты что-нибудь чувствуешь? — спросила она меня.

— Нет,— сказал я.— Наверное, у людей такие разговоры будут мало-помалу входить в привычку, ведь радиоактивные материалы все шире расползаются по всему свету.

— Уж если бы нам с тобой грозила такая серьезная опасность,— сказала она,— мне кажется, мы бы что-нибудь заметили. Например, на камине были бы какие-нибудь дохлые жуки, или на комнатных цветах появились бы странные пятна, или еще что-нибудь, правда?

А в это время крошечные опухоли уже начинали расти в ее голове.

— Мне так неприятно, что соседям рассказали, будто у нас завелись термиты,— сказала она.— Не могли выдумать что-нибудь другое. А так все равно как если бы сказали, что у нас проказа.

Тут выяснилось, что ее в детстве очень напугали термиты, только она мне никогда не рассказывала. Она всю жизнь старалась даже не вспоминать об этом, но теперь с ужасом рассказала мне, как она еще маленькой девочкой вошла в музыкальную комнату в отцовском особняке, который она считала неприступной крепостью, и увидела, что из-под пола выбивается что-то вроде пены, лезет из-под плинтусов возле рояля, как будто выкипающий суп из-под крышки, сочится из ножек рояля и даже из клавишей.

— Это были миллионы, миллиарды насекомых с блестящими крылышками, растекавшиеся совершенно как жидкость,— рассказывала мама.— Я побежала за отцом. Он тоже глазам своим не поверил. На нашем рояле никто не играл много лет. Может быть, если бы на нем играли, эти насекомые сбежали бы оттуда. Но тут отец слегка толкнул ножку рояля, и она сплющилась, словно картонная. И рояль упал.

■

Мне было ясно, что этот случай врезался ей в память на всю жизнь, а я о нем никогда не слыхал.

Если бы мама скончалась в детстве, она вспоминала бы землю, как то место, куда люди отправляются, когда им захочется посмотреть на рояль, который сожрали термиты.

■

Итак, Фред Т. Бэрри прибыл в своем лимузине. Он уже был очень старый, да и мама была очень старая, и к тому же они еще так долго спорили о современном искусстве — стоит оно чего-нибудь или не стоит. Я открыл ему дверь, и мама приняла его, лежа в кресле-массажере.

— Пришел сдаваться, миссис Вальц,— сказал он.— Вы вправе гордиться собой. Я потерял всякий интерес к Центру искусств. Пусть из него сделают хоть инкубатор, мне все равно. Я уезжаю из Мидлэнд-Сити — навсегда.

— Я верю, что намерения были у вас самые лучшие, мистер Бэрри,— сказала она.— Никогда в этом не сомневалась. Но в следующий раз, когда захотите сделать людям чудесный подарок, узнайте сначала, хотят ли они получить его или нет. Не пытайтесь навязать его насильно — не втискивайте им в глотку.

Он продал свой «Бэрритрон» корпорации РАМДЖАК за сногсшибательную сумму. Компания, скупающая американские фермы для арабов-переселенцев, купила и его ферму. Но насколько мне известно, ни один араб даже в глаза эту ферму не видел. Сам он переехал в Хилтон-Хед, в штате Южная Каролина, и с тех пор я ничего о нем не слышал. Он был так разобижен, что даже не ассигновал никаких средств на содержание Центра искусств, а город настолько обнищал, что мог только оставить этот Центр в полном запустении и забросе.

И настал день, когда сверкнула та вспышка.

■

Мама скончалась через год после капитуляции Фреда Т. Бэрри. Когда она в последний раз лежала в больнице, ей казалось, что она летит в космическом корабле. Она принимала меня за отца и считала, что мы летим на Марс и проведем там наш второй медовый месяц.

Она была бодра, как никогда, но абсолютно ничего не понимала. Мою руку она не выпускала ни на минуту.

— Помнишь ту картину? — говорила она и с улыбкой сжимала мне руку. Ей казалось, что я понимаю, какую именно картину из всех картин мира она имеет в виду. Сначала я думал, что речь идет о неоконченном шедевре отца, о картине, которую он начал в своей непутевой юности в Вене. Но в светлую минуту, когда она пришла в сознание, она объяснила, что речь идет о ее фотографии в маленьком альбоме, где она сидит в лодке, на какой-то речушке, может быть даже в Европе. Впрочем, возможно, что это Сахарная речка. Лодка стоит на приколе. Весел не видать. Мама никуда плыть не собирается. На ней летнее платье и соломенная шляпка. Кто-то уговорил ее сняться в лодке, чтобы вокруг была вода и тени от листьев. Она смеется. Она совсем недавно вышла замуж или скоро выйдет.

Никогда больше ей не быть такой счастливой. Никогда она не будет так хороша.

Кто же мог предполагать, что эта юная девушка когда-нибудь отправится на ракете на Марс?

■

Она скончалась семидесяти семи лет от роду, так что ее смотровой глазок мог закрыться от уймы разных причин, в том числе и просто от старой доброй жизни. Но вскрытие показало, что она была здорова, как молодая лошадка, если бы не эти мелкие опухоли в мозгу. Кстати, такие опухоли вызывает только радиоактивное облучение, так что мы с Феликсом пригласили адвоката Бернарда Кетчема, поручив ему предъявить иск всем, кто покупал или продавал в каком бы то ни было виде радиоактивный цемент из Ок-Риджа.

Процесс мы выиграли, но тянулся он долго, и я продолжал работать шесть ночей в неделю в аптеке Шрамма и вести хозяйство в нашей маленькой конурке, в Эвондейле. В общем, разницы нет никакой — ведешь хозяйство для двоих или для себя одного.

Мой «мерседес» доставлял мне такое удовольствие, что даже стыдно вспоминать.

Как-то раз, по недоразумению, меня заподозрили в том, что я похитил и убил маленькую девочку. Полицейские эксперты забрали мой «мерседес» и сантиметр за сантиметром исследовали все поверхности на отпечатки пальцев, прошлись по машине пылесосом и так далее. Вернули они мне машину, удостоверившись, что она совершенно чиста, и сказали, что ничего подобного они еще не видели. Я ездил на этой машине уже семь лет и наездил больше ста тысяч миль, но каждый волосок, каждый отпечаток пальца на ней был только мой собственный.

— Видно, вы не очень-то общительны,— сказал один из полицейских.— Зачем же вам такая большая машина?

■

Шоколадное печенье. Растопить полчашки масла и фунт сахару в литровой кастрюльке. Поставить на слабый огонь и помешивать, пока не начнет пузыриться. Охладить до комнатной температуры. Добавить два яйца с чайной ложкой ванили. Смешать с чашкой хорошо просеянной муки, добавить полчайной ложки соли, чашку грецких орехов, чашку полусладкого шоколада, наломанного мелкими кусочками.

Выложить на смазанный сливочным маслом противень. Выпекать при 235 градусах примерно тридцать пять минут. Охладить до комнатной температуры и нарезать на квадратики ножом, смазанным маслом.

■

Думаю, что я был так же счастлив, как и любой другой обыватель в Мидлэнд-Сити, а может быть, и во всей стране, пока спокойно ждал окончания нашей судебной тяжбы. Но все в мире относительно. Меня, например, по-прежнему успокаивало, когда я бурчал себе под нос песенки собственного сочинения, бессмысленные наборы разных «скииди-уа» и «боди-о-до» и так далее. У меня в машине был великолепный немецкий стереофонический приемник «Блаупункт ЧМ-АМ», но я почти никогда его не включал.

Кстати, о песенках-бессмыслицах: как-то утром я наткнулся на забавную надпись, сделанную шариковой ручкой на стене мужской уборной в аэропорту имени Вилла Фэйрчайлда. Я ехал домой с работы, как вдруг у меня схватило живот. Очевидно, я съел слишком много шоколадного печенья на ночь, перед уходом на работу.

Я подрулил к аэропорту и выскочил из своего восьмиместного «мерседеса». Я и не надеялся добежать до мужской уборной — мне бы только найти укромное местечко. Но в это время, когда обычно там нет ни души, на стоянке уже была припаркована чья-то машина. Так что я толкнулся в боковую дверь, и она оказалась незапертой.

Я вбежал в здание аэропорта, взлетел по лестнице к мужской уборной, на бегу заметив, что кто-то натирает пол механическим полотером. Но, облегчившись, я стал опять таким же спокойным и респектабельным, как любой другой гражданин, а может, еще респектабельнее. Там я несколько минут был счастливее счастливцев и здоровее здоровяков, и вот какие слова я увидел на стене над раковиной:

«Ту би из ту ду» — Сократ [1].
«Ту ду из ту би» — Жан Поль Сартр[2].
«Ду би ду би ду» — Фрэнк Синатра[3].

Эпилог

Я собственными глазами видел, что́ нейтронная бомба может сделать с маленьким городом. Я вернулся в отель «Олофсон» после трехдневного пребывания в родном городе. Мидлэнд-Сити остался таким же, каким я его помнил, только там теперь нет ни одной живой души. Приняты самые эффективные меры безопасности. Район, где взорвалась бомба, надежно отгорожен высоким забором с колючей проволокой поверху, и примерно через каждые триста ярдов торчит сторожевая вышка. Перед забором расположены минные поля за невысокой изгородью из колючей проволоки — решительного человека она не остановит, но должна служить чем-то вроде дружеского предупреждения о минных полях.

Гражданским лицам разрешается посещать огороженный участок только днем. После наступления темноты район взрыва обстреливается без предупреждения. Солдатам дан приказ — стрелять по любому движущемуся объекту, и их оружие снабжено инфракрасными прицелами. Они могут видеть в темноте.

Днем гражданские лица допускаются в запретную зону только в ярко-красном школьном автобусе, и за рулем сидит военный, а еще несколько солдат строго и бдительно следят за пассажирами в салоне. Никому не разрешается проезжать по этому участку в собственной машине или разгуливать, где ему вздумается, даже если он потерял в этой катастрофе и свое дело, и всех родных — словом, все на свете. Теперь здесь все принадлежит государству, то есть всему народу, а не горстке собственников.

Нас было четверо — мы с Феликсом, наш адвокат Бернард Кетчем и Ипполит Поль де Милль, метрдотель из отеля «Олофсон». Жена Кетчема и жена Феликса с нами ехать отказались. Они боялись радиоактивности, особенно жена Феликса, которая ждала ребенка. Мы никак не могли убедить этих невежественных трусих, что вся прелесть нейтронной бомбы именно в том, что после взрыва ни малейших следов радиации не остается.

Нам с Феликсом уже пришлось столкнуться с тем же невежественным предрассудком, когда мы хотели похоронить маму рядом с отцом на Голгофском кладбище. Люди отказывались верить, что ее тело само по себе не радиоактивно. Они были уверены, что от нее все другие покойники начнут светиться в темноте, и что она просочится в систему водоснабжения, и так далее.

А ведь для того, чтобы стать источником радиации, наша мать должна была откусить кусок радиоактивной каминной доски, да еще сделать так, чтобы он из нее не вышел обычным путем. Вот тогда действительно она могла бы нагонять смертельный ужас на всю округу целых двадцать тысяч лет, а то и больше.

Но ей это было ни к чему.

---

[1] «To be is to do» — «Быть — значит творить» *(англ.)*.
[2] «To do is to be» — «Творить — значит быть» *(англ.)*.
[3] «Do be do be do» — бессмысленный набор звуков.

■

Мы взяли с собой старого Ипполита Поля де Милля, который никогда нигде не бывал, кроме Гаити, выдав его за брата гаитянки поварихи доктора Алана Маритимо, нашего ветеринара, и его жены. Алан был блудным сыном семейства Маритимо — он отказался войти в строительную компанию. Вся его семья со всеми домочадцами погибла при взрыве. Кетчем состряпал подложное свидетельство, по которому Ипполит Поль получил разрешение въехать в город вместе с нами в ярко-красном школьном автобусе.

Мы хлопотали за него, потому что Ипполит Поль был самым ценным нашим служащим. Без него, без его содействия гранд-отель «Олофсон» стал бы пустым местом. Поэтому стоило постараться, чтобы он был нами доволен.

Но Ипполит Поль пришел в такой восторг от поездки, что предложил нам, по собственному почину, совершенно особенный подарок, от которого мы решили вежливо отказаться в подходящий момент. Он сказал, что, если нам угодно, чтобы какой-нибудь призрак являлся в Мидлэнд-Сити в ближайшие несколько веков, он может вызвать его из могилы, и пусть гуляет на свободе, где ему вздумается.

Мы изо всех сил старались не верить, что он на это способен. Но он был способен на все.

Потрясающе.

■

Запаха не было. Мы ждали невыносимого зловония, запаха тлена, но его не было. Саперы похоронили всех погибших под мощенной бетонными плитами муниципальной стоянкой для машин, как раз напротив полицейского управления, на том месте, где раньше стояло здание суда. Потом они положили плиты на место и снова насадили игрушечный садик из паркинг-счетчиков. Говорят, что вся эта процедура была запечатлена кинохроникой: превращение автомобильной стоянки в братскую могилу и снова в автомобильную стоянку.

Братец мой Феликс рокочущим басом разглагольствовал, что когда-нибудь на эту братскую могилу сядет летающая тарелка и инопланетяне решат, что вся наша планета — сплошной асфальт и единственные живые существа на ней — паркинг-счетчики. Мы все сидели в школьном автобусе. Выходить здесь не разрешалось.

— Может быть, каким-нибудь жукоглазым чудищам на радостях покажется, что это — райские кущи,— продолжал Феликс.— Им здесь ужасно понравится. Расколотят паркинг-счетчики рукоятками своих атомных пистолетов и примутся смаковать разные металлические кругляшки, крышки с пивных бутылок и монетки.

■

Тут мы увидели несколько съемочных групп, и якобы по их просьбе нам запретили что-либо трогать, даже наши собственные вещи, которые мы безошибочно узнаем. У нас было такое чувство, будто мы попали в какой-то национальный парк, где сплошь да рядом — вымирающие виды. Не разрешалось даже сорвать цветочек, чтобы понюхать. Может, это самый последний такой цветок во всей Вселенной.

Например, когда школьный автобус подвез нас к нашему с мамой «нужничку» в Эвондейле, я забрел на соседний участок, к Микерам. Трехколесный велосипедик малыша Джиммн Микера стоял на дорожке, терпеливо дожидаясь своего хозяина. Я положил руку на седло — просто захотелось двинуть маленькую машину взад-вперед и сообразить, зачем же все-таки жили люди в Мидлэнд-Сити?

Но какой дикий вопль я вдруг услыхал!

Это капитан Джулиан Пефко, который следил за нашей группой, заорал на меня: «Руки в карманы!» Это было еще одно правило: как только пассажиры выходили из школьного автобуса, им полагалось держать руки в карманах. И женщинам, если у них были карманы, тоже. Если же карманов не было, они должны были скрестить руки на груди. Пефко напомнил мне, что все мы внутри ограды находимся на военном положении.

— Еще раз проштрафитесь, мистер,— сказал он мне,— и отправитесь на каторгу. Двадцать лет в каменоломнях — это вам по вкусу?

— Нет, сэр,— сказал я.— Мне это ни к чему.

После этого никаких нарушений не было. Чему только не научишься в одну минуту под угрозой военного трибунала!

Разумеется, все эти строгости были введены только с одной целью: чтобы кинохроника могла запечатлеть, без всяких инсценировок, наглядное доказательство того, что нейтронная бомба совершенно безобидна.

И все скептики будут посрамлены раз и навсегда.

■

Но в опустевшем городе мне было нисколько не страшно, а Ипполит Поль радовался как дитя. Ему-то нечего было жалеть о близких — у него близких не было, некого было и жалеть. И он восклицал по-креольски, поневоле — в настоящем времени:

— Ишь, как они богато живут! Богато живут!

Но Феликса мое спокойствие наконец возмутило.

— Господи боже мой! — взорвался он к концу второго дня.— Ну прояви ты хоть капельку сочувствия, прошу тебя!

И я ему объяснил:

— Я же все это видел буквально ежедневно, всю свою жизнь. Только сейчас солнце заходит, а не всходит — а так Мидлэнд-Сити точь-в-точь такой же, как по утрам, когда я на рассвете запирал аптеку Шрамма и думал: «Все ушли из города, и я остался один».

■

Нам разрешили въезд в Мидлэнд-Сити, чтобы сфотографировать и переписать вещи, которые точно принадлежали нам, или которые могли быть нашими, или тех, которые мы считали своим законным наследством и могли получить после выполнения необходимых формальностей. Я уже говорил, что нам строго-настрого запретили дотрагиваться до чего бы то ни было. За попытку вынести любую мелочь с места, где произошел взрыв, гражданским лицам грозило двадцать лет тюрьмы, а военнослужащим — расстрел.

Как я уже сказал, принятые меры предосторожности были выше всяких похвал, и мы слышали, как многие наши сограждане, пострадавшие куда больше, чем мы, превозносили военных за их бравую, отличную работу. Всем казалось, что в Мидлэнд-Сити наконец-то воцарился порядок, чего раньше очень не хватало.

Но, как мы узнали в третий и последний день нашего пребывания на месте катастрофы, там, где кончались минные поля, начинались весьма предосудительные разговоры о федеральном правительстве, попахивающие государственной изменой. Жившие вне радиуса взрыва фермеры, которые всю жизнь были далеки от общественной жизни, как мастодонты, после взрыва принялись напропалую судить и рядить о политике.

Понятно — покупки-то им делать негде. Торговых центров больше нет.

Мы с Феликсом и с Ипполитом Полем завтракали в «Мотеле-люкс» около Пещеры святого чуда, где мы жили и куда заезжал за нами красный школьный автобус. И там два фермера, одетые в синие рабочие комбинезоны, как некогда Джон Форчун в Катманду, раздавали листовки. Тогда «Мотель-люкс» еще не был на военном положении. Теперь, как я слышал, уже все мотели в пределах пятидесяти миль от Мидлэнд-Сити находятся на военном положении.

Двое мужчин, раздававших листовки, твердили: «Прочитайте всю правду и напишите своему конгрессмену». Но многие посетители даже и смотреть не хотели на листовки, а мы взяли по одной.

Организация, которая просила нас сообщить всю правду нашему конгрессмену, называлась «Фермеры юго-западного Огайо — за ядерную безопасность». Они утверждали: конечно, куда как хорошо, что федеральное правительство сочиняет идеалистические проекты превращения Мидлэнд-Сити в тихое пристанище для разных беженцев из стран, где жизнь не такая счастливая, как в Америке, или вообще у них что-то не ладится. Но они также считали, что необходимо организовать всенародное обсуждение, что «пора поднять завесу молчания» и объяснить, почему и отчего все прежние обитатели оказались в братской могиле под общественной стоянкой для машин.

Они признавались, что борьба их, может быть, и безнадежна — кому за пределами юго-западного Огайо какое дело до того, что произошло в местечке, называвшемся Мидлэнд-Сити? Насколько фермеры знали, Мидлэнд-Сити ни разу не показывали по телевидению — только после этого взрыва. Кстати, тут они ошибались. По телевидению его, конечно, показывали во время бурана 1960 года, но другого случая я что-то не припом-

ню. А во время бурана электричество отключилось, и фермеры так и не узнали, что Мидлэнд-Сити показывали по телевидению.

Они все проворонили!

Однако от этого их листовки не стали менее убедительными, а говорилось там вот что: власть в Соединенных Штатах, несомненно, захватила кучка политиканов, спекулирующих влиянием и силой и считающих, что рядовые американцы так ничтожны, так бездарны, так скучны, что их можно безнаказанно истреблять десятками тысяч и никто об этом не пожалеет. «На примере Мидлэнд-Сити они уже это доказали,— говорилось в листовке,— и кто может поручиться, что не настанет очередь Терре-Хота или Скенектади?»

Вот что было самым поджигательским утверждением в их листовках — что на Мидлэнд-Сити нарочно бросили нейтронную бомбу, и не с грузовика, а запустили с ракетного полигона или сбросили из стратосферы.

Был приглашен математик — как там говорилось, «из прославленного университета»,— чтобы он, независимо от правительственных организаций, вычислил, где произошел взрыв. Имя математика обнародовать нельзя, чтобы его не начали преследовать, но его выводы, опирающиеся на распределение павших животных по периметру вокруг эпицентра взрыва, подтверждают, что взрыв действительно произошел рядом с Одиннадцатым поворотом, но не менее чем в шестидесяти футах над землей. Это убедительное доказательство того, что бомба была доставлена по воздуху.

Или грузовик вез нейтронную бомбу в чем-то вроде гигантского тостера, автоматически выбрасывающего поджаренные хлебные ломтики.

■

Бернард Кетчем спросил у фермера, который дал нам листовки, кто же эти люди, которые, по его мнению, сбросили на Мидлэнд-Сити нейтронную бомбу. И вот что он услышал в ответ:

— Они не хотят, чтобы мы знали их прозвание, поэтому они и прозвания не имеют. Как можно сражаться с беспрозванными?

— Может, военно-промышленный комплекс? — высокомерно спросил Кетчем.— Или Рокфеллеры? Транснациональные компании? Секретная служба? Мафия?

И фермер ему ответил:

— Вам какое прозвание больше нравится? То и выбирайте. Может, попадете в точку, а может, и нет. Откуда простому фермеру знать? Только это они убили и президента Кеннеди, и его брата, и Мартина Лютера Кинга.

Вот он, докатился до нас — неудержимо нарастающий ком всеамериканской паранойи, клубок диаметром в сотни миль, в самом центре которого — нераскрытое убийство Джона Ф. Кеннеди.

— Вы тут помянули Рокфеллеров,— сказал фермер.— А я вам скажу, что они понимают ничуть не больше меня, кто именно всем заправляет и вообще, что творится на этом свете.

■

Кетчем спросил фермера, почему же этим таинственным безымянным организациям понадобилось стирать с лица земли население Мидлэнд-Сити, а потом, может быть, и Терре-Хота и Скенектади.

— Рабство! — не задумываясь, ответил фермер.

— Простите, не понял? — сказал Кетчем.

— Хотят рабство вернуть,— сказал фермер. Он не назвал нам свое имя, видно, боялся неприятностей, но я догадывался, что это один из Остерманов — у них было в этих краях несколько ферм вокруг Пещеры святого чуда.

— Все думают, как бы заделаться рабовладельцами,— сказал фермер.— Гражданская война ничего не изменила, в конце концов. Они в душе верили, что раньше или позже у нас опять будет рабство.

Кетчем пошутил, что вполне понимает, как выгодно иметь рабов, особенно теперь, когда множеству американских предприятий приходится соревноваться с иностранными конкурентами.

— Но я не вижу связи между рабством и опустевшими городами,— сказал он.

— А мы так полагаем,— сказал фермер,— что рабами будут любые нации, только не американцы. Нет, целые транспорты будут ввозить людей с Гаити, с Ямайки, словом,

из тех мест, где страшная нищета, перенаселение жуткое. И всем им понадобится жилье. Так что же дешевле — использовать то, что у нас уже есть, или строить заново? — Он помолчал, дал нам минутку подумать и добавил: — И знаете что? Видали ограду со сторожевыми вышками? Неужели вы на самом деле верите, что ее когда-нибудь снимут?

■

Кетчем еще сказал, что ему очень хочется знать, кто же эти темные силы.

— А я вам выскажу свою дикую догадку,— ответил фермер.— Можете смеяться: тем, кого я назову, как раз на руку, чтобы над ними смеялись, пока не станет поздно. Им не желательно, чтобы кто-то бил тревогу, что они заграбастали всю страну, сверху донизу. А потом будет уже слишком поздно.

И вот его дикая догадка:

— Ку-клукс-клан!

■

Моя же догадка вот какая: американскому правительству надо было точно проверить, действительно ли нейтронная бомба — такая безобидная игрушка, как их уверяют. Так что они взорвали одну на пробу в маленьком, всеми забытом городишке, где жизнь у людей все равно была не больно-то интересная, а предприятия или прогорали, или переезжали куда-нибудь. Не могло же наше правительство испытывать бомбу на городах в других государствах — того и гляди, вспыхнула бы третья мировая война!

Не исключено и то, что Фред Т. Бэрри, свой человек в высоких военных кругах, сам предложил Мидлэнд-Сити как идеальный полигон для испытания нейтронной бомбы.

■

Мы провели в Мидлэнд-Сити три дня, и к концу этого срока Феликс стал слезно просить капитана Джулиана Пефко, рискуя рассердить его,— нельзя ли нашему красному автобусу немного свернуть с дороги и заехать на Голгофское кладбище, где похоронены наши родители.

Несмотря на суровую внешность, у капитана Пефко, как это часто бывает у кадровых вояк, сердце было мягче свежего миндального печенья. Он разрешил.

■

Миндальное печенье. Заранее нагреть духовку до трехсот градусов. Чашку сахарного песку смешать с чашкой миндальной пасты и хорошенько растереть кончиками пальцев. Добавить три яичных белка, щепочку соли и полчайной ложки ванили.

Расстелить на противне листы простой бумаги. Посыпать сахарным песком. Выдавить миндальную пасту с сахаром через шприц с круглым отверстием, чтобы она падала на бумагу одинаковыми аккуратными шариками. Посыпать сахарным песком.

Выпекать примерно двадцать минут. Совет: выложите листы бумаги с печеньем на мокрое полотенце. Печенье будет легче отделить от бумаги.

Дайте остыть.

■

Голгофское кладбище никаких утешительных впечатлений мне не сулило, и я едва не остался в красном автобусе. Но когда все уже вышли, я тоже решил выйти поразмяться. Я пошел на старое кладбище, где все места были заняты большей частью еще до моего рождения. Я остановился возле самого высокого памятника в этом саду из надгробий — это был обелиск в шестьдесят два фута высотой, с мраморным футбольным мячом на верхушке. Этот памятник увековечивал память Джорджа Хикмена Бэннистера, семнадцатилетнего школьника, смотровой глазок которого закрылся во время футбольного матча в День благодарения в 1924 году. Он был из бедной семьи, но тысячи людей видели, как он умирал — наших родителей там, кстати, не было,— и многие из них сложились и поставили этот обелиск.

Наши родители спортом не интересовались.

Футах в двадцати от обелиска виднелось самое фантастическое надгробье нашего кладбища: самолетный мотор с воздушным охлаждением, высеченный из розового мрамора, и при нем — бронзовый пропеллер. Это был памятник Виллу Фэйрчайлду из эс-

кадрильи Лафайета, асу первой мировой войны, в честь которого назвали наш аэропорт. Но он не погиб на войне. Он врезался в землю и сгорел тоже на глазах у тысяч зрителей вместе с самолетом, на котором демонстрировал фигуры высшего пилотажа на мидлэндской ярмарке в 1922 году.

Он был последним из Фэйрчайлдов, семейства первых поселенцев, в честь которых так много всего названо в нашем городе. Но он еще не успел выполнить завет «плодиться и размножаться», а его смотровой глазок уже захлопнулся.

На бронзовом пропеллере было вырезано его имя, даты жизни и слова, которыми летчики эскадрильи Лафайета во время войны обозначали смерть при исполнении боевого задания: «Ушел на запад».

А «запад» для американца в Европе, конечно, означал «родной дом»!

Вот он и лежит у себя дома.

А где-то поблизости, как я знал, лежало безголовое тело старого Августа Гюнтера, который водил моего отца, совсем еще мальчишку, в самые шикарные бордели веселого квартала. Стыд ему и позор.

Я поглядел вдаль, и там, на горизонте, за поблескивающей на солнце Сахарной речкой я увидел шиферную крышу моего родного дома, увенчанную сверкающим белым конусом. В лучах заходящего солнца он и вправду был похож на цветную открытку с изображением Фудзиямы — священного вулкана Японии.

Феликс и Кетчем были поодаль, у более свежих могил. Феликс потом рассказал мне, что он кое-как совладал с собой на могиле отца и матери, но разрыдался, когда отвел глаза от их имен и обнаружил, что попирает ногами могилу Селии Гувер.

Элоиза Метцгер, женщина, которую я застрелил, тоже была похоронена где-то там, я ее могилку не навещал.

Я слышал, как мой брат разрыдался над могилой Селии Гувер, и взглянул в ту сторону. Я видел, как Ипполит Поль де Милль пытается его утешить.

Кстати, и я гулял не один. Меня сопровождал солдат с заряженной автоматической винтовкой — следил, чтобы я держал руки в карманах. Даже надгробия трогать не разрешалось. И Феликс, и Ипполит Поль, и Кетчем тоже не вынимали руки из карманов, как их ни подмывало сопровождать жестикуляцией свои разговоры среди могильных памятников.

А потом Ипполит Поль де Милль сказал Феликсу по-креольски нечто столь поразительное, столь оскорбительное, что с Феликса все горе слетело разом, как железная маска. Ипполит Поль предложил вызвать из могилы дух Селии Гувер, если Феликсу и вправду хочется снова повидаться с ней.

Вот вам настоящее столкновение двух культур, которое я видел своими глазами.

Ипполит Поль считал, что вызвать дух из могилы — самая обычная услуга, которую одаренный оккультист может оказать своему другу. Он вовсе не предлагал вызвать из могилы оживший труп, зомби, чтобы тот разгуливал в остатках лохмотьев на истлевших костях — это было бы, конечно, недопустимо и отвратительно. Он просто хотел вызвать для Феликса туманный, но знакомый образ — на него можно поглядеть, к нему можно обратиться, правда, дух не может отвечать, но все же это какое-то утешение.

А Феликсу казалось, что наш гаитянский метрдотель предлагает сделать из него сумасшедшего — кто же, кроме психа, будет радоваться встрече с духом покойницы?

И вот эти совершенно непохожие друг на друга человеческие существа, глубоко засунув руки в карманы, перекались, не слушая один другого, на смеси английского с креольским, а Кетчем, капитан Пефко и двое солдат на это смотрели.

В конце концов Ипполит Поль так разобиделся, что повернулся спиной к Феликсу и пошел прочь. Он шел в мою сторону, и я кивнул ему головой, чтобы подозвать его поближе, показать ему, что я разрешу это недоразумение, что я и его и Феликса прекрасно понимаю, и так далее.

Если он затаит обиду на Феликса, гранд-отель «Олофсон» пойдет прахом.

— Она же ничего не чувствует. Она ничего не знает,— сказал он мне по-креольски. Он хотел объяснить, что дух Селии не причинит ни малейшей обиды, или неловкости, или неудобства самой Селии, потому что она уже ничего не может почувствовать. Этот дух будет всего лишь безобидным привидением, напоминающим живую Селию.

— Я знаю. Я все понимаю,— сказал я. Я объяснил, что Феликс за последнее время очень много пережил и что Ипполит Поль сделает ошибку, если станет принимать слишком близко к сердцу то, что ему говорит Феликс.

Ипполит Поль нерешительно кивнул и вдруг повеселел. Он сказал, что на кладбище, наверное, есть еще кто-нибудь, кого я хотел бы снова повидать.

Разумеется, солдат, охранявший нас, ничего этого не понял.

— Ты славный малый,— сказал я по-креольски.— Ты очень великодушен, но мне ничего не нужно, мне и так хорошо.

Но старый метрдотель настроился сотворить чудо, хотим мы этого или нет. Он доказывал, что мы обязаны, ради прошлого и ради будущего, вызвать кого-то вроде полномочного представителя потустороннего мира, который будет веками бродить по этому городу, кто бы в нем ни жил после нас.

И я, только ради того, чтобы сохранить наш отель, сказал ему — пускай вызывает какого-нибудь духа, только из этой части кладбища, где у меня нет знакомых.

И он вызвал дух Вилла Фэйрчайлда. Этот шут гороховый был в огромных очках-консервах, в белом шелковом кашне и черном кожаном шлеме — словом, одет по всей форме, только парашюта не хватает.

Я вспомнил, что отец мне как-то сказал про него:

— Вилл Фэйрчайлд был бы жив до сих пор, если бы не позабыл надеть парашют.

Вот какой подарок приготовил Ипполит Поль де Милль всем, кто впоследствии поселится в Мидлэнд-Сити: неугомонный дух Вилла Фэйрчайлда.

А я, Руди Вальц — так сказать, Шекспир из Мидлэнд-Сити, единственный настоящий драматург, который когда-либо там жил и работал,— теперь преподношу эту легенду в дар будущим гражданам моего города.

Я придумал, как объяснить, почему дух Вилла Фэйрчайлда можно увидеть почти повсюду — и в пустующем Центре искусств, и в зале банка, и среди жалких «нужничков» Эвондейла, и среди роскошных особняков на Фэйрчайлдовских холмах, и на пустыре, где столько лет стояла городская библиотека.

Вилл Фэйрчайлд ищет повсюду свой парашют.

■

Хотите, я вам что-то скажу? Мы с вами все еще живем в глухом средневековье. У нас до сих пор тянется темное, глухое средневековье.

РАЙТ-КОВАЛЕВА РИТА ЯКОВЛЕВНА

Советская писательница, переводчик. В 20-е годы перевела на немецкий язык некоторые стихи и «Мистерию-буфф» Маяковского. В ее переводе издавались произведения М. Твена, У. Фолкнера, Дж. Голсуорси, Г. Бёля, Ф. Кафки Дж. Сэлинджера, Г. Грина, Дж. Пристли и др. Р. Райт — автор воспоминаний о Маяковском, Пастернаке, Ахматовой, книг «Роберт Бернс» и «Человек из Музея Человека», вышедшей в серии «ЖЗЛ».

КОВАЛЕВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик с английского. В ее переводе вышли «Тюремная исповедь» Оскара Уайльда, роман Ю. Уэлти «Дочь оптимиста» (совместно с Р. Райт-Ковалевой), повесть Дж. Сэлинджера «Зуи», рассказы К. Воннегута, Дж. Даррелла, А. Маршалла, А. Силлитоу и др.

Игры по-американски

Спасибо, Сэмюэл Коэн
и прочие гуманисты,
за вашу новую американскую
«игрушку» —
не ту, которой играют дети,
а ту, которая играет детьми
пока не останется ни одного ребенка...

Евгений Евтушенко. Мама и нейтронная бомба

По всем книгам Курта Воннегута проходит цепная реакция персонажей и ситуаций, форм и идей. Даже скрупулезное расщепление его прозы вряд ли позволит выделить чистые частицы повторяемости и писательской приверженности одной теме, веселого, беззаботного шутовства и горькой озабоченности опасностями, какими грозит человеку им же созданная технотронная цивилизация. Чего только не намешано в воннегутовских романах, все перемешано и доведено до точки кипения, хотя не всегда автору удается получить желанный художественный синтез.

Читатели «Иностранной литературы» расстались с Воннегутом в 1975 году. В конце напечатанного тогда романа «Завтрак для чемпионов» (1973) автор встречается со своими героями — полусвихнувшимся богатым фирмачом по продаже «понтиаков» Двейном Гувером и непризнанным провидцем, писателем-фантастом Килгором Траутом. Встреча произошла в Мидлэнд-Сити, штат Огайо, где по инициативе фирмы «Бэрритрон», занятой производством пластиковых бомб для ВВС США, намечался пышный фестиваль искусств.

Фестиваль не состоялся из-за безумных выходок Двейна. То ли под давлением вредных веществ, накопившихся в организме, то ли от чтения сочинений Траута тот вдруг вообразил, будто в мире механических болванчиков он один наделен свободой воли. Тогда писатель решил распроститься с Килгором Траутом, который верой и правдой служил ему долгие годы, и отпустил его на свободу. О дальнейшей судьбе Двейна ничего не сообщалось, зато «Завтрак» кончался большой рисованной надписью ETC.— «И так далее». Читалась она чуть иначе: «Продолжение следует».

Продолжение задержалось на девять лет. Они не были совсем уж бесплодными и пустыми для писателя, но и простыми тоже не были. К 200-летию США Воннегут написал роман «Балаган, или Больше я не одинок» (1976), потом выпустил «Тюремную птаху» (1979), а два года спустя собрал «автобиографический коллаж» «Вербное воскресенье» — статьи и выступления разных лет и по разным поводам.

«Балаган» создан по неписаным и произвольным правилам поэтики парадоксов — они как нельзя лучше отвечают игровой природе воннегутовского таланта. Автор отдается полету вольного воображения, безудержной гротесковой фантазии, погружается в стихию смеховой культуры, даже когда не до смеха. И вместе, словно намеренно сбивая читателя с толку, заявляет в лирико-исповедальном прологе: «Я никогда не напишу ничего более автобиографического».

Посмотришь с одной стороны — книга и впрямь «про заброшенные города, духовное людоедство, кровосмешение, про одиночество, безлюдье и смерть», как говорится в «Прологе». В «Балагане» изображается умирание Америки — расколотой, раздираемой междоусобными распрями, распадающейся на части.

Посмотришь с другой — и видишь, как посреди страшной антиутопии писатель строит прекраснодушную утопию. Столетний бывший президент США, прозябающий в руинах обезлюдевшего Манхэттена, изобретает средство против ужасной болезни — «одиночества по-американски». Стоит только выбрать себе второе имя по названию растения, животного или минерала, как тут же делаешься членом большой дружной семьи — бурундуков, или бокситов, или какой еще. Полное имя старика — Уилбер Нарцисс-II Свейн, он брат цветам и родственник всему живому и сущему. Он больше не одинок.

Вылазка Воннегута на территорию реалистического повествования в «Тюремной птахе», опирающегося отчасти даже на исторические факты, не дала значительного творческого результата. Да, пожалуй, и не могла дать в силу особенностей его дарования.

Радикал в 30-х годах, «лояльный» свидетель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, из-за которого в 1950-м осужден ни в чем не повинный человек, сам по ошибке упрятанный за решетку в 70-х, «осторожный приверженец капиталистической демократии» — таковы жизненные вехи и установки Уолтера Старбека, центрального персонажа романа.

Он не подлец и не герой, никогда не шел на сознательную низость, но и «не рисковал ради человечества ни жизнью, ни комфортом», по его собственным словам.

Старбек просто жил, как живется под диктовку чьих-то больших денег — жертва обстоятельств, пленник общества, «тюремная птаха» истории — и потому заслуживает прощения.

Повесть о Старбеке была бы совсем пресной проповедью милосердия, если бы Воннегут не добавил в нее щепотку выдумки, высмеивания, розыгрыша.

Под видом старой бездомной «леди с сумками» бродит по улицам Нью-Йорка хозяйка могущественной корпорации «Рамджак», второго по величине финансового конгломерата в «свободном мире», владеющего девятнадцатью процентами национальных богатств США. Таинственная миссис Грэхем — на самом деле бунтарка и бывшая соратница Старбека. После смерти миссис Грэхем корпорация, согласно ее

воле, должна перейти в руки ее законного владельца — американского народа. Но как только «Рамджак» стал «народным достоянием», его начали растаскивать по частям всякие уголовники, иностранцы, а также федеральное правительство, черпающее из него средства на выплату национального долга и ассигнования на производство «новейших видов вооружения». План переделки мира путем «мирной экономической революции», о которой мечтала Мэри Кэтлин О'Луни, провалился.

Проницательные рецензенты в Штатах так оценили язвительную фантазию Воннегута на темы общенародной собственности и свободного предпринимательства: «Смешное и горькое обличение старой доброй американской мечты о совершенной экономической системе».

Помимо всего прочего корпорация «Рамджак» контролировала «Нью-Йорк таймс», ведущую голливудскую компанию, сеть цирков Барнума и Бейли и... издательскую фирму «Делл» — ту самую, которая купила права на издание «Тюремной птахи» в мягкой обложке. На обороте титула нового, десятого, романа Воннегута тоже стоит знак охраны авторского права: © 1982, корпорация «Рамджак».

Воннегутовские игры начались до того, как начался роман.

(Игры — играми, однако в реальной практике фирма «Делл» хорошо поторговалась, прежде чем разрешила «Иностранной литературе» публиковать роман.)

Иронично и практически непередаваемо на другой язык его название — «Deadeye Dick». Переводчики выбрали ближайшее и свое — «Малый Не Промах». Так прозвали героя, и прозвище это «двусмысленное, вроде двоякодышащей рыбы». Оно означает умение метко стрелять, попасть в яблочко, а также пробивную способность, ловкость, везение. Руди Вальц умел стрелять, но не хотел; хотел покоя и счастья, но робел и ему не везло.

Жизнь сыграла с ним злую шутку.

Дальше — опять-таки знакомые приемы, знакомая манера. Трехстраничное предисловие, составленное из коротких разнородных высказываний и подписанное, натурально,— «К. В.». Объяснения, которые мало что объясняют, скорее наоборот — за исключением разве что некоторых очевидных вещей вроде: «Мне скоро стукнет шестьдесят». Вспоминается, что в предисловии к «Завтраку для чемпионов» автор тоже писал: «Эта книга — мой подарок самому себе к пятидесятилетию».

И вдруг тут же, в прологе к роману, привычные воннегутовские шутки прорезáет первый тревожный сигнал: «В книге описан взрыв нейтронной бомбы в густонаселенном районе...»

Центр этого густонаселенного района — тот же Мидлэнд-Сити, который фигурировал в «Завтраке». И в нем живет кое-кто из знакомых нам по старому роману персонажей: торговец автомобилями Двейн Гувер или, например, Фред Бэрри, военнопромышленник и меценат. Килгора Траута нет и в помине. Зато появились новые лица, и прежде всего семья Вальцев — «потомки твердолобых, лишенных воображения, неотесанных немцев». На ней завязаны главные узлы сюжета.

Два происшествия случаются в Мидлэнд-Сити. Отделенные большим промежутком времени, несопоставимые по масштабам и последствиям, они, однако, как бы даже соединены между собой странным, капризным сцеплением романных обстоятельств и — сверхзадачей автора.

Первое произошло во время войны. В то второе воскресенье мая 1944-го дом Вальцев посетила Элеонора Рузвельт, совершавшая перед очередными президентскими выборами поездку по стране. Она говорила о том, каким распрекрасным будет мир после скорой победы над Гитлером. (И верно, меньше чем через месяц союзники соберутся наконец-то с силами и духом и осуществят операцию «Оверлорд», открывшую Второй фронт.)

После отъезда первой леди двенадцатилетний Руди Вальц забрался на чердак со «спрингфилдом» из отцовской коллекции огнестрельного оружия и от нечего делать, играючи, нажал на спусковой крючок. Пуля пролетела несколько кварталов, попала в окно дома Джорджа Метцгера, сотрудника местной газеты «Горнист-обозреватель», и убила его жену. Элоиза была беременна. Погиб и ее неродившийся ребенок, закрылся еще один, не успевший раскрыться, смотровой глазок. В стране праздновали День матери.

«Раз я ни во что не целился, значит, я ни во что и не попал»,— напрасно пытается убедить себя Руди. Он рос и жил с непроходящим ощущением вины. И оно, пожалуй, было пострашней людской молвы и суда людского. Сразу же после случившегося его заперли в клетку и выставили на всеобщее обозрение как «воплощение зла», пока не сообразили, что по возрасту его можно и отпустить.

Второе происшествие случилось, считай, в наши дни, в начале 80-х. Взрыв нейтронного устройства положил конец истории Мидлэнд-Сити — он просто перестал существовать. То есть город-то стоял целехонький, но вот стотысячное население его в одночасье уничтожилось лучевым извержением.

Самому Руди повезло, он был в отъезде и уцелел.

Официальная версия катастрофы гласила: военный грузовик перевозил бомбу, взрыв — несчастный случай. Так ли, иначе — спасательные команды устроили братскую могилу, застлали ее бетоном, получилась замечательная автостоянка для зевак, хлынувших поглазеть на мертвый, обнесенный колючей проволокой город, где сразу «воцарился порядок, чего раньше очень не хватало». Сам президент США назвал инцидент «удачнейшим обстоятельством», поскольку возникла идея заселить каменный, сохранивший все удобства и блага цивилизации город беженцами из Гаити. Никаких дополнительных расходов и возни.

В иронично-насмешливом или печально-скептическом голосе Воннегута раньше редко слышалось: как это случилось? почему? кто виноват? Ему привычнее было переиначивать понятия и пускать все шиворот-навыворот. Даже в романе «Колыбель для кошки» (1963) фонтанирующая фантазия и огульное острословие заглушали вопросы, какими всегда задается большая реалистическая проза, хотя речь там шла ни много ни мало о создании атомной бомбы. Громче всего эти вопросы зазвучали у Воннегута именно сейчас, и понятно почему. Лет восемь—десять назад в США и повсюду в мире поднялась волна общественного возмущения работами над созданием оружия повышенной радиации — нейтронной бомбы, а Р. Рейган говорил: «Это оружие можно сравнить с лучом смерти из научной фантастики, о котором раньше только мечтали».

Литература быстро откликнулась на разработку нового средства массового поражения и возросшую угрозу всемирной катастрофы. В апреле 1978 года, как раз в те дни, когда президент Картер должен был принять решение — начать или отложить производство нейтронного оружия, Гор Видал выпустил эсхатологический роман-памфлет, роман-предупреждение «Калки». Почти одновременно с «Малым Не Промах» появилась послеатомная робинзонада интеллектуала Кэлвина Кона, единственного, кто чудом спасся после того, как противоборствующие стороны уничтожили друг друга — впрочем, путаная притча, сочиненная Бернардом Маламудом, ныне уже покойным, предлагала только один выход: жить среди человекообразных обезьян, уповая лишь на «милость божью» (так называется роман).

Итак, призвав на помощь своего героя, Воннегут пускается на поиски причин обоих происшествий. Не стихийные же это бедствия, не капризы климата и погодных условий, какой была жестокая снежная буря, пронесшаяся над Мидлэнд-Сити в 60-м. После нее, простудившись, умер старший Вальц и пострадали другие обитатели города. И выстрел и взрыв — только итог, результат, конец, а у всякого конца должно быть начало.

Нелегко дойти до начал теперешнему, пятидесятилетнему Руди Вальцу, скромному фармацевту, незадачливому драматургу, одинокому и далеко не счастливому человеку. Его сбивчивый, неуверенный рассказ, перескакивающий во времени и с предмета на предмет, разворачивает свиток трагических событий — загадочных, непонятных, несуразных, изобилующих неожиданными совпадениями и диким стечением обстоятельств. Возникает немыслимая череда несчастий, от которых почти что невозможно уберечься. И такая длинная и запутанная вереница виноватых, что вроде как и не разобраться, кто чья жертва. Персонажи поворачиваются то хорошей стороной, то отвратительной, то страдают сами, то причиняют страдания другим. «Колесики цепляются за колесики», крутятся «шестеренки судьбы», вертится, наглотавшись всяческих наркотических снадобий, наша планета, которая «рано или поздно... все равно взорвется».

Говорят, что чистюля енот полощет в воде добытый им кусок сахара, пока тот не растает. Кажется, что и у Воннегута вот-вот «растает» тема в усердном полоскании случайностей и совпадений, истоков, связей и следствий. Конкретная вина за то, что произошло там-то и тогда-то, перекладывается на одного, другого, третьего, рассеивается в пространстве — но затем лишь, чтобы вызвать у нас, читателей, встречную реакцию — чувство ответственности за наши прошлые и будущие поступки, и за чужие тоже. «Преступление, которое он (Руди Вальц.— Г. З.) совершил в детстве,— символ всех моих прегрешений»,— говорит писатель в предисловии. Это уже не игра, а нравственная и философская позиция художника-гуманиста, озабоченного бездумностью, безумностью, «беспечной бесчеловечностью человека к человеку». Ненаигранный пессимизм тоже обладает огромным положительным зарядом.

Путешествуя памятью по прошлому, Руди Вальц не спешит судить, потому что несет тяжелый груз вины за свою мальчишескую выходку. Он — «нейтро».

Наименование вроде непривычное, а в то же время многое слышится в нем и русскому, и всякому другому уху. Идет слово от латинского neuter, что первоначально значило «ни тот ни другой», «ни то ни се». Идучи оттуда, слово постепенно обрастало новыми и новыми слоями смысла. Воннегут виртуозно выжимает из самопрозвания героя почти что все возможные значения, тасует их, раскладывает и опять собирает. Однако ж по краям этого разномастного смыслового веера располагаются два основных и конфликтующих: спокойное, наивно-невинное понятие «нейтральный», «нейтралитет» и название элементарной, но грозной частицы — «нейтрон», с помощью которой разбомбили и расщепили атомное ядро, а отсюда вытягивается и зловещее — нейтронное оружие, нейтронная бомба.

Нейтрон был открыт в Англии в 1932 году. Тогда же в Америке открылся смотровой глазок Руди Вальца. Тогда же в Германии те, кому это было выгодно, усиленно подсаживали Гитлера в кресло рейхсканцлера.

А за четверть века до этого Отто Вальц, мнящий себя живописцем, спас в Вене от голодной смерти некоего собрата по профессии. Он не знал, какие художества сотворит потом Гитлер. «Слишком уж много самых чудовищных ошибок можно совершить, пока живешь на свете»,— печально думает Руди о своем отце, который исковерканной судьбой сына и своей собственной всю жизнь расплачивался и за приверженность нацистскому «новому порядку», и за то, что обучил Руди обращаться с оружием, и за многое другое.

«Нейтральные» интонации рассказчика сменяются настороженными всякий раз, когда речь заходит о катастрофе, постигшей Мидлэнд-Сити. Уже где-то посередине

рассказа у Вальца вспыхивает догадка: «А вдруг взрыв нейтронной бомбы — не такая уж случайность?»

Чем дальше, тем тверже складывается у него из множества предположений убежденность: американские военные сами провели испытание нейтронной бомбы, взорвали одну на пробу в малом городишке, до чьих жителей никому дела не было. Выступила с протестом организация «Фермеры юго-западного Огайо — за ядерную безопасность», распространяя «поджигательские» слухи, будто Соединенными Штатами правит кучка политиканов, наживающихся на насилии.

Не исключено, что предложение использовать Мидлэнд-Сити в качестве идеального полигона для испытания новой нейтронной игрушки поступило от владельца «Бэрритрона» («Боевые системы»). Иные дельцы из города вели игры «в мировом масштабе» — вскользь, но красноречиво говорится в романе. Зато Фред Бэрри был хорошим сыном: в память о покойной матушке он построил сверхсовременный Центр искусств и подарил его родному городу.

Мама у Руди Вальца тоже умерла еще до нейтронного взрыва от раковой опухоли. Исследования показали, что опухоль развилась под влиянием радиоактивного облучения, источник которого — цементная каминная доска у Вальцев. Дом строили братья Маритимо, бывшие иммигранты, которых когда-то пригрел отец Руди,— к войне они заделались крупными строительными подрядчиками. Цемент был завезен из Ок-Риджа, что в штате Теннесси, где правительство продавало отходы уранового производства.

Когда в Мидлэнд-Сити малолетний Вальц нечаянно убил беременную женщину, там, в Ок-Ридже, и в Лос-Аламосе, штат Калифорния, и в Чикаго, и бог весть где еще вполне взрослые и рассудительные дяди вовсю трудились над созданием атомных бомб. Через пятнадцать месяцев ими будет уничтожено двести тысяч мужчин, женщин, детей. И никто не понесет за это наказания, никого не запрут в клетку и не назовут «воплощением зла», потому что таким образом Америка «всерьез» собиралась «стоять на страже мира и справедливости».

Совсем недавно Руди Вальц формулировал для себя символ веры настоящего «нейтро»: никого не любить, никому не верить, ни во что не вмешиваться. К концу рассказа частицы «не» сами по себе отпадают. В хаотическом сцеплении событий он различил чудовищную закономерность и докопался до причины причин: его страна первой создала и применила ядерное оружие.

Не будь Хиросимы и Нагасаки, не было бы и нейтронного взрыва в Мидлэнд-Сити.

Такого населенного пункта нет в Огайо. Но название его говорит, и говорит о многом — «город, стоящий посреди земли». Географические карты и справочники свидетельствуют: Мидлэнды есть в Мичигане, Техасе, Канаде, целая область Мидлэнд есть в Англии. Здравый смысл подсказывает: они есть всюду. Каждый город и каждое самое малое селеньице стоят посреди земли, потому что — поди узнай, где она, эта середина. В каждом живут и хотят жить люди. И «каждая жизнь по-своему значительна, и каждая смерть может потрясти и заставить понять что-то необычайно важное». И не имеет значения, одна это смерть, или сто тысяч смертей, или двести.

Воннегут написал игровой роман, предупреждающий о серьезной, чудовищной опасности игрищ с оружием, прежде всего с оружием массового уничтожения. Как бы ни раздваивались, растраивались, местами р а с с т р а и в а л и с ь иные образы, положения и понятия в книге, конечный вывод и призыв автора однозначен: РАЗОРУЖАЙТЕСЬ. Эту истину понял провинциальный журналист Метцгер еще в доатомную эпоху. Ее никак не хочет понять кое-кто в Вашингтоне и сейчас.

(Если кому-то не нравится разоружение, у Воннегута есть план вооружения. Он выдвинул его на токийской сессии ПЕН-клуба в мае 1984 года: давайте начиним боеголовки безобидными детскими игрушками.)

Хорошо помню разговор с Куртом Воннегутом полтора года назад у него дома в Нью-Йорке на 48-й улице. Речь зашла о его немецких «корнях», но «интересы мои как писателя — общечеловеческие»,— тут же добавил он.

Отвратить третью мировую, всемирно-катастрофическую войну — это и есть общечеловеческий интерес.

Романы кончаются, а жизнь идет дальше. Организация Объединенных Наций объявила 1986 год Международным годом мира. Советский Союз выдвинул целую программу поэтапного разоружения. В Неваде, несмотря на Женеву, грохочут ядерные испытательные взрывы. «Иностранная литература» печатает «Малого Не Промах» Курта Воннегута. Писатель тем временем выпустил новый роман — «Галапагос».

Жизнь продолжается. Так оно и должно быть.

Г. ЗЛОБИН

РАДОВАН ЗОГОВИЧ

Стихи из последней книги

С сербскохорватского

В январе этого года скончался Радован Зогович, один из видных поэтов Югославии. В Советском Союзе имя Зоговича стало известно читателям в послевоенные годы. Его переводчиками были Тихонов, Асеев, Кирсанов, Мартынов, затем Самойлов, Слуцкий, другие известные поэты. Поэзия Зоговича, неожиданная по образам и ритмам, поэзия высокого трагизма и жизнеутверждения, благодаря этим переводам стала хорошо известна в нашей стране. Она была созвучна времени. Она пришла к нам с полей войны, в которой бойцы югославской Народно-освободительной армии сражались за те же цели, что и солдаты Красной Армии.

Зогович родился в 1907 году в бедной крестьянской семье, в Черногории. Его путь — и человека и художника — в условиях королевской Югославии, страны полуфашистской диктатуры, шел через сопротивление гнету, через подпольную борьбу, аресты, тюрьмы, туберкулезные лечебницы. Неповторимая интонация его стиха рождалась из сочетания страстного свободолюбия и железной самодисциплины. 30-е годы дали ключевое понятие для его поэтического мира — стойкость, ключевой образ — плодоносящее дерево, упрямо растущее на каменистом обрыве, над пропастью, вопреки непогоде.

Образность поэзии Зоговича идет, как правило, от природы, от реалий крестьянского быта и крестьянского опыта; в то же время она высокоинтеллектуальна и существует в контексте мировой культуры; это и политическая поэзия в самом непосредственном смысле слова.

Поэзия Зоговича не любит громких слов. Ей ближе мысль о героизме повседневного, упорного труда, в котором рождаются великие завоевания,— это одна из сквозных идей всего его творчества. В стихах, посвященных Советскому Союзу, она воплощается в смелых, очень личных образах. В стихотворении «Землечерпалка над Волгой», родившемся под впечатлением поездки в Советский Союз в 1968 году, поэт уподобляется машине, которая, добывая песок для новых строек, очищает великую реку от грязи и камней. Связь с Маяковским здесь несомненна и сознательно обнажена.

Три «вечных спутника» сопровождали Зоговича на всем протяжении его творчества — великий черногорский поэт и реформатор Негош, всегда бывший для него твердой точкой опоры в национальном прошлом; Данте, создатель «Божественной комедии», поэт и политик, чей страстный темперамент обличителя зла неизменно привлекал к себе Зоговича; Маяковский, поэт Октябрьской революции и социалистических строек, гениальный лирик, кумир всех его лет.

Журнал «Иностранная литература» не раз печатал поэзию Зоговича, Зогович выступал также на страницах журнала как публицист и критик. В этом номере публикуются стихотворения из его последней поэтической книги, которая вышла в самом конце прошлого года. Много лет он был тяжело, мучительно и безнадежно болен. Книга полна страсти и веры, упрямого утверждения жизни. Название ее перевести в полноте ассоциаций, на которые рассчитывал автор, к сожалению, невоз-

---

РАДОВАН ЗОГОВИЧ — РАДОВАН ЗАГОВИЋ (1907—1986)

Югославский писатель — поэт, прозаик, публицист, критик, переводчик, историк литературы. Начал печататься в конце 20-х годов. Первые книги — «Кулак» («Песница», 1936) и «Огненные голуби» («Plameni golubovi», 1939) были конфискованы полицией. После войны было издано более десяти его книг, в том числе сборники стихов «Упрямые строфы» («Пркосне строфе», 1947), «Артикулированное слово» («Артикилисана ријеч», 1965), «Личное, только личное» («Лично, савсим лично», 1971), «Княжеская канцелярия» («Књажеска канцеларија», 1976) и др.

В русском переводе вышла книга стихов «Упрямые строфы», стихотворения Зоговича неоднократно печатались в журнале «Иностранная литература» и других периодических изданиях, а также в антологиях.

Публикуемые стихи взяты из книги «Жар на завтра» («Супрет за сјутра». Београд, «Просвета», 1985).

можно. «Супрет» — это специфически черногорское слово, обозначающее раскаленные угли, засыпанные золой, под которой они хранятся ночью, чтобы утром можно было снова разжечь домашний очаг. Этот поэтически сильный, народный образ-символ, говорящий о преемственности поколений, о передаче в будущее огня поэзии и огня революции,— истинно зоговичевский образ, завещание поэта.

ПАВЕЛ ТОПЕР

Землечерпалка над Волгой

Да, вот я чем хотел бы быть, всем сердцем, всей душою —
землечерпалкой, что в реке берет песок со дна!
Вознесшаяся над землей и над речной водою,
она готовится на дно. Мне цель ее ясна.

И вот она уже на дне и ковш песка достала
глубинного. Несет его. И берег пожелтел.
Неторопливо, широко, в грязи почти по пояс,
суставы у нее болят, как у меня — прострел.
То дернется, то вздрогнет вдруг, дрожь, видно, пробирает.
Остановилась. Будто бы колеблется в раздумье.
Глядит на облако — оно от солнца золотое,
вздохнула громко... и легко, без скрипа, без надсады,
вдруг кинула черпак на дно... Всем сердцем, всей душою
я быть хотел бы как она.
И большего не надо.

Хотел бы, чтоб у строф моих такие зубья были,
восьмирифмованная горсть для ила и песка,
чтоб, захватив со дна реки, всю нечисть выносили,
чтобы от грязи и камней очистилась река.
И чтоб промытого песка вокруг стояли горы
для новых строек, для плотин, больниц, заводов, школ,
и чтобы раковины в нем блестели, теша взоры
(ведь от лучей, достигших дна, в них солнца ореол),
чтобы, скользнув меж зубьев-рифм, блеснули струи-сабли,
чтобы сверкала в вышине могучая стрела,
чтоб, скатываясь сквозь лучи, катились строфы-капли,
чтоб зубья-рифмы, что со дна машина принесла,
стремились бы одна к другой, сцепляясь в цепи строк,
все крепче, ибо только так появится песок
и будут раковины в нем, и блеск их как награда...

Вот все, чего бы я желал.
И большего не надо.

Перевод М. ПАВЛОВОЙ

Луг и косари

Луг косарей ожидает. Соками травы исходят,
страстный призыв «придите!» — в зреющих красок цветенье.
Песней своей полночной — чтобы пришли на восходе,—
снова сверчки зовут их, полные нетерпенья.

Луг косарей ожидает. Чтобы рассвет в июле
полон был звоном металла, речью людской живою.
Травы из свежей ночи росу к себе притянули,
чтобы косарь усталый косу обтер травою.

Ждут косарей ромашки. Раз все равно пропали,
лучше в стогах истлеть им, в стойком их аромате.
Ночью луна, просыпав светлую пыль эмали,
медленно в стог вползает, чтоб до зари поспать ей.

Луг ожидает. Ночью кажется серебристым
пенье сверчков торжественное в лунных молочных травах.
Чтобы на этой шири, выровненной и чистой,
словно гумно,— под осень снова взошла отава.

Этой надеждой стойкой и ожиданием этим
борются травы с проказой, что изъедает стебли:
не захотели травы, чтобы свалил их ветер,
и погибать, чернея, тоже не захотели.

Брошенные сенокосы, встреченные не однажды,
кому они могут нравиться — в черном и рыжем дыме?
Сквозь них не ползут и змеи, к ручью гонимые жаждой.
Высохшие колокольчики тревогу звонят над ними.

Хранит свою яркую скатерть луг из последней силы,
сверчки косарей «на помощь!» — зовут уже не впервые.
Но в роли ночного сторожа дремлет косарь уныло,
стоит на охоте в облаве за скудные чаевые.

Луг косарей ожидает. Чтобы, как сеятель горстью,
косарь размахнулся косою, другим послужив примером.
Но только косарь давно уж косу и брусок забросил:
по учреждениям пыльным слоняется он курьером.

Перевод А. НАЛЬ

Старик и море

Бей, разбивайся! Чтоб жить и остаться живым,
бей, разбивайся об эту скалистую стену!
Как бы иначе под пологом серым, сырым,
серое, взбило бы ты эту пышную пену?

Как бы иначе добралось до каменных круч
и пропитало бы пену остатками света?
Стоит ли жить, если б не был твой вал так могуч,
в берег не била б вся масса глубинная эта?

Ты говоришь, что твой вал разбивает, гневлив,
все на пути отступленья и тянет? Пусть тянет!
Как же иначе оливу обнять, не расшив
пеною кружев рукав,— то вскипает, то вянет.

Что за барашки! Кому, кроме бури, дано
отшлифовать так янтарь: потрудись, попотей-ка!
Каждый заливчик свое примеряет руно,
камень мечтает надеть воротник от Ван Дейка!

Бей, разбивайся! Волна за волной, наугад.
Взбить эту пену с разбега лишь можно, с размаха.
В капельках солнца нуждаясь, коралловый клад
вытянет блеск свой из пенного пышного праха!

Перевод А. КУШНЕРА

Поэт[1]

Ну же, брюзги, что такое поэт? Задом вперед бегущие в грезах
о займах, что есть поэт? Поэт — это Данте.
Он призван затем, чтоб гнуснейшие папы в бесстыднейших позах
ввергались в адский огонь по его команде.

Чтоб лезущим к власти по лесенке тел королям, кардиналам,
баронам, вассалам приютом стал ад, по слову поэта.
Льстецы и растлители слов — чтоб были засосаны калом
до горла. Чтоб голову нес как фонарь, не дающий света,
в руках подстрекатель, приподнимая, чтоб лучше слышать, за пряди...
И так навеки — и в этом вся смелость, вся ярость Данте.
Равно как и в том, чтоб глядящие вдаль вольнодумцы не мучились
в аде.
Свидетели: Флорский Иоахим и Сигéр из Брабанта.

Свидетельствуйте же, свидетели! Вы были не только изъяты
из ада. Но он заставляет на небе могучего апологета
веры, соперника вашего, Фому Аквината,
воздать вам почет. Вот для чего, вот что такое слово поэта!

Данте и Фарината[2]

За верность Флоренции Данте, с ним яростью мерясь,
прощает в аду, путь в который тому был заране известен,
прощает ему непризнанье души, и безбожье, и ересь,
прощает ему... Потому-то и есть то, что есть он.

За нежность к Флоренции, явленную на поле брани,
пусть против своих — чтоб «гвельфов гнездо» было предано смерти,—
Данте гоненье на гвельфов прощает ему и изгнанье
рода всего своего. И сраженье при Монтаперти.

И не только прощает. Он мудр, он восхищается силой
Фаринаты, что огненной не сдается геенне,
но с поднятой ввысь головой стоит над могилой,
и взор его гордый на ад изливает презренье.

Гробница пылает. То жалит, то лижет огонь всесильный,
до пояса жжет — вряд ли похож этот запах на ладан!
Пламя и человек — и тень на плите могильной,
ибо, сам тень, тень отбрасывает назад он.

Данте дает Фаринате в аду, где спор неуместен,
сказать о своих, о скорбях гибеллинов, хотя уж там-то
надо покорным быть... Потому-то и есть он, и есть он —
Изгнанник, Поэт, Данте!

---

[1] Данте. Божественная комедия. Рай. Песни X — XIII. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь X. Фаринаты дельи Уберти (ум. в 1264 г.) — глава флорентийских гибеллинов. Близ замка Монтаперти в 1260 году его сторонники нанесли поражение гвельфам, к которым принадлежали предки Данте, как впоследствии и он сам; Фаринаты дельи Уберти не допустил разрушения Флоренции.

Круги, через которые прошел сам «Ад»

В самых дальних приходах папских обличили книгу поэта,
как только прочли и в гроб поэта забили гвозди.
И чтоб всех напугать, разгневанный кардинал дель Поджетто[1]
грянул: сжечь самое поэму и сочинителя кости.

Согбенный, изгнаньем обугленный, Флоренция, на чужбине,
на терцины разорванный: тошно скитальцу, тошно! —
поэт, записав последний сердца удар в терцине,
уснул, на книге челом, все завершив, как должно...

А вы: на костер — все строфы, все кости — чтобы сгорели;
еретический опус, поэт же с церковью в ссоре!
В веках не слабеет страх: костер пылает доселе...
Но не это — горчайшее. Есть и погорше горе.

Горе грядет. Не сойди с ума от замысла Ватикана:
поэму, живую, зашить в мешок «Индекса», навечно.
Удушить ее. Читателей преследовать все более рьяно.
Но и это не самое страшное. Приближается худшее нечто.

Вот оно, самое жуткое. Нечего хаять и славить:
«Комедии» нет. Молчание охраняется теми,
чьи тени главенствуют в клире. И тут ни отнять, ни прибавить...
Доколе же? О, доколе! Недвижно застрявшее время.

■ ■ ■

Танка

Старость! Смерть клеток,
и не расцвесть уж новым.
Жизнь отмирает —
нет писем, страстей. Редок
гость, охотник за словом.

Больше ветра[2]

Не проречем анафем,
в черные списки не вставим
ветер!

Захочет — и вырвет, в столетнюю вторгшись дубраву,
деревья, и землю усеет ворохом листьев,
но также и сучья пустые, набухшие влагой, отраву
тумана вводящие в ствол, обломает он, чащу очистив.

---

[1] Бертрандо дель Поджетто — кардинал, вскоре после смерти Данте потребовал сжечь «Божественную комедию» и прах ее автора.

[2] Перифраз предсмертных слов Гёте: «Больше света».

Повалит, взъярившись, хлеба́? Но не он ли, гуляя по нивам,
чтоб их опылить, и где нужно и вовремя дует?
Зеленые яблоки сбросит? Не он ли не даст и червивым
висеть? А здоровые кто, округляя, шлифует?

Кто ведает, кроме него, как из горной долины
на камень Дурмитора, в щель, было брошено семя,
которое в трепетных три превратилось озерных осины,
три Врубелем писанных бликами лиственных сени?

А как он врывается в город? Колотится, буен,
то в ставню, то в дверь. Забирается в самые недра...
Что стало бы с городом, время насквозь не продуй он?
Вот, задыхается Гёте от смрада. Больше ветра!

Чтоб воздухом мускулистым город наполнить щедро —
больше ветра!

Вариации ~ Гильденстерну

Не умеешь на флейте. На свирели. Даже на дудке. О ладе
рассуждаешь так, что от того зависит, как дунешь.
А хочешь на мне играть! На мне же выработать противоядье
от меня. Клавдий так хочет, вот ты и берешься, юнош.

На клапаны жмешь — но звука из моей не выходит глотки.
В паузы — сдерживаешь дыханье. Надуваешь щеки — чтоб в полный голос.
А решил, что познал мое сердце — токи, камеры, перегородки.
Ты хотел бы мысли мои пощипать, как струн конский волос.

Чтобы пел я, как флейта, хочешь, чтоб из всех зазвучал я скважин,
чтобы искренне, чтоб исчерпывающе, чтоб подробно,—
как ты, короля наушник, мужа снохи своей, скажешь.
К языку привязанную веревку дернешь — и все, удобно.

Скажешь — и я зазвучу: всеми струнами, из всех отверстий,
каждым клапаном сердца — охотно, ясно и в нужном тоне.
Зна́ком, ползнаком, пальцем, гримасой мою немоту отверзи
ты, в праве своем уверенный, дающий отчет лишь Короне.

Да так ли? На флейтах не мог сыграть — оказались крепки,
а ведь с женской талией, с женской душой. Может быть, видит
взор твой свирелью меня. Что ж, можешь разбить меня в щепки,
но вот поиграть на мне... думаю, что не выйдет.

Перевод А. НАЙМАНА

Не умирай прежде, чем умрешь

Цветами вся долина заросла за эту ночь!
И я остановился: было страшно видеть рай
и знать, что даже запах мне почувствовать невмочь.
О, прежде чем умрешь, не умирай. Не умирай!

Равнина заросла травой, в траве бежит ручей,
струится синей лентой — на зеленом — синий край.
Всего и только? Зелень в свете солнечных лучей?
О, прежде чем умрешь, не умирай. Не умирай!

Глубокий омут. Загляну. Со дна звезду сорвет.
Мерцает месяц, с ним в воде тяжелой поиграй.
Смотрю, смотрю во все глаза, а в сердце — холод, лед.
О, прежде чем умрешь, не умирай. Не умирай!

Вот к матери под крылышко цыпленок прибежал,
пушистыми комочками заполнился сарай.
А я? Растрогался ли я? Ладонь к груди прижал?
Нет, прежде чем умрешь, не умирай. Не умирай!

А в небе белоснежная громада городов,
Гляжу не нагляжусь, твори, фантазия, играй.
«Растет из стога стог» в небесной гуще облаков.
Нет, прежде чем умрешь, не умирай! Не умирай!

Перевод А. КУШНЕРА

■

ВАН МЭН

Рассказы

Перевод с китайского С. ТОРОПЦЕВА

Воздушный змей и лента

Белым по красному — «Да здравствует великая Китайская Народная Республика!», восклицательный знак тесно прижался к иероглифам, а рядом — ложки, вилки, ножи и прочая столовая утварь марки «Треугольник», тут же — рояли «Море звезд», чемоданы «Великая стена», свитера «Белоснежный лотос», карандаши «Золотая рыбка»... Нежно и почтительно ласкает их свет фонарей, и они сияют горделивым глянцем. Чахлый, бесприютный тополек полон достоинства, приятельски шушукаются два растрепанных кипариса, большой и маленький, накрывая точеными тенями зеленую весеннюю травку, поникшую под западным ветром. А между притихшим газоном и шикарным рекламным стендом на пронизывающем зимнем ветру стоит она — Фань Сусу. В теплом оранжевом жакете, серых шерстяных брючках со стрелками, в черных туфельках на низком каблуке. Вокруг шеи, точно пушок на груди у ласточки, белоснежный шарф, оттеняющий глаза и волосы, черные, как ночь.

— Давай встретимся там, у этих выскочек! — так сказала она Цзяюаню по телефону. «Выскочками» Фань Сусу называла рекламы — новых идолов, возникших повсюду словно из-под земли,— и смотрела на них с легкой завистью.

— Ну, гляди, гляди,— шутил Цзяюань.— Может, вернешься домой — а там рояль?

— А как же! Помнишь, все твердили великую цитату: «Если ты не съешь, так тебя съедят»? И смотри, сколько людей стали волками.

Прошло двадцать минут, а Цзяюаня все нет. Вечно он опаздывает. Вот дурашка, опять, что ли, в какую-нибудь историю вляпался? Как-то, еще в семьдесят пятом, катит зимним утром в библиотеку и у Саньванского кладбища видит — лежит на обочине дряхлая, плешивая старуха, стонет. Кто-то сбил и дал деру. Ну, он поднял бабку, узнал, где живет, проводил домой, бросив велосипед у дороги. А кончилось тем, что бабкина родня да соседи самого парня и обвинили. На все расспросы подслеповатая старуха упрямо твердила, что сшиб ее он. Старость ли попутала? Или подлая привычка видеть в каждом врага? И объяснить — он-де лишь помочь хо-

---

ВАН МЭН (род. в 1934 г.)

Китайский писатель. Печатается с 1955 г. В 1957—1977 гг. был отстранен от литературной деятельности. Возобновил литературную работу в конце 70-х годов. Лауреат нескольких всекитайских конкурсов. Автор романов «Да здравствует юность!» (1979), «Марионетки» (1986), сборников рассказов и повестей «Зимний дождь» (1983), «Серые зрачки» (1984), и др. В 1985 г. в КНР вышло его «Избранное» в 4-х томах, включившее помимо прозы 50—80-х гг публицистику и литературную критику.

На русском языке произведения Ван Мэна публиковались в «Иностранной литературе» (1981, № 11), сборниках «Люди и оборотни» (1982), «Современная китайская проза» (Библиотека журнала «ИЛ», 1984), «Средний возраст» (1985) и др.

Публикуемые рассказы взяты из сборников «Ван Мэн. Проза и публицистика» (Пекин, 1981), «Глубины озера» (Гуанчжоу, 1982), «Пурпурная шелковая кофта из деревянного сундучка» (Шанхай, 1984).

тел — не дали, какая-то тетка завизжала: «Ишь какой, из лэйфэнов[1], что ли?» Галдеж, гогот, хоть плачь. В то время как раз в ходу была теория, гласящая, что человек-де по природе своей порочен.

Никогда он не приходит вовремя, вечно чем-то занят. Очки не успевает протереть. А Сусу до знакомства с ним не обременяла себя заботами. Бывало, пуговица на куртке болтается на ниточке, а она и не подумает пришить. Городу же, ну, не считая бабушки, на нее наплевать. Выгнал ее Город, когда было ей всего шестнадцать. Впрочем, не то чтобы «выгнал». Гремели салюты, и фанфары призывали в целинные края. И были еще красные знамена, красные книжечки, красные повязки, красные сердца — море красного. Строился Алый Мир, в котором девятьсот миллионов сердец сольются в одно. Всех, от восьми до восьмидесяти,— в один загон, всем декламировать великие цитаты, всем: «Налево коли!», «Направо коли!», «Бей! Бей! Бей!». Об этом мире мечталось сильней, чем когда-то в детстве — о большом воздушном змее с колокольцами. Но каков он из себя, этот Алый Мир, Сусу так и не увидела, зато насмотрелась на мир зеленый: пастбища да посевы. И приветствовала этот мир. А он взял да и обернулся желтым: голая осень, грязь, жухлые листья. Ей захотелось домой. А потом, когда ребята один за другим стали возвращаться в Город, добиваясь этого больше неправдами, чем правдами, мир стал черным. Он оставил ей на память авитаминоз и слабое зрение.

Свою грезу об Алом Мире она похоронила в этой череде зеленых, желтых и черных миров. И пропал аппетит, испортился желудок, осунулось лицо. Не только красная — множество разноцветных грез было утрачено, отброшено, изгнано истошным ревом, а то и просто молча отнято у нее. Грезы белые: военный моряк в кителе, гребень волны, профессор у операционного стола. Белоснежка. Снежинки — сплошь шестигранники, а двух одинаковых нет! Или природа тоже — художник? Грезы голубые: небо, дно океана, свет звезды, сталь клинка, чемпионка по фехтованию, прыжок с парашютом, химическая лаборатория, реторты да спиртовки. И оранжевая греза — любовь... Где же Он? Высокий, статный, умный, с простодушной улыбкой на добром лице... В храме Тяньтан, где стены на любой звук откликаются многократным эхом, она взывала — я здесь!.

Папа с мамой обивали пороги, жали на все пружины, чтобы вернуть ее в Город. Даже отец в конце концов понял, что иного выхода нет. И вот крепость пала, Сусу вернулась в Город, некогда одаривший ее столькими грезами. Кончился чуждый и нелепый сон, и она постаралась забыть жизнь, в которой звалась «железной пастушкой». Слишком разительным был поворот.

Она вернулась, сильно увянув душой и немного окрепнув телом. Стала впитывать новые запахи. Копоть, чеснок, золотистый жареный лук. Пьяная икота, пар над котлами, тонкие, как бумага, ломтики бараньей грудинки. Сусу работала официанткой в мусульманской столовой, хоть и не была магометанкой. Неужели все это — цветы председателю Мао, приветствия, отличная, на сто баллов, учеба, шествия хунвэйбинов, слезы восторга, свист ремней, нескончаемые торжественные декламации «высочайших указаний», парадные «чрезвычайные сообщения», а потом грузовики, теплушки, скотный двор, морда бригадира...— неужели все это было лишь для того, чтобы сегодня разносить тарелки с жареными клецками? Как-то попалась ей на глаза старая фотография — она в первом классе. Шел пятьдесят девятый, Республике десять лет, ей семь, в косичках — два больших порхающих банта. Вместе с вожатой она взлетела на трибуну Тяньаньмэнь и вручила Председателю букет. А Председатель пожал ей руку. Это было первое в жизни малышки рукопожатие. Рука у председателя Мао — большая, полная, теплая, сильная. Кажется, он что-то сказал ей. Уже потом, дома, из памяти выплыло слово «дитя». За что выпало ей такое счастье? Счастье без края — ведь она «дитя» председателя Мао!

Но прошло время, и она взглянула на старую фотографию иными глазами. Да было ли все это? Как она изменилась! А когда в семьдесят пятом Сусу вернулась в Город, она не узнала председателя Мао. Бывало, стоит прямо, движения исполнены такой силы. А теперь в кинохронике с трудом переставляет ноги и долго не смыкает отвисшую челюсть. Смысл его указаний стало трудно постичь, но газеты да радио продолжают сотрясать ими мир. У нее защемило в груди, захотелось взгля-

[1] Лэй Фэн — солдат, после гибели в начале 60-х годов превращенный пропагандой в канонизированный образец «добродетельного поведения». *(Здесь и далее прим. перев.)*

нуть, какой же он на самом деле, сварить ему целебный суп из корешков. Когда болела бабушка, Сусу варила ей сладковатый, обжигающий, ароматный суп с белыми, гладкими, тонкими ломтиками. Старикам он возвращает силы. Нет, она не подумает изливать председателю Мао свои беды и обиды, не стоит тревожить старого человека. Если даже и навернется на глаза слезинка, она не позволит Председателю увидеть ее.

Увы, теперь это невозможно. Счастье отвернулось от нее. Осталось там, у семилетней. Зачем она вернулась в город? Ради мамы? Смешно. Ради бабушки? Нет, конечно. Все, твердят газеты, ради председателя Мао, а я даже посмотреть на него не могу. Вот тогда и перестала Сусу видеть сны и принялась ночами метаться, бормотать что-то, тяжко вздыхать, скрежетать зубами. «Проснись же, Сусу!» — тормошила мать. Она просыпалась, растерянно пыталась вспомнить, снилось ли ей что-нибудь, но от ночи оставались лишь холодный пот да болезненная ломота в теле.

А в тот день она стояла у обочины и смотрела, как этого дурашку Цзяюаня оговаривает старуха, которой он помог, смотрела, как наскакивают на него со всех сторон. Цзяюань был невысок, неказист, с простодушной улыбкой, которая отчего-то казалась ей давно знакомой. Потом пришел постовой. Мудрый, как царь Соломон.

— Найди двух свидетелей,— сказал он,— которые подтвердят, что это не ты сбил старушку. А то будем считать, что ты.

Может, он еще захочет доказательств, что ты не связан с советской разведкой? А не то — к стенке. Так подумала Сусу, вслух, разумеется, не проронив ни звука. Она ни при чем. Просто остановилась взглянуть, что за шум. Таких любопытных было навалом, денег за это не берут, а все-таки развлечение, не то что на сцене или экране. Там сплошь надоевшие «небеса» — то «штурмуем небосклон», то «штурмуем девятое небо», если не «одолеваем небеса», так «штурмуем облака».

Знакомая простодушная улыбка погасла, страдальчески расширились глаза:

— Зачем же вы так? Я же хотел как лучше!

У Сусу тошнота поднялась к горлу, закололо сердце. Пошатываясь, она пошла прочь. Только бы этот Соломон не остановил ее.

А вечером простачок объявился у них в столовой отведать жареных клецок. И опять улыбается. Попросил всего два ляна[1].

— И вам хватит? — вырвалось у Сусу, хотя обычно она с посетителями не разговаривала.

— Ну, для начала,— грустно сказал простачок. И согнутым пальцем стал поправлять очки, хотя те и не думали соскальзывать с переносицы.

«Ага, не хватает денег или карточек»,— сообразила Сусу, а потом брякнула:

— Не беда. Заказывайте, завтра принесете.

— А как же порядок?

— Я свои доложу, так что порядок не пострадает.

— Ну, спасибо. Тогда возьму побольше. А то пообедал плохо.

— Полтора цзиня осилите?

— Что вы! Шесть лянов.

— Ладно.— И она принесла еще четыре ляна. Увидев, что этот парень — знакомый официантки, повар подложил к клецкам еще черпачок наструганной баранины. Обжаренные в масле, клецки посверкивали, как золотые самородки. И своим сиянием еще больше красили улыбку парня. Сусу вдруг по-новому взглянула на клецки: что за чудесное, бесценное сокровище!

— Понимаете, заявили, будто я сбил человека, и забрали у меня все деньги и карточки.

— А вы не сбивали? Правда?

— Конечно.

— Так зачем же отдали? Я бы таким ни фэня[2] не дала!

— Да ведь нуждается старушка и в карточках, и в деньгах. И потом, нет у меня времени на споры.

Тут официантку позвали из дальнего угла.

— Иду! — отозвалась Сусу и отправилась туда, прихватив тряпку, чтобы вытереть стол.

---

[1] Мера веса (50 г) — одна десятая цзиня.

[2] Денежная единица, одна сотая юаня.

Вечером она собиралась рассказать бабушке про этого малахольного. Но у той опять прихватило сердце. Папа с мамой раздумывали, не отправить ли ее в больницу.

— Там такая вонища в приемном покое,— бросила Сусу,— нужно иметь железное здоровье, чтобы дух не испустить.

Как ты можешь, сердца у тебя нет, осудил ее быстрый взгляд отца. Она резко повернулась и ушла, забилась в маленькую каморку — свое убежище.

В эту ночь к ней вернулся давний сон. Воздушный змей — много лет назад он часто снился ей. Всякий раз по-новому. Но с шестьдесят шестого она не видела его ни разу — вот уже десять лет. А последние шесть лет вообще никаких снов не было. Высохшее русло наполняется водой, оживает заброшенная дорога, ушедшие сны возвращаются вновь. Не на зеленой траве, не на стадионе — с коня запускала она змея. Небо и земля необъятны, «Деревня, деревня — широкий простор»,— дружно декламируют дети. А змея-то запускает не она — тот парень, слопавший шесть лянов жареных клецок. Змей сляпан кое-как, позорище! В народе такие невзрачные прямоугольники зовут «напопниками» — действительно, они точно лоскутки, которыми утепляют сзади детские штанишки. Но змей все-таки взлетел — выше новой гостиницы «Восток», выше сосен на большой горе, выше сокола над полем, выше воздушных шаров с транспарантом «Да здравствует победа Великой Пролетарской Культурной Революции!». Летит! Летит над горами, над реками, над соснами, над колоннами хунвэйбинов, над стадами лошадей, над тарелками жареных клецок. Как здорово! И с этим «напопником» взлетела она сама, превратившись в длинную-длинную ленту, прикрепленную к змею.

Сон кончился, но небо еще было темным. Сусу зажгла фонарик, отыскала тот давний снимок счастья. Десятилетие Республики — она вручает цветы председателю Мао. Нет, все-таки она везучая! Напевая «Коммунары — цветы, обращенные к солнцу», укрепила пуговицу на пальто, давно уже болтавшуюся на ниточке. Привычно пожелала председателю Мао здоровья. Сварила бабушке целебный супчик. Совершенно фантастического действия: бабушка съест — и сразу полегчает. Тем временем рассвело, домашние и соседи стали подниматься. Сусу тщательно почистила зубы, фыркая, как паровоз. Умывалась так шумно, будто это Ночжа[1] бушует на море. Проглотила оставшиеся с вечера пампушки и немного соленых овощей, запив кипятком. Подумала: а в самом ли деле эта недавняя статья «Кипяток — лучший напиток» «нападает на три красных знамени», как писалось в газетах... И только тут окончательно спустилась со своего «напопника» в реальность, туго подпоясалась и пошла постукивать по полу каблучками, словно колотила молоточком по клиньям, собирая пятистворчатый чешский шкаф.

— Что такая веселая сегодня, Сусу? — спросил папа.

— Да хочу в начальники вылезти,— так ответила она.

Папа расцвел. В шесть лет Сусу была командиром группы в детском саду, и он восторженно рассказывал об этом всем встречным. В девять лет возглавила пионерский отряд, и папа упивался этим... Когда загудел паровоз, он вдруг заплакал, на его исказившееся лицо стало тяжело смотреть. Ребята в поезде все ревели. И только Сусу не пролила ни слезинки, видимо, в свое славное будущее она верила гораздо крепче, чем отец.

— Пришли?

— Здравствуйте!

— Что будете есть сегодня?

— Сначала с вами рассчитаюсь. Вот карточки на 6 лянов, вот деньги — 28 фэней.

— Не будьте занудой. Так что вам?

— Мне снова жареные клецки, 4 ляна.

— Опять то же самое? А у нас есть пельмени, семь штук на лян, всего 15 фэней. Пирожки — два на лян, 18 фэней. Лепешки в кунжутном масле с соевым творогом, за 30 фэней целых 4 ляна.

— Все равно, только побыстрей.

— Подождите, там кто-то вошел... Так я подам вам пирожки, ладно? Тоже 6 лянов. Куда вы так спешите? Уже несу. Вы студент?

— Разве меня можно принять за студента?

---

[1] Святой буддийского пантеона, герой многих произведений классической литературы.

— Тогда инженер, музыкант, а может, начальник какой — выдвиженец?

— Неужто похож?

— Ну, тогда...

— Не гадайте, я пока не работаю.

— Минуточку, еще кто-то вошел... Чем же вы заняты, если не работаете?

— Безработные — тоже люди, тоже живут, дышат весной, и у них тоже есть свои дела.

— И какие же у вас дела?

— Книги читаю.

— Читаете? Что же?

— «Оптимизация». «Палеонтология». Учу иностранные языки.

— Готовитесь к экзаменам?

— Разве в нынешних вузах есть экзамены? А сдавать пустые экзаменационные листы, как этот Чжан Тешэн[1],— не для меня.

— Жаль, что эксперимент Чжан Тешэна не привился.

— В жизни надо хоть чему-то научиться, хоть чему-то, что имеет смысл. Мы еще молоды. Не так ли?

Он дожевал пирожок и торопливо удалился, оставив ее в недоумении.

На следующий день Цзяюань явился в тот же самый час и ел на этот раз соевый творог. По сероватой поверхности были прихотливо разбросаны зеленый лучок, землистого цвета кунжутная кашица и алый перец. И отчего это почтенным мужам, отечественным и зарубежным, известно имя императора Цинь Шихуана,[2] а кто тот гений, что изобрел соевый творог, они не ведают?

— Вы обманываете меня.

— Что вы!

— Сказали, будто не работаете.

— Так оно и есть. Три месяца как вырвался с «перевоспитания» в Великой северной пустыне. Но со следующего месяца начну работать.

— В каком-нибудь научном учреждении?

— На уличном пункте бытового обслуживания. Учеником. Моя задача — научиться ремонтировать зонтики.

— Какой ужас!

— Вовсе нет. У вас есть сломанный зонт? Тащите ко мне.

— Но ваша оптимизация? А палеонтология, иностранные языки и что-нибудь еще, наверное...

— Буду продолжать.

— Ремонтировать зонтики методом оптимизации? Сооружать их из костей динозавра?

— Э, оптимизация подойдет и для зонтиков. Не в этом суть, вот послушайте... Если можно, еще порцию творога, только перца поменьше, а то у меня уже испарина на лбу. Спасибо... Так вот, профессия — это средство к существованию и элементарный долг перед обществом. Но это еще не все и не навсегда, профессия — это еще не весь человек. Чтобы тебе подчинился целый мир, нужно овладевать знаниями. Мы с вами оба ремонтируем зонтики и получаем по восемнадцать юаней, но вы знаете о динозавре, а я не знаю, и потому вы гораздо сильнее, лучше, богаче меня. Так?

— Не понимаю.

— Нет, понимаете, вы все понимаете. Иначе зачем бы вам со мной разговаривать? Э, вон там какой-то шаньдунец буянит, камушек ему, видите ли, в арахисе попался, десну поцарапал. Ну ладно, до свидания.

— До свидания. До завтра.

От этого «завтра» у Сусу запылало лицо. «Завтра» — это лента, привязанная к «напопнику» — жалкой забаве бедной девчушки,— такому простому, примитивному и все же свободному и беспечальному. Завтра... Тучки и грезы, шелест бамбука, пение струны, осенние листья и весенние лепестки.

---

[1] Один из «образцовых героев» «культурной революции», не сумевший сдать экзамен, но зачисленный в институт как активист политических движений.

[2] Цинь Шихуан (259—210 гг. до н. э.) — император династии Цинь, при его правлении жгли книги, казнили ученых, а также было начато строительство Великой китайской стены.

Завтра он не пришел. И на следующее «завтра» — тоже. Пропал ее жеребенок. Высматривая его, Сусу, бедная лошадушка, заблудилась и долго ржала, металась по склону между деревьями. Будто разом потеряла и вид на жительство, и все продовольственные карточки.

— Ой, это вы! Наконец пришли!

— Бабушка умерла.

Сусу как в прорубь окунули, она долго стояла, привалившись к стене, пока не сообразила, что речь идет не о ее бабушке, а о бабушке этого очкастого чудака. И все-таки было больно, била дрожь.

— Жизнь коротка. Потому и нет для нас ничего дороже времени.

— А мое драгоценное время,— грустно улыбнулась она, уже заслышав вдали цокот копыт своего жеребенка,— уходит на тарелки.

— Спасибо вам за эти тарелки, они многим нужны. И потом не одни же тарелки у вас.

— А что еще? Сама я никому не нужна — только мои тарелки. Да и к ним меня пристроить родителям стоило немалого труда.

— Увы, всюду одно и то же,— понимающе улыбнулся он.— А займитесь-ка арабским языком, у вас же тут заведение мусульманское.

— Ну и что что мусульманское? Не явится же сюда египетский посол отведать жареных клецок.

— А вам не приходило в голову, что когда-нибудь вы сами поедете послом в Египет?

— Вот шутник,— как больно лягнул ее жеребенок.— Разве только во сне!

— Так смотрите побольше снов, смейтесь, шутите, что в том дурного? Без этого жизнь тускнеет. И потом, верьте в себя, в то, что по уму, характеру, способностям вы можете быть не только послом в Египте, но и чем-то большим. Главное — учитесь.

— Ух, как в вас заговорил честолюбец.

— Э, нет, просто аадам.

— Что?

— Аадам.

— Что еще за аадам?

— Человек! Это я научил вас первому арабскому слову. Слову прекраснейшему. Его еще пишут иначе: «Адам» — тот самый, из Эдема. А Ева — это «небо», его произносят «хава». Человеку необходимо небо, небу необходим человек.

— Так вот почему в детстве мы запускаем воздушных змеев.

— О, вы схватываете на лету.

Урок первый: человек. Адаму нужна Ева, Еве — Адам. Человеку — небо, небу — человек. Нам нужны воздушные змеи и воздушные шарики, самолеты и ракеты, космические аппараты. Вот так она стала заниматься арабским — к ужасу бдительных сограждан. Тебе не положено отвлекаться от тарелок. Поддаваться всяким веяниям. А нет ли у тебя связей с заграницей? Смотри, примутся опять выискивать политические «странности» — «странных людей, странные занятия, странные явления» — и в новой чистке заведут на тебя дело. Послушайте, я же не разбила ни одной тарелки. В начальницы не лезу. Да, про Магомета, Садата и Арафата знаю. Так что основания для «особого дела» есть. Но если следственную группу возглавишь ты, я буду счастлива.

Вот тогда-то у них все и «сладилось». Папе тут же донесли. От всевидящего ока девушкам никуда не скрыться.

Как зовут, фамилию не менял? Социальное происхождение, кем служит? Чем занимался до аграрной реформы? А после? Биография, начиная с трехмесячного возраста? Политическое лицо? Нет ли среди членов семьи или близких родственников помещиков, кулаков или иных чуждых элементов, не находился ли кто-нибудь под следствием, в заключении, не был ли приговорен к казни? Ярлык вешали? Сняли? Когда? Как проявил себя в политических движениях? Доходы, расходы, сбережения означенного гражданина и основных членов его семьи...

Ни на один из этих вопросов Сусу не имела ответа. Мать — в слезы. Тебе всего лишь двадцать четыре года и семь месяцев, а до двадцати пяти ты же знаешь — ни-ни. Всюду есть негодяи. И папа решил пойти по инстанциям — выяснить, где парень живет, работает. В отделение милиции, отдел кадров. По этому поводу надо

будет кое-кого со связями пригласить на обед с баранинкой шуаньянжоу. Трах — папин любимый чайник исинской керамики грохнулся на пол и разлетелся вдребезги.

— Так разыскивают контрреволюционера, а не друга! — зазвенел сталью голос Сусу, после чего она расплакалась.

А потом и управляющий столовой, и члены ревкома, и сотрудники, и начальник группы, и политрук — все приставали к ней с такими же «отеческими» расспросами и «материнскими» увещеваниями. Пролетарская-де любовь рождается из единства убеждений, взглядов, политического сознания. Путем длительного, тщательного взаимного узнавания. Будь серьезной, осмотрительной, требовательной. Как натянутая струна. И бдительной к козням врага. Есть пять критериев пролетарской революционной смены — вот по ним и выбирай себе мужа... Так и грохнула бы об пол столовским чайником. Но к общественной собственности Сусу еще с пионерского возраста относилась с уважением.

Председатель Мао покинул этот мир. Сусу затрепетала, ее душили рыданья. На слезы тянуло давно, так что теперь, плача по Председателю, она оплакивала и себя, и весь мир. «Китаю конец!» — сказал папа, но конец пришел «банде четырех». Сусу скорбно склонила голову перед саркофагом. Такой была ее вторая встреча с председателем Мао.

— Я принесла вам цветы,— успокаиваясь, чуть слышно шепнула она.

Стало ясно, что грядут перемены. Теперь можно смело браться за арабский, хотя, проводя ночи за картами, вступить в партию и выдвинуться гораздо легче, чем изучая иностранные языки. Теперь можно смело гулять с Цзяюанем, взявшись за руки, хотя кое-кого еще может хватить удар при виде молодой парочки. Но поговорить им друг с другом, как и прежде, негде. Скамейки в парке вечно заняты. А если и отыщется местечко, то непременно с какой-нибудь блевотиной под ногами. Сунешься в другой парк, побольше, попросторней — там у каждой скамейки по столбу с ревущим динамиком. «Передаем информацию для посетителей». Только и информации что о «штрафах от 15 фэней до 15 юаней», налагаемых «органами охраны правопорядка», о «сознательном соблюдении» да «повиновении администрации». Правил столько, что, похоже, без подготовительных курсов и по дорожке не пройдешься. До любви ли в таком месте? Пошли отсюда.

А куда идти? Берег реки, огибающей город, избавлен от ревущих динамиков, но там же глухо. Однажды, говорят, ворковала юная парочка, как вдруг: «Не двигаться!» — возник перед ними некто в маске и с ножом, а неподалеку сторожил сообщник. Конец известен — сорвал часы, деньги переложил в свой карман. Перед грубым натиском любовь бессильна. Потом, правда, началось следствие и бандитов схватили. Ну, вот, а некоторые плохо относятся к органам безопасности. Куда ж нам без них?

Забега́ли в столовые. Только там сначала подежурь за стульями, полюбуйся, как другие подхватывают палочками, отправляют в рот кусок за куском, выпивают бульон, съедают второе, закуривают, потягиваются. Но вот наступает твой час, и только ты берешься за палочки — сле́дующий по очереди, заявляя о своих правах, ставит ногу на перекладину твоего стула. Нетерпеливо топчется на месте, и в твоей глотке застревают куски. А захочется посидеть в кафе или в баре — так тех просто нет, ибо — рассадник... Вот и гуляй по улицам, броди по переулкам. Совсем как в Америке — там все бегают, чтобы вес сбросить. Зимой, правда, холодно. Бывает, ударит под двадцать — и напяливай теплые пальто, куртки с капюшоном, меховые шапки, шерстяные шарфы. И объясняйся в любви через марлевые повязки. Зато гигиенично, ни пыли, ни инфекции. Вот только сорванцы в переулках: чуть завидят парочку — свист, брань, камни летят. Еще не ведают, каким образом сами на свет появились.

Цзяюань не роптал. У парапета ли, под платаном, на берегу — поскорее притулиться где-нибудь, прижаться к Сусу и болтать по-арабски да по-английски, и он счастлив, а Сусу — та вечно взбрыкивала, ворчала, не угодишь ей. Нет, нет и нет. Подавай ей все самое лучшее. Как тот посетитель-шаньдунец, которого раздражали камешки в арахисе. Вот уже третий год свой «уик-энд» они проводили в поисках. В поисках местечка. Вперед! Прогулки прерывала лишь темнота. О, небо и земля, такие просторные, о, наше необъятное трехмерное пространство, неужели не отыщется у вас крошечного уголка, где бы молодые люди могли объясниться в любви, обняться, поцеловаться? Ведь мы не просим многого. Вы находите место для героев-испо-

линов, для бунтарей, сотрясающих мир, для вредоносных тварей и отбросов, поганящих землю, вы находите место для баталий и стрельбищ, площадей и митингов, для бесконечных судилищ... Так неужели не отыщется у вас укромного местечка для Сусу и Цзяюаня? Всего для двоих — метр шестьдесят и метр семьдесят, сорок восемь килограммов и пятьдесят четыре.

Сусу вытерла глаза. Горят, как наперченные. Может, на пальцах были перчинки? Заболели глаза, она и потерла их. Или наоборот: потерла — и стало жечь? Ох-хо-хо, пристроимся ли мы сегодня где-нибудь? Похолодало, хотя пока еще можно обходиться без марлевых повязок. Пойду в квартирное управление, обещал Цзяюань, дадут комнату, поженимся, и не придется больше слоняться по переулкам.

— Уважаемая, скажите, как пройти на Рыночную улицу? — пришепетывая, произнесла какая-то фигура в новом пальто, припорошенном пылью. Надо же, какая вежливость — а сам-то гораздо старше «уважаемой».

— Рыночная? Да вот она! — показала Сусу на перекресток со светофором.

В это мгновенье там переключили свет, и машины, трамваи, велосипеды волна за волной бурным потоком ринулись вперед, чтобы замереть на следующем перекрестке и вновь устремиться дальше.

— Это и есть Рыночная улица? — сгибаясь в три погибели под большим узлом, мужчина скосил черные глаза, в которых застыло недоверие.

— Это и есть Рыночная улица,— повторила Сусу с нажимом.

Ее так и подмывало все рассказать этому приезжему — и где тут у них универмаг, и где центральный ресторан «Пекинская утка». Но тот уже двинулся через дорогу, не по переходу, а напрямик. Регулировщик в белом поднял мегафон и рявкнул на нарушителя. Получив нагоняй, человек замер посреди улицы, в водовороте машин. И, вытянув шею, обратился к постовому:

— Уважаемый, как пройти на Рыночную улицу?

— Сусу! — весь в поту, с трудом переводя дыхание, перед ней возник всклокоченный Цзяюань.

— Ты что, из-под земли выскочил? Жду не дождусь, а он вот он.

— А я невидимка. Все время за тобой шел.

— Вот бы нам обоим невидимками стать.

— Зачем?

— Станем танцевать посреди парка, и никто не заметит.

— Тише, тише! На тебя уже обращают внимание.

— Ну конечно, услышали непристойность — танцы. А сами — свиньи.

— До чего же ты злой стала. Раньше такой не была.

— Язычок мне заточил осенний ветер. А спрятаться от него негде.

Взгляд Цзяюаня потускнел, и она опустила голову. Бесчисленные фонари, окна, здания отражались в его очках.

— Нет?

— Нет. Не дает нам управление комнату. Другие, говорят, уже несколько лет женаты, дети есть, а жить негде.

— Так где ж они детьми обзаводились? Посреди парка? На кухне среди клецок? Или в будке регулировщика? А чего, здорово — со всех сторон стекла, и не дует. Может, в зоопарке? В клетке? Тогда за вход надо брать побольше.

— Угомонись. Все это...— Согнутым пальцем он стал поправлять очки.— Все это так, только квартира к нам с неба не свалится. Похуже нас живут, жилье многим нужно!

Сусу молчала, не поднимая головы, и носком выковыривала из земли несуществующий камень.

— Ну, что будем делать? Я не ужинал. А ты? — переменил тему Цзяюань.

— Что? Я знаю лишь свои тарелки, а ела ли сама, никогда не помню.

— Значит, не ела. Пошли в ту пельменную. Вставай в очередь, пока я поищу место, или ты ищи, а я постою.

— Ну, заладил. Скоро, глядишь, и с докладом выступишь.

В пельменной было столпотворение. Словно кормили бесплатно. Или даже еще приплачивали по двадцать фэней за порцию. Ну что ж, тогда не надо нам их пельменей, удовлетворимся парой кунжутных лепешек. А за лепешками тоже хвост. Ну ее, эту очередь, возьмем по булочке в лавке напротив. Но вот ведь штука: только потянулись за булочками, как продавец последние две отдал какому-то ста-

ричку в древнем, еще дореволюционных времен халате, подбитом енотом. Ну что ж, тогда не надо и булочек, мы... Что же мы будем делать?

— Тогда,— холодно бросила Сусу,— нам и рождаться не надо было. И никаких забот! Да мы бы, наверное, и не появились на свет, если бы Ма Иньчу дали развить свою теорию контроля над рождаемостью. Зря ее раскритиковали.

— Что-то ты сегодня не в духе. И потом, мы родились еще до появления этой теории. Ну, нет булочек, тогда дайте две пачки печенья. Вот какие мы с тобой богатые — и печенье, и твои тарелки, и мои сломанные зонтики. Мы учимся, у нас есть дело, для общества работаем. А хорошие люди всегда нужны.

— Ну и зачем все это? Чтобы отдать семь юаней и карточки на два цзиня человеку, оклеветавшему тебя?

— Да ладно, пусть бы и семь сотен, все равно поднял бы старушенцию... Разве ты не сделала бы то же самое? А, Сусу! — вскричал вдруг Цзяюань.

Гром. Молния. Дрогнули провода, закачались фонари.

— Попробуй мое печенье.

— У меня такое же.

— Нет, мое вкусней.

— Почему же?

— А почему бы и нет? Даже две капли воды отличаются друг от друга.

— Ну, возьми мое.

— Давай.

— Откусила, теперь ты.

Они обменялись печеньями, медленно дожевали их, и лишь тогда Сусу улыбнулась. У сытого настроение уже совсем не то, что у голодного.

А погода портилась. Загудели провода. Задрожали рекламные щиты. Замигали фонари. Засвистело в ушах. Ледяной ветер погнал прохожих прочь, и улица в мгновенье ока опустела. Регулировщик спрятался в ту самую кабину, которую Сусу предложила использовать как спальню для новобрачных.

— Бежим!

То ли дождь со снегом, то ли снег с дождем обволокли их колючей пеленой. Косо летели струи. Сусу и Цзяюань уже не слышали друг друга. Только крепче взялись за руки Перед стихией, как и перед жизнью, они были беззащитны. И все же тепло не покинуло ни его большой руки, ни ее маленькой ладошки. Их богатством, их силой был негасимый внутренний огонь.

— Надо прятаться! — закричали они, отплевываясь от песка, поднятого ветром.

И помчались. То ли Цзяюань тащил Сусу, то ли Сусу Цзяюаня, то ли ветер подхватил обоих. Так или иначе, но какая-то сила влекла их за собой. И привела к недавно сооруженному четырнадцатиэтажному жилому дому. К этим высоткам они давно присматривались. Так, со стороны. Чужакам тут не доверяют, гонят — все те же старушки, стонущие на обочине, да старички в енотовых халатах. Каким взглядом окинул нашу парочку старик, покупавший булочки! Словно у них нож в кармане, только и ждут момента. В общем-то, такие высотки энтузиазма у людей уже не вызывают. Как, скажите, втащить громоздкий шкаф на четырнадцатый этаж, когда он в лифт не лезет? Только в окно на веревке. Вот потеха-то! Веревка — крак, шкаф — вдребезги. Тысяча вторая ночь! Но сейчас они с Сусу не об этом думали. Сейчас их влекло к дому, хотя он оставался для них по-прежнему чужим.

Снег и ветер придали им смелости. Они вошли и стали подниматься. Лестница оказалась захламленной, темной. В пустых патронах не было лампочек. Но уличные фонари светят всю ночь, этого вполне достаточно. Пролет за пролетом по лестнице, а до верха еще далеко. И вот наконец площадка четырнадцатого этажа. Как будто никого. На полу — густой слой цементной пыли, пахнет свежей краской. Тепло. Ни ветра, ни дождя, ни снега. Ни ревущих динамиков, ни бандитов в масках, ни прохожих, ни ног, нетерпеливо переминающихся, пока ты не освободишь место. Ни папы с мамой, косо поглядывающих на официантку и мастера по ремонту зонтиков. Ни свиста, ни грязной ругани сорванцов, осыпающих парочки камнями. Отсюда можно разглядеть огни двадцатипятиэтажной гостиницы «Восток». Услышать отдаленный звонок к отправлению поезда на вокзале. Увидеть электрические часы на высоком здании таможни. А опустишь голову — внизу разноцветные огоньки: изумрудные бусинки, оранжевые яблочки, серебристые точечки. Искры летят из-под дуги троллей-

буса. Машины мигают дальним и ближним светом фар, красными сигнальными огоньками. Райское местечко. И они глубоко вздохнули.

— Устала?

— С чего бы?

— Четырнадцатый этаж как-никак.

— Да я готова еще на двадцать четыре лезть.

— И я.

— Ну и дурак же он.

— О ком ты?

— Да этот деревенщина, Рыночную улицу искал и всех подряд пытал, где же Рыночная. Ему объясняешь, а он не верит.

Потом они перешли на арабский. Запинаясь, нарушая все грамматические правила, но с жаром, в такт биенью сердец. Цзяюань собирался на следующий год сдать экстерном университетский курс и подбивал Сусу, даже не помышлявшую об этом:

— Ну, не получится сразу, пусть, но попробовать надо.

Он взял Сусу за руку, такую нежную и такую сильную. Она прижалась к его плечу, такому обычному и такому надежному. Словно черные струи теплого ливня рассыпались мокрые волосы. Подмигивали, покачивались уличные фонари, точно декламировали стихи. Старинную немецкую балладу: «Вот цветы незабудки, все вокруг голубое». Или народную песенку провинции Шэньси: «Таю на сердце нежные слова, боюсь, смеяться станут надо мной». Голубые незабудки парят в небесах. Их захлестывают морские волны. Не бойся, пусть смеются. Весна юности — жарче пламени. Воркованье голубков, живые цветы, затаенные слезы в глазах Сусу и Цзяюаня... Как вдруг:

— Кто такие?

На площадке с обеих сторон возникли люди. С какими-то штуками в руках. Человек ведь — из тех животных, что пользуются орудиями труда. Скалками, половниками, лопатами. Похоже, мятеж туземцев — жителей этого дома.

И начался допрос — суровый и бдительный. Что за люди? Зачем тут? Кого ищете? Никого? От ветра прячетесь. Еще чего! Обнимаются, шельмы, тут добра не жди, совершенно невозможная молодежь пошла, попробуй доверь вам Китай — погубите. Где работаете? Имя, фамилия? Имена меняли?.. Вид на жительство при себе? Удостоверения, рекомендательные письма? Что дома не сидится? Почему не при родителях, не при руководстве, не с широкими народными массами? Э, нет, стойте! Не думайте, что вас тут некому приструнить! Ну-ка, выкладывайте, на чью квартиру нацелились? Общественное место, говорите? Общественное, да не ваше, а наше. Просто так, говорите, вошли, а кто позволил? Стыда у вас нет, хулиганье. Бессовестные... Мы вас оскорбляем? Это ли оскорбления? Нам вот обривали по полголовы. Били. Часами держали в позе «самолета». Что, вы еще здесь? Ах так! Тащи-ка веревку...

Еще мгновение назад Сусу и Цзяюань были счастливы. И поэтому поначалу ничего не опасались. Однако они ровным счетом ничего не понимали в той дичи, что несли дорогие соотечественники. Хотя и знали языки, худо-бедно, но знали. Динозавров, верно, легче было понять, если бы, конечно, те умели говорить. Сусу и Цзяюань смотрели друг на друга и растерянно улыбались.

— Хватит болтать! — решительно высказался один из «динозавров» и поспешил спрятаться за спины соседей.

— Действительно, хватит! — откликнулись другие и отошли подальше.

Кольцо, однако, не разомкнулось, блокада не снята, так что Цзяюаню и Сусу отступать было некуда.

И в этот критический миг какой-то бравый молодец с куском водопроводной трубы в руке вдруг возопил:

— Фань Сусу, ты, что ли?

Кивок головы. Да, я.

И на сем инцидент был исчерпан. Извините, простите. Запугали нас воры. Чистят квартиры, приходится быть настороже. Остались еще подонки, мы вас приняли... Смешно, конечно, простите.

С длинноволосым парнем Сусу когда-то училась в школе, был на два класса младше. Признала его с трудом. Этакий сейчас пухленький, белокожий — булочка из отборной муки, рекламный товар. Парень радушно позвал их к себе:

— Раз уж оказались у моих дверей.

— Ну, ладно.

Сусу и Цзяюань обменялись взглядами. И последовали за парнем в ярко освещенную кабину лифта, на время обретя законное право находиться в этом здании. Как гости здешнего жильца. Двери кабины захлопнулись, лифт ровно загудел. Радушие товарища по школе гарантирует достоинство и безопасность! В верхнем углу кабины с нарастающей скоростью замелькали цифры от 14 до 4, и, наконец, появилась тройка, похожая на ухо. Лифт остановился, распахнулись двери. Сусу и Цзяюань вышли, повернули налево, потом направо. В щель замка уверенно, по-хозяйски вошел медный ключ со множеством выступов и бороздок. Поворот, другой, трак, крак. Стукнула, открывшись, дверь. В передней и кухне горел свет. Стены белые, словно напудренные. Заскрипела дверь в комнату, голубоватую от света уличных фонарей. Вполне светло, подумала Сусу, но лампа все же вспыхнула. Прошу садиться. Двухспальная кровать, высокий шкаф с антресолями, диван, обтянутый красной искусственной кожей. Комод с пятью ящиками. Банка сладкого «Майжуцзина», непочатая бутылка бальзама. Столько-то квадратных метров, такие-то удобства, обстановка — тараторил хозяин, знакомя со своим жилищем. Вода, отопление, газ. Освещение, вентиляция, звукоизоляция. Противопожарная и противосейсмическая защита.

— И ты тут один?

— Один,— напыжился парень, потирая ладони,— папаша сделал. Старики хотят, чтобы я женился. К будущему Первомаю, наверное, проверну это дело. Вот тогда и придете ко мне, заметано? Нужного человечка я уже отыскал. Дядя одного приятеля, кухарил когда-то во французском посольстве. Кухня китайская, западная, южная, северная — все может. Из батата вытягивает такую сахарную соломку, что пять раз обвиваешь вокруг пальца — не рвется. Только — никаких подарков. Мебель там, утварь всякая, настольная лампа, постельное белье — у меня все есть!

— Как зовут твою невесту? Где работает?

— А, еще не решено.

— Ждет распределения?

— Да нет. Я имею в виду, не решено, на ком женюсь. Но к Первомаю все будет четко!

Протянув руку к журнальному столику, Сусу взяла воздушный шарик, потерла его о диван и подбросила вверх — он взмыл под потолок и остался там. С детских лет это было ее любимой игрой.

— О небо, почему он не опускается? Почему же он не опускается? — от изумления парень даже рот разинул.

— Магия,— ответила Сусу и, покосившись на Цзяюаня, скорчила гримаску.

Они стали прощаться. Гостеприимный хозяин провожал их до лифта, но загадка зеленого шарика, приклеившегося к потолку, не давала ему покоя. Сусу с Цзяюанем покинули замечательное здание. Все так же валил снег с дождем, все так же задувал ветер — словно с цепи сорвался. Мокрый снег надоедливо лип к ним, осыпая лица, руки, проникая под воротник.

— Все из-за меня,— с досадой произнес Цзяюань.— Не гожусь я в добытчики, прости...

Сусу прикрыла ему рот. И прыснула, веселая, беспечальная, как цветок граната, раскрывающий лепестки.

Цзяюань понял. И тоже рассмеялся. Они оба знали, что счастливы. Что вся жизнь и весь мир принадлежат им. И этот юный смех вдруг остановил ветер, дождь, снег — над вечерним городом взошло солнце.

Сусу побежала вперед. Цзяюань за ней. Тугие струи дождя поблескивали в свете фонарей.

— Вот и Рыночная улица,— крикнула Сусу, показывая в сторону высотной гостиницы,— вот она, Рыночная!

— Само собой, я-то в этом не сомневался.

— Давай руку, до свидания, это был чудесный вечер.

— До свидания, только не завтра. Работать надо. К экзаменам готовиться.

— Что ж, может, и сдадим. И квартира когда-нибудь будет, все будет.

— Приятных сновидений.

— Каких же?

— Пусть тебе приснится... ну, скажем, воздушный змей.

Что такое?! Воздушный змей? Откуда Цзяюань знает про воздушного змея?

— Эй, откуда тебе известно про змея? И про ленту к змею тоже знаешь?

— Ну, разумеется, знаю! Как же я могу не знать?

Сусу помчалась обратно, бросилась Цзяюаню на шею и — прямо на улице — поцеловала. Потом они отправились каждый в свою сторону и уже разошлись далеко, а все оборачивались и махали друг другу.

Глубины озера

Начнем, пожалуй, с одного апрельского воскресенья 1980 года. Милое дело — отправиться в выходной с приятелями за город, весной подышать. И вот на Великой стене охватил нас поэтический восторг: один декламирует Мао Цзэдуна: «...Очарованье этих дол и вод», другой классику — «Ветер взвихрился, тучи разгоняя, где герой, что нас оборонит», а третий — «Мы идем, восьмидесятые, мы выходим в мир». Но наши возбужденные голоса заглушались то малоромантичными выкриками вроде «Куда суешь карточки, ублюдок, они уже недействительны!», то шлягером «Мы расстались на рассвете, льется ночи аромат...». Что, казалось бы, между всем этим общего? А настрой один, одно чувство — весна пришла!

Это весна нашей судьбы, жизни, по которой предстоит шагать. Ибо в среднем нам — двадцать три: чуть больше, чем студентам в канун великой смуты, чуть меньше, чем учащимся из «рабочих, крестьян, солдат» во время «культурной революции». А если не считать таких, как Цзиньхун и Чанцзян, успевших закончить школу еще до шестьдесят шестого, так и вовсе двадцать один. «В жизни раз бывает двадцать один!» Эта строчка из стихотворения, которое сочинил Кузнечик (предварительно влив в себя пол-литра пива и закусив сосисками по 20 фэней порция), когда мне стукнуло двадцать один, стала популярной. Наш староста Мэтр Шао предложил устроить в этот день, 14 марта, чаепитие с кукурузными бисквитами из столовки, но все единодушно сочли эту жалкую идею ультралевацкой. Кузнечик предложил купить торт. И что же? Скинулись и купили, недорогой, правда, за три семьдесят пять, но зато настоящий, «именинный», да еще и без карточек.

Покутили, погуляли — и я несколько пришел в себя, хотя к душевному подъему примешивался какой-то осадок. Во мне бушевали сразу две весны — собственной юности и ранней свежести 1980 года. Я живу в общежитии, комната на шестерых, койки в два яруса, и все пропитано запахом мятной зубной пасты, мыла, резиновых кед, нейлоновых носков, крема для лица и господствующего надо всем этим молодого пота, который способны выделять лишь те, в ком слились воедино две весны С экзаменами я подкачал, так что ни на аспирантуру, ни на заграничную стажировку — никаких надежд. Видимо, зря я связался с естественными науками, но, увы, именно к ним толкнули меня своими насмешками да уговорами отец с матерью. В итоге я не играю ни на одном музыкальном инструменте, не танцую ни вальсов, ни диско, нот не знаю, голос мой отнюдь не звонок и не нежен, а уж иероглифы вывожу, что паук лапкой, и английское произношение чудовищное. Вымахал будь здоров, но туповат, зауряден, ни проблеска таланта, ни характера, так что и девушку заинтересовать нечем. Таким ли должен быть молодой человек нашей эпохи! Хотя наверняка и мне кто-нибудь позавидует — люди всякие бывают.

В это воскресенье я проснулся с дурным предчувствием. Было пасмурно, прохладно, градусов пятнадцать, не больше. Где ты, весна? Где ясное солнышко? Спали мы всегда с открытым окном, за исключением разве что уж самых морозных ночей, и мой чуткий нос сразу уловил: пахнет влажной землей. Шел дождь. Весенний дождь! Освежающий, размягчающий весенний дождь, от которого кипит кровь. Так бурлит вода в реке Цяньтан во время паводка.

Свернувшись под одеялом, Мэтр Шао зубрит английские слова. Кузнечик до покраснения массирует кожу. Чанцзян звучно зевает. Цзиньлин (до чего же девичье имя — «Бубенчик») кричит петухом, лает собакой, поет, как гонконгская звезда эстрады, и голосом Линь Бяо возглашает здравицу на десять тысяч лет... Единственное, чем могу отличиться я — это возопить на своем корявом английском:

— Гет ап! Сун! (Вставайте! Быстро!)

— Что у нас сегодня? — интересуется Кузнечик.

— Действовать в соответствии с намеченным курсом![1] — тут же отзывается Цзиньлин, бухаясь на колени, и все разражаются смехом. После чего начинается поддразнивание — этот ночью пыхтел, как паровоз, тот во сне звал «мамулю».

«Намеченный курс» заключался в том, что после шести лянов пампушек, поглощенных каждым (по воскресеньям — двухразовое питание), Цзиньхун ведет нас на художественную выставку. Цзиньхун: пол женский, возраст 30 лет, рост метр семьдесят пять, лицо овальное, ловкая, тренированная, обладает на удивление богатыми познаниями и жизненным опытом, пользуется высоким авторитетом на курсе (чему удивляться не приходится). Предпочитает общаться с мужским полом, а не с женским. Графа о браке зияет пустотой (что опять-таки удивительно), тем не менее никто не осмеливается шушукаться у нее за спиной, ибо, когда дело касается нашей Цзиньхун, умолкает даже шутник Кузнечик.

Как прекрасен омытый ливнем асфальт! Поэма! Расплывающиеся отражения на влажной поверхности складываются в стихотворные строчки, смысл которых нам недоступен. Вереницы велосипедистов, раздробленных лужами, плывут плавно, с той космической свободой невесомости, о которой поет электрогитара в песне «Настигают луну озаренные тучки». И тут Цзиньлин затягивает «Весна, о весна».

— Не нравится мне эта песня,— тут же объявляю я.

Кинув на меня быстрый взгляд, Цзиньлин начинает петь громче — и впрямь звенит, как золотистый бубенчик.

— А мне нравится! Больше всех других песен! — с вызовом заявляет Кузнечик, наскакивая на меня, словно ради этой песенки готов полезть в драку.

— Обрыдла! Обрыдла эта твоя песенка! — кричу я, понимая, что нахожусь в невыгодном положении — один против двоих.

— Ну, хватит, смените пластинку! — останавливает нас Цзиньхун.

— Отчего же? — недоуменно, как на какую-то незнакомую формулу, смотрит на нее Цзиньлин.

— «Весна, о, весна, золотые деньки»,— с дурашливой злостью затягиваю я. — Дешевка, приторно до отвращения! Такое ощущение, будто жевательную резинку проглотил! А ее можно только жевать, выдувая пузыри! Нашу с вами, ребята, весну он превращает в жвачку, кладет в рот, перекатывает языком, разжевывает и выдувает большой бесцветный пузырь — слышите, лопается, и дурачки начинают хлопать в ладоши. Аплодируйте — он запихивает вам в рот разжеванную жвачку, пузырь лопается, весна, о, весна, ты проваливаешься прямо в желудок!

Ну, полемист — хоть назначай полномочным послом в Совет Безопасности. Куда подевалась моя утренняя подавленность? Этакое красноречие изумляет народ, даже Цзиньхун одобрительно улыбается. Цзиньлин, мнящий себя непобедимым, немедленно изрекает:

— Всегда незаметный, случайно открыл он свой лик![2]

И Кузнечик тоже выстреливает в меня:

— Ну и пасть — все лает и лает!

Пытаются спасти лицо.

На том все и кончается. Запеваем «Лодочку на Уссури», «Как весною яблонька цветет...». Вот новое здание книжного магазина «Синьхуа» в лесах, бетономешалка, башенный кран. Лавчонка: на доске у входа — ценник на рафинированное кунжутное масло, кунжутную пасту, арахисовое масло, кукурузное масло, лущеный арахис, горох маш, фасоль, соевые бобы, хлеб, лапшу, раскатанное тесто для пельменей и ушек. Издалека привезли вечнозеленые саженцы, стоят около вырытых ям, явно намекая, что впереди — прекрасные деньки, хотя приживутся ли деревца — еще вопрос. В витринах магазинов — кастрюли-скороварки, торшеры, транзисторы «Хундэн», черно-белые телевизоры «Куньлунь». Молодцеватый регулировщик выпускает из ворот аэровокзала автобус с пассажирами. Воздух свеж, влажен, нежен, как-то даже робок, но проникает в каждую клеточку тела.

Белое здание, где размещалась выставка, казалось мрачным. Это только при ясном небе оно ослепительно, неповторимо и величественно, а под мелкой моросью

---

[1] Лозунг, под которым китайские газеты вышли накануне ареста «банды четырех».

[2] Строка из стихотворения жены Мао Цзэдуна Цзян Цин, в народе ходившая в переиначенном виде: вместо «лика»—«оскал» (по-китайски эти два слова созвучны).

напоминает подтаявшую снежную бабу. Грубоватый контролер на входе даже не удостоил нас взглядом, а отвернулся к какой-то женщине и рявкнул:

— Говорю тебе, не протухнет! Меня слушай — не пропадешь!

По бархату разбежались огромные наклеенные иероглифы «Художественная выставка 1980 г.». Человека, написавшего их с таким размахом, явно не затронули заботы нашей бренной жизни — экзамены, «перевоспитание» в деревне. Большие листья многолетних растений, свешивавшиеся из больших вазонов, говорили о том, что мы попали в мир изысканный и несуетный. Тут-то и предстояло мне в полной мере осознать собственное невежество.

Мы вошли в зал и уже не отрывались от картин. Одна, другая, в глазах рябит, и задержаться хочется, и дальше тянет. На выставках всегда разрываешься — стоять или идти, но больше все-таки ходишь. Каждого повели собственные пристрастия. Цзиньлина тут же повлекло к писанной маслом «Закалке», где пышущая здоровьем спортсменка, демонстрируя все четыре тренированные конечности и напрягшееся тело, завязывала шнурки на кедах. Хитрец художник выбрал для названия поистине тысячепудовое слово [1]. Такая картина не могла, конечно, не понравиться Цзиньлину с его любовью к песенке «Весна, о, весна». А вот Чанцзяна захватило нечто совсем иное — как по содержанию, так и по форме: «Бо Лэ» [2] в традициях национальной живописи. Ошеломляюще! Высохший, кожа да кости, старец Бо Лэ в тощей кляче узрел Тысячеверстого скакуна, и глаза загорелись счастьем. Что взволновало тут Чанцзяна? Считает себя Тысячеверстым скакуном и досадует, что нет на него знатока, подобного Бо Лэ? Сейчас переживания такого рода, древние как мир, снова в моде — не менее, чем ножницы и ножи со знаменитым ханчжоуским клеймом «Чжан Сяоцюань». ...Да нет, Чанцзян не из честолюбцев, его печаль иного свойства. Скромен, склонен к самоограничениям, так что, возможно, чувствует себя виноватым перед Бо Лэ за то, что он — не чудо-скакун. Окружающий мир вполне устраивает Чанцзяна; единственное, что не удовлетворяет,— это он сам. На все наше брюзжание он реагирует одинаково:

— Гораздо лучше, чем во времена «четверки»!

В растерянности замер Мэтр Шао, вообще-то он равнодушен к художествам, не понимает, на что тут смотреть, и пришел исключительно, чтобы «не отрываться от масс». А Кузнечик ринулся к цветам, при виде которых просто дурел: грациозные лотосы, пылающие мэйхуа, звонкие кувшинки и распахнутые хризантемы — он любил их все. Вообще все свежее и яркое. Цзиньхун шла кругами, не торопясь, не суетясь, и потому плелась где-то позади. Изучает, понял я наши вкусы, ну, и к прочим посетителям присматривается. Какой-то сгорбленный старикан, близоруко щурясь, то и дело задавал на труднопонятном гуандунском диалекте один и тот же вопрос: «А о чем эта картина?» Словно все рвался ухватить концепцию и логику каждой вещи. Молодая женщина поглядывала на картины, не переставая вязать свитер. Бравый молодец смачно, будто никого тут нет, чихнул. Весна, холод, простыл, ну и что такого? — говорил его невозмутимый вид.

Посещать выставки — дело рискованное и для ума, и для сердца. Все равно что идти в универмаг с десяткой в кармане. Я как-то отправился покупать куртку, все было — деньги, карточки. Вхожу в магазин — в глазах темнеет. Миндальный шоколад и сушеные сливы, ночники и термометры, трехцветные шариковые ручки и скоросшиватели из искусственной кожи, пластиковые панды и ножички для фруктов — дух захватило. Продавщица секции металлоизделий и электротоваров мило улыбнулась, позвала, и... Куртку я не купил, зато приобрел неизвестно для чего походный фонарь и замок с секретом.

Так что к каждой картине, гравюре, скульптуре я приближался с опаской. Молча брел меж всех этих сочных красок, линий, светотеней, а на сердце было неспокойно. Вспомнилась одна история, которая здорово тряхнула меня в 1978 году.

В июле семьдесят восьмого я сдал сессию и написал домой, что на каникулы не приеду, ведь всего полгода как уехал сюда, в центр провинции, учиться в универ-

---

[1] В контексте китайской действительности недавнего периода это слово имело не только спортивный, но и политико-идеологический подтекст «трудового перевоспитания».

[2] Легендарный знаток лошадей.

ситете. Вместе с Чанцзяном мы отправились к Цзиньхун. Угощая нас помидорами с сахаром, она рассказывала о хунвэйбинских походах — в 1966—1967 годах их отряд четырежды обошел всю страну. Потом заговорили о пейзажах озера Сиху, о слепом музыканте Абине, о пятом томе «Избранного» Мао Цзэдуна, где почему-то вместо «дочистить» стояло «доделать» [1], о тенорах Ли Шуанцзяне и Ли Гуанси, у которых столь разные манеры пения, и о пиве — его так трудно купить. Притомились от этой говорильни, и Цзиньхун запустила магнитофон — какую-то мелодию, которую она будто бы сочинила еще в армии с помощью «электронного мозга». Мы с Чанцзяном сидели, позевывали, но музыку хвалили: «Ничего, что-то есть». Потом Цзиньхун вытащила альбомы.

До сих пор помню первое впечатление от них. Уголки потерты, загибаются, переплет пахнет прогорклым маслом, словно альбомы принадлежали раньше торговцу блинами. На обложке крупные иероглифы «Весна», и мне сразу вспомнилось, как мы копали ямы, опускали в них саженцы, а на полях ночи напролет ревели тракторы и два буйвола тянули допотопный плуг. Вспомнилось, как сорок дней не стихал ветер, трескались губы, проросла картошка, которую мы ели, пока не пошли свежие овощи. Появились яйца, мы топали за ними на рынок, и подмерзшая земля долго потом хранила наши следы.

Чуть ниже «Весны» шли две строчки помельче — «Избранные работы молодых художников к 5-летию КНР. Масло». Пятилетие? Значит, пятьдесят четвертый год, меня еще и на свете не было. А где же я был? Нигде? Трудно поверить. Неужели когда-то не существовало этого верзилы, шумного и безалаберного, занудливого и беспардонного?! Принялся листать альбом, но без всякого интереса: мазня холодных наблюдателей, которых, в сущности, ничто не волнует.

И вдруг — что-то сверкнуло перед глазами, кольнуло в сердце. Словно распахнулось внезапно окно в темном чулане, давно запертом на замок, и ворвался свет дня, солнца, зари, воды, пламени, молнии, влетели все ветры — востока, запада, юга, севера, ветры весны, ветры осени. Картина называлась «У озера». Две трети холста — искрящаяся поверхность воды. А не наше ли это озеро? Ну-ка, вглядись в эту рябь, в каждый блик, в небо, опрокинутое в воду! По ней скользили когда-то камешки, пущенные рукой малыша, и я кричал озеру: «Мальчик пишет иероглиф, пишет, пишет, не допишет...». Излюбленная присказка нашего детства, бессмысленная, не поддающаяся расшифровке — прямо «модернизм», «поток сознания». Когда же, однако, я успел вымахать в этакого детину, ничем, кроме роста, не выдающегося? С берега склонилась ива, дряхлый ствол пустил свежие побеги — старое и новое, время течет, мне уже девятнадцать! В детстве казалось, что девятнадцать лет — огромный, зрелый, всемогущий возраст! Под деревом виднелся силуэт молодого человека — крошечная, плоская тень, но мне хорошо знакомо все, о чем он думает, чему улыбается, чем увлекается и восхищается, чего ждет, что ищет. Мальчишкой я ходил к озеру за рыбой, раками, моллюсками, лягушками, высматривая лебедей (это, конечно, были феи), крабов (каждый казался волшебником — Сунь Укуном), зайчишек, таскающих репу, златоперых птиц, умеющих говорить, искал в дремучем лесу тайную хижину... А потом всему этому пришел конец, и в озере появились отражения хунсяобинов [2] — они высоко вскидывали кулаки в благоговейной здравице самому-самому красному солнцу их сердец. Тараща глаза на озеро, я ждал, когда оно откроет мне, где же прячется беглый помещик, убийца и поджигатель, отравивший в коммуне буйвола? Тогда я вступлю со злодеем в бой и доставлю на пункт общественной безопасности. А потом озеро вовсе отняли у меня, и я попал туда, где были лишь песок да ветер. Как же я вновь очутился на знакомом берегу? Эта зыбь, сладкий дух, к которому примешивается запах тлена, тень дерева и блики воды на моем лице, давно одряхлевшая, но год за годом пускающая свежие ветви ива... Что? Какая перечная паста? Ах, нет, спасибо, подожди-ка, что тут написано? «Ян Эньфу», кто это — «я-н-э-нь-ф-у»? Почему мне знакомо это имя? Да это же... мой отец!

Да-да, положи перечной... Это же папа... да нет, на что мне твоя паста?... Вряд ли это он. Уже и с лапшой покончил, а сердце все не успокаивалось. По радио передавали рассказ Лю Синьу, за окном бил в колотушку лоточник с пряностями, со сви-

---

[1] Схожие по звучанию слова. Исправить ошибку в рукописи не разрешалось из-за фанатичного преклонения перед Мао Цзэдуном.

[2] Организация, в годы «культурной революции» подменившая пионерскую, хунвэйбины-школьники.

стом втягивал лапшу Чанцзян, и на лбу выступали бусинки пота. Цзиньхун подняла на меня глаза и спросила:

— Что это с тобой?

— Да вот,— ответил я,— картина эта, «У озера» называется.

— Ничего,— обрадовалась Цзиньхун,— лучшая в альбоме, и знаешь, что особенно хорошо? В озерце этом каждый видит свои мечты, все то, к чему стремится. Так ведь, Чанцзян? — Она повернулась к нему.

— Точно. Очень чистая вода.

— Ну, и что же ты видишь?

— Да так, кое-что.

— Но довольно отчетливо, правда? Все предметы на «отлично», затем аспирантура, профессура, потом супруга рожает тебе сына.

— Само собой. Только все это не так просто.

— Ну, а ты?

Их разговор звучал для меня каким-то комариным писком. Только звуки, никакого смысла.

— Ну, а ты?

Меня, что ли, она спрашивает? Я вздрогнул, и зубы вместе с лапшой прихватили кончик языка.

— Думаю, в каникулы все же надо съездить домой, с отцом повидаться.

И только когда ответил, до меня вдруг дошла фраза, только что произнесенная Цзиньхун: «Лучшая в альбоме...». Лучшая, лучшая — вновь и вновь звучал ее голос, волнуя чуть не до слез. Тик-так — стучал будильник в комнате, дон-дон — отозвались часы с вокзальной башни.

Так что же за художник мой отец? — думал я под стук колес поезда. В шестьдесят шестом мне было семь лет. Давно уже я мечтал о школе, еще три года назад папа купил мне ранец, я спозаранку забрасывал его за спину (там лежало несколько книжек с картинками) и будто бы отправлялся на уроки. Только стукнуло семь — все домашние, родственники, знакомые запели: «Скоро в школу! Скоро в школу!» Увы, миновали летние каникулы и вместо школы — «революция».

Вот так я попал в папину студию. В ту пору работники искусств либо кого-то «революционизировали», либо «революционизировали» их самих, так что рисовать приходилось без устали. С утра до вечера, обливаясь потом, папа почтительнейше малевал портреты. Отчаянный грохот барабанов — ворвались тети-хунвэйбинки. Руководительница — прямо красавица, губы сердито поджаты, косички торчат в разные стороны. Все в новехоньких армейских формах травяного цвета, на рукавах алые повязки. Построились и принялись декламировать цитаты, а папа поспешно вытянулся, достал красную книжечку и включился в хор. Не смотрите, что я еще не ходил в школу,— тоже выучил сто цитат и твердо знал, что декламировать их — самое почетное из всех занятий. И в радостном возбуждении тянул вслед за всеми: «Все ошибочные воззрения, все ядовитые травы...», «Ничто реакционное не исчезает само по себе...». Декламирую и слежу, как косички, точно рожки, прыг-прыг вверх, а потом тети перешли к какому-то «Чрезвычайному приказу»: на одной картине, изображавшей председателя Мао с детьми, оказывается, нашли более десятка реакционных лозунгов, символов, образов. Вдруг тети заорали и набросились на папу за то, что на портрете вождя, который он рисовал, оказалось только одно ухо:

— Это еще что такое? Что ты себе позволяешь? Клевещешь на красное солнце наших сердец — хочешь сказать, что он-де нас вполуха слушает?!

Я повернулся к стене — вроде бы на всех официальных портретах по одному уху. А те так и брызжут яростью — почему только одно? Мой папа — реакционер? Значит, я должен с ним бороться? Страшно, ново, любопытно... А тети-хунвэйбинки немедленно потребовали пририсовать еще одно ухо.

На нормативном портрете голова должна быть слегка повернута, открывая лишь правую сторону лица. А слева видны только скула и щека, ухо же позади них, потому-то его на картине и нет. Но тогда этого я, разумеется, не понимал и думал, что тети-хунвэйбинки говорят правильно, у людей же по два уха, почему нарисовано лишь одно? Что это значит? Я напряженно следил, как папа дорисовывал Председателю ухо. Бедный папочка, от непомерных усилий на лбу выступили огромные фа-

солины пота, словно ему дергали зуб без наркоза. Он весь дрожал, будто во время укола игла обломилась у него в попе. Папа рисовал со всем старанием, вляпал ухо прямо на скулу председателя Мао, но не успел закончить, как хунвэйбинки взвились — кто мог подумать, что это придаст лицу такой странный вид!

— Я виноват... — пролепетал папа, опустив голову, и, не дожидаясь, пока ему пригнут шею, встал в позу «реактивного самолета». Ноги его мелко дрожали, от посеревшего лица отлила кровь, казалось, сейчас кашляни кто или просто подуй на него — и он рухнет.

Тети-хунвэйбинки переглянулись. Старшая насупила красивые брови. Вторая возмущенно побагровела. Третья угрожающе хмыкнула. Четвертая раздулась, как боевой барабан. Пятая так закатила глаза, что остались одни белки; от страха я заревел и окончательно понял: мой папа — контрреволюционер.

За окном надрывались динамики, рычали грузовики и возбужденно горланили люди. Тыча в папу пальцем, тетя-хунвэйбинка с косичками пробурчала что-то вроде «смотри у меня», после чего про нас забыла, прокричала какой-то приказ, и все бросились прочь...

Поезд мчал дальше, мелькали деревья, опоры электропередач, реки, поля. Из вагона-ресторана принесли еду, я взял миску лапши с кусками толстокожей, жирной и, кажется, несвежей свинины — все бранились, а мне припомнились вступительные экзамены в вуз в ноябре 1977 года. Первой с утра шла математика, задачи по геометрии я решил сносно, а вот с алгеброй застопорилось. В тот год, когда мы начинали проходить этот предмет, заболела мама, отец взялся за постройку кухни, попросил меня помочь ему, и, как назло, я несколько раз пропускал школу. Экзаменационные листы сдал только в полдень и побежал искать папу, который должен был принести мне поесть — сразу после обеда начинался экзамен по политике, но в университетском парке никого не было. Оказывается, у ворот выставили пост, чтобы не проникли посторонние. Сыпал снег, задувал ледяной ветер, иду к воротам — ну вот, торчат, заметенные снегом, бедные папочки, высматривая своих чад, на которых возложено столько надежд, и глаза у меня невольно увлажнились. А среди них — и мой. Стыдно сказать, до чего невзрачен! Ростом не вышел, подбородок торчит, как черпак в котле, из-под коротких волос выпирает какой-то и не квадратный, и не круглый, асимметричный череп, ноги кривые, косолапые, и еще эта привычка втягивать шею... Я чуть не заплакал от досады. Как-то вот таким неряшливым папа явился на родительское собрание еще в начальной школе, так я сгорел со стыда, сравнивая его с другими отцами — благодушными, раздобревшими, крупноголовыми, с ямочками улыбок, одетыми в габардин и приезжающими на автомобилях!

В день экзаменов отец поджидал меня у ворот, на ветру, в руке — сеточка блинчиков с бараниной. Снег толстым слоем лежал на шапке, плечах, спине, а он и не думал отряхиваться... Увидел мою сумрачную физиономию и не решился спросить, как экзамены. Не зная, как ко мне подступиться, протянул сетку, я хватанул блинчик и скривился — холодный, жесткий, баранина пересолена, переперчена. А ведь мог понять, что на эту баранину ушел весь месячный запас мясных карточек семьи... Знать ничего не хотел! Какое право я имел презирать и мучить отца? На морозе папины руки посинели, кончик носа стал красным, по лицу текли не то тающие снежинки, не то пот волнения, а может, слезы. Он смиренно достал из-за пазухи армейскую фляжу со сладким чаем — она еще хранила тепло его тела,— кряхтя, вынул из кармана две плитки миндального шоколада в яркой упаковке. Это уж лишнее, взбрыкнул я и отверг как теплоту, так и «доппаек», сердито бросив:

— Всю жизнь только и знаете, что сладким меня пичкать, зубы уже крошатся, нет чтобы об учебе моей подумать, по любому поводу забирали из школы, «будешь много читать, быстро поглупеешь» — так вы, кажется, говорили... А теперь что же? Учиться в вузе стало престижно, и вам хочется в «академики» меня протолкнуть! «С нашим Сяолуном проблем не будет»,— это тоже ваши слова, а откуда вам известно, что не будет? Будут, да еще какие! Ну, так слушайте: утром по математике явно недобрал, боюсь, «неуд» будет, так что дальше сдавать бессмысленно...

И вот этот мой незаметный и незлобивый папа, ни разу на моей памяти не обнаруживший таланта и вдохновения, малевавший, кроме высочайших портретов, только афишки образцовых спектаклей да фильмов, готовый два часа простоять в очереди за цзинем баранины,— неужели это он двадцать четыре года назад нарисовал ту прекрасную картину? Неужели и в его душе когда-то была весна, зеленела

трава, искрилось озеро, бушевали мечты и грезы? Поезд уже подходил к вокзалу моего родного города, когда, глядя на грубые домотканые узлы на багажной полке, я вдруг подумал: а может, этот Ян Эньфу — просто папин тезка? Почему отец ни разу не упоминал о картине?

— Папа, это ваша работа — «У озера»?

— Что? Какое озеро? Не помню. Растрясло, поди, в поезде-то, вот вечерком налепим пельмешек, эх, соевого соуса маловато, креветок бы еще сушеных, зеленушки. С водорослями вот беда, в целлофановом пакете они чистенькие, да без аромата, а на лотке душистые, зато все в земле, песке...

Обсуждая с мамой, что будет на ужин, папа укладывал в корзину бутылочки. О, небо, все сплошь бутылки да банки из-под соевого соуса, уксуса, водки «Эрготоу», винной приправы, креветочного соуса, маринадов, соленых овощей....

Прихватив пяток немытых бутылок, папа выскользнул за дверь. Мама взялась за тазик.

— Снимай-ка бельишко, Сяолун, что ж так заносил? Полгода всего не был дома, а совсем запаршивел, от тебя уже несет!

— Да не от меня — от креветок и маринадов! — отозвался я.— Ма, скажите мне откровенно: лет двадцать назад была у папы такая картина «У озера» — парень на берегу под ивой?

— Была, ну и что? Ты глянь-ка лучше на свой воротничок — студент называется!

— В самом деле была? — заволновался я.

— В художественном институте он много чего рисовал — и горы, и реки, и степи, и моря. «У озера» — это на втором курсе. Снимешь ты, наконец, одежду? Ай-я, стирального порошка мало, забыла сказать отцу, чтобы прихватил и порошка. Да что это с тобой?

— Пойду... переоденусь...— Я отвернулся, с трудом сдерживая слезы.

После ужина мама пошла мыть посуду, а папа плюхнулся покурить на бесформенный диван собственного производства, и я воспользовался моментом.

— Видел одну вашу картину пятидесятых годов, «У озера», мне очень понравилась.

Папа в этот момент смаковал сигарету, пуская кольца, ублаженный и умиротворенный Мама мыла посуду, из кухни неслись звяканье и бульканье. На занавеске, отброшенные светом лампы, лежали наши с папой тени. Отец вздрогнул, словно его мысли бродили где-то очень далеко и мои слова не сразу дошли до него. Дернулся и отчего-то загасил о подошву свою излюбленную «послеобеденную сигаретку»

— Ч-что? — спросил, слегка заикаясь.— Ты видел «У озера»? Кто-то еще хранит эту безделицу?

О какой безделице он говорит? Я недоуменно взглянул на него, но он уже овладел собой и небрежно, даже с какой-то иронией уронил:

— И тебе понравилось?

Я закивал. И тут меня, как током, ударило воспоминание: этот же самый человек пририсовывает ухо на скулу...

— Эх,— вздохнул он,— то было в прошлой жизни. Наивно, мелко, слабо, мелкобуржуазно, незначительно...— На одном дыхании выпалил всю эту вереницу ярлыков, улыбнулся, словно удачной шутке, и легко сменил тему:— Ну, как закончил семестр? Стипендию дадут? Как комната в общежитии, солнечная?

Я неверующий, да и в древней истории не силен, не знаю, в самом ли деле Иисус Христос был распят на кресте. Но мне показалось, что в мое тело впиваются гвозди. Только брызжет из меня не кровь: я — продырявленный мячик, выпускающий воздух...

А потом было вот что Мама домыла посуду и предложила выпить жасминного чая или холодной воды. Отец включил приемник — Гуань Сюэцзэн, аккомпанируя себе на цинь, выступал с сатирическим монологом против «теории производительных сил», которой «четверка» шельмовала своих противников. В окно влезла жирная пятнистая соседская кошка. Ее надо выгнать, закричала мама, а папа возразил, что не обязательно, поскольку прошлой ночью на чердаке кто-то шебуршился, возможно крысы. Мама спросила, хочу ли я на завтрак пончиков, на обед «ленивого дракона» [1],

[1] Пирожки с начинкой из мяса и овощей.

а на ужин баклажаны в кунжутном масле с чесночком. Явился гость, дядя Чжао, стали церемонно разливать чай, жарить и подавать на стол семечки, дядя Чжао с папой обсуждали смену руководства в местной кинопрокатной компании и возможные ее последствия, предстоящую переаттестацию и урегулирование зарплаты. Шелуха от семечек сыпалась на пол. Когда гость собрался уходить, папа попросил достать талон на велосипед, а дядя Чжао в свою очередь — помочь его дочери с переходом в другой институт. По радио передавали какую-то мелодию на баньху. Мама засыпала меня кучей вопросов, в сущности сводившихся к одному — что за студентки у нас в группе и в каких я с ними отношениях. Тут я нарочно начал с Цзиньхун: двадцать восемь, отец — бывший номенклатурный работник, дело еще не закрыто, она, бывало, и попрошайничала, и мороженым подторговывала, и всю страну обошла, и в армии была, и музыку на компьютере сочиняла. Мама глаза вытаращила, рот разинула и все на папу с тревогой поглядывала, а тот мялся, будто во рту горячий баклажан застрял. Стали передавать последние известия, что-то там произошло в Иорданском королевстве, а кошка в этот момент опрокинула термос, трам-тарарам, амальгамное стекло вдребезги, на полу лужа горячей воды, мама кричит, обвиняет папу, а тот «отрицает все и вся» [1]... Потом мы улеглись, я глядел в потолок, а в ушах еще стучали колеса, и по жилам словно не кровь текла, а рыбий клей. Папа вроде заснул, но вдруг громко вскрикнул, напугав меня, и затем его тонкий посвист слился с густым маминым сопением в гармоничном, совершенном, как платье небожителей, дуэте...

В общем, поучительная вышла история. Хотя ничего такого между нами не произошло. Судьба теперь улыбалась нам. Я учился в одном из возрожденных вузов. Со всего нашего «молодежного пункта», где мы проходили «перевоспитание», только трое и поступили: один парень — я и еще две девушки, так что я чувствовал себя чуть ли не избранником неба. Новый политический курс в начале семьдесят девятого коснулся и отца, который с 1958 года, когда на «собрании критики» на него навесили ярлык «типичного белого спеца», оставался в своей организации «под надзором». Теперь ему подняли зарплату до первой категории, а летом ввели в Подготовительный комитет по восстановлению провинциального отделения Союза художников. В конце того же года родителей перевели на работу в центр провинции, и семья сразу переехала в небольшую отдельную квартирку на восьмом этаже нового дома. Комнат стало на одну больше, и бутылки да банки уже не так мозолили глаза. От родных и друзей приходили добрые вести — один вышел из тюрьмы, другой восстановлен в прежней должности, третьему подняли категорию, к четвертому вернулись сосланные в деревню дети, пятый после реабилитации подыскал себе пару, женился, шестому сегодня закрыли дело, а назавтра он уже начал собираться в загранкомандировку.

Взошла счастливая звезда? Тогда отчего же мне не по себе? В тот вечер, когда мы поглощали пельмени, мои мечты, тяготение, любовь к прекрасному, только-только пробудившиеся в университете, разбились вдребезги, как тот термос в железном футляре, с грохотом сбитый со стола пятнистой кошкой. Наивно, мелко, хило, мелкобуржуазно... Если уж сам создатель картины в таких выражениях растаптывает ее, отказывается от нее, то что говорить обо мне, еще более наивном, слабом, жалком? К чему мне университет? Зачем я сблизился со всей этой компанией Цзиньхун? В деревне съедал по шесть мисок лапши, взваливал на спину мешок с рисом в 360 цзиней весом, под проливным дождем копал ямы для саженцев, разгружал на ветру негашеную известь и цемент, по шесть часов трясся на тракторе весь в пыли, от которой не было спасенья, вечера напролет в мужском общежитии выслушивал грязные, скотские байки про баб... А может, так оно и лучше? Ну его, это искрящееся озеро, эти трепещущие ветви ивы... По-настоящему реально и весомо не прекрасное, а пошлое — все эти немытые бутылки, креветочный соус и горчица, блат и взятки, сигареты «Феникс» и водка «Маотай»... Пока я «перевоспитывался», отец таскал бригадиру табак и спиртное, ну, носил и носил, а сам весь дрожал, будто не подносит, а ворует,— так не лезь, коли не можешь!

«У озера» рисовал «белый спец», а стал водку таскать да ухо к скуле пририсовывать — признали художником! Ну не бред ли? Ах, мука-то какая! Мука приходит с пробуждением, спящий счастлив. Когда-то папа любил повторять одну фразу, ка-

[1] Намек на проходившую в тот период дискуссию по поводу оценки «культурной революции»: тогда подчеркивалось, что ее не следует отрицать полностью.

жется, из советского фильма пятидесятых годов: «Уснуть навеки — это счастье!» О, презренный человек! Не будь сброшена «банда четырех», не имей я возможности поступить в вуз — хотя бы даже попытаться,— не коснись папы новый политический курс, не начни мы «раскрепощать сознание», заполняй по-прежнему нашу жизнь каждодневный выматывающий, первобытный труд, живи вся наша семья в постоянном страхе, являйся мы каждые несколько дней на собрания, выворачивая на них душу, то одно шельмуя, то с другим борясь, не помышляй мы ни о какой модернизации, не пустись в погоню за производственным и научно-техническим уровнем Запада, а продолжай пребывать в блаженной уверенности, что мы от века пуп Земли, не будь у нас всех этих реабилитаций да амнистий, не начни мы дискутировать о критериях истины, а млей перед одной-единственной великой мудростью... быть может, оставался бы я весел и доволен! Не дотягивая до верхних, приподнявшись над нижними — все лучше, чем когда тебя в наручниках уводят с публичного судилища! Три-четыре годика повкалывал бы и вылез куда-нибудь, не удалось бы стать «учащимся из рабочих, крестьян, солдат» — пошел бы торговать мясом, брить головы, жарить блины, заколачивал бы по сорок юаней в месяц, получил прописку в городе, лимитную книжку, талоны на промтовары, зерно, рыбу; слямзил бы у папы из студии пару листов пятислойной фанеры и заказал толстяку Чжу что-нибудь из мебели, а то и приобрел бы комод на пять отделений, а тем временем подыскивал себе пару, не ту, так эту, сговоримся — поженимся, а нет — так и привет. Забредали бы в гости соседи то слева, то справа, а связи — это все. Захмелев, бросали бы на пальцах, кому опорожнить стаканчик, а к рассвету проигравший, напялив дурацкий колпак, лез бы под стол, пил ледяную воду... Простучав до утра в маджан, потом можно было бы отправиться на собрание критики и заявить: «Если такое можно вынести, то что же тогда невыносимо? О, сколько яда в этой душе!» [1]

Но когда открываются глаза, когда все дальние уголки озаряются солнцем, когда люди и факты предстают в истинном свете — мириться со всем этим уже нельзя.

Семья переехала в центр провинции, поселилась в многоэтажном доме, отец стал больше смеяться, больше читать, больше размышлять и как-то весь разогнулся... Покорно барахтаться в человеческом море — смешно! Каждые две недели, в «большое воскресенье», так я называю его про себя, я заявляюсь домой, пусть даже это и не помогает отыскать общий язык с родителями. Папа и мама все подбираются ко мне с разговорами, крутят вокруг да около, наставляют: во-первых, не перебарщивать с «политической фрондой» (смешно, игрища с дацзыбао никогда меня не привлекали), во-вторых, приятельниц выбирать осмотрительно, ибо молод еще. А сами рассказывали, что влюбились в двадцать, в двадцать три поженились. Как-то раз папа, волнуясь, запел свои еще с пятидесятых годов, со школы, любимые песни — «Споткнулся, ну и что», «В сплочении сила», «Слава свету», «Молодые горячие сердца», «Зацвела малина», принялся вспоминать о временах, когда певал их, о той эпохе, той жизни, той пламенной юности. На глазах выступили слезы, к лицу прилила кровь, в великую эпоху жил, сказал он, а сейчас — сейчас пришла вторая весна. Совсем другим, молодым увидел я отца. Но когда ему в голову пришла дикая мысль предложить мне выучить все его излюбленные песни, я возмутился. Почему я обязан любить их только потому, что они нравятся тебе? Когда пел их ты — и когда живу я? Вслух же я ответил ему так:

— Ты, папа, лучше послушай мои школьные песенки!

И запел: «Не только солдаты изучают три почитаемые статьи...» Его потерянный, сердитый и какой-то беспомощный вид доставил мне массу удовольствия.

Я люблю прозу Чехова, стихи с грустинкой пописываю. Пошлая, дикая, до чего же дикая жизнь. Иногда я смотрю вокруг как бы через чеховское пенсне, и чувствительная, тонкая, благородная душа открывает и прозревает всю пошлость мира. Вот, скажем, профессор Ли, косноязычный и нетерпимый к любым сомнениям в истинности его суждений, читает нам курс двадцатипятилетней давности — разве это не пошло? Клубится пар над кастрюлей, столовую заполняет запах вареной репы, студенты, выстроившись у раздаточной, стучат по эмалированным мискам палочками для еды — это тоже пошло. В читальном зале чихают, у кого-то изо рта пахнет ау-

[1] Слова Мао Цзэдуна, направленные против Лю Шаоци.

ком или чесноком — пошло. Идет фильм, а два соседа бьются за подлокотник, чтобы пристроить локоть, и жмут друг друга, и толкают — пошло. Слишком жестко торчит или, наоборот, засален воротничок, грязен или вызывающе свеж носовой платок, один не следит за одеждой, другой опережает моду, тот вечно бубнит гонконгский шлягер, этот вовсе ничего не может спеть, кто-то только и болтает что о заграница, а кому-то и подумать о ней страшно, один знает назубок все марки легковых автомобилей, другой шарахается от «тоёты», одному всюду видится «недораскрепощенное» сознание, другого мутит от всего нового, то мужчина жеманится, как девица, то, наоборот, нахален и груб, тут видишь мужеподобную бабу, там какую-то псевдоаристократку, осененную талантом и красотой, этакую бесценную яшму, озарившую лачугу плебея,— все это пошло, пошло... Люди, я люблю вас, но живете вы так пошло! Не забраться ли, всерьез подумывал я, в заоблачные выси, чтобы обратиться к миру с этаким чеховско-фучиковским кличем, да еще мужественным баритоном, вроде как у певцов Лю Бинъи или Вэй Цисяня.

Но к кому я обращусь? Где? И тогда я написал стихотворение под названием «Утрата», в котором были такие строки:

Звучит в душе безрадостный мотив,
Его аккорд печальный — это ты.
Фальшь бытия открыло время мне,
Оставив сердцу холод пустоты.
Вчерашнее навек захоронив,
Прощай, тебе скажу я, и прости.
Я — утлый челн среди кипящих волн,
Не ведающий своего пути.
Но верую — настанет яркий день,
Вернется ласточка, когда растают льды.
Весна необретенная моя,
С тоской к тебе взываю: о, приди!

Может, и вправду что-то во мне есть, подумал я, когда закончил стихотворение. Позвонил папе — он процветает, едет в Пекин на какое-то совещание. Проводить не смогу, сказал я, времени нет, но свой скорбный стих все же послал ему почтой, приписав: «До чего же опошлилась вся ваша жизнь, да и вы сами!»

Ответ пришел незамедлительно, да такой, что поверг меня в изумление — папа, оказывается, тоже стихи пишет. Вот что он прислал мне:

Как все знакомо! Уж не я ли,
Исполнен скорби мировой,
Пою надежды и печали?
Мое бессмертье, мальчик мой,
Жизнь жаждет подшутить над нами,
Но не гаси душевный пламень,
Люби ее, как есть, такой —
Безжалостной, коварной, злой.
И устреми свой утлый челн
В кипенье океанских волн!
Она запугивает слабых.
Но под тобой коняга славный —
Скачи за яркою звездой...
Прощай, беспечность и покой!
Взывай же к солнцу и ветрам —
И жизнь падет к твоим ногам!

После такого стихотворения я отпросился с занятий и бросился домой — и наткнулся на ссору родителей из-за какого-то пустяка. Собирая отца в дорогу, мама не положила в чемодан его любимый старый френч. А он без этого френча не может. Пришлось признаться, что она распорядилась им по-своему: мы ведь уже не в захолустном городке, а в центре провинции, и ты еще в Пекин собираешься — в этом старье тебя примут за просителя. Ну, и что в том плохого — быть просителем, спросил папа, чем это унизительно, нельзя, начал заводиться он, забывать о боли, чуть только затянутся раны, нельзя презирать тех, кто просит. Не вали все в одну кучу, возразила мама, и вообще ты скупердяй, на новый синий френч жалеешь тридцатку.

Но пора нам вернуться на художественную выставку, в тот весенний день 1980 года, когда моросит мелкий дождик и я уже не таков, каким был год, два, пять

лет назад. Пенсне Чехова и его вальяжный (как мне представляется) голос уже не так влекут меня. Попади Чехов в наш городок, только вздохнул бы. Что бы он сумел здесь изменить? Впрочем, не пошло ли — во всем видеть только пошлость?

Все, что положено выполнять рядовому — не из лучших, но и не из худших — студенту, я делаю. А душа полна скепсиса. Даже по поводу самого этого скепсиса. Вот так-то. Осмотр выставки подходит к концу. Каждым произведением я насладился — с некоторого расстояния, чтобы какое-нибудь из них ненароком не захватило меня. Как чарует портрет прелестной девушки с бликами света в растрепавшихся волосах! Чистый ангелочек... Да только где они отыскали такую куколку? Ей что, не хочется иногда поплакать? Перехватить на ходу что-нибудь вкусненькое? Она не капризничает, никогда не раздражается, не завидует? Или вот большой мост, обуздавший реку,— он же противоречит принципам механики и строительной науки! Впрочем, разве только дипломированным инженерам можно рисовать мосты? А эта премилая панда, ни на что не способная, кроме как поглощать нежные листики бамбука,— и это символ Китая? Старый крестьянин с морщинистым лицом, о, поразительные морщины, они замечательно выписаны, но это же атрибут вчерашнего, а то и позавчерашнего дня, а нам необходим день сегодняшний и завтрашний. Устрашающе надулся громадный петух, печатает шаг, точно командир куриных гвардейцев, ведущий своих кур на парад,— как комична его торжественность. Благолепный март в прибрежной деревушке на юге: неизменная зелень, благоухающая круглый год, все те же розовые абрикосы (и эта неизменность только подчеркивает скуку и монотонность). Парус рыбака, чайки над волной, море кипит, белые брызги взлетают над камнем у берега и опадают бессильно, а камень не шелохнется. Перед исполинским зверем, только что выдолбленным из глыбы, пал ниц древний каменотес. Картина эта называется «Вечность», что же здесь вечно — этот холодный, причудливый каменный исполин?

— Весьма интересно, весьма,— оценил Цзиньлин, покидая выставку и выходя на улицу, где уже выглянуло солнце и сразу потеплело.— Далеко шагнули художники, начали самостоятельно видеть и мыслить, вот, скажем, эта картина, «Июль», сколько страсти, взглянешь — душу обожжет!

— Тебя к этой картине, должно быть, привлекли ножищи девчонки? — съязвил Кузнечик.— Огромные, как лодки!

— Пошляк! — И Цзиньлин отвернулся, демонстрируя свое нежелание пререкаться с таким вульгарным типом, замурлыкал привычное «Весна, о, весна», но вдруг, вспомнив нашу недавнюю перепалку, бросил взгляд на меня.

— Не понимаю, с чего это вдруг ноги стали пошлостью? Попробуй-ка шагнуть без ступни? Или ты считаешь, что мозольные операторы в банях — наипошлейшие в мире люди? Коли так, к кому прикажете с мозолью обращаться?

До чего же Кузнечик любит спорить! Мыслит живо, но бессистемно. Цзиньлин отошел подальше и заявил, что произведениями искусства следует наслаждаться, а мозоли тут ни при чем. Чанцзян примиряюще предложил всем мороженое, мы обрадовались, но он нашарил в кармане лишь 27 фэней, пришлось мне добавить недостающие три. У обочины зашлись в перебранке два велосипедиста, соскочив со своих машин; один другого, наверное, зацепил колесом. Проскочил мимо некто в черной кепочке, очках-жабах, даже не содрав с них ярлычка, в клешах ахового фасона, с магнитофоном внушительных габаритов, но с одним динамиком, в котором скрипела и трещала раз сто перезаписанная песенка. Нет на выставке, осуждающе заметил Мэтр Шао, ни одной весомой работы. А что он имеет в виду под «весомой работой», поинтересовался я, или художественные произведения оценивают по весу? Цзиньлин повернулся к Цзиньхун — когда же в Китае появится свой Пикассо, а та пошутила, что мэтра Пикассо, конечно, не будет, но Мэтр Шао — перед вами. После выставки, высказался Чанцзян, не таким уж и плохим показался мне наш мир. Кузнечик, развивая мозольный вопрос, связал его с недавно нашумевшим рассказом, в котором героине, любовавшейся красными листьями, герой сообщает, что тут неподалеку, метрах в двадцати, продается окунь. Ах, сколь возвышенна героиня, ох, сколь пошл герой! Все немедленно разбились на фракции. Цзиньлин стоял на том, что глупо лезть с какой-то рыбой, когда человек упивается красками осени. Очарования осеннему дню только прибавится, решил Мэтр Шао, если минут двадцать полюбоваться, а затем купить пару цзиней окуня, ведь все зависит от времени, места, условий, так что ошибка героя — в том, что он не подождал эти двадцать минут. А вдруг,

подумал я, через двадцать минут все распродадут? Ест ли вообще героиня рыбу? — вот в чем, по мнению Кузнечика, ключевой вопрос. Коли не ест, значит, у нее что-то с желудком, и надо немедленно обратиться к врачу. А если обожает не меньше, чем красные листья, то нечего других упрекать, что только о еде думают. К тому же, добавил Чанцзян, спрос на окуня пока не удовлетворен, и если бы он сам любовался красными листьями, а его возлюбленная сказала, что тут рядом продают рыбу, он бы сразу встал в очередь и купил, а листья бы не убежали.

Спросили меня, но я сам еще не разобрался. Как бы, подумал я, к этому отнесся Чехов? Вряд ли ему захотелось бы встать в очередь, но, с другой стороны, его ослабленный болезнями организм нуждался в животных белках. Так что отведал бы, из уважения к кухарке, отстоявшей очередь, ведь ел же из вежливости крыжовник и устриц, которых терпеть не мог. Да, кто-то должен был для него ловить, покупать, жарить рыбу. А вот мой отец — тому ничего не стоило отвернуться от красных листьев и помчаться за окунем, как герою того рассказа. К счастью, мама не походит на эту героиню, в противном случае что удержало бы семью от распада? Ну, а я сам? Красные листья я люблю и не хотел бы, чтобы из-за какой-то рыбы мне мешали любоваться ими, однако не откажусь, если время от времени к обеду в столовой или дома станут подавать хорошо прожаренного окунька.

Обратились к Цзиньхун, а та рассмеялась:

— Мы еще не дожили до того дня, когда окунь будет доставаться без хлопот. Но неужто вы всерьез решили, будто та парочка поссорилась из-за рыбы? Нет, нет и нет, все наоборот, у них любви не было, а попало рыбе. Окунь получил лишь то, что предназначалось человеку. Против чувства не попрешь. Вот о чем надо бы подумать.

И все тут же заткнулись, увидев, как глубоко она копнула. Тогда Кузнечик принялся подсчитывать, сколько минут осталось до обеда. А Цзиньхун вдруг поворачивается ко мне:

— Я разочаровалась в тебе!

— Ну? — недоумевающе вскинулся я.

— Все надеялась, что ты заметишь одну вещь, а ты проскочил мимо.

— Ну?

— Да я же ради тебя и позвала всех вас на выставку!

— Ну?

— Те каменные скульптурки, ну, твоего отца.

— Ну?

И она рассказала, что там экспонируются новые работы отца, четыре фигуры из камня. «Конь», «Кит», «Лев» и «Сова» — лучшая из них. Простые, бесхитростные линии, издали скульптуру можно принять за большой белый клубень батата. Глубоко запавшие глаза — две полукруглые впадины. Светлые, с искорками, влажные, полные неугасимой жажды жизни и надежды. До чего они глубоки, до чего глубоки! Прямо озера, моря! Вместившие весь наш мир со всей его историей.

— Печаль и радость своего поколения, славу и позор, мудрость и страдания пережитого... все, что только может быть, он вложил в них! — воскликнула Цзиньхун.

И спросила:

— А ты прошел мимо? Вовсе не заметил?

Вот так-так! Я вспыхнул, как от пощечины. Отец что-то такое говорил, просил меня помочь привезти камни, а я пропустил мимо ушей.

— Вот не думал...— протянул я.— Он казался мне таким пошлым, мелким.

Цзиньхун укоризненно покачала головой.

— Нет,— возразила она,— ты его не понимаешь. Видимо, он совсем не такой, каким ты его увидел и изобразил нам. Может быть, все свое воображение, все эмоции он отдал творчеству и поэтому в повседневной жизни кажется усталым, вялым? Такое бывает. Мне тоже когда-то казалось, что старое поколение обмануло мои надежды. Но в итоге...

В итоге я проглядел новые работы отца! Новые работы, перед которыми не смогла не склониться даже Цзиньхун, ах, я безглазый! Видел же я какие-то серенькие камушки, затерянные в углу, и еще собирался подойти поближе, рассмотреть, да что-то отвлекло, вот слепец.

— Нет,— оборвал я ее,— вернусь и посмотрю...

— Не психуй,— остановила меня Цзиньхун,— после обеда есть дела.

В следующее воскресенье забегу домой, обстоятельно поговорю с отцом. Если только он не уйдет за каким-нибудь соевым творогом или не ввяжется в очередную перепалку с мамой. Начну с глазниц совы. Надо разведать глубины этого озера, не ограничиваясь созерцанием пузырьков да ряби на поверхности. Пусть временами он и занят соевым творогом или переругивается с мамой, пусть некогда пририсовывал ухо к скуле и подносил водку бригадиру — ведь отыскал же он когда-то свое место в жизни и сегодня нашел вновь, у него есть своя «яркая звезда», как он писал в том стихотворении. А у меня?

Много ли в мире отцов, достойных сыновнего уважения? Своих родителей мы обычно считаем жалкими, устаревшими, трусоватыми, нудными, трудившимися напрасно, прозябающими в безнадежно пошлой жизни. В общем-то они, конечно, отстали от эпохи, от веяний времени, жизнь вот-вот отбросит их прочь, если уже не отбросила. Их головы, считаем мы, забиты никому уже не нужным опытом, старыми рецептами, надоедливым брюзжанием, делами давно минувших дней, списками погибших родных и друзей, номерами денежных вкладов, укрепляющей настойкой... Не утратили ли они способность воспринимать новое? Могут ли понять нас, юных,— неоперившихся ласточек, орлят с подрезанными крыльями... одуванчиков на ветру, только-только политую ботву... низвергающийся водопад, поток среди скал... закукарекавших спозаранку петушков, цыплачков ощипанных... фейерверк в небе, искорки от дымящихся, еще сыроватых поленьев... стебли с набухшими бутонами, обкусанные мошкарой лепестки?

Бог мой! Ну и фразочку я выдал, слов в сто, не меньше — да от нее любой папаша позеленеет! Не сердитесь, папа, я протру вам виски «тигровой мазью»...

Сейчас, правда, освежающая мазь требуется мне самому — ходил-ходил, а глубоких глазниц папиной совы не заметил. Нет мне оправдания.

Около университетских ворот мы расстались, чтобы отдохнуть минут двадцать, а потом вместе идти заниматься в читалку.

Но как же они все-таки выглядят, эти глазницы?

Пурпурная шелковая кофта из деревянного сундучка

Эта старая женская кофта из тончайшего шелка на самом деле была еще совсем новой. Старой я называю ее не столько из-за устаревшего фасона, сколько потому, что она покоилась на дне хозяйского сундучка двадцать шесть лет, а ведь если для женщины двадцать шесть — яркая и неповторимая весна, то для одежды — возраст весьма почтенный. Новой же кофта осталась оттого, что по-настоящему-то ее и не носили, не довелось ей ни украшать свою хозяйку, ни защищать ее от лучей солнца и пыли мирской. В общем, когда могла, не служила, что должна была дать, не дала. И вот этому красивому наряду стукнуло двадцать шесть.

На нее приятно было взглянуть — все такая же свежая и привлекательная, как двадцать шесть лет назад, когда, только-только сойдя со станка, попала она в мир, к своей хозяйке.

— Да, явная реакция окисления,— услышала кофта, но не поняла, потому что, надев однажды, ее заточили в деревянный сундук, и не довелось ей вместе с женщиной побывать в лаборатории. А хозяйка, как успела узнать кофта, преподавала химию в школе.— Долго не носила, вот и началось тление! — пробормотала женщина на этот раз так тихо, что, будь кофта сшита не из тончайшего шелка, а из грубого полотна, она бы определенно не расслышала.

Вот так из уст собственной хозяйки донеслось до нее это противное словечко «тление».

Правда, угрозы в нем кофта пока не распознала. Она оставалась такой же пурпурной, мягкой, переливающейся, изысканной — такой славной. Орнамент из фениксов и бамбуковых листьев, утонченный, как ее зауженная талия. А какая необыкновенная ткань: легко спрячется в маленьком женском кулачке, а наденешь — на плечах словно плотная, теплая фланель. А эти элегантные, типично китайские застежки! Искусные руки были у прелестной сучжоуской мастерицы.

Лишань купила кофту в пятьдесят седьмом. Перед свадьбой они с Лумином пошли в магазин. Лумин сразу заприметил красивый наряд и хотел тут же купить его, но невеста посмотрела, повертела, покрутила и ушла в другой магазин, а потом еще в один и еще в один, опять вернулась в первый, битых полтора часа вертелась у прилавков, пока все же не приобрела эту самую, высмотренную Лумином, кофту. Жених, конечно, не ворчал — это были сладостные полтора часа! Много ли таких выпадает в человеческой жизни?

В свадебный вечер кофта была на Лишань, а с утра по-летнему пригрело солнце, так что обнову пришлось снять, аккуратно сложить и убрать на самое дно старого сундучка из камфарного дерева — его только и смогла мама дать в приданое своей единственной дочери.

А вскоре Лумин исчез — на долгие годы.

Вот с того самого лета, когда исчез Лумин и в мире что-то переменилось, о чем кофта даже не подозревала, ей и суждено было тихонько лежать-полеживать на дне сундука.

В конце концов Лишань повезло — ей позволили отправиться к Лумину в некую, весьма отдаленную деревню. Перебрав перед отъездом все те вещи, что некогда бережно уложила в камфарный сундучок, она рассталась и с платьем соломенного цвета, и с темно-серым костюмом Лумина, и с белоснежной вышитой нижней юбкой... Со всеми старыми приятелями пурпурной кофты. Разлука с ними угнетала, и кофта почувствовала себя одиноко и тоскливо. А новоселы сундучка, эта меховая безрукавка с резким и заносчивым запахом, да непромокаемые парусиновые штаны, вторглись совершенно бесцеремонно, даже не поклонившись, и показались ей чужими и грубыми.

Но кофту Лишань взяла с собой. Хотя с того самого раза надеть ее так и не довелось. И не только по трудноообъяснимым причинам, которые заставляют женщин выбирать тот, а не иной наряд,— просто подошли шестидесятые годы, у Лишань уже бегал малыш, так что одежда, рассчитанная на изящную талию, оказалась теперь не впору.

К счастью, оставался еще кофейного цвета галстук, попавший в сундук до свадьбы и так и не побывавший на шее Лумина, ибо в торжественный день тот повязал себе другой, розовый с косыми полосками. Вместе с сундучком, меховой безрукавкой, парусиновыми штанами, рукавицами, толстой шапкой на вате и, разумеется, с нашим пурпурным нарядом галстук отправился в далекую деревню, и это несколько скрасило одиночество изящной кофты, но оказалось явной оплошностью Лишань. В такой компании галстуку, конечно, было не место.

Летом шестьдесят шестого, еще более жарким, чем предыдущие, как-то вечером, когда вокруг все затихло, Лишань с Лумином открыли камфарный сундучок, вытряхнули содержимое и сразу же наткнулись на галстук.

— Зачем ты привезла эту штуковину? — испугался Лумин, словно схватил не галстук, а змею.

— Да ладно тебе,— каким-то чужим, не своим голосом пробормотала Лишань.— Я найду ему применение... Вот у меня как раз ремешок порвался.

И она повязала галстук на талии. Пурпурная кофта заметила, как содрогнулся ее старый приятель — то ли от радости, то ли от огорчения.

Тем временем Лумин увидел кофту:

— Та самая? А с ней что станем делать? Тоже ведь «четыре старья»![1]

«Какая же я старая? Раз всего и надели! Я прекрасно сохранилась! В камфарном сундуке не может быть моли. Нет, вовсе я не старая и ни к какому «старью» отношения не имею»,— подумала кофта.

— Все равно оставлю ее,— твердо заявила Лишань, и голос уже больше походил на ее собственный, чем когда она мямлила про галстук, превращенный теперь в пояс.— Запрячу так, что никто не найдет.

— Боюсь, не носить тебе ее больше,— успокаиваясь, заметил Лумин и погладил Лишань по плечу.

— ...Оставлю ее. Быть может...

О чем это она? До пурпурной кофты дошло, что ее будущее каким-то образом

---

[1] Словосочетание периода «культурной революции», когда хунвэйбины принялись разрушать «старые идеи, культуру, обычаи, привычки».

связано с этим «быть может», но как именно, она не поняла. Для вещицы весом всего в два ляна слишком неопределенное, труднопостижимое понятие.

— Долго не носила, вот и началось тление,— пробормотала Лишань, но Лумин не расслышал.

Не надо тления, пусть лучше «быть может»! — беззвучно молила пурпурная кофта.

Дни шли за днями, и вот к ликующим Лишань и Лумину пришла вторая весна. Они возвратились на прежнюю работу. Вернулось к жизни множество красивых вещей, и множество замечательных нарядов новых фасонов и расцветок, сшитых из новых тканей, появилось на свет. Лумин теперь часто ездил в командировки, даже за границу, и своей Лишань навез из Шанхая, Гуанчжоу, Циндао, Парижа и Гонконга немало замечательных нарядов.

С окончанием сезона вещи водворялись в камфарный сундучок, не ведая печали, а наоборот, сияя счастьем.

И замирали при виде пурпурной кофты.

— Как вас величать? — беззвучно вопрошали они.

— Пурпурная,— отвечала она так же беззвучно.

— Откуда вы родом?

— Из Сучжоу.

— Сколько же вам лет?

— Двадцать шесть.

— Вы, бабуся, настоящая долгожительница! — наперебой изумлялись шанхайская комбинация, гуанчжоуская юбка, циндаоский плащ, парижская жилетка и гонконгские чулки.

Грустно становилось пурпурной кофте, и, видя это, они больше уже ничего не говорили ей на своем беззвучном языке.

А Лишань словно понимала ее: бывало, уложит очередную обнову, закроет крышку, а потом опять откроет, достанет кофту и держит в руках, любуясь. И кофта слышала ее мысли: «Нет, эта вещь мне дороже всех красивых новых нарядов».

А вслух она произносила:

— Когда-нибудь, потом...

Скрытый смысл этого «потом» пурпурной кофте был яснее, чем «быть может», она понимала его, исполняясь надеждой, обретая успокоение. В уюте и неге полеживала кофта на дне сундучка. Она верила своей хозяйке и чувствовала, что в ее «потом» кроется многое. Она больше не вздыхала над своей долей и никогда не завидовала новым соседям, хранящим аромат и тепло Лишань. Ох уж этот мне гонконгский товар, эластичные чулки без пятки, всего-то раз Лишань и надела их, а уже с дыркой. Пурпурная кофта усмехалась молча, ибо ей можно было не объяснять, что перед лицом модной гонконгской штучки следовало проявлять сдержанность.

А Лишань это «потом» связывала со своим малышом. Дочери у них не было, только сын, не знавший горя, хотя жизнь потрясла родителей по ухабам. Сызмала мальчик был достаточно обеспечен протеинами и любовью, игрушками и учебниками. Он давно открыл для себя существование маминого сундучка с одеждой и однажды, когда ему шел восьмой год, спросил:

— Мама, какая у тебя красивая кофта! Почему ты ее не носишь?

Лишань только тихо улыбнулась, ничего не объяснив сыну, ей не хотелось, чтобы малыш слишком рано соприкоснулся с болью, ранившей взрослых.

— Вот подожди,— иногда говорила она,— вырастешь, я отдам ее тебе.

— Мне?.. Но это же девчачья! — отвечал сын, и в голосе как будто слышалось сожаление, что не для него эта чудесная вещь.

Мама смеялась, но с какой-то лукавинкой.

Затем у сына появились свои заботы, свой ранец, свои друзья, своя одежда, и он больше не вспоминал о маминой кофте, похороненной на дне сундука.

Потом сын вырос. Поступил в университет, пошел работать. Потом у него появилась подружка. Потом они решили пожениться.

Вот об этом-то и думала Лишань, когда шептала свое «потом».

За несколько дней до свадьбы был распахнут камфарный сундучок, и со дна его осторожно извлекли пурпурную шелковую кофту.

— Как ты считаешь, смотрится? — спросила Лишань сына.

«И откуда только берутся такие диковинки?» — подумал сын, но вслух ничего не сказал. А то, что люди думают, но не произносят, никто и не слышит, кроме шелковистых одежд.

Чего ждала мама, сыну было ясно, и, улыбнувшись, он поспешил ответить:

— Отлично.

— Подари своей невесте,— сказала Лишань,— только раз я и надела ее, когда была молодая.

А думала Лишань в этот момент вот что: «Это память о моей свадьбе и о моем девичестве, всего-то три часа она пробыла на мне, а сопровождала двадцать шесть лет».

Пурпурная шелковая кофта услышала и произнесенные и непроизнесенные слова и безумно обрадовалась — какой еще одежде суждено такое счастье? Стать памятью жизни, весны, любви сразу для двух поколений!

Сын взял кофту, отнес невесте. Та приподняла ее за ворот, прикинула — как раз, и переделывать не надо. Девушка была чуть выше мамы, но по теперешней моде одежде не полагалось быть свободной и длинной — скорее облегающей и укороченной, и эта кофта словно специально была создана для невесты сына.

— Оказывается, моя настоящая хозяйка — ты! Оказывается, моя настоящая весна — восьмидесятые годы! — возликовала кофта и заколыхалась от смеха, вспомнив, как дырявый гонконгский чулок назвал ее «бабусей».

— Нет, не нужна она мне, новых навалом, к чему еще эта старая ветошь? — заявила невеста и была, несомненно, по-своему права.— Ну, конечно, я благодарна твоей маме за ее добрые чувства,— добавила она через мгновенье.

У кофты прервалось дыхание. Она бросила взгляд на курточку и брючки невесты, слепящие множеством маленьких молний, и разинула рот — да, таких фасонов, тканей, такого щегольства она и не видывала, даже не представляла, что это возможно.

И наш пурпурный наряд возвратился к Лишань. Сын деликатно объяснил:

— Это ваша память, она должна оставаться с вами.

— Ну, и славно, вот славно-то,— облегченно рассмеялся Лумин и добавил, обращаясь к Лишань: — Мне было как-то не по себе, когда ты отдала ее.

Сын и его невеста получили от стареющих родителей другие, гораздо более ценные и не оставившие их равнодушными подарки — даже телевизор. А невеста связала маме шерстяной жакет. По моде восьмидесятых годов — элегантный и красивый, из объемной пряжи. Настоящая демисезонная верхняя одежда, и пальто не нужно.

Вечером пурпурная кофта перекочевала на спинку большой двухспальной кровати Лишань и Лумина. Она услышала их затаенные мысли, нежные и грустные, тяжкие и цепкие воспоминания — неотделимые, оказывается, от нее. Кофта была поражена. Но что происходит? Лишань и Лумин тихонько себе разговаривают в постели, а на кофту капля за каплей падает что-то мокрое, соленое, горькое и очень горячее. Ах, это слезы, вдруг поняла она, слезы Лишань. И от этих слез оттаяла истомившаяся душа пурпурной кофты. Как она раскаивалась, что вдруг решила броситься на грудь незнакомой женщине, невесте сына, в компанию к этим модным, утыканным молниями нарядам. Нет, такой оплошности она больше не совершит, никогда не покинет Лишань и Лумина. Она вознаграждена, она достигла того, чего не достигает никакая одежда. Но почему ей так горячо, так жжет? Слезы ускорили реакцию. И вдруг до нее дошло: не такое уж это проклятье — окисление. Разве горение — не тот же процесс? Горят, источают свет и жар сердца всего поколения ее хозяйки. Так было, поняла кофта, еще до того, как она появилась в доме. И так будет.

Одежду положено носить, несчастна та одежда, которая никому не нужна. И все же самую дорогую обычно прячут поглубже в сундук. Даже примитивный гонконгский чулок здесь не станет спорить. Тем не менее Лишань, Лумин и наша пурпурная кофта сегодня как-то по-новому осознали это.

Так что героям этой истории — Лишань, Лумину и пурпурной кофте — не стоит ни роптать, ни жалеть, ни тем более завидовать другим судьбам. Долгие годы испытаний потребовали всех их душевных сил, но не отняли чистой мечты и надежды. И вот наконец сегодня мечты сбываются, испаряется слезинка, падающая на пурпурную кофту. Они обретают подлинное взаимопонимание, покой, счастье и будущее, которое день ото дня становится все прекраснее. Каждого из них согревают своя гордость и свое счастье. А пурпурная кофта — она перешла в иное качество. Закончится наше повествование, а реакция окисления будет медленно проникать в глубины ее сердца.

Оставим же ее тлеть на дне сундука...

◆

ТОРОПЦЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1940 г.)

Советский литературовед, киновед, кандидат филологических наук, переводчик с китайского. В его переводе публиковались повести и рассказы Ван Мэна, Цзян Цзылуна, Те Нин, а также переводы из китайской классической поэзии (сб. «Китайская пейзажная лирика». М., изд. МГУ, 1984).

ВЕСЛАВ МЫСЛИВСКИЙ

Камень на камень

РОМАН

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Хлеб

Когда весною начинали пахать, в самый первый отвал клали кусок хлеба. Ясное дело, не обычный, какой отрезают, чтобы съесть с молоком, или с огурцом, или так, без ничего. Этот кусок полагалось отрезать в сочельник и от непочатого каравая. Мать уже расставляла тарелки для постного ужина, отец зажигал фонарь, брал из сеней стремянку и отправлялся за этим караваем в овин, потому что хлеб у нас держали в овине, на стропильных схватках, там его продувало, плесневел меньше, ну и лежал высоко. Без лестницы не достанешь. Мы с Михалом не раз пробовали взобраться по столбу, на который посередине опиралась схватка, но никогда нам это не удавалось, а стремянка всегда стояла в сенях.

На столе был жур с гречкой, галушки с маком, пирожки с капустой, но все ждали, пока мать разрежет этот хлеб, точно не было лучше лакомства. И с хлеба начинался праздничный ужин. Мать прижимала каравай к животу и, перекрестив его ножом, отрезала сперва большую краюху, ту самую, для земли к весне, и только потом каждому из нас уже по обыкновенному куску и по старшинству: деду, бабушке, пока жива была, отцу, нам, ребятишкам, и под конец себе. Отец снова брал фонарь, относил краюху на чердак и засовывал за стропило высоко, под стреху, обычно в такое место, где было всего темней. И там этот кусок, точно спящий голубь, сидел до весны.

Едва который-нибудь из нас вырастал из люльки и мог с грехом пополам держаться на ногах, отец брал его с собою в поле, когда по весне ехал пахать. Там вынимал заветный кусок из белой тряпицы, и мы должны были положить его в отвал. Потом отец клал наши ручонки на чапиги, сам тоже брался за плуг, и мы вместе краюшку запахивали. Как рождались, по очереди: Михал, я, Антек, Сташек. Отец сразу приучал нас к пахоте. Не так держи, ровнее, посередке борозды шагай, когда земля сухая, глубже надо брать, а вырастут руки побольше, ты в этой еще вожжи будешь держать, а в той кнут. И не отгоняй ворон, пускай идут за тобой, когда человек один с лошадью в поле, с воронами вроде повеселей, а что склюют, то сызнова вырастет. И лошади всегда давай чуток передохнуть, перед тем как обратно поворотить. А кто это там на небе поет?

— Жаворонок, отец.

— Верно, жаворонок. А знаешь, откуда жаворонок взялся?

— Прилетел.

— Прилетел, само собой. Но шел однажды господь бог по полю, а там мужик пашет. Тяжело? — спросил его господь. Ой, тяжело, гос-

---

Окончание. Начало см. в № 7,8, 1986 г.

поди. Тогда взял господь комок земли, кинул в небо и сказал: пусть тебе поет, все будет полегче.

Мы, когда немного подросли, часто спрашивали у отца, что было бы, если б не давать этого куска хлеба земле. Отец сердито супил брови и смотрел так, точно дьявол нас подстрекнул, да еще призывал в свидетели мать:

— Слышишь, мать, что им, паразитам, в башку взбрело? Вот возьму палку и дьявольские мысли выбью. А ну, перекреститеся!

Мы испуганно крестились, Михал иногда целых три раза, но отец не успокаивался и отводил душу на матери:

— А ты мать и ничего не говоришь!

— Они ж дети, им про все еще можно спрашивать. А ты отец, возьми да объясни.

— Я своего отца ни об чем не спрашивал. Ни он своего. Слушать от нас требовалось, не спрашивать.— И злой на мать, что она его не поддержала, обращался к деду: — Спрашивал я вас когда-нибудь? Или вы спрашивали своего?

Но дед был уже страшно старый, а иногда в это время как раз ноги себе растирал, потому что вечно у него ноги ломило, оттого и не мог враз сообразить, хочет отец, чтобы он ему поддакнул или, наоборот, возразил, и обычно отвечал серединка на половинку:

— Ну, коли чего не знал, спрашивал. Но прежде другие были дети, а сейчас другие.

— Какие еще другие?! — набрасывался отец на деда. — Разве прежде не пахали, не сеяли, не косили и на той же самой земле? Э, да что с вами говорить. Видать, ум у вас уже забурел от старости.

На деда отец чаще всего злился. И по любой причине, а то и без причины. Дождь зарядит — он сразу на деда: чего у них ноги ломит и ломит, сколько может ломить. Раз ветер повалил у нас за овином тополь, так то же самое, на деда: нет чтобы ясень или вяз посадить, посадил тополь, а это не дерево, дерьмо, ни смастерить из него ничего, ни на растопку пустить, горит как солома. Или однажды задавил отец цыпленка, цыплята вылезли из лукошка из-под наседки и разбрелись по горнице, тоже дед оказался виноват — оттого что на лавке сидел, а не как всегда у плиты, и пришлось его обходить. А все, должно быть, из-за этих бумаг, которые дед где-то зарыл и не мог вспомнить где. Или потому, что дед уже не обижался ни на чью злость. Можно было вволю на него злиться, а он только глядел на это злобство, словно куда-то в небесную вышину, или не слыхал ничего. И мы, ребята, иной раз на нем срывали злость, потому как знали, не возьмет дед палки, и не прогонит нас, и отцу с матерью не пожалуется, и обиды на нас не затаит. Иногда даже вытащит из кармана грушу или сливу и нако, Шимусь, нако, Михась, желтенькая, сладенькая, скушай и не злись.

Правда, на отца как внезапно накатывала злость, так внезапно и проходила. Он доставал кисет с махоркой, сворачивал самокрутку и начинал объяснять, что бы было, если б не дать этого куска хлеба земле.

— Несчастья б посыпались. — И расписывал их нам, начиная с того, что земля б могла быльем порасти, потом перечислял дожди, грады, морозы, засухи, мышей, саранчу и другие напасти и заканчивал самым страшным: что земля могла б навечно перестать родить, потому как обратилась бы в камень. А еще к этим отцовым несчастьям добавлял свои дед. В несчастьях дед даже больше отца знал толк. И не потому только, что дольше жил. Он еще на помещика работал и в царской армии служил, и раз паводок унес все его добро, а в другой раз от молнии все сгорело дотла. Так что земля, вода, война — для деда все было едино. Только отец не очень-то давал ему себя перещеголять в рассказах о несчастьях. Стоило деду начать:

— Раньше...

Отец сразу:

— Чего там раньше. Давние беды с нонешними не сравнить. Вы на помещика работали, и беды были помещиковы. А в армии — то же самое, хлеб пайковый, есть он, нету, солдат получить должен, иначе не пойдет в бой. А тут земля своя. Отступишься от нее, она тебе не простит. И грянут беды, как в Священном писании или у царицы Савской. Зазря, что ли, были пророчества?

Даже мать, случалось, защищала нас от этих бед:

— Да не стращай ты их. Малые ж еще дети. Вырастут, свои заимеют несчастья, на что им твои? Только не смогут заснуть.

Сташек и тот иногда просыпался в люльке и на всю горницу подымал рев, словно ему приснилась которая-нибудь из отцовых бед. Сколько его потом ни качай, не помогало, еще сильней закатывался. Приходилось матери ему ревущий рот затыкать соском.

Я еще мало чего знал о хлебе, кроме одного: то он есть, то его нету, и когда есть, хороший, а когда весь подъедим — еще лучше. Пока был, мы знали: кончится одна коврига — отец пойдет в овин и принесет другую. И мать, когда резала, еще спрашивала: сколько тебе отрезать? Глазами-то полкаравая бы съел, а так ведь не доешь и бросишь собаке.

Но бывало, до весны еще далеко, а отец приносил последнюю буханку и говорил, что последняя. И потом мы неделями не видели хлеба. До самой пасхи, потому что мать всегда оставляла к пасхе муку хотя бы на пару ковриг, как же иначе, Иисус Христос воскрес, а мы без хлеба. И на одну-две к жатве, чтобы сила была. А все остальное время жили только прежним вкусом хлеба. Снился нам этот хлеб наяву и во сне. Тосковали мы по нему, словно по близкому человеку. А хуже всего было вечером, потому что вечерами хлеб являлся как дух. Вдруг повеет хлебным запахом, точно кто-то прошел под окном с буханкой под мышкой или у соседей вытаскивают хлеб из печи. Иной раз само с языка срывалось:

— Ой, хлебом откуда-то пахнет.

Но отец, который все время следил за нашими мыслями, только чтоб мы о хлебе не думали, сейчас начинал спор:

— Откуда тебе пахнет? Небось, у Мащиков солому жгут, а то нечем больше топить. Или Дерень с утра навоз выгребал, а навоз иногда хлебом пахнет. Особенно конский. — И потягивал носом: мол, он ничего не чует. Даже подходил к двери, открывал ее и впускал воздух: ничем не пахнет. Иногда еще в доказательство спрашивал деда: — А вы чего-нибудь чуете?

Дед тоже ничего не чуял и поддакивал отцу, что не чует.

— К оттепели, должно, повернуло. У меня с утра по ногам мурашки, чтоб их нелегкая, бегают. И кусачие такие, видать будет перемена, ой, будет. Как там, не поднимается ветер? Ветер — он еще не то пригонит. Кабы хлеб пекли, так разве что у Врон, а Вроны с востока, а ветер к перемене всегда с запада дует. Раз турки в своих окопах ели хлеб, а мы в своих чуяли, аж животы подводило. Ой, хлебом далеко несет.

Одна только мать верила, что я почуял запах хлеба — иначе б зачем говорил? — и сразу же гнала меня спать:

— Спать пора, ляжешь и заснешь. Не думай о хлебе, сынок.

Потому что и она, сметая со стола, случалось, подставляла ладонь и смахивала в нее будто бы хлебные крошки. И даже шла, отодвигала печную заслонку и бросала эти крошки в огонь.

Раз у меня нечаянно вырвалось:

— Мама, нету у нас хлеба!

Тогда отец, который сидел у стола и смотрел в окно, как набросится на меня:

— Чего орешь, горлодер?! Кидает и пускай кидает! Смахнула, вот и выбросила! Хлеб всегда в огонь кидают! А не то грех! — И даже вскочил в сердцах, прошелся взад-вперед по горнице, а потом вылетел во двор.

Не знаю, отчего он разозлился, не так уж и громко я сказал. Может, из-за одного того, что про хлеб? Когда хлеб кончался, о нем даже говорить переставали, точно и слово «хлеб» нас покинуло. И даже дед, перечисляя, что на какой войне ели, называл горох, капусту, кашу, лапшу, иногда мясо, но о хлебе никогда не вспоминал. И мы, дети, когда на коленях у постели вслух читали «Отче наш», а мать стояла над нами и следила, чтобы мы не пропускали слов, едва доходило до «хлеб наш насущный», умолкали, и мать нам это спускала. Хотя отца и в этой нашей молитве однажды что-то задело, потому что он сказал матери:

— Молились бы они лучше богородице. Божья матерь скорее детей выслушает. У самой было дитя.

Отец вроде бы только думал свои думы и редко с кем заговаривал, зато никому не доверял. Конечно, он знал, что тот кусок хлеба, засунутый за стропило, в такое время может, как яблоко в раю, всякого из нас соблазнить. А больше всех он не доверял мне. Сколько б раз на нас ни останавливал взгляд, серые его глаза меня сверлили сильней, чем других. Правда, он даже деду не доверял. Хотя у деда не было ни единого зуба, где уж ему было соблазниться хлебом, который с рождества зачерствел и сделался как камень. Из свежего он и то выковыривал серединку и долго-долго мусолил каждый кусочек, прежде чем проглотить.

Другое дело мы с Михалом, у нас зубы были как у волков, по нашему разумению, краюшка эта и сто лет могла б сохнуть на чердаке и все равно оставалась хлебом. Тем самым, наилучшим изо всех хлебов, который мать прижимала к животу и, когда резала, спрашивала: сколько тебе отрезать? Иной раз вспомнится та краюшка на чердаке — челюсти сводит. Хотя и вспоминать было незачем — она постоянно торчала перед глазами. И вперемешку то голод вызывала, аж слюнки текли, то прельщала сытостью, прямо чувствовалось, как от нее пухнет живот. И манила нас, манила с утра до вечера, и даже ночью долго еще не давала уснуть.

Мы с отцом и Михалом спали в одной кровати — я возле отца, Михал в ногах, потому что не вертелся, ну и покороче был, так как долго не рос. Отец ляжет, повернется ко мне спиной, иногда буркнет, чтоб я не стаскивал с него перины, и уже захрапел. Михал тоже не заставлял себя долго ждать. Поначалу только подрыгает чуток ногами, потому что никогда не мог для них сразу места найти. Но едва находил, разок-другой они у него еще дернутся и все, засыпал как убитый. Потом у окна около кровати, где спали мать с Антеком, переставала раскачиваться люлька со Сташеком, иногда только Сташек запищит, но мать уже ничего не слышала. А Антек, даже и услышь что-нибудь, скорей бы притворился, что спит, крепче, чем если б взаправду спал. Дед с бабкой спали в чулане, по другую сторону сеней. К тому же бабка укладывалась, едва смеркнется, а дед подремывал, пока мог, сидя на табуретке. Когда же и он наконец отправлялся спать, квелый был, будто посреди ночи. Приходилось матери его через порог переводить, потому что порог этот под дедовыми ногами такой становился высокий, точно деду уже снилось, что он хочет в своей хате переступить порог и не может, хочет и не может. Другое дело, что порог у нас вправду был высокий. Пороги не просто так, ради порогов, делались, но и чтобы присесть было где, когда соберется побольше народу.

Бывало, петухи уже полночь поют. И отец перевернется на другой бок, то есть лицом ко мне. И потом снова на другой, то есть опять спиной. И Михал перенесет ноги в другое место, потому что они у него

затекли. И Сташек в люльке захнычет, и люлька начнет покачиваться во сне. А у меня все стояла перед глазами эта краюшка хлеба высоко за стропилом и светилась, как самая яркая звезда, и никак мне не удавалось ее отогнать. То она ныла, как больной зуб, то колола, как нечистая совесть. Если б еще поворочаться, она бы, может, и сгинула. Но мало того что кровать узкая, вдобавок рядом огромная, как гора, отцова спина. Всякую минуту он мог проснуться и спросить:

— Ты что, еще не спишь?

На всякий случай у меня был заготовлен ответ, что заели блохи. Но не знаю, поверил ли бы отец, блох у нас не было. Мать каждый день выносила постель во двор, а под простыни клала сушеный чебрец. Когда же я наконец кое-как засыпал, то все равно не знал точно, сон это или явь, потому что краюшка хлеба по-прежнему маячила у меня перед глазами. Раз мне приснилось, что я поднялся на чердак, подставил стремянку, но стремянка оказалась коротка, залез на тополь, но и тополь оказался низковат. Такое могло быть и во сне и наяву. А утром отец у меня спрашивает:

— Чего это ты извертелся весь? Снилось что-нибудь?

Я выкрутился, сказал: это, наверное, после вчерашней капусты с горохом,— про сон ведь можно что хочешь сказать. На счастье, отца в этом сне не было, он и поверил легко.

Хуже бывало днем, особенно когда он в горнице сидел. Да еще иногда только стол нас разделял. А мне словно неведомая сила нарочно пихала эту краюшку в рот и приказывала есть у отца на глазах, потому как это всего лишь хлеб. А хлеб для того, чтобы его ели. У меня в голове отдавался хруст зачерствелого куска на зубах. И я со страхом озирался вокруг, потому что, казалось, хруст этот слышат все. Отец, мать, Михал, Антек и даже Сташек в люльке. А дед будто уже открывает рот, чтобы громко сказать:

— Эй, слышьте, чего-то хрустит. Ну-ка, Михась, загляни под кровать, может там кот, сатана, мышку жрет.

А отец словно только того и ждал:

— Где кот? Какой кот? Я кота во двор выкинул! А ну признавайтесь, который из вас?! Ты, Шимек?! Открывай пасть, погань!

Но отец и так, наверное, что-то чувствовал, частенько он смотрел на меня, будто хотел спросить: «Чего ты там ешь?».

Я весь съеживался под его взглядом, повторяя в мыслях: я ничего не ем, ничего не ем, ничего не ем. Или: это я сливу ем, потому что мне вспомнилось, как мы осенью рвали сливы у ксендза в саду. Или: как рвали орехи в лещиннике еще перед успеньем, вот я их и грызу. Но они еще молочнистые, тятя, были. И управляющий нас прогнал.

А раз отец так смотрел-смотрел на меня и вдруг спрашивает:

— О чем ты думаешь?

Я в первую минуту оцепенел, слова из себя выдавить не мог. Точно рот у меня был еще этим хлебом забит. И, спасаясь, как мышь от кошки, сделал вид, будто это не меня отец спрашивает, а Михала. И посмотрел на Михала: что он ответит отцу. Михал посмотрел на меня. Но отец не позволил себя провести:

— Не Михал. Михал, я знаю о чем. У Михала мысли прозрачные, как ключевая вода. Ты.

— Я? — удивился я, чтобы выиграть еще одну минутку, сочинить, о чем это я думаю. И не успел отец снова повторить «ты», я уже знал о чем.

— Об Иисусе Христе думаю,— выпалил я одним духом.

У отца глаза полезли на лоб, выпрямившись, он смотрел на меня, как слепец на солнце. Теперь уже он не знал, что сказать. Я понадеялся — оставит меня в покое. Может быть, встанет, скажет:

— Надо сходить на коня поглядеть.

Или снова начнет выпытывать у деда:

— Ну как, припомнили? Может, под грушей за овином зарыли? Помните, там дикая груша росла.

— Как же не помнить? Выше овина была, а грушки сладкие как мед. — Дед на самом-то деле все до малости помнил, вся его жизнь день за днем была записана у него в памяти. Кроме одного-единственного — где он зарыл эти бумаги. — Нет, нету их под грушей. Скорей уж под яблонькой. Была такая яблонька, яблоки с одного боку красные, с другого — желтые. Но однажды налетела буря и выворотила ее с корнями.

Отец снова сощурил глаза, — может, прикидывал про себя, поверить мне или не поверить. И, точно хотел эти мои слова, о чем я думаю, услышать еще раз, сказал:

— Значит, об Иисусе Христе думаешь?

— Об Иисусе Христе,— горячо подтвердил я, дед даже умилился:

— Вы хотите Михася на ксендза учить, а, видать, Шимуся господь для себя избрал. Дитя, а какие мысли в голове. Об Иисусе Христе, во как! Старику бы другой раз такое не пришло на ум. Он ксендзом будет, попомните меня.

Я прикусил язык, чтобы не сказать, что не буду. Ничуть мне не улыбалось быть ксендзом. Всю жизнь только служить молебны, да еще в платье ходить, как баба. Хотя вроде под платьем этим у ксендза, говорили ребята, такие же портки, как у мужиков. Но что это за портки, когда надо их прятать. А кроме того, мне уже нравилась Стаська Макулянка. Она с нами коров в лугах пасла, и даже Вицек Шумеля, самый старший из нас, не мог с нею справиться, такая она была сильная, хоть и девчонка. А ругалась — иной взрослый бы с ней не сравнялся, даже если б незнамо как обозлился. А она и не думала злиться, смеялась, подпрыгивала и ругалась — воздух дрожал! А ну еще, Стаська, еще, подзуживали мы ее, и она такое заворачивала, коровы оглядывались. А побежит загонять коров, сиськи трясутся, точно груши на ветру. А мы, как кобели за сукой, за ней, вдруг они у нее вывалятся. Ай да сиськи у Стаськи! Ай да сиськи! Будто они уже где-то белели в траве.

Мы ее, бывало, уговаривали показать, чего у ней там под юбкой, но она запрашивала злотый. Ну, собирали мы этот злотый, кто сколько мог дома наскрести, дадим ей и: показывай, Стаська. А она тогда: нет, за злотый согласна показать только то, что у ней сверху, а если дальше, нужно добавить еще пятьдесят грошей. А откуда их взять, эти пятьдесят грошей? По пятьдесят грошей взрослые парни получали от родителей, когда уже с девушками гуляли. Но раз случай помог. Отец Казека Сохи приехал с ярмарки в доску пьяный, пришлось его стаскивать с телеги, и Казек под шумок вытащил у него из кармана эти пятьдесят грошей. Ну вот они. Показывай, Стаська. А она возьми да надбавь цену, гоните два злотых, ей надо шелковые чулки купить, как у мельничихи Терески. Нас такое зло разобрало, что мы на нее бросились, сами тебя, зараза, разденем, но она увернулась, вытащила ножик:

— Попробуй кто подойди, отрежу кое-что ко всем чертям.

И лишь когда мы выросли, соглашалась задарма.

У ксендзов мне одно только нравилось — исповеди. Приятно, должно быть, сидеть в исповедальне за решеточкой и выслушивать грехи всей деревни. Эх, вот когда можно уйму всякого разного узнать. И прощать, не прощать, накладывать покаяния. А больше всего я бы адом стращал, да так, чтобы волосы становились дыбом, мороз драл по коже, зубы щелкали и слезы текли ручьем. Только бы надо выдумать другой ад, этого люди уже не боятся. Может, он не на том свете должен быть, а здесь, на земле? Может, не одна душа, но и тело должно страдать? Может, не всем вместе там пребывать нужно, а чтоб каждый по отдельности? И может быть, даже без чертей, только человек и муки?

Дольше всех из нашей деревни я бы исповедовал трех незамужних девок: Крыську Лятрувну, Веронку, Мазяра дочку, и Магду Кукавечку. А из замужних Бальбусиху. Потому что у ней, пока она за Бальбуса не вышла, ухажеров было как собак. Каждый вечер отец за ней по деревне гонялся с кнутом, а она от него. Говорили даже, ребеночка прижила, но утопила. Да и потом, замужем, не переменилась ничуть. Но чтобы узнать, правда ли все, что люди рассказывают, надо бы много кого выслушать. Старых баб и мужиков я б исповедовать не стал. Пусть их исповедует викарий. Ну может, из старух одну Пшигаёву, чтоб узнать, такие ли же девки были в прежние времена. Кому как не Пшигаёвой лучше знать? Она, говорят, никого не пропускала. Войт, батрак, мельник, сосед, любой, без разбору. А уж особенно падка была на солдат, стояли когда-то у нас в деревне солдаты. Куртки у них были синие и красные штаны, видать, потому ее к ним так тянуло. Мужик молился, чтоб господь выгнал из нее сатану, а она над ним насмехалась. Привела как-то ему в хату сразу троих солдат и забавлялась с ними в чем мать родила, а мужик смотри. Он ее потом отлупил мокрой веревкой, так она его в рекруты отправила, и он уже больше не вернулся домой. Только захотела ли бы она обо всем этом на исповеди рассказать?

— Михась ли, Шимусь ли,— сказала мать,— дай-то бог, чтоб один из них.

— Говорю вам, Шимусь,— упорствовал дед. — А кабы еще здесь, в нашем приходе. Я-то уже не дождусь. Но вы б могли перебраться в плебанию. Зажили бы, как в раю. Одного сада три морга. Ну и костел под боком.

— А что ты думаешь? — У отца и ксендз этот не отбил охоты продолжать допрос.

— Я думаю...— запнулся я, потому что не больно знал, что́ думаю.

— А что он думает? — снова пришел мне на помощь дед. — Об Иисусе Христе, он же тебе сказал. Вон, висит на стене распятие, глянет — и думать больше незачем.

Я в панике посмотрел на распятие, и что-то во мне будто отворилось.

— Я думаю,— сказал я уже без запинки,— что он за нас страдал и умер на кресте.

— Ой, настрадался господь, настрадался, — отозвалась мать от плиты. — А люди все равно какие были, такие есть.

— А может, хуже были бы,— на это дед.

— Куда ж еще хуже? — всполошилась мать.

— Ну были б, к примеру, все как этот шаромыжник Мархевка. Можно с такими жить? Забыла, сколько он у тебя кур перетаскал?

— А еще что? — не унимался отец.

— Что еще? — рассердился дед, подумав, что отец обращается к нему. — Ивняк у тебя на лугу посрезал. Да еще обозвал последними словами. Мало?

— Я не вас, отец, спрашиваю. Его.

— Шимека? А он-то чем виноват?

— Не чем виноват, а что думает. Ну, дальше.— Точно лошадь в гору подгонял кнутом.

У меня засосало под ложечкой —чего дальше? Еще, как назло, на дворе ненастье, нет надежды, что отец куда-нибудь выйдет, собака бы носу не высунула, эдак он и до вечера вопросы может задавать. Я судорожно пытался собрать мысли но они как мыши разбегались из головы. Вдруг дед встал, шагнул вперед и вздохнул:

— Старый человек один только шаг сделает, а будто на Голгофу идет.

И тут меня осенило.

— Я думаю,— затараторил я, — что, когда он крест на Голгофу нес и упал, шел с поля один мужик и помог ему нести.

— Не мужик, а Симон Киринеянин. Как вас ксендз учит, остолопина?! — взвился отец.

— Я давно говорил, — поддержал отца дед, — еще он только приехал: что это за ксендз? С лица чисто девка. Даже бороды нет, так, пробивается кое-где пух. Откуда ж ему чего знать? И об Иисусе Христе, как о людях, он ничего не знает.

— Люди — одно, а Иисус Христос — совсем другое,— возразила мать.

— Как совсем другое? — возмутился дед. — Человеком, что ли, Иисус Христос не был? Это он после смерти богом стал.

— Ну был, был и даже распять себя дозволил, потому что вытерпеть больше не мог.

— Не то что вытерпеть не мог, он род людской своею кровью хотел искупить.

— А люди ему за это желчи дали и бок проткнули, да? Очень надо было лихоманов таких искупать. Их бы в ад, и пусть там горят в огне, пусть волками воют! Пусть волосы на себе рвут и взывают к господнему милосердию! Пусть зенки выплачут, чтоб их тьма окутала кромешная! — Мать, как оса, обозлилась на этих лихоманов и, верно, дальше бы продолжала их честить, но тут отец как заорал:

— А еще чего?!

У меня сердце в пятки ушло. К счастью, мать, еще полная гнева на христопродавцев, мгновенно перенесла свою ярость на отца, словно и он был из их числа:

— Оставь ты его в покое! Он почти все Евангелие пересказал, а тебе еще да еще! Которое дитя столько знает?! Другие десять заповедей и то не скажут.

А меня опять осенило:

— И еще я думаю, тятя, что он нам десять заповедей оставил, — выпалил я одним духом, точно спеша обрадовать мать благой вестью.

Но отец надулся как индюк:

— Кто?

— Ну господь... бог, — сказал я уже менее уверенно, так как почувствовал в голосе отца недоброе.

— Который? — насупил он брови.

— Господь бог, тятя, только один. Ксендз так говорил. Вон и на стене один висит.

— Но в трех лицах! В трех лицах, поганец! — Отец даже затрясся от злости.

Я уже готов был расплакаться. Но вдруг мне словно чей-то голос подшепнул, что и отец, наверное, не больно силен в Священном писании. И, притворившись, будто меня огорчает, что кто-то все так запутал, я спросил несмело:

— Как же это, тятя, один и в трех?

— Потому что в трех! — У него задрожал подбородок. — Сын божий! Святой дух! И бог-отец!

— Так который из них бог?

— Все!

— Если все, выходит, их трое, а не один.

— Один! — рявкнул отец, схватил из-под ног щепку и швырнул в меня, но я увернулся, и щепка попала в Михала. Михал заревел, мать закричала:

— Очумел?!

И даже дед, хотя побаивался перечить отцу, пробурчал под нос:

— Не так надо объяснять. Не так.

А отец со злости подхватил ведро с помоями, половину выплеснув себе на штаны, и побежал кормить корову.

Но пришел как-то самый изо всех худой год. Сперва за всю весну не пролилось ни капли дождя, потом целое лето хлестало как из ведра, и так почти до осени. Река вышла из берегов и, хоть невелика

была, сделалась как десять рек, а вода все прибывала. Сокрушались люди, что будет, что будет? А петухи не умолкая кричали, что и дальше будет так. Кое-кто целыми днями торчал у окошек, высматривая хоть клочок неба, который бы посулил надежду. А иные ждали светопреставления: потоп это, верно, как тогда, при Ное. Собирались даже вечерами у Суйки и читали вслух Библию, так оно было или не так. В костеле служили молебен за молебном. И где какое распятие, часовенка или фигура святого, везде люди останавливались, чтобы помолиться, попеть или хотя бы поплакать вместе, а не каждый наособицу у себя в хате. А уж к исповеди, к причастию валом валили, как ни в один другой год. Даже Крук-маловер согласился бога признать— баба с дочками заели, что все напасти из-за него. А было у него этих дочек пять, три засиделись в девках, но две еще на выданье. Только охота ли богу из-за одного Крука насылать кару на весь свет? Потом жалел мужик — как не было у него дома покоя, так и дальше не стало, а на свете дождь лил и лил.

Люди даже заставили ксендза выйти с процессией в поле, а ну как поможет? Но далеко не ушли. Сразу же за Мидурой, где дорога сворачивает в поля, причетник Франтишек, который шел впереди с крестом, чуть не по колена завяз в грязи. За ним увязли хоругви. Увязли Карпелёва с Матыской — известные богомолки, и тут хотели первыми быть. Увяз ксендз, хотя Скубида с Дендерысом под руки его вели. Пришлось им, одному с одной стороны, другому с другой, ксендза подхватить и перенести на сухое, сам бы он не выбрался. И так один башмак оставил в грязи, хорошо, какая-то баба башмак вытащила и снова надела на ксендзову ногу. Причетник Франтишек, тот хоть в высоких сапогах был, ну и шагал вперед не оглядываясь. Кричали ему: Франтишек! Эй, постойте, Франтишек! А он шел и шел, и только когда по голенища утоп в грязи, заметил, что идет один. Хорошо, крест нес, так, опираясь точно на посох на этот крест, кое-как выкарабкался из грязи. Правда, досталось ему от ксендза, когда он вылез на сухое, за глумление над крестом. На том и окончилась процессия, немножко еще помолились, немножко попели на краю поля и вернулись в костел.

Некоторые хозяева, что позажиточней, выносили на свои участки образа и упрятывали их в шалаши из соломы, вроде сторожек.

Не помогло. Да и где это видано, чтоб над одними полями солнце светило, а над другими лил дождь, раз уж льет, так везде. Под дождем, в грязи собирали люди с полей, что удавалось собрать. Хотя мало чего там было — если весной не засохло, летом и в начале осени сгнило от сырости.

Картошки мы собрали всего три воза, а засажена была немалая полоса. И все картошины как одна — с грецкий орех. Приехал отец с третьим возом и сказал, что это последний, тут вышел дед, вышла мать, вышли мы, дети, и все в плач. А отцу даже с телеги не хотелось слезать, так, держа в руке кнут и вожжи, сидел и смотрел, как дед плачет и ворошит картошку на возу. И только сказал в утешение:

— Ничего не поделаешь. Какая земля, такая картошка. А земля — гниль. Хоть бы на тот год оправилась.

А когда рожь молотил, то полное решето просеял, а там одна мякина и зерна на донышке. Он оставил что на посев и с полмешка отвез на мельницу, вот и вся рожь. Мать только один раз испекла из нее хлеб. И пару мерок оставила на черный день.

Хлеба от одной выпечки у нас хватало на месяц-полтора, и от этой тоже, верно, на дольше бы не хватило, если б отец горячие еще ковриги не унес куда-то и не спрятал. Мы с Михалом обшарили весь овин, даже солому в закромах истыкали вилами, но ничего не нашли. Хотя наверняка хлеб был в овине спрятан, только надо бы весь овин перевернуть вверх дном. А за такое не с Михалом браться. Мне при-

ходилось все время его подбадривать, убеждать, что не грех это — искать хлеб. А вилы в руки взял, так только самые кончики запускал в солому, будто боялся, упаси бог, наткнуться на каравай. И каждую минуту у меня спрашивал:

— А что мы сделаем, если найдем?

— Съедим.

— Одни?

— А с кем же?

— Отцу с матерью не отнесем?

— Отнеси, отнеси, увидишь. Еще получишь по шее.

А то опять же однажды он вспомнил, как дед рассказывал, что во время восстания раз казаки искали повстанцев и велели деду точно так же исколоть вилами снопы. А дед сам этих повстанцев у себя под снопами спрятал. Но что оставалось делать — велели колоть, он и колол. И вдруг увидел на зубьях кровь. И, не долго думая, вроде бы споткнувшись на неровно лежащих снопах, со всей силой воткнул себе вилы в ногу и начал немилосердно выть. А казаки в смех. И больше его не заставляли искать.

— Дурачок, — сказал я, — мы хлеб ищем, не повстанцев. А в хлебе крови нет.

Но Михал не захотел больше искать.

Я даже думал выследить отца, когда он за хлебом пойдет. Но отец всякий раз наказывал матери, чтобы она нас не выпускала, покуда он не вернется. Или будто в деревню выходил, к кузнецу или к кому-нибудь из соседей, а потом появлялся с ковригой под мышкой. И отдавал эту ковригу матери, а мать прятала ее в сундук и запирала на замок. И каждый день выделяла всем нам по куску на утро и на вечер.

Так только и дотянули до Блажея. А после Блажея ели уже одну картошку. Утром жур с картошкой, днем картофельную похлебку или картошку с молоком, а вечером печенную в зольнике, с солью. И вкусней всегда была вечерняя, из зольника, с солью. Лампы не зажигали, садились возле плиты с полуоткрытой заслонкой, и только и было свету, что падал из-за этой заслонки в горницу. Теперь больше соли съедали, вот и не хватало на керосин, да и жаль было жечь керосин ради одной картошки. Отец даже телку продал, потому что нечем стало ее кормить, но почти все деньги ушли на налоги.

Картошку мать приносила из подпола, точно яйца, в переднике. Высыпала у ног отца. Отец вытаскивал из печи горящую лучину и, светя себе, раскладывал картошины на столько кучек, сколько было нас в доме, не считая Сташека, потому что Сташек еще титьку сосал. Потом выравнивал эти кучки, перекладывал из одной в другую, сюда покрупней, туда помельче, чтобы было по справедливости. А еще мать велела ему взять две штуки из ее кучки и добавить в Михалову и мою, потому что мы растем. А следом за матерью бабка: ей скоро помирать, помолится перед сном и ладно, не обязательно есть. Тогда отец снова перекладывал из кучки в кучку.

Иной раз до того доперекладывается, что закоптится весь от лучины, которой себе светил. Однажды даже опалил брови. Да и все равно картошины смешивались, когда он их засовывал в зольник и присыпал золой. Я понять не мог, как он их узнавал, когда вытаскивал уже печеные и снова раскладывал на такие же кучки, называя каждую своим именем. Эта Шимека, эта отцова, эта будет моя, эта Михася, матери, Антека.

А когда уже разложит все, не дожидаясь, пока они хоть немножко остынут, брал из своей кучки первую картофелину и, словно она не обжигала ему пальцы, разламывал и начинал есть. И знай нахваливал — и рассыпчатая картошечка, и вкусная, и что бы было, кабы ее не было, и вообще столько иногда расскажет, точно не про картошку, а про какую-то диковину. Что хоть мясо силу дает, от картошки берется терпенье. Что картошка за любое кушанье может сойти,

если только уметь есть. Потому что уметь есть — то же самое, что уметь читать и писать. А иные, как свиньи, едят и оттого ничего не знают. Только ртом и брюхом едят. А надо еще и разумом. Что все из земли родится, а земля всему дает свой вкус. Так что картошка может и горохом со шкварками быть, и капустой с грудинкой, и варениками с творогом, со сметаной, и даже куриной ножкой с кормовую свеклу величиной. Даже зло, добро и те от картошки, потому как и они из земли.

Днем понурый, молчаливый, подле этой печеной картошки отец становился на диво говорлив, даже соль иногда забывал взять, приходилось матери ему напоминать:

— Возьми соль.

Дед с бабкой куда дольше отца жили, стало быть, и картошки больше съели, а тоже слушали его рассказы, будто пророчества. Раз только дед, решив поддержать отца, вставил, что картошку одинаково едят и царь, и его слуга, генерал и солдат, ксендз и нищий с паперти, картошка — она всех людей равнит Еще смерть, конечно, равнит, но в смерти меньше благости. А отец как на него напустится: куда там смерти до картошки. Смерть — это смерть, и никому от нее не уйти. А картошка для того растет, чтобы человеку было что есть. Да и бабке это дедово сравненье не очень понравилось:

— Ой, пустомеля ты, пустомеля. Станут тебе цари картошку есть, когда они над миром хозяева. — Но видать, жалко ей сделалось этих царей, потому что она тут же добавила: — Если только чем политую, помасленную, нам такая и не снилась. И к этому столько же мясца. С мясом да, едят.

— С чем едят, с тем едят, — осадил бабку отец. — Не обязательно про царей все знать. Про соседей много чего не знаешь, хоть они и самые ближние. И так оно должно быть.

Однажды отправился отец к кузнецу выклепать плуг, потому что вроде бы повеяло весной. Кто-то как будто уже жаворонка слыхал, хотя на полях еще лежал снег. Матери тоже не было дома, к соседке пошла занять отрубей на жур. Бабка качала Сташека. Дед дремал у плиты. Но чуткий был у него сон, поминутно открывал дед глаза, бормоча под нос, что это еще не весна, не-ет, не весна. А на плите варилась картофельная похлебка.

Я не пошел в школу, живот, сказал, у меня болит. И все время сидел скорчившись, чтобы поверили, будто вправду болит. Бабка дала мне мятных капель и то и дело спрашивала: ну как, болит? Я стонал: болит, болит, а сам думал, как бы выскользнуть из горницы, потому что с самого утра меня искушала та краюшка хлеба за стропилом на чердаке и, может, от этого даже немного побаливало в животе. Ничего дурного я не замышлял. Хотел только разок на краюшку взглянуть, увидеть, какой он, хлеб.

— Вроде отпускает, — сказал я, когда бабка спросила меня в очередной раз. Хватит, поболело уже, да и мать могла с минуты на минуту вернуться от соседей с отрубями или отец от кузнеца, неужто и дальше сидеть, обхватив живот, согнувшись крючком?

Бабка точно того и ждала и давай возносить до небес целебную силу мятных капель. И когда прямо распелась, что иной раз как рукой снимает, немедля проходит боль, я сказал, что у меня прошла, и схватил миску с кормом для кур: мол, сбегаю им отнесу. А сам поставил миску в сенях и поскорей на чердак. Пока глаз не привык, чердак казался словно придавленным стрехой — так там было темно. Но я на память знал место, где притаилась эта краюшка. Не раз сюда прокрадывался, когда уж очень тянуло на нее посмотреть. Да и достаточно было задрать голову, пошире раскрыть глаза и с минутку так постоять, как стреха подымалась все выше и выше и вокруг делалось просторно, словно я в сумерках посреди костела стоял. А где-то высо-

ко-высоко в сумеречном этом свете маячила она, будто примостившийся за стропилом спящий голубь. Такая же серая, как голубь. И даже вроде бы голубиная макушка торчала из-за стропила, чуть серее серости стрехи.

Мне вдруг ужасно захотелось до нее дотронуться, погладить хотя бы эту макушку. Но добраться как? Отец, верно, втаскивал на чердак стремянку, когда засовывал хлеб под стреху. Я попробовал подтянуться на руках по жердям. Это оказалось трудно, хотя жерди одна от другой отстояли не дальше, чем перекладины лестницы. Зато к стрехе прилегали плотно, как подошвы к траве, и мне, чтобы крепко ухватиться, приходилось силком протискивать руку под стреху. Если б рука разжалась, я бы как миленький грохнулся вниз. Вот бы в доме поднялся переполох. Я уже видел, как просыпается дед: хата рушится, что ль?! И бабка — господи Иисусе! — кричит. И Сташек в рев. И мать в аккурат возвращается с отрубями и заламывает руки: где Шимек?! И отец приходит от кузнеца: где этот черт?!

Но все же я кое-как добрался до хлеба и, вися на одной руке на жерди, другой вытащил краюшку из-за стропила и сунул за пазуху. Спуститься было легче. Я сел возле трубы, но почему-то не осмелился сразу достать из-за пазухи хлеб. Прислушался, не доносятся ли из горницы какие-нибудь подозрительные голоса. Но только бабка пела Сташеку: «Ой, народ мой, народ, что я тебе сделал?» Я с опаской огляделся вокруг. Тишина, покой, даже мыши как будто на это время убрались с чердака. И только молотом стучало сердце, словно где-то снаружи, а не во мне. Я осторожно сунул руку за пазуху и сперва ощупал там эту краюшку. Она была сухая, потрескавшаяся, будто и не хлеб. И то ли в лад с моим сердцем, то ли сама по себе тоже стучала как молот. Я не спеша вытащил ее обеими руками. Нагнул голову, чтобы получше разглядеть. Но увидел только шероховатый серый комок, который и на хлеб-то не был похож. И что ж в нем такого, подумал я, что земля не может без него обойтись?

Меня так и подмывало отломить кусочек и попробовать. Вдруг зубами почувствую, что в нем такого есть? Облатка, которой причащаются, тоже вроде ничего особенного, мука, вода и никакого вкуса, а ведь в ней Иисус Христос. Я только крошечку. Отец ничего не заметит. Разве можно узнать краюшку хлеба, пролежавшую с сочельника до весны? Была побольше, да усохла. Человек тоже усыхает под старость.

Я прихватил зубами самый краешек, только и надавил, совсем даже не сильно, а тут вдруг трах, словно обвалилось что-то, гляжу: отломился кусок с пол-ладони величиной. Меня обуял страх. Первая мысль была — вскочить и бежать. Только куда? В горле точно ком застрял. Я готов был на колени перед этой черствой краюшкой встать и молить, чтоб она позволила себя обратно слепить. А тут будто кто-то уже мчался по лестнице. Кто-то высовывался из-за трубы и руки ко мне тянул. В горнице хлопнула дверь. Чьи-то голоса, отца, а может, матери, деда, бабки, кричали: Шимек, что же ты натворил? Побойся бога, Шимек! Шимек!

И вдруг, словно решив изничтожить великую свою вину, я стал грызть отломившийся кусок. На зубах у меня хрустело так, что слышно было на всем чердаке. И даже, казалось мне, в горнице слышно, во дворе, во всей деревне слыхать. И уже отовсюду люди бегут поглядеть, что там у Петрушек стряслось. У меня кололо нёбо, десны, язык. Но я грыз, грыз, упрямо, торопливо, точно боясь не успеть. И поэтому совсем не чувствовал вкуса хлеба, чувствовал только, что нутро у меня исцарапано и будто рана во рту.

Потом я съел и остаток краюшки, так как не знал, куда его девать. И странное дело, страх вдруг точно рукой сняло, и на меня снизошла благодать. Я бы мог даже встать и уйти, только неохота было вставать. Тишина и покой снова вернулись на чердак, а чуть погодя

меня сморил сон. Снилось мне наше поле, потрескавшееся от засухи, заросшее хвощом, пыреем, лебедой, хотя рядом, на соседних полях, росли налитая рожь, пшеница, ячмень. Но я нисколько не огорчился, даже когда увидел отца, который ходил по этому полю в слезах и кричал: ой, несчастный я, несчастная моя земля!

Разбудили меня возня, крик. Надо мною стоял разъяренный отец и в бешенстве, словно ополоумев, размахивая руками, выл:

— Ты, выродок! Ты, гад! — И еще всякое такое. — Держите меня, ради Христа! Не то убью, как собаку убью! Чтоб ты, не родившись, сдох! Чего теперь делать?! Не простит нам земля! Вставай!

Еще блаженно размякший ото сна и хлеба, я бросился отцу в ноги и заскулил:

— Нечистая сила попутала, тятя! Видать, сатана во мне! Отведите меня в костел, целый день буду лежать крестом! Может, выйдет он!

— Я тебе покажу сатану! Вставай! — И пнул меня ногою в живот, так что я согнулся в три погибели. А потом вдруг, словно еще большая ярость на него накатила, обхватил меня и, как мешок, стащил по лестнице с чердака. И так проволок до самого овина через весь двор. У овина поставил меня к стене и велел стоять. А сам начал судорожно что-то искать на земле.

Вышла из хаты мать, спрашивает его:

— Чего это он натворил?

А отец ходит взад-вперед и солому разгребает сапогами, бормоча себе под нос какие-то слова, ну прямо рехнулся — и все. Наконец что-то звякнуло у него под ногами, он нагнулся и вытянул собачью цепь. Собаку мы еще в середине зимы спустили с цепи, чтобы сама кормилась, потому что нечего ей было давать.

Мать снова спрашивает с порога:

— Чего ж это он натворил?

Но отец скорее всего ее не слышал, отвязывал цепь от конуры. Толкнул с маху ворота овина, схватил меня за руку и затащил вовнутрь, хоть я и не упирался. Закрыл за нами ворота, еще раза два пнул в них ногой, потому что они плотно не затворялись. Дрожал весь как в лихорадке, даже цепь позванивала у него в руке. Потом накинул эту цепь мне на шею.

— Повешу, стервец,— пробормотал.— Накажи меня бог! В ад вместе с тобою пойду. Но тебя повешу.

Что-то он там делал у меня на шее с этой цепью, а цепь только звенела, как над лошадиной мордой бубенцы. Мне даже казалось, на меня отец надевает бубенцы, точно в санный путь снаряжает, а не на смерть. И оттого, может, я не боялся совсем. Только под ложечкой давило, но не от страха, что придется помереть, а, наверное, от этого хлеба. Ведь я еще не знал, что такое умереть. Покойников, ясное дело, не однажды видал. Притом разных. От старости скончавшихся и от хвороб, утопших и повесившихся. И даже одного такого, Палюхом его звали, он свозил жито и свалился со снопов прямо под колесо. Неживой уже был, а держался за это колесо, пальцы никак ему не могли разжать. Или мельник Кужея, этого затянуло между приводов на мельнице, так он ни на убитого, ни на помершего своей смертью не был похож. А то раз Сильвестер Суйка убил своего брата, Болеслава Суйку, цепами, добро они какое-то не поделили. Вроде случайно так получилось, вместе молотили и то ли слишком близко друг к другу стояли, то ли чересчур длинные у них были цепы. Сильвестр даже плакал над убитым братом, кричал: встань, Болеслав! Воскресни, браток! Словно обратно на молотьбу звал. И казалось, тот сейчас протрет глаза и встанет, кто бы по зову брата не встал? Или Кулага — так свою бабу излупцевал, что она в чем мать родила выскочила на дорогу из хаты и упала замертво. И тоже трудно сказать, как оно взаправду было, потому что одни говорили: мертвая она, а другие — бесстыжая.

Или Ржыско — раз пил, пил в корчме да так и не встал из-за стола. А пьяный покойник с виду все равно как если б просто пьяный лежал. Еврей клочья из бороды вырывал, потому что Ржыско ему за то, что выпил, не заплатил. И даже за старое не заплатил и должен был в тот день все отдать. Но обшарили его карманы, а там ни гроша. Или мой школьный товарищ, Ендрек Гузка: посмотрел я на него в гробу — вроде бы не живой, а одет в новый костюм, новехонькие башмаки, новехонькую рубашку, подстрижен, причесан, в жизни я его таким никогда не видал. Я даже подумал: верно, не так уж и плохо помереть. Ендрек поспорил на ножик с Ясем Кулаем, что заберется без веревки на самый высокий тополь за плотиной, за мельницей. И уже почти до верхушки долез, но слетел. Отнесли мы Ендрека матери, чтоб она его уложила в кровать, вроде в нем чего-то оборвалось. Так она нас последними словами обозвала. И только потом завыла: Ендрусь! Ендрусик! Ендрусичек!

Я бы мог еще много насчитать. Но что такое самому умереть, не знал. А может, и теперь не знаю? Хотя память на покойников у меня хорошая. Я б даже мог всех подряд перечислить, начиная от Врубеля, мне тогда было года три, и мать взяла меня с собой, пойдем, сказала, попрощаемся с Врубелем, помирает он. Я боялся идти, думал, возле Врубеля смерть будет сидеть. А смерти я никогда не видел, кроме той, на рождество, но смертью всегда был наряжен кто-нибудь из ребят. Мы вошли, Врубелёва что-то помешивала на плите, Юзек Врубель возле окна на лавке сидел, чинил вожжи, а высоко на белых подушках в самом углу горницы лежала голова старого Врубеля с раскинувшимися как две веточки усами. Мы подошли к кровати, мать перекрестилась, стала на колени и мне велела стать. И тогда эти усы на подушках шевельнулись, а из-под перины высунулась сухая рука и на минуту задержалась на моей голове. Потом мы встали, мать спросила:

— Был уже ксендз?

— Был,— вздохнула Врубелёва и тут же напустилась на Юзека: — Юзек! Юзек! Да сходи же ты! Сколько можно упрашивать?!

Я даже, кажется, спросил у матери:

— Мама, а где смерть?

Но она потянула меня за руку, и мы ушли. А на дворе пригревало солнышко, теплынь, и Козея гнал теленка, а теленок ужасно смешно взбрыкивал, и я начал смеяться, и мать начала смеяться, и кто только ни шел по дороге, останавливался и в смех.

— На колени,— прохрипел отец.

Я бухнулся на колени, даже цепь зазвенела у меня на шее.

— Перечисли все смертные грехи, — сказал отец. — И в грудь себя бей. Чтобы господь тебя простил. И три раза прочитай «Богородицу», чтоб и богородица простила. — И опустился на колени рядом со мной. Сплел руки на животе, закрыл глаза и тоже начал молиться. Воробьи с гомоном носились над нами по всему овину, словно обозлясь, что мы их всполошили. Я перечислил все семь смертных грехов, как велел отец, но ни один из них не был похож на мой. За что же, подумал я, отец хочет меня повесить, когда господь не прощает только смертных грехов?

И тут ворота овина тихонько скрипнули. Я повернул голову и увидел в полосе света на краю гумна мать. Перевел взгляд на отца, но он, словно ничего не слыша, продолжал молиться с закрытыми глазами, с руками на животе.

— Нет такой вины, чтобы своему дитю не простить,— заговорила мать. — А это твое дитя. Плохое ли, хорошее, но твое.

Я резко повернулся всем телом к матери, так, что опять зазвенела на шее цепь, и крикнул:

— Мама, за что меня тятя повесить хотят?! Лучше я влезу на самый высокий тополь за плотиной и свалюсь!

— Хоть бы ты его и убил, все равно твое. — Теперь как будто мать меня не услышала. — Только ты уже не будешь ни его отцом, ни человеком.

Тогда сплетенные на животе отцовы руки расплелись, ослабли, и он, не вставая, тяжело уперся ими в колени. А под опущенными веками, казалось, сдерживал слезы. Через минуту он открыл глаза и усталым голосом сказал:

— Забери его. Я еще здесь постою.

После жатвы мать отправилась на поклон святым местам и взяла меня с собой. Шла тьма-тьмущая богомольцев, из нашей деревни и из других. Старые, молодые, мужики, бабы, девки, парни, женатые, замужние, по одному из дома и целыми семьями. Шел ксендз, органист, Франтишек-причетник. Шли хоругви, шел образ богоматери из нашего костела. Шли с рассвета до вечера, с двумя остановками на отдых и одной на обед. Правда, были среди нас такие, что совсем бы не отдыхали, только б шли и шли. Ночевали в деревнях, хотя один раз спали в лесу, под открытым небом, а раз на помещичьем поле в стогах. И в пении тоже устраивали перерывы, ведь пели-то целый день напролет. Кое-кто даже, не слушаясь органиста, который этим пением управлял, и в перерывах продолжал петь, особенно те, что шли впереди.

От этого пения люди теряли голоса и через несколько дней уже только кулдыкали, сипели, лаяли, квакали, ушам было больно слушать. У органиста одно легкое, что ли, усохло, и он все чаще объявлял перерывы и все дольше кашлял после каждого псалма. Но людям было наплевать на его кашель и, если он не начинал, начинали петь сами, и органисту волей-неволей приходилось к ним присоединяться. А больше всех усердствовал Здун. Может, потому, что, как люди говорили, ему бы надо органистом быть, кабы не его годы. Вроде когда-то, если кто-нибудь хотел, чтобы во время венчания ему спели «Veni, creator» [1] на весь костел, приглашал Здуна, а органист лишь подыгрывал ему на органе. На обратном пути Здун от этого пенья онемел и только показывал на пальцах, когда хотел что-нибудь сказать. Мать тоже охрипла и потом месяца два ромашку пила. Да и неудивительно — всю дорогу шагали в пыли. Раза два, может, побрызгал дождичек, а так все солнце да солнце, у людей в глотках шишки повыростализ этой пыли и слюны.

Я не пел, потому что еще не умел божественные песни петь, но и то у меня в горле чесалось, все бы плевал и плевал. Шла перед нами Орышка, так она вперед передвинулась, потому что Петрушкин малый плюется на каждом шагу. А Валишина даже поругалась с матерью, что я ей на юбку наплевал, и начала всем показывать: вон, чего наделал, стервец, глядите, люди, наплевал. А потом скажет: села на куриный помет. Еще я наплевал Микуте на сапоги, он мимо нас на другое место протискивался и сам подвернулся под плевок. Но попало на голенище, он ничего не почувствовал и шел дальше, как шел.

Дала мне мать четки, чтоб я почитал немножко «Отче наш» и «Богородицу», вместо того чтобы думать невесть о чем. Поначалу я эти четки нес в руке. Но неудобно мне было, все равно что с завязанными руками шагал. К тому же, даже если перышко долго нести, оно в конце концов превратится в курицу, утку или гуся. Так и четки эти сделались тяжелые, как цепь. Ну я и повесил их на шею, и сразу не руки у меня стали, а крылья.

Мы в аккурат проходили мимо какого-то сада, яблоки так и сверкали в листве. Вижу, мать распелась, голову запрокинула, глаза сощурила, потому что мы против солнца шли. Я оглянулся налево, направо, назад, все так же, себя не помня, поют, и глаза у всех тоже сощурен-

[1] Veni, creator spiritus *(лат.)* — приди, дух творящий; начальные слова старинного католического гимна.

ные от солнца. А понизу пыль выше колен. Еще перед нами шел Коляса, а у него с войны одна нога негнущаяся, он и пылил, будто нарочно, этой ногой. Все его гнали от себя прочь — пускай идет в конце, но он уперся и из середины никуда.

Сперва я чуть-чуть поотстал, чтоб не рядом с матерью идти. Потом передвинулся поближе к краю, а оттуда шасть в сад. Пели как раз: о, пресвятая дева, матерь божия, так что никто ничего не заметил. Да и привыкли паломники, что на каждом шагу кто-нибудь отходил в сторонку по нужде, могли подумать — и я за тем. Я подбежал к самой развесистой яблоне и начал рвать яблоки, сколько было прыти в руках. Полпазухи набил, как вдруг из-за деревьев до меня донесся крик:

— Взять его, Азор! Держи вора! Я тебе покажу, поганец, как яблоки красть!

Но прежде чем Азор до меня добежал, я уже снова замешался в толпу. Пес выскочил на край сада и обалдел, потому что гнался за одним, а увидел нежданно-негаданно тьму людей, к тому же поющих. И вместо того чтоб залаять, начал отчаянно выть. А минуту спустя из сада вылетел мужик, чего-то крича, размахивая палкой, я подумал: начнет меня среди богомольцев искать. И решил, что в случае чего спрячусь под хоругви. Но он вдруг замолчал, точно язык проглотил, может быть, вспомнил, что и ему бы не мешало поклониться святым местам, а то набралось этих грехов, ой, набралось.

— Тихо, Азор, тихо,— смиренно позвал он собаку к ноге. И стянул с головы шапку, а мы дальше пошли.

Потом какие-то две бабы впереди сцепились, вроде бы одна другой наступила на пятку, аж кожу содрала. Не понять, правда, было, кто кому, обе так орали, что с трудом можно было разобрать, что эта, как лошадь, идет, а та переваливается, как утка, что эта поет, будто хочет, чтобы только ее услышала Дева Мария, а та булькает, словно каша в горшке. Эта кричит: твой мужик за другими бегает, да и не диво, с такой ведьмой и ангел бы не стерпел. А та ей: сама не лучше, мужикам проходу не даешь. Чуть не вцепились друг дружке в волосы, так что, может, и не из-за пятки вовсе подняли крик. Даже с конца шествия донеслись голоса:

— Эй, вы там, впереди, потише! Петь мешаете! Постыдились бы! Постыдились!

Какой-то рябой мужик, подняв палку, стал протискиваться вперед, крича:

— Вон! Вон! Паскудницы! Колдуньи!

Но тут другие на него набросились: куда лезешь, ты! До бога отовсюду одинаково, что спереди, что сзади. Лишь бы душа была чиста.

— Иисусе! Мария! — завыл кто-то. — Черт бы вас подрал! Ослепли?!

— Не ругайтесь! Не ругайтесь! — посыпались напоминания. — Поклялись ведь, что не будем ругаться!

Я воспользовался суматохой и пробрался обратно к матери.

— Где ты был? — сердито спросила она.

Но в эту минуту органист, чтобы успокоить паломников, завел:

— Преславную божью матерь воспоем сердцем и устами!..

И над толпой поплыла песнь:

— Да восславим тебя!.. — И мать зашевелила губами, повторяя те же слова.

Я вытащил из-за пазухи яблоко и начал есть. Слопал, наверное, штуки четыре, прежде чем кончилась песнь. Доедал последнее, когда мать снова спросила у меня:

— Откуда у тебя яблоки?

— Из сада. Мы мимо сада проходили. Не видели?

— Выбрось,— зашипела она.

— Да они уже созрелые, мама! — чуть не крикнул я. — Хотите попробовать?

— Выброси, я сказала. А где четки?

Оказалось, что четки сползли мне на спину, когда я убегал из сада от Азора. Или, может, я их сам назад закинул, когда совал яблоки за пазуху.

— Стыда у тебя нет,— с возмущением, хотя и шепотом, сказала мать. — Идешь грехи замаливать, а сам крадешь. Наказанье господне с этим мальчишкой. Неужто ты никогда не исправишься?

К счастью, прямо за нами шел Дуда с дочкой Веронкой. А сварливый он был, хуже самой вздорной бабы, и в перерывах между песнопениями постоянно с кем-нибудь ругался, а не с кем было, точил собственную дочь. Та, хоть старая дева и страшна как смертный грех, сущий ангел была. Только не очень ей это помогало. Вот и теперь Дуда начал ворчать:

— Неправильной дорогой идем. Говорю вам, люди, с самого начала пошли неправильно. Не та дорога это. Пыль и пыль, а большака как не было видно, так и не видать.

Никому не хотелось из-за этой дороги затевать с Дудой спор, к тому же не в первый раз. Да и рядом одни бабы шли, мужики держались ближе к концу, там хоть можно было поговорить. А бабы, даже когда не пели, в мыслях или губами шептали молитвы либо перебирали четки, которые несли, обмотавши вокруг руки. Но какой-то надоело Дудино брюзжанье, и она сказала, что ксендз нас ведет, не Дуда, а ксендзу лучше знать, правильная дорога или неправильная. Окольным путем ведь он бы нас не повел. И пускай Дуда заткнется или идет своей дорогой, коли ему эта плоха. Только ничего баба не добилась, наоборот, так Дуду раззадорила, что он и на нее накинулся, и на ксендза: сопляк, а не ксендз, молоко на губах не обсохло, такие только книжки умеют читать. А на нее: чего это она ксендза защищает, тоже еще молодуха, видать, бегает в плебанию и лазит к нему в портки. Ну и как, лучше ксендз простого мужика? Та засмущалась, опустила голову и поскорей начала четки перебирать. Другие бабы то же самое потонули в молитвах, потому что ни одной не улыбалось связываться с Дудой. И только мать на него напустилась:

— Постыдился бы, Дуда. И не совестно? Ребенок с нами идет. — Вроде бы обо мне. И, забыв про яблоки, прижала мою голову к своему боку.

Но Дуда не переставал ворчать, не по той дороге идем — и все.

— По той, не по той, все одно к богу, тятя, — пробовала утешить Дуду Веронка, дочка. — Подумайте лучше, о чем просить его станете, когда дойдем. А может, вам хлеба с сыром дать?

Мы остановились на ночь в деревне и уже лежали на сене в овине, когда мать снова вспомнила про краденые яблоки. Выбросил ли я их? Но спросила нестрого.

— А то у меня во рту пересохло,— сказала.

У меня было еще четыре. Я вытащил одно из-за пазухи и в потемках сунул ей в руку.

— Съешьте, мама,— сказал. — Такой огромнющий сад, ветер больше собьет или сами попадают.

Она взяла яблоко, но словно бы неживой рукой.

— Грех это, сынок,— сказала.

— Мой будет грех,— сказал я. — Вам можно, ешьте. — И чтоб подбодрить ее, вытащил еще одно яблоко, для себя, и начал громко грызть. Но чтобы мать ела, я не слышал. То ли, может, она тихонько жевала, то ли съела, лишь когда я уснул.

Темно было, хоть глаз коли, но слыхать все слышно, кто что делает, даже в самых дальних углах. Одни закусывали, другие усталые ноги растирали, третьи читали «Отче наш», а иные уже храпели. Только молодые, которых, видать, дорога не утомила, бог знает чем зани-

мались, то и дело раздавался визг девок, которому вторило ржанье парней. Пока в конце концов кто-то не выдержал и не заорал снизу, с гумна:

— Спите, черти проклятые! Или во двор выкатывайтесь!

Тьма на минуту наполнилась тишиной, но потом возня поднялась с новой силой. Неподалеку от нас потягивали из бутылки водку — не только сивухой воняло, но и бутылка с чмоканьем отрывалась от губ, выдавая пьющих. И даже кто пьет, мужик или баба, можно было распознать. А то у кого-нибудь в горле забулькает — чересчур много видать, отхлебнул, охрипшая от пенья глотка не желала принимать водку.

Я долго не мог заснуть: сено кололось и вдобавок отовсюду на меня наваливался храп. Никогда б не подумал, что люди так по-разному храпят и слышно отдельно каждого, хоть их целая куча. Одни тихонечко, словно только посвистывали себе под нос: мол, больно хорошо им спится. Другие погромче, будто выплевывая сквозь сон остатки дорожного пенья. У иных откуда-то из нутра храп выходил, но еще ничего, не очень драл уши. Хуже всех старики, эти точно продирались сквозь чащу терновника, боярышника, можжевельника или шли по болоту, все глубже и глубже проваливаясь в трясину. А иногда треск раздавался, будто здоровенный мужик свалил вербу, а потом присел на ствол и засопел. Хотя это могла и баба быть. Шли ведь среди паломников бабы почище мужиков, бабы-печи, бочки, мешки, турецкие барабаны, а не только костлявые ведьмы, старые карги или размалеванные молодицы. Невдалеке в углу вдруг в два голоса захихикали, чудно как-то, вроде бы тихонечко, украдкой, но чувствовалось, что охота им залиться на весь овин, а то и на весь свет. Я подумал: верно, друг дружку щекочут, притом под мышками, это когда под мышками щекотно, так смеяться хочется, до колик в животе.

— Мама, там щекочутся,— шепнул я матери на ухо, не зная, что она уже задремала.

— Не слушай, сынок, спи,— вздохнула мать, прижимая меня к себе.

Но как тут спать, когда казалось, что вот-вот кто-нибудь из этих двоих, скорее всего баба, вскочит и пустится бежать по сену, по головам, потому как им, похоже, становилось уже невмоготу. А вскоре там застонали, зашуршали. Мать, усталая, заснула крепким сном, и весь овин заснул, а те все стонали и стонали. И она каждую секунду: ох, Ясек, ох, Ясек. А он: ти-и-и-хо.

На следующий день мы шли по усыпанной щебенкой дороге, обсаженной с обеих сторон акациями, и вдруг кто-то сказал, что на этой дороге лиходеи обирают мужиков, когда те возвращаются из Кавенчина с ярмарки. А на это одна из баб как заорет, что ни при чем тут лиходеи, мужики сами все пропивают, а потом сваливают на воров. Ездили и из нашей деревни в Кавенчин на ярмарку. Хоть это от нас не ближний свет. Выезжали на ночь глядя, чтобы утром на ярмарке быть, а вторую ночь всю напролет ехали обратно, чтоб вернуться, опять же, к утру. И тоже случалось кой-кому возвращаться без гроша в кармане: мол, обчистили воры. Щерба, Франека отец, раз вернулся пешком, без лошади, без телеги, через неделю примерно, исхудалый, понурый. Все у него потом из рук валилось, только б и сидел целыми днями в корчме да пил, вроде бы с горя, что его ободрали как липку, и, ясное дело, в долг. Но Франек нам проболтался, что никто отца не обкрадывал, он сам истратился на «тетю», которая его все равно бросила. Потому что была у Щербы какая-то городская в Кавенчине. Франек раз у ней побывал, когда отец взял его с собой на ярмарку, и она Франека погладила по голове, его прямо в дрожь бросило. Потом дала апельсин и сказала:

— Славный у тебя сын, Игнаций. Ну, а теперь иди, мальчик, поиграй во дворе.

Может, и правду говорила та баба, что лиходеи тут ни при чем, откуда на такой неприметной дороге взяться грабителям. Стоило нам присесть отдохнуть на обочине в тени акаций, так сразу клонило в сон. Даже думать не хотелось, что надо будет вставать и дальше идти. Вдобавок пташки весело чирикали в листве. А невдалеке была усадьба, из-за деревьев парка выглядывала крыша дворца. И некоторые принимались гадать, как живут в таком парке, в таком дворце. Но поднимался органист, поднимался ксендз, и приходилось отправляться в путь.

Я бы, может, и не запомнил этой дороги, дорога как дорога, таких везде полно, если б десяток лет спустя она сама не напомнила о себе. Стояли мы в деревне Марушев, милях в двух от Кавенчина, в кавенчинских лесах, сентябрь был. И однажды внезапно окружили нас немцы. Верно, кто-нибудь донес, иначе откуда бы им узнать? Деревня посреди лесов, и леса большие. А еще река, и дальше опять леса. Был у нас один такой, может он? Но если не он, пусть меня накажет бог. Кличка у него была Прокурор. По правде говоря, не любил я, когда кто-нибудь так себя называл. Мне нравилось Шмель, Береза, Мята, Щегол. Но он выбрал себе Прокурор, ладно, дело хозяйское. На юриста хотел учиться после войны — это когда я его спросил, почему Прокурор.

— Все осудить. Кого надо — наказать. Эх, работы будет, только поворачивайся,— сказал.

— Кто тебе после войны в законы станет верить, чудак? — пробовал я его отговорить. — И что за ремесло — юрист? Только наживешь врагов. Уж лучше крестьянин, хотя это тоже не ремесло. Но по крайней мере никому никакого вреда. Иди-ка ты в зубные врачи. У людей за войну много перепортится зубов, работы и вправду будет невпроворот. И красивше Протезист, чем Прокурор.

Он до войны в магистрате служил, аттестат об окончании средней школы имел, язык у него был неплохо подвешен и почерк красивый. Ладно, подумал я, пусть пишет приговоры, раз хочет Прокурором быть. Потому что других охотников не находилось. А был сверху приказ, чтобы самую последнюю сволочь без приговора не убивать. Непонятно, если сволочь, зачем писать приговор, но приказ есть приказ. А у него прямо глаза засверкали, сразу взялся за работу. Мы собирались убрать хозяина ресторана в Тылицах, тот оказался доносчиком. Вот и давай, Прокурор, пиши. Приносит он мне свое сочинение, я читаю и не могу понять, приговор это или проповедь.

— Короче,— говорю ему.— Заново напиши.

Он опять приносит и опять то же самое. Я принимаюсь ему объяснять. Но уже начинаю злиться:

— Когда убивать приходят, некогда читать. Да и зачем? Все равно не запомнит. Напиши еще раз.

Приносит он еще раз, ну тут уж меня затрясло:

— Ты что, брат, сдурел?! Убить его только надо, а ты чего понаписал?! Кто ж это станет выслушивать?! Господь бог?! Уж наверняка не этот гад! Какой он ни есть, а под пистолетом и такому смерть затыкает уши и глаза. Нашел, черт тебя дери, кого сатаной стращать! Видел ты когда-нибудь сатану?! Не видел! Вот и не рассказывай сказки! Кто человека в себе не видит, тот сатаны и подавно не разглядит. Гореть кому в аду, не гореть, тебе этого знать не дано. И я не знаю, хотя и твой командир. И никто не знает. Иной раз и за меньшие грехи можно в пекло попасть, а в бóльших покаешься и не попадешь. А такой сукин сын, небось, найдет, как исхитриться, чтоб не попасть. Захочет — и господа бога проведет, и сатану, а от вас удерет, пока вы ему будете эту проповедь читать. Да и откуда тебе известно, что такому в аду не лучше будет, чем в раю? Эвон, на земле ад, а он ресторан открыл и людей, падла, продает. Да и зачем тебе нужно, чтоб он непременно в ад угодил? В ад ли, в рай, лишь бы его промеж нас не было.

Понятно?! И может, ад вовсе не такой, каким тебе представляется. Иной всю жизнь только и гнет спину в поле или ходит с портфелем на службу, а для него это и есть ад. Был у тебя портфель? То-то же. Напиши еще раз.

Но ничего у него не вышло, сколько он ни старался, и в конце концов пришлось хозяина ресторана убить без приговора. Прокурор потом долго как в воду опущенный ходил, лицо осунулось, мне даже жаль стало парня, и я снова его позвал.

— Напиши, что ли, парочку на пробу,— посоветовал ему. — Пропесочь какого-нибудь мерзавца. Помалу втянешься. Давай.

Может, зря я его так сразу в омут бросаю, подумал я. Человек до всего должен дойти своим трудом. Иной быстро, шаг за шагом идет, а иной годами. Косить — то же самое, сыщи такого, чтоб с рождения, едва взяв в руки косу, начал косить. Отец должен его приучать, сам должен смотреть, как другие косят, и не один покос помучиться, а то и выщербить косу. Выходит, я Прокурору хороший совет дал, чтоб он сперва поупражнялся на каких-нибудь выдуманных мерзавцах, да и что я мог ему посоветовать еще? Он с аттестатом и служащий, а я и семи классов не кончил. В седьмом отец весной насовсем забрал меня из школы, потому что пахоту начинал, притом на косогоре у леса, и некому было лошадь за морду вести, чтоб не оступалась и не портила борозды. Был вроде бы Михал. Но Михал к лошадиной морде близко боялся подходить, вдобавок у него от солнца всегда начинала болеть голова. Да и все равно никуда дальше мы после семи классов не шли, при земле оставались, так что месяцем раньше, месяцем позже, значения не имело. Тогда Прокурор мне: просьба одна у него есть. Какая просьба? Ему бы пишущую машинку, он бы тогда в два счета научился эти приговоры писать. Потому что от руки не больно хорошо получается. Да и что это за приговоры, от руки?

— Машинку? — Я прямо оторопел. Но он в магистрате служил, ему лучше знать, что машинка может, а что рука. — Ну, если удастся где-нибудь раздобыть, получишь.

А вскоре мы устраивали налет на биржу труда в Коломеже. Нам нужны были списки предназначенных для вывоза на работы. Прокурор только машинку должен был взять, а набрал бумаги, копирки, скрепок, карандашей, резинок, еще чего-то, даже прихватил дырокол. Полный мешок разного добра приволок в лес. И радовался, как дитя, словно это был мешок с игрушками.

С тех пор он каждый день уходил с машинкой в лес, забирался в чащобу и писал. Ставил машинку на пень, а сам на коленях пристраивался возле. Иной раз и нам было слышно — как будто дятел в глубине леса стучал. Ребята над ним подсмеивались, небось, письма своим девушкам отстукивает, а может, стихи, и кое-кто просил, чтобы он и им по стишку написал, они бы тоже послали своим. Потому что, кроме меня, никто не знал, что он на самом деле пишет.

Но в конце концов кого-то одолело любопытство, и он выкрал эти приговоры у Прокурора из вещмешка, когда тот спал, и прямиком ко мне, чтобы я прочел. Читаю, а у меня волосы дыбом встают. Что ни приговор, то на кого-нибудь из отряда. Карп, Рябина, Шмель, Шишка, Береза, Олень, Сверчок, Лопух, Сучок. А среди них и я. И за каждым преступлений, как за последней сволочью. И каждого к смерти, к смерти, к смерти. А те, что постарше званием, еще и отправлены в ад. И я, конечно. Видать, эта чертова машинка, подумал я, разум у тебя отняла. Может, есть в машинке что-то такое, раз человек не доверяет своим рукам.

— Прокурор, ко мне! Ты что тут понаписал, сукин сын? Кто тебе велел?!

— Командир.

— Я?! Я тебе велел, чтоб ты мерзавца какого-нибудь отчехвостил! Эх, не будь я твой командир, рожу б искровянил. — И изорвал эти

приговоры в мелкие клочки. — С сегодняшнего дня конец писанине!— И переименовал его из Прокурора в Жаворонка, а машинку приказал разбить о дерево, кому в лесу нужна машинка?

Он потом ходил с мутным взглядом, словно смотрел и не видел, ни с кем не заговаривал, даже, рассказывали, есть почти перестал, поковыряет ложкой в котелке и выбросит птицам. А через несколько дней исчез, и концы в воду.

Небо уже выбелил рассвет, когда сперва со стороны реки, а потом из леса раздались выстрелы и собаки в деревне подняли лай. Я до сих пор не понимаю, как так могло получиться. Были ведь выставлены посты, и несколько дней до того никто посторонний в деревню не приходил и не уходил никто. Другое дело, что немцы из леса нагрянули, притом с южной стороны, откуда их никто не ждал. Там даже просеки не было. И боялись немцы лесов как черт ладана. Да еще таких лесов, как кавенчинские, которые неведомо где начинались, неведомо где кончались. А Марушев был с трех сторон окружен лесами и с четвертой наполовину. И вела в деревню одна-единственная дорога — и та проселочная. До щебенки было километров шесть, до шоссе вдвое больше, а до железной дороги на телеге целый день пути. Немцы сюда никогда носу не казали, может, даже не знали, что такая деревня есть. И господь бог будто о Марушеве позабыл. Мало того, что глухомань, еще и людям там тяжко жилось. Земли песчаные, что на таких землях растет? Рожь, овес, картошка — с тем и коротали свой век. Разве что перед каждой хатой палисадник был, а в палисадниках росли подсолнухи, вот и могло показаться — люди тут счастливой жизнью живут. Потому что подсолнухи эти светились, как маленькие солнышки, даже когда настоящее, большое солнце пряталось в тучи.

Если мы хотели постираться, помыться, набраться сил, подлечить раны, ну и мало-мальски пожить по-людски, то хоть на пару дней закатывались в Марушев. Принимали нас там чем хата богата, и хотя богатой хата не была, мы себя чувствовали так, словно не было войны. Ели оладьи, пили самогон, спали под перинами. У меня даже завелась одна такая, Тереска. Писаная красавица и сама доброта. Родители не противились, хотя мы с ней жили, как муж с женой. И я вовсе не обещал, что женюсь. Иногда только, если к слову придется, скажу, что навещу их после войны, даст бог остаться живым, но, может, они не верили, что я живой вернусь, и рассудили, чтоб лучше я их дочку согрешившей девицей оставил, чем вдовой. У меня до сих пор хранится образок, который Тереска мне однажды дала, чтобы я всегда возвращался жив и здоров. Бывало, по полгода, а то и больше мы не виделись, и всякий раз она меня встречала, как земля, истосковавшаяся по дождю. Сразу же приносила лохань, ставила на плиту чугуны с водой, стелила постель. Родители, слова не говоря, выходили по хозяйству во двор или в другую горницу, а она заставляла меня раздеваться и лезть в эту лохань. Сама мылила мне спину, окатывала из ковшика водой, вытираться помогала. Как знать, может, я б и женился на ней после войны, только ее вместе со всей деревней сожгли. В бедрах она была широкая, груди как капустные кочаны, хороших бы мне детей родила, двоих или троих.

Я мигом надел штаны, сапоги, схватил со стула стэн[1], а куртку натянул уже на бегу. В сенях до меня еще донесся ее стон: Шимек! Но не было времени хотя б обернуться и сказать: Тереня. Я выскочил во двор. Несколько ребят, пригнувшись, бежали под стенами хат и наугад куда-то стреляли. А со всех сторон — с полей, из лесов, от реки— на деревню уже обрушился бешеный автоматный огонь. Я пытался отдавать какие-то приказы, но не очень-то было кому и через кого. Деревня вроде бы небольшая, но в суматохе всяк на свой страх и риск спасенья искал. Отстреливались там, сям, вразнобой, с чердаков, из-

[1] Пистолет-пулемет английского образца.

за углов, где кто прижался к земле, к стене, к дереву, к плетню. Коекого мне пришлось тряхнуть: ты что, приказа не слышал? Вслепую не стрелять! Отходить в конец деревни! Там займем позиции! А тут еще деревенские повыскакивали из хат. Что случилось?! Конец света! Иисусе! Мария! Благим матом! В плач! Бабы, мужики, матери с младенцами на руках, ребятишки, не досмотревшие снов.

Какая-то ведьма в ночной рубашке до пят, с башкой как воронье гнездо, с распятием в руке давай во всю глотку нас честить, что из-за нас это все, из-за нас, мы сюда только ради баб приходили, всех марушевских девок перепортили, беспутники, в Содом и Гоморру превратили Марушев! И теперь всевышний на нас кару наслал! Но на Марушев-то за что? Господи, за что на Марушев?!

Кто-то вихрем промчался на лошади, крича: бегите! бегите! Жечь будут! В огонь будут кидать! Кто-то со двора на дорогу выгонял скотину и гнал, гнал, лупя кнутом по хребтам, по ногам. Двое ребятишек в белых пеньковых рубашках, помоложе и постарше, держась за руки, бежали куда-то с плачем. А за ними растрепанная мать, еще пуще плача: Ирусь, Магда, вернитеся! Куда летите, бесенята, вернитеся! А крайняя от леса хата уже была в огне.

Наконец мне удалось собрать часть отряда. Мы разделились на три группы, которые должны были идти одна за другой. Всем трем я приказал пробиваться к реке, сам шел в последней. От деревни до реки не близко, и поля кругом голые, жатва давно уже прошла. На счастье, выкопки еще не начались. Можно было по бороздам ползти или хотя бы спрятать голову в картофельную ботву. Ближе всего и надежнее было бы отступать к лесам, но нам туда все подходы закрыли, как ворота в овин. В первую минуту к лесу бросились десятка полтора ребят. Щавель их вел, так почти всех скосили, вернулось человек пять. А на поле, я подумал, пореже будет заслон, потому что немцы меньше всего в той стороне нас могли ожидать. Ну и в полях их не хуже, чем нас, видать.

Стрелять начала наша, последняя, группа, сразу вызвав на себя бешеную пальбу. А в это время первая и вторая уже ползли по бороздам. Примерно на полпути внезапно открыла огонь вторая группа, и под ее прикрытием первая подтянулась еще ближе к реке. Потом, когда первая уже совсем изблизи стала по немцам палить, мы даже скачками могли передвигаться. Пустили в ход гранаты. И прорвались. Только нашей, третьей, группе еще пришлось ребят из первой и второй прикрывать, пока они переправлялись вброд.

Вдруг что-то саданула меня в живот, и все скрылось из глаз. Но мне даже приятно было так ничего не видеть, не чувствовать. Не знаю, долго ли я пролежал, но когда открыл глаза, мне почудилось, я уже на том свете. И может, этот жаворонок на небе — Терескина душа, которая, выпорхнув из обугленного тела, поет надо мной, не давая мне умереть. А мужик, который далеко-далеко не то небо, не то землю пахал, может, ее отец, и тоже только душа. И может быть, лишь мать здесь, на этом свете, кричала истошно: Иисусе-е-е!

У нас погибла почти треть отряда, считая тех, кого схватили живьем, и раненых. Живых затащили на грузовик, туда же понапихали марушевских мужиков, которых не успели сжечь или застрелить, и, возвращаясь по той самой дороге на Кавенчин, по которой я когда-то шел с богомольцами, повесили всех на придорожных акациях. Веревок не было, так они в усадьбе поотвязывали веревки у коров. Лестницы не было, чтоб до веток достать, так в Винцентове, где мы тогда останавливались на ночлег, забили в рельс и пожарников с лестницей загнали на другой грузовик. А разохотились, сволочи, прямо как пьяный мужик, который, когда начнет пить, удержу не знает, все пил бы и пил. Правда, они тоже пьяные были, некоторые едва стояли на ногах, а один, залезши на лестницу, чтобы привязать к ветке петлю, слетел и мордой об землю. И всю дорогу орали похабные песни. Когда

же из наших никого больше не осталось, а акации еще не кончились, стали вешать всех подряд, кто только ни попадался на дороге.

Ехал доктор из Млынар на телеге к роженице и даже по-немецки умел, но ничего ему не помогло, повесили, гады. Его повыше, а возницу, то есть мужа той бабы, что собралась рожать, пониже, обоих на одной акации. Ехали музыканты на велосипедах куда-то на свадьбу, гармонист, скрипка, кларнет, тромбон, барабан, впятером. Сперва велели им что-нибудь сыграть. Они сыграли, да так, что акации зашумели листвой, хотя не было ни ветерка. По правде говоря, не умели они играть так, как играли в тот раз, не бог весть какие были музыканты, не то что, к примеру, Баргель из Олесницы или Войтешко из Моджеёва. Войтешкины музыканты у Кужика в Старом Бору на свадьбе Кужиковой дочки умудрились три дня не спавши играть. Глаза только таращили, ели-пили и знай наяривали. Но может, этим господь помог или смерти они так боялись, что играли лучше, чем умели. И уж наверняка думали, что поиграют-поиграют, сядут на велосипеды и поедут своим путем. Потому что бандиты те даже притопывали от удовольствия и кричали: еще! еще! А случается, можно музыкой отогнать смерть.

Жил когда-то в нашей деревне гармонист по фамилии Граб. Так он один играл за целый оркестр, барабан только еще брал в помощь. Вроде играет на гармони, а слышишь и скрипку, и кларнет, и тромбон, и костельный орган. И почти не растягивал гармонь, пальцами нажимал на кнопки, и все. А пальцы у него гнулись в обе стороны, будто сделанные из лозы. Не было ему равных в нашей округе, да и подальше, небось. А когда слег Граб, потому что очень уже старый стал, пристроил гармонь на табуретке рядом с собой и, как смерть к нему приближалась, смерти играл. И она отступалась. И верно, жил бы старик, покуда у самого не пропала охота. Но что-то у него в гармони разладилось — кнопки вроде не западали, и растягивалась хорошо, но у мехов точно дух сперло. И помер Граб. Люди говорили, что такой музыки, какую он смерти играл, никто в жизни не слыхивал, а может, и на свете никогда не было такой. Мороз по коже драл, и кошки убегали из хат, собаки выли, лошади из упряжек рвались. И кто ни проходил у Граба под окном, когда тот играл, непременно останавливался, потому что цепенел весь.

Только было это давно, и войны не было: может, смерть тогда и любила послушать музыку. А в войну смерть глухая. И музыканты своею игрой только того добились, что вздернули их на одной акации и инструментов не попортили, а повесили вместе с ними. Гармониста с гармонью, скрипача со скрипкой, барабанщика с барабаном на животе, и так всех. А какой-то еще их сфотографировал, а другой прошил очередью барабан.

Вел мужик корову к быку, тоже его повесили. А другой, дурак, вышел из хаты, любопытно ему было на немцев поглядеть. Может, даже его бы и не тронули, потому что он во дворе стоял и только макушка торчала из-за плетня. Но чтоб им понравиться, он шапку с головы снял и поклонился. И видать, до того понравился, что они его повесили. А одного спросили, где солтыс[1] живет. А он не понял и стал головой мотать, руками разводить, не понимает, мол. Да и как он мог понять, когда наша речь из земли, а ихняя из железа, а земля железо никогда не поймет. Ну и его тоже вздернули.

Еще повесили ясеньского помещика, из той усадьбы, откуда забрали веревки у коров. Только его на воротах, не на акации. , Было в усадьбе трое ворот — двое обыкновенных, поплоше, на каждый день, а третьи, как говорится, для больших праздников. Те двое со стороны деревни, а третьи глядели на ту самую, обсаженную акациями дорогу, и вела к ним длинная липовая аллея, по которой въезжали прямо

[1] Деревенский староста.

во двор, ко дворцу. Обычно они стояли запертые, и открывали их только по торжественным случаям, когда балы устраивали или какой-нибудь важный гость приезжал. Даже помещик с помещицей в костел по воскресеньям ездили через боковые ворота. А вот когда помещикова дочка Клементина возвращалась на каникулы из города домой, главные ворота с раннего утра стояли распахнутые настежь. И мальчишки из усадьбы, и деревенская ребятня залезали на придорожные деревья и высматривали, не показалась ли вдалеке коляска с барышней. Получали за это по двадцать грошей. А когда коляска показывалась, передавали весть с дерева на дерево, по всем этим акациям, липам до ворот и дальше, через парк, во дворец: едет. Кто живой, всяк выходил из дворца, не говоря уж о помещике, помещице, кузенах, но и лакеи, горничные, кухарки, повара. А когда коляска въезжала во двор, не давали барышне самой вылезти, а срывали ее, будто цветок, с сиденья и ставили на ступеньки перед матерью с отцом. А барышня, счастливая, всем улыбалась, со всеми щебетала и некоторым из слуг бросалась на шею, иной раз шляпка слетала у нее с головы и катилась вниз по ступеням. И все кидались эту шляпку ловить. Бывало, обед подгорал, но никого не ругали: это ж из-за барышни.

Начали они барабанить, колотить прикладами в эти ворота. Прибежал сперва кто-то из слуг, но у него не было ключа — выстрелили, убили. Потом прибежал помещик с ключом, но чего-то в замке заело, он пробовал-пробовал и так и сяк — ничего. Наконец кое-как открыл. Но немцы страшно обозлились, что пришлось долго ждать, и за это помещика повесили. Хотя разве его была вина, что ворота не хотели открываться? С тех пор как война началась, их не открывали. Барышня совсем вернулась с учения и сидела дома, то есть во дворце. А если кто важный приезжал, то потихоньку и через какие-нибудь из боковых ворот. Поэтому, видно, главные так заржавели, что не могли повернуться в петлях и скрипели, ироды эти аж уши затыкали и топали об землю ногами. Люди говорили, это господь бог пытался им воспротивиться так. Но хоть он и господь бог, а что мог сделать, когда они, наверное, на двадцати машинах приехали и все вооруженные до зубов.

Ворота, кстати, посейчас стоят, только в чистом поле и никуда не ведут. Потому что от усадьбы, когда после войны делили господскую землю, даже ограды не осталось. Парк люди вырубили на дрова, на постройку домов. Как и ту липовую аллею, что вела к воротам. Дворец разобрали до самого фундамента. И теперь здесь такие же поля, как везде. Куда ни глянь — рожь, пшеница, клевер, ячмень, картошка, свекла, морковь. И ворота посреди этих полей, словно их кто-то затем лишь поставил, чтоб не так было плоско. Два высоких столба, соединенных наверху полукруглой аркой, с которой когда-то свисал на кованой цепи фонарь. На этом-то фонаре и повесили помещика. Рамы, то же самое, целиком выкованные из железа, извитые, будто все из лилий, винных лоз, вьюнков. Двое мужиков всегда их тянули, один бы не справился. И с тех пор ворота навечно закрытые. Потому что, когда тело помещика сняли, кто-то их снова запер, а ключ пропал.

Пробовали разные после войны их открыть. Кузнец, бондарь, кровельщик и даже один, который радиоприемники чинил. Пробовали механики из сельхозартели, трактористы, еще какие-то. Известно, всегда найдутся охотники узнать, что там, с другой стороны. А раз приехал к кому-то родич из Америки и сто долларов пообещал, если кто откроет. Снова стали пробовать. Понаехало всяких из дальних деревень. Но тоже поначалу сделать ничего не смогли. Тогда этот американский дядюшка, уверенный, что ворота уже не откроются, надбавил до ста пятидесяти, а потом до двухсот. Ну и открыли. Чего только деньги не сделают. Но когда увидели, что по другую сторону такие же хлеба, свекла, морковь, испугались и снова ворота заперли, притом

ключ у них согнулся и так и остался в замке. И теперь ворота закрыты навечно.

А недавно ехали в Кавенчин на автобусе заграничные туристы. Как увидели, что в полях ворота стоят, велели остановиться, повылазили и ну смеяться, что за чудной мы народ, ворота в чистом поле, словно перед дворцом, ставим, а все равно каждый куда вздумает идет. А невдалеке от этих ворот пахал старый Кусьмеж из Ясеня, так они принялись со всех сторон фотографировать, как он пашет. Потом кто-то дал ему пачку сигарет, Кусьмеж сперва отказывался, не понимал за что, но один из туристов сказал:

— Gute Zigaretten [1].

Ну, он взял, но закурил свою. Потом стали они у него допытываться: что это за ворота? Может, их кто-нибудь перед своим полем поставил? Или мы через них сеять ходим? Или, может, у нас обычай такой? Может, жито из-за этого лучше растет? И сколько мы собираем с гектара?

Но не сказал им Кусьмеж правды. Подумал: они туристами к нам приехали, да еще сигаретами угостили, глупо как-то правду говорить. И сказал, что никто этих ворот не ставил, сами по себе выросли. У нас такие ворота сами растут, кое-где даже очень густо. Никто их не сеет, не сажает — растут, как деревья. Земля плодная, достаточно, чтобы семечко ветер принес или птица выронила из клюва. У нас целые рощи есть таких ворот.

Три дня оставались повешенные на этих акациях, потому что солтысам три дня не велено было их снимать, и помещик тоже висел на воротах. Руки у всех были назади связаны колючей проволокой, ноги босые, висели в одних рубахах и портках. По счастью, сентябрь выдался теплый, изо дня в день солнце на безоблачном небе, паутина летала в воздухе, и ночи не холодные. Так что они хоть не намерзлись, как если б висели в ненастье, в стужу, да еще бы ветры их раскачивали, в такую пору часто бывают ветры.

Долго после войны никто не ездил по этой дороге в Кавенчин на ярмарку. Ездили через Завады, делая крюк километров в семь. Потому как разное случалось с людьми, если кто упирался, что проедет, или даже шел пешком. Иногда среди бела дня, часов в двенадцать, задерет такой смельчак голову, а в листве босые ноги болтаются или с ветки свисает веревка со здоровенной петлей. Или, к примеру, кони, вроде бы что им до людей и ихних дел, хотя кто знает, может, люди для них такие же лошади, как они лошади для людей, так и те прядали ушами, фыркали, брыкались, рвали постромки.

Был у одного мужика в Микульчицах жеребец, черный, как ворон, только бабки белые и звездочка во лбу. Все этому мужику завидовали. Жеребец, когда в упряжке шел, морду задирал вверх и шажки делал мелкие, точно барышня-жеманница. Ни кнутом его не приходилось подстегивать, ни кричать — н-но! пошел! ну! — как на других лошадей. Хозяин только вожжи держал в руке и легонечко их натягивал, а конь сам знал — налево, направо, прямо, рысью. Ну и казалось мужику: на таком коне можно по пеклу промчать, а не только по кавенчинской дороге. Но едва он на нее въехал, жеребец вскинулся на дыбы и ни с места. Мужик его кнутом, по ногам, по хребту. Ах ты дьявол, такой-сякой, получишь ты у меня овса, мякину будешь жрать! А конь как понесет в поля, очертя голову, куда глаза глядят. Перевернул телегу, сломал дышло, мужик с перебитым крестцом остался лежать, а вороной проскакал одну деревню, проскакал другую и, верно, дальше бы полетел, но сердце у него разорвалось, и он околел. А другой мужик, опять же, ехал на жеребой кобыле, а жеребая кобыла, известно, терпеливая, покорная — куда велят, туда идет. Ну и пошла, а потом принесла мертвого жеребенка.

[1] Хорошие сигареты *(нем.)*.

Или сколько уже лет прошло с войны, спутник с собакой по небу летал, когда возвращался Джазга из гминного правления, из Дашева, домой. Около полудня было. Притомился мужик, потому как невесть сколько в гмине проторчал и все равно без толку, вот и присел на минутку под одной из этих акаций, а рядом был пень от другой, срубленной по старости. Глянул Джазга на этот пень и видит, сидит на нем кто-то, с веревкой на шее, босой, в рубахе и портках, руки за спиной связаны колючей проволокой, и обращается к Джазге с такими словами:

— Не знаете, до Вульки отсюда далеко? Дерево мое срубили, земля меня не принимает, и где сам я, не знаю.

Вулька? Вулька? — думает Джазга и чуть было не спросил: которая это? Потому что в каждой гмине какая-нибудь Вулька есть. Но, спохватившись, вскочил и пустился наутек. Запомнил лишь, что тот белобрысый был и молоденький.

Белобрысый и молоденький — значит, Сверчок. У него только-только пробивался на подбородке пух, завидовал парень Кубе, что у того щетина как собачья шерсть, и бреет он ее бритвой. Всегда Сверчок зеркальце перед Кубой держал, когда тот брился, за что Куба раз в неделю брил Сверчка. Намыливал долго, щедрой рукой, от кадыка до носа и чуть ли не до самых глаз, все чин чином, будто у Сверчка была щетина как у взрослого. Потом правил бритву на ремне и не кое-как, тяп-ляп, а словно настоящего мужика собирался брить. Даже вырывал из своей гривы волосок и, маханув по этому волоску, проверял, хорошо ли бритва берет. И хоть Сверчкова борода, бывало, даже не зашуршит во время бритья, словно Куба одну только пену с нее снимал, он утешал парня:

— Эвон, слышь, как шелестит? Уже скрипеть начинает. Жесткая будет у тебя борода. Жестче моей.

Но не дождался Сверчок бороды. А в благодарность за бритье научил Кубу подражать горлице. И Куба после смерти Сверчка все ворковал и ворковал, зло иногда брало. А Куба потому хотел научиться ворковать, что был у него перед хатой ясень, на котором гнездились горлицы. И он вбил себе в башку, что самое верное дело, когда вернется из лесу, от горлиц правду узнать, чего в деревне было, что дома, как дети, жена. Хотел Сверчок его по-аистиному научить: будешь курлыкать, Куба, когда взгрустнется, а тот нет, ему надо как горлица. Хотел научить жаворонком петь: станешь себе, Куба, насвистывать, когда будешь пахать, так тоже нет, давай как горлица. И зачем тебе, Куба, правду знать?

Не было птицы, которой бы Сверчок не умел подражать. Дрозду так дрозду, кукушке, ястребу, соловью, иволге, грачу, дятлу, сизоворонке, снегирю, кому ни попросишь. А если сороке, то он мог к дождю на один манер, к беде — на другой. Петуху — так кукарекал лучше, чем настоящий петух. Мы глубоко в лесу стояли, а казалось, до хат рукой подать, потому как нет-нет запоет петух. И по-одному — когда полночь возвещал, по-другому — когда отряхивался от пыли. А каркать каркал Сверчок и как одна ворона, и как сто, когда они тучей облепят тополиную верхушку, и как тыща, когда летят на закате по синеющему небу. Иногда ему ребята таких даже птиц называли, которых вроде бы и нет. Он за всякую мог. А больше всех старался Репей, учитель естествознания. Уж этот самых диковинных выдумывал, я ему не раз говорил: кончай брехать, Репей, нету таких птиц. Я сам порядком знаю, но про твоих никогда не слыхал. Какие-то кулики, ремезы, веретенники, турухтаны, камышовые овсянки. Еще клялся, что они водятся в польских лесах. Может, и водятся, как не поверить учителю.

Я тогда три пули получил — две в бок и третью в живот, неглубоко, к счастью, кишки остались целы. В плебании на чердаке, в Плохчицах, лежал. Мало кто уже верил, что выкарабкаюсь. Навещали меня

по очереди то врач, то ксендз. Первый только головой качал, словно удивлялся, что я еще живой, а второй все глядел, не пора ли меня соборовать. Пока в конце концов, обозлившись, я не подкатился к экономке ксендза. Она мне дала старую ксендзову сутану, пальто, шляпу, башмаки, рубашку, подштанники и даже служебник, и в один прекрасный день на рассвете, когда все спали, я удрал из плебании, переодетый ксендзом.

Дома я был недавно — летом, во время жатвы, так что навряд ли меня там ждали. Но что случилось в Марушеве, слышать могли. К тому же меня, как никогда, тянуло повидать мать. От Плохчиц до нас было километров шестьдесят, а то и побольше. Еще приходилось выбирать дорогу, чтоб как можно меньше встречать людей, держаться подальше от просек, тропок, деревень. А тут мало того, что весь перебинтованный, не в своей тарелке я себя чувствовал в ксендзовом наряде. Жалел, что не надел чего-нибудь попроще, но никакой другой одежды в плебании не нашлось. И эту мне экономка давала со страхом — не святотатство ли совершает? Только когда увидела меня переодетого, сказала:

— Помоги тебе бог, а мне отпусти мое прегрешение.

Другое дело, что ксендз был немного пониже ростом, зато толще в животе, но как раз на животе-то, на больном месте, я и не мог застегнуться, вот и выглядел так, словно с меньшого брата одежку содрал. Рукава чуть пониже локтей, сутана до середины голени, а больше всего давило в плечах. Через несколько километров я умахался так, будто тяжкий груз на себе тащил. И еще из-за этих ран на каждом шагу мне точно штык вонзался в бок. Так что я даже мыслей собрать не мог, чтобы думать о том, о чем положено думать ксендзу. А ведь в ксендзовом облаченье и держаться надо было прямо, и лицо иметь просветленное, будто все мои мысли о боге. А тут еще то и дело слава Иисусу да слава Иисусу, а ты приподымай да приподымай шляпу и во веки веков, во веки веков. Хотя это еще у меня кое-как получалось. Хуже, что некоторые, завидев на своем пути ксендза, спешили остановиться, обрадовавшись, что им, как слепой курице зерно, господь послал случай поговорить с человеком духовного звания. И как ксендз считает, что с нами будет? Слыхал ксендз, что́ эти сволочи сделали в Марушеве, вдоль всей дороги на Кавенчин понавешали людей. И где только бог? Как он может на все это спокойно смотреть? И выдумывай, ври про бога, чего сам не знаешь, что неисповедим божий промысел, что нам остается лишь молиться за тех, в Марушеве. Или спросит у тебя кто-нибудь: вы, наверное, не из нашего прихода, отец, или, может, новый викарий у нас?

Ехал мужик на телеге, я даже голову в другую сторону отвернул, а он останавливается, тпру, он ксендза подвезет, ему глядеть больно, что ксендз идет пешком. Волей неволей пришлось мне к нему сесть. А потом, на телеге: издалёка ли путь держу? Вроде бы я вас, отец, где-то видел, малость вы смахиваете на одного такого, говорят, он в Марушеве погиб. И не стыдно приходу, неужель поприличней сутаны своему ксендзу не могут купить?

Измучился я от этого хуже, чем от ран. Дошел до Мерник и там у знакомого сменил сутану на обычную одежду. Да и что бы мать сказала, увидев меня в обличье ксендза? Я выспался и пошел дальше. Хотел этот знакомый дать мне велосипед. Но я попробовал, ехать оказалось трудней, чем идти. Несколько раз повезло, подсаживался на попутные телеги. Ксендзом я уже не был, так что не боялся отвечать, куда и зачем иду. То лошадь собрался покупать, но обязательно пегая мне нужна, а то пасеку завести надумал и хорошую матку ищу.

Поздно уже было, когда я вошел на наше подворье. Пес меня сразу узнал, начал скулить, тереться об ноги, я взял его за морду: тихо, Бурек, нет меня здесь, ты хоть и пес, но должен понять, и вообще ни-

где меня нет. И он, как человек, понял, завилял хвостом и поплелся в конуру.

Подморозило чуток, и потому, наверное, меня бросило в дрожь, а до того, на ходу, жарко было, иногда даже пот прошибал. Я присел за углом овина и решил там подождать, покуда мать, когда свечереет, выйдет доить коров. Поглядел на небо, ничего не переменилось, звезды на тех же местах, что всегда в эту пору. Большая Медведица у Блаха над тополем, Малая — немного подальше. И может, от того, что я в небо смотрел, у меня вдруг закружилось в голове. Я даже подумал: сейчас сомлею, но ничего, немного пришел в себя.

В хату я нарочно не заходил, чтобы снова, как в прошлый раз, не поругаться с отцом,— не для того я, раненный, тащился в такую даль. Мать мне только хотелось увидеть и сказать ей, что я живой, а то, может, она уже молится за мою душу после того, что в Марушеве стряслось. Да и тогда я в неудачное время пришел, жатва была, а когда жатва, известно, всяк к чужим словам глух. Родители ко сну готовились, мать в рубашке стояла на коленях перед разобранной постелью и читала «Отче наш». Отец парил ноги в лохани. Но хоть бы сказал:

— Слава богу, живой.

Или:

— Захирел чегой-то.

Или:

— Ну как тебе там?

Мать, разогревая мне на сковородке вареники, начала сразу выплескивать из себя накопившуюся боль:

— Мозги уже сохнут, нет его и нет, боже милостивый. А тут еще вчерась сорока уселась на ясень и трещала-трещала, у меня сердце оборвалось: должно, с Шимеком что. Говорю отцу: Юзусь, сгони чертовку эту, верно, с Шимеком случилась беда. И сама схватила камень и ее прогнала. Сколько за тебя молилась, просила Иисуса, Марию, чтоб не оставили тебя заступничеством своим. А уж снился ты мне каждую ночь. Как-то увидела, ты во двор притащил крест. Я говорю: откуда он у тебя, а ты — что у дороги лежал, когда ты возвращался с поля домой. И спрашиваешь: куда его, мама, свалить? А свали, говорю, у Секулы возле сарая. Жаль, мама, говоришь ты, небось из смолистого дерева крест. Кабы тебя убили, я б не пережила.

А отец только вытащил ноги из лохани и поставил на край, чтоб вода стекла. И вдруг как заорет на мать:

— Ну дай же что-нибудь!

— Чего надо?

— Ноги вытереть.

Она бросила ему тряпку, а он, обтирая ноги, сказал:

— Прям, убили его. Ты думаешь, им там плохо. Да они придумали партизанщину эту, лишь бы только не делать ни хрена. Побросали отцов, матерей, пусть живут как хотят. А тут даже задницу некогда почесать, и еще молись за них, лей слезы. Игры кончились, теперь играют в войну.

— Не больно мы там играем, отец,— сказал я, но так, чтобы его не обидеть. — Тоже не продохнешь.

— Чего ж это вы делаете? — злобно прошипел отец.

Ну, тут меня тоже понесло, и я сказал:

— Убиваем.

— Убиваете? Так не каждый ведь день. Был бы хороший сын, пришел бы когда, покосил. Вона, мне хлеб не с кем свозить. Антека еще снопы к земле гнут!

— Каждый день, отец. А иногда дня не хватает. — Я с трудом сдерживал ярость.

— А ты разок не убей и приди. — Отец отшвырнул тряпку, кото-

рой вытирал ноги, посмотрел на меня и, словно бы с удивлением, спросил: — И никогда у тебя рука не дрогнет?

— Нет.

— Ой, не наша в тебе кровь.

Я вскочил, хлопнул дверью, по горнице стон прошел. Мать выбежала за мной, но я сразу метнулся в сад, к реке.

Заскрипела дверь хаты, и бледный свет фонарика блеснул на пороге. Материна тень повернула к хлевам. Мать казалась совсем маленькой, а может, потерялась в бескрайней ночи. В одной руке у нее был подойник для молока, в другой раскачивался фонарик. Подмерзшая земля похрустывала под ногами. Я было пошел ей навстречу, но подумал, что, если вдруг неожиданно перед ней появлюсь, она может решить, не я это, а моя душа. Вдобавок ночь звездная, лунная, самое время для неприкаянных душ. И собака спокойно в конуре сидит, а собака душу не чует. Мать вошла в хлев, оставив светлую полоску от фонарика в приоткрытых дверях.

— Пусти! Подвинься! — услышал я, как она покрикивает на корову.

Я посмотрел на конуру, не надумал ли пес выскочить и меня выдать. Но нет, видно, помнил, что я наказывал. Я стал крадучись подбираться вдоль стены к этой полоске света, а когда подошел, тихонько просунул голову в дверь. В лицо мне ударило теплом, потом скотины, навозом. И показалось понятным, почему Иисус пожелал родиться в хлеву. Я осторожно расширил светящуюся щель. Дверь скрипнула, но мать, должно быть, ничего не услышала. Она сидела, согнувшись, под огромным коровьим брюхом, точно вся ушла в молитву, и лишь руки ее двигались в этом брюхе, в самой его глубине. А из-под рук в зажатый между колен подойник брызгало молоко. И только то, как брызжет молоко, было слышно во всем хлеву, а может, и на всем белом свете.

— Мама,— шепнул я.

Молоко тут же будто остановилось в ее руках. Мать медленно подняла голову и, оглядев потолок, стены, тихо спросила:

— Шимек?

— Не там, мама. Здесь,— уже смелее сказал я и вошел в хлев, закрыв за собою дверь. Мать посмотрела на меня, боясь поверить, не в силах подняться со скамеечки. Даже корова раз-другой махнула хвостом,— мол, почему перестали ее доить.

— Ну что, мама? Чего у вас слыхать?

— Ты живой? — сказала мать. И будто со всего ее тела, не только из глаз, полились слезы.

— В молоко накапает,— сказал я и взял подойник у нее с колен.— А жаль будет выливать.

Она вдруг, точно нитку зубами, оборвала хлынувший из нее плач. Утерла передником слезы. Попросила:

— Погоди, кончу доить.

— Да мне уже надо идти,— сказал я. Что другое я мог сказать?

— И в дом не зайдешь?

— Нельзя. Меня ждут.

— Выпей хотя б молочка.

Я поднес подойник к губам, нагнул.

— Исхудал ты, сынок, осунулся,— запричитала мать. Но голова у меня почти вся ушла в этот подойник, и голос матери доносился словно издалека: — Михась приезжал. С каким-то делом к тебе. Думал, ты заскочишь. Тоже плохо выглядит. — Я жадно пил молоко, точно сок земли. — Прости отца, у него тогда это сгоряча сорвалось. — Я чувствовал, как с каждым глотком молока ко мне возвращаются силы.

Ворота

Крест — нет, Иисус Христос — нет, ангел — нет, пропеллер — нет, что бы на этот склеп поставить? У меня даже в голове мелькнуло: а если такие же ворота, как те, в поле? Намного меньше, конечно, те бы для целого кладбища подошли, не на один склеп. Только кто сейчас сделает такие рамы, лошади некому подковать, в Болешицы ездить приходится. Был бы жив Сюдак, он и коней подковывал, и к телегам делал железные части, и кому чего ни понадобится, плуги, решетки, багры для пожарников, мельнику Потейке целую ограду выковал — дом обнести вокруг. Старый уже был, а все чего-то стучал. Пройдет кто-нибудь мимо кузницы, остановится, порастягивает мехи, что-нибудь подержит, старик работал до последних дней. А сколько от него можно было о железе узнать, больше, чем об Америке от тех, что там прожили целую жизнь. Говорил он, например, что железо старится, как человек, и душа у него, то же самое, есть. Должна быть в деревне кузница, хотя бы ради одного только звона, какой из нее идет. А тут уже несколько лет, с тех пор, как Сюдак помер, стоит пустая, того и гляди развалится, и нету охотников идти в кузнецы. Даже Сюдаковы сыновья телевизоры навострились чинить, а самый простой замок не починят, как ни проси. А без рамы что за ворота?

Однажды они мне приснились. Тьма-тьмущая людей в них ломилась, словно не было другого пути, хотя вокруг открытые поля, иди куда хочешь. Толкались, давились, обзывали друг дружку, по спинам норовили пролезть, ну точь-в-точь как в автобус в базарный день. Даже ворот почти что не было видно, столько народу их облепило, целая гора выросла, а на самой верхушке этой горы, посреди голов, плечей, вытянутых рук, стоял Войтек Кубик и кричал: по одному! по одному! не пихайтесь, куда прете, черти?! папаша, я здесь! дайте руку! которая ваша рука?! Натруженная, Войтусь, натруженная! Все натруженные! которая ваша?! А на это Валишина: видали такого, на наших головах стоит, а только своих замечает! Тогда и я крикнул Войтеку: Войтусь, ты там моих не видел, не прошли еще?! Нет, брат, тут никто не прошел, ни одна мурашка, пустехонько, как в полях.

Наверное, все же надо бы с кем-нибудь посоветоваться, подходят ли для склепа ворота. Склеп не поле, это в поле что угодно может стоять. Еще скажут: я умом тронулся. Ворота на склеп взгромоздил? Да у тебя на подворье нету ворот, к овину бы лучше новые сделал, а то старые еле дышат, дверь в хату почини. Ворота в прежние времена на дожинки ставили, когда старосту ожидали, или когда молодожены возвращаются из костела, им тоже ставят ворота, чтобы поднесли по рюмочке, или в казарме, там ворота нужны. Небесные врата, говорится в литании, но это вроде бы про богородицу. Лучше б всего у ксендза спросить совета, он в таких вещах разбирается. Но ксендз у нас теперь новый и какой-то чудной — гоняет с ребятишками в футбол, раз с Суйкой, точно батрак, хлеб свозил, а то станет перед плебанией и на скрипке играет, экономка говорит, что, наверное, от него уйдет, не поймешь, то ли ксендз, то ли завклубом. Вот и иди к такому, советуйся, что поставить на склеп.

Был бы жив старый ксендз — другое дело, он меня еще закону божьему в школе учил и знал сызмальства. Да и всех знал, недаром столько лет прожил в деревне. Но он умер вскоре после того, как я вернулся из больницы. Я еще успел у него купить место под склеп. Хотя по нему нельзя было сказать, что он скоро помрет. Старый, конечно, но ходил твердо и голову прямо держал. И даже посоветовал мне тогда выбрать место поближе к ограде, спокойней будет, а то теперь на кладбище в день поминовения как на ярмарке толчея, люди пихаются, траву топчут, перелезают через могилы, ни к чему не имеют уваженья. Венков, цветов, правда, в десять раз больше, чем прежде,

нанесут, а свечей — деревню можно осветить. А лучше всего, если я не прочь, в углу кладбища, где старый дуб, единственный уцелевший в войну. Только мне пропеллер на могиле Яся Круля нравился. И я захотел возле Яся.

— Ну как хочешь,— сказал ксендз. — Дело хозяйское.

Я не думал, что он меня так радушно встретит. Шел к нему, ощетинясь, и в уме прикидывал, как буду отвечать, если он станет задавать вопросы. Потому что мы с ним не больно ладили. Несколько раз он с амвона меня поминал, когда о чем-то таком говорил в проповеди, что нужен был дурной пример, и не из Библии, а сегодняшний, из деревни, чтобы до людей лучше дошло. О каком-нибудь там Иуде, Магдалине или блудном сыне люди хоть и выслушают охотно, а сделают по-своему. Кроме того, пока отец с матерью были живы, он и их донимал, стращал, приказывал, упрашивал, чтоб наставили меня на ум. И после каждого его разноса мне потом дома доставалось хуже, чем в костеле. Я на порог, а отец ка-ак на меня:

— Дождался. Ксендз наш род с амвона честит. Наравне со всякими прощелыгами. Ох, возьму я как-нибудь топор и отсеку тебе башку, паразит! А может, самому на тот свет убираться пора, хоть там будет покой.

Ксендз сидел за письменным столом и что-то писал, когда я вошел. И даже не поднял головы, хотя я с шумом ввалился, тут и ноги и палки, да и с дверью управился не вдруг, а на мое «слава Иисусу» он еле кивнул. Только когда я погромче застучал палками, поглядел поверх очков в мою сторону и что-то пробормотал, вроде:

— А, это ты.

Я сразу стал объяснять, что́ меня к нему пригнало, но он не дал мне договорить:

— Ты все такой же шальной? Пора бы остепениться. Подожди, сейчас я закончу.

И продолжал писать, почти что положив на стол большую седую голову, словно что-то очень заковыристое сочинял.

— Надгробное слово,— сказал, когда наконец дописал.

И правда, помер тут в аккурат один, Моленда из Лисиц, и хотя ксендз его прекрасно знал, потому что всех прихожан знал как свои пять пальцев, видно, память у него уже была не та, что прежде. Иной раз случалось и имя покойника над могилой переврать, и даже жизнь того перепутать с жизнью другого. Хотя, мне думается, жизнь с жизнью смешать — это еще полбеды, и так все одна вода и к одному течет концу. Но в имени ошибиться, это как если б человека вообще не было и неизвестно, кого в землю кладут.

Ксендз отложил ручку, снял очки, вытащил из складок сутаны огромный, как фата, носовой платок и отер пот со лба.

— Да, не те уже года,— сказал. — Когда-то я мог троих-четверых друг за другом похоронить и о каждом что-нибудь свое сказать. И по памяти, не было нужды загодя писать. Но тогда мне казалось: нет двух похожих жизней. — Он шумно высморкался в свой платок, даже зазвенели рюмки в буфете за стеклом. И, пряча платок обратно под сутану, не то вздохнул, не то проговорил: — Ну что, и твой час пришел? Небось, думал, вечно будешь жить. Воевал, воевал, а много ли толку?

— Где там воевал,— сказал я как мог смиренней, потому что подумал: буду задираться, он возьмет да подымет цену за место. — Жил, вот и все. Хорошо ли, плохо ли, не от меня зависело. Не всегда живешь как хочется, живешь как нужно жить. Человек жизни себе не выбирает, жизнь сама выбирает человека, по своей воле, смотря кто ей для чего понадобится. Этот для того, тот для другого, а иной ни для чего. И неизвестно, по каким таким причинам один генерал, другой судья, третий причетник или вы, отец, к примеру, ксендз, а я — даже и не знаю, что про себя сказать.

— Как же так, ты ведь был ксендзом! — И заулыбался от уха до уха. А у меня внутри как закрежещет, но я себе приказал: думай свое, а с виду изволь покорным быть, и только сказал:

— Человек, если судьба заставит, чем угодно станет. Даже бандитом или вором.

— Ну ладно, ладно,— перебил он меня. — Скажи лучше, когда ты в последний раз на исповеди был?

— На исповеди? — Я почувствовал себя так, словно он вдруг на уроке закона божьего поднял меня с последней парты из-за спины Стаха Незгудки, потому что я всегда на последней парте сидел. — Вроде после войны.

— Что это значит — после войны?

— Ну, как война закончилась. Поубивал разных сволочей, надо было исповедаться, чтоб потом не являлись по ночам. Хотя, по мне, нечего из-за таких исповедоваться. Разве что среди них безвинный попался. Но и других грехов поднакопилось, известное дело, война, как же не очиститься?

— Очистился и снова начал грешить, да? А в костел ты хоть ходишь? Что-то я тебя давно не видал.

— Последние два года я в больнице лежал, как же было ходить?

Он как-то странно сощурил глаза, будто от яркого света, хотя сидел спиной к окну. Ну а я, чтоб не показаться таким уж маловером, поспешил добавить:

— Зато перед войной ни одной обедни не пропустил. Мать бы ни за что не позволила. И к вечерне иногда ходил, и на майские службы, на октябрьские. И в хоре пел. Может, помните, хоть и столько лет прошло? Органист Коласинский говорил даже, что, если б меня учиться послать, я бы в городе в опере мог петь. Бас у меня был. Иногда соло пел. Да вот земля не отпустила. Несовместные это вещи — земля и пенье. Земля работы требует, а поешь для чего? Самое большее, чтоб лучше работалось, ну или после работы, в воскресенье. Иной раз, правда, и в воскресенье не попоешь: господь нагонит туч, а на поле хлеб в снопах.

— Ты господа не примешивай! — ворчливо перебил меня ксендз. — Господом заслоняться вздумал. Ты хоть десять заповедей его помнишь?

— Как не помнить? Вы сами нас и учили в школе.

— Тогда скажи, какая третья заповедь?

— Третья? — задумался я. — Вроде не кради,— брякнул наугад, где уж в мои годы помнить, какая третья, четвертая, десятая, разве память всё в порядке хранит? Порядка и в жизни нет, чего от памяти ждать.

— Третья, помни, день субботний, чтобы святить его.— И ткнул в меня указательным пальцем, будто вдруг углядел с амвона в толпе прихожан.— Ой, великий ты грешник, хуже, чем я думал,— вздохнул с горечью, но одновременно как бы и снисходительно.

— Не стану спорить, отец, я не святой,— сказал я, немного осмелев. — Однако думаю, в грехах не столько человека надо винить, сколько жизнь. Человеку иной раз и того слишком много, что он должен жить.

— Но и умереть должен, а тогда что?! — не на шутку рассердился ксендз. Я пожалел, что его раздразнил, ой, не надо бы, теперь он не только цену за могилу может поднять, но возьмет да и выделит мне место рядом с каким-нибудь утопленником или висельником. А у нас недавно Болек Бжостек повесился. Он кладовщиком был в кооперативе, устроили ему ревизию, и оказалась недостача на миллион. Бжостековы бабы в какие только не рядились наряды и в кино в город без конца ездили. Дзюнька до того любила кино, всю жизнь бы, сама говорила, в кинотеатре могла просидеть. Бжостек новый дом построил,

машину купил, люди диву давались — это при такой-то грошовой зарплате? Ох и умная у тебя, Болек, голова. Повезло твоей Дзюне.

— Что ж, надо будет, помрем,— снова смиренно сказал я. — Но смерть сама лучше знает, когда прийти, зачем ей навстречу спешить?

— А ты и не спеши. Может, она к тебе поспешить захочет. Откуда ты знаешь?

— И то верно.

— Сказано: не ведаете вы ни дня, ни часу?

— Сказано.

— Ну видишь. И memento mori[1] тоже, надеюсь, помнишь? Прислуживал ведь при литургиях, поднабрался латинских слов, учил вас Франтишек-причетник.

— Учил вроде. Хотя в основном воск с подсвечников заставлял соскребать. Saecula saeculorum — во веки веков, Dominus vobiscum — господь с вами, ite missa est —ступайте, месса закончена, вот и все. — Я испугался, как бы он не вздумал дальше меня выспрашивать. — А так только, чтоб знали, когда служебник с места на место перенести.

Он добродушно рассмеялся:

— Ох, этот Франтишек. Да не бойся ты, я тебя в прислужники не собираюсь брать. К тому же теперь вся служба по-польски. Пришлось и мне переучиваться. Но все не могу привыкнуть. Странно как-то звучит. Иногда, да простит меня бог, кажется, это новая вера. Ну ладно, хватит. Так тебе, говоришь, место на кладбище нужно?

Я кивнул. Он начал выбираться из-за стола, голова у него слегка тряслась, может от этого писанья,— если так, наклонивши голову, сидеть, то ее и в двух руках долго не удержать, а шее и вовсе тяжело. Другое дело, что он вроде бы пополнел, не очень, правда, сильно, но ведь когда-то как прутик был. А сколько молодых мужних жен, девок да, верно, и старых баб только ради него бегали на все службы, наперебой таскали в костел цветы, кто больше принесет, бывало, он запрещал: куда так много, куда так много, милые мои. И ради него, может, в бога истовей верили, чем бы при другом ксендзе.

Я дух затаил: сколько запросит, потому что был уверен, он для того встает, чтоб мне цену назвать, а тороват наш ксендз никогда не был, о нет. Всегда говорил: ты не мне платишь, ты платишь богу, а богу не жалей.

— Выпьешь вина? — Я в первую минуту оторопел: какую угодно цену мог ожидать, но только не это вино. А он с укором на меня поглядел: — Надеюсь, не откажешь своему законоучителю?

— Э, зачем это я буду ваше время занимать? — пробормотал я, не зная, что ему сказать. — В костеле работы не меньше, чем в поле, небось. Да и мне еще картошку свозить. А у вас похороны.

— Ты меня не жалей. — Он подошел к буфету. — Фарисей,— вроде бы возмутился.— В прежние времена не жалел, только и норовил подколоть. Вороном обзывал, толстопузым обжорой, забыл? А где у меня пузо? Всегда был худой, худой и остался. А мимо пройдешь — я уж и не ждал от тебя услышать: слава Иисусу, это б у тебя в глотке застряло, но даже и здрасьте не говорил никогда. Уткнешь глаза в землю, и хоть убей. Или на небо уставишься, точно услыхал самолет. А я тебя десяти господним заповедям учил. Не скажешь, надеюсь, что они тебе ни разу не пригодились? Да я за каждого из вас, своих питомцев, плохих или хороших, хоть одну «Богородицу» читаю что ни день. — Он поставил на столик графин с вином и две рюмки. — А о времени моем не заботься. Мое время для бога и для моих прихожан. Да и картошка твоя есть не просит, может подождать. Осень, к счастью, господь нам послал погожую, успеешь еще свезти. — Он словно о чем-то на минуту задумался. — Хотя не знаю, вправе ли я го-

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

ворить, что это все еще мое время. Иногда кажется, я уже за счет вечности живу. Ну садись.

Он указал мне на кресло, стоявшее под большим лиственничным крестом, который занимал почти целую стену от пола до потолка. И был будто прямо из-под топора, неоструганный, весь в задоринах, проведешь рукой — наверняка насажаешь заноз. И я было собрался сказать: что же это за плотник такой делал крест, я б его хлев строить не взял, как можно столько задорин оставлять,— но ксендз меня опередил:

— На крест смотришь? Его не кто-нибудь делал.

— Оно и видать,— сказал я и плюхнулся в кресло, провалившись, как в копну.

Он взял у меня палки, одну я выронил, так он сам ее поднял, хотя видно было, что нагибается с трудом, запыхнулся, покраснел. Огляделся, куда бы их поставить или положить, и в конце концов повесил на перекладину креста. Разлил вино в рюмки — мне доверху, себе чуть-чуть, объяснив, что должен еще вечерню отслужить, а то викарий у него захворал. Рюмку прямо мне в руку подал, чтоб я не подымался, потому что рюмка стояла от меня далеко. Я хотел даже привстать, не знаю, правда, как бы это у меня получилось без палок. Но он положил руку мне на плечо, чтобы я сидел. И сам сел в кресло напротив.

Вино было сладкое до тошноты. Честно говоря, я вина не люблю. А уж сладкое просто в глотку не лезет, не понимаю, как его люди пьют. Но ведь сказать этого я ему не мог. И похвалил, что хорошее.

— Заграничное, должно быть.

— Нет, смородиновка,— сказал он. — Нравится? Это Хеленка, экономка моя, делает такое вино. Вот обрадуется, когда я скажу, что ты похвалил. Она туда шиповника добавляет, можжевеловых зернышек, чего-то еще. Но секрета не выдает, точно это великая тайна. Даже мне не рассказывает, из чего какое. Нравится, говорит, пейте и не спрашивайте. Обязательно вам сразу все надо знать. — Он поднял рюмку: — Ну, твое здоровье. — И, едва прикоснувшись к краю губами, причмокнул и отставил.

Поднял и я свою.

— Ваше здоровье, отец. — И опять у меня засвербило: сколько же он запросит за место? Потому что он вдруг уставился куда-то в стенку, будто тоже мучительно раздумывал, сколько с меня затребовать. А может, просто на этот лиственничный крест глядел. И вдруг, отряхнувшись от своих мыслей, вздохнул:

— Так ты не боишься смерти?

Я с облегчением перевел дух — не о цене, значит, думал.

— Чего ж бояться? Боишься, только когда не знаешь, чего ждать.

— Однако же все боятся.

— Жизнь такая, отец, и от жизни весь этот страх. Грозы человек боится. Заснуть боится. Другого человека боится. В вечном страхе живет. Даже вчерашнего дня боится, хотя тот миновал и ничем уже ему не грозит. Да и не только человек. Тварь всякая, земля, вода, всё. Или взять деревья, им, думаете, не страшно? Признаться — они не признаются, потому что говорить не умеют, и не плачут, стоят. Но почему ж у осины, к примеру, беспрестанно листья дрожат? Даже когда нет ветра. По дубам, правда, ничего не заметишь. Но дуб — дерево крепкое, как скала. Недаром веками стоит. Зато когда наконец повалится, все деревья в лесу трухлявеют. А что человек в сравненье с дубом? — Я взял со столика рюмку, выпил до дна. Точно лягушку проглотил, но виду не подал.

— Еще подлить? — спросил ксендз и, не дожидаясь, чтоб я хотя бы кивнул, налил опять полную рюмку. — Да, да,— вздохнул, словно очнувшись от глубокой задумчивости. Возможно, он вовсе и не слушал, что я говорю, так как минуту спустя сказал: — Видишь ли, я подумал:

вдруг ты нуждаешься в моем утешении. Прости. Такая уж у нас, служителей церкви, слабость.

Я не нашелся, что ему ответить, и снова отхлебнул сладкой лягушатины из рюмки.

— Ох, не знаю, отец, может ли один человек утешить другого. — Пожалуй, я чересчур резко ему ответил, но очень уж меня мутило от этой лягушки в желудке. — Это все равно как если б слепец слепца по лесу захотел провести. Один горемыка, другой горемыка, а лес темный и незнакомый. Как жить нужно самому за себя, так и умереть, никто за другого не помрет. Вот я, к примеру,— меня столько раз убивали, что и помирать будет не в новинку. А пожить я свое пожил, хватило бы на троих. В партизанах семь раз был ранен. А однажды даже, почудилось, на тот свет попал. И никто не верил, что останусь жив. А я живу.

— А ты не подумал, может быть, это бог хочет, чтобы ты жил?

— Бог? Трудно сказать. Я всегда был сильный. До войны, случалось, схватимся на гулянке за ножи, крови уйдет, другой бы давно окочурился, а я живу. Это теперь с нашими ранами не заживешься, чуть что, прямиком на тот свет — очень удобно. Не хотите, не верьте, но у меня даже насморка отродясь не бывало. А ведь в партизанах часто прямо на земле спали, в слякоти, в грязи, на мху или на снегу. Просыпаешься примерзший к земле, точно сросся с ней. Глаз не раскрыть, так их мороз слепил, во рту лед, рук, ног не разогнуть. Хорошо — водка всегда при себе была, выпьешь пару глотков — и оттаешь. Или сейчас, когда под машину попал. Доктора головами качали: мол, все, каюк моим ногам. Говорили, отрезать придется. Сперва обе. Потом хотя бы одну. Я не согласился — как же без ног. И хожу.

— Ох, и закоснел же ты, сын мой,— сказал ксендз, словно из обедни, вечерни или исповеди повторил заученные слова — он ведь уйму всякого такого знал наизусть. — Это все гордыня, гордыня, поверь. Берегись ее. Ничто так, как гордыня, не опустошает людские души. Не старайся быть сильным любой ценой. Сила отгораживает нас от других людей Помни, что Иисус — бог, а позволил себя распять, чтобы познать человеческую слабость. И ты должен в своей слабости признаться, потому что есть она в тебе, есть. И может быть, даже ждет, чтобы ты когда-нибудь над собой заплакал. Хоть насилу, а заплачь. Не то никогда себя не поймешь, ни себя, ни других.

— А моя ли вина, отец, что приходилось сильным быть? Уж так жизнь сложилась, а может, и время было такое. Сами говорите: Иисус — бог. Но человек-то за минутку слабости иной раз жизнью платит и вечным спасением. Вы говорите — заплакать. Да меня жизнь отучила плакать, отец. Жизнь кого хошь сумеет отучить и ничему не научит взамен. Хотя считается, что жизнь учит. Неправда это. Да и человек: пусть незнамо как чего-нибудь хочет, а все равно выйдет не по его. Где-то там в его книге записано ему сильным быть, он и становится сильным. Как другой должен быть лысый, а еще другой на той либо этой жениться, вот и женится, хоть бы она была сущая ведьма. Или же чтоб здесь, в этой деревне, в этой хате родился, и не сотней годов раньше или позже, а теперь, потому как уже с давних пор и наперед, до конца света, каждому свой час назначен, свое место, своя жизнь. Так над чем же тут плакать? А над собою плакать — это как если б немного и против себя. Плачут всегда, чтобы кто-нибудь услыхал, отец. Даже когда над собою плачут, то не для себя. Пускай в самом-пресамом нутре, украдкой, а все равно для кого-то там. А я даже не знаю, есть ли кто-нибудь во мне.

— Но над тобою есть бог, об этом ты не подумал?

— Если и есть, то иногда позволяет о себе забыть. И это, наверное, даже очень мудро с его стороны — позволить о себе забыть, когда сам уже ничем не может помочь.

— Богохульствуешь, дорогой мой, чудовищно богохульствуешь.—

Ксендз поднял руки, будто хотел отмахнуться от меня. И начертил в воздухе крест. — Но да простит тебя господь в великом милосердье своем. — И опустил голову, словно мысленно стал молиться. А может быть, его наш разговор утомил, он же старенький был, иногда ему и на исповеди случалось задремать. И вдруг, очнувшись, посмотрел на меня с состраданием. — Ведь и ты когда-нибудь предстанешь пред обличьем бога, что же ты тогда ему скажешь?

— Ничего не скажу. Когда уста мертвые, то и слова мертвые, отец. Чего здесь, на земле, не успел, того там уже не скажешь. И господь, что хотел людям сказать, все сказал здесь, на земле. А там стал тайной и молчит.

— Мне правда жаль тебя, сын мой. Но может, когда-нибудь ты поймешь, хотя бы в свой последний час, что и ты всего лишь человеком был. Таким же заблудшим, беспомощным человеком, как и все мы в этой юдоли слез. А сила твоя, в которую ты так уверовал, — обыкновенная человеческая слабость, только ты с ней смириться не хочешь, ненавидишь ее лютой ненавистью.

— Как же так? — возмутился я, чего это он мне такое рассказывает, хоть и ксендз. Что я не знаю, кто я? Я дорого заплатил за то, чтобы знать. Не задаром знаю.

— А вот так. Ты, сын мой, может быть, больше других ее в себе ненавидел. Может быть, безжалостней, чем другие, судил. Может, и она тебя терзала сильней, чем других. Но поверь мне — только слабость единит нас с другими людьми, благодаря ей мы находим себя в других, а они находят себя в нас. И потому — общая наша людская судьба. В ней для каждого есть место. В ней мы исполняем свой человеческий долг. Вне судьбы нас нет. Слабость, а не сила связывает нас с людской судьбой. И не сила, а слабость позволяет каждому человеку обрести бога. Потому и ты не отвергай ее, не противься, поддайся ей, иначе тяжело тебе будет умирать. А это не то же самое, что жить тяжело. Вдруг придется умирать месяцы, годы, как знать, иногда бог посылает людям такие испытания, что они, прикованные неумолимой болезнью к постели, умирают бесконечно. Зрение у них угасает, слух отказывает, иссякает разум, и всякое чувство пропадает, остается одна только боль. Как ты тогда умрешь, если не сумеешь примириться с собой или хотя бы себя понять?

— Как-нибудь помру. Человек — он к смерти привычный. Не только от колыбели до гроба живет, но и умирает от колыбели до гроба. Помереть — это не один раз помереть. Неизвестно, может, умираешь дольше, чем живешь. Ведь и в могиле продолжаешь умирать. В памяти тех, что еще живут. А тот самый единственный раз, может, только конец смерти. Но покуда человек дойдет до этого конца, уж не знаю, сколько раз ему прежде доведется помереть. На самом-то деле, отец, с каждым, кто в нашей жизни умирает, помалу умираем и мы, хотя вроде дальше живем. Человек уйдет, а смерть свою нам оставит, и никуда от нее не деться. Он там у себя в могиле гниет и не знает, не чувствует, что гниет, потому как ничего уже не знает, не чувствует, даже что кого-то покинул. И пусть нету близких, чтобы после него помереть,— умирают дальние, умирают соседи, знакомые, а то и незнакомые, хотя могут сами того не знать. Хватит, что мы среди постоянного умиранья живем, отец, оно ведь и нас точит. Корова пускай, к примеру, издохнет, лошадь падет, ястреб заклюет цыплят. То же самое, наши это смерти. И может, из этих-то смертей, когда их чересчур много в человеке скопится, и приходит к нам собственная смерть. Мне даже иногда кажется, будто я из мертвых родом. Вроде бы живу, но смерть меня для того только пощадила, чтобы я всех до последнего похоронил. И тогда уж настанет чему-то такому конец, что кончается навсегда.

— Ну а загробная жизнь? Ты никогда не задумывался, что на том

свете тебе дальше надо будет жить? Вечная жизнь ведь каждому обещана, а плохая или хорошая, это уже бог решит.

— А кто-нибудь оттуда вернулся, отец, чтоб у него спросить, есть ли там чего? Умираем-то мы только в одну сторону, обратно возврату нет.

— Ну а ад? Адских мук ты не боишься? — бросил он с горечью.

— Что мне ад, отец, когда я на земле был.

Голова у старика упала, и, сплетя руки на животе, он застыл, не отозвавшись ни словом. Я пожалел, что завел этот разговор. Стах Соберай обещал помочь картошку с поля свезти. А я за это должен был ему на завтрашний день одолжить лошадь. Что я теперь скажу? Что у ксендза столько времени просидел? Никак исповедовался? Не исповедовался. Так чего ж сидел?

Ксендз заговорил, точно отвечая своим мыслям:

— Я знал, что ты придешь. Не по своей воле, так склеп пригонит. Ты даже не представляешь, как мне хотелось дождаться этой минуты. Сколько уж лет я в вашем приходе. Полвека, поди. Помню, как ты еще пешком под стол ходил. Волосы у тебя были как лен. И кажется, долго не рос.

— Это не я. Михал, наверное. Михал вроде долго не рос.

— Ты, ты, не спорь. Я, помнится, тебя поддразнивал: когда же ты, Петрушка, начнешь наконец расти? Гляди, у Бонка уже усы пробиваются. А Соберай, небось, скоро за девушками ухаживать начнет. Ну, а что гласит седьмая заповедь, Петрушка? Знаешь или не знаешь? Подскажи ему, Касинский. Потому что Касинский извертится, бывало, весь — он знает. О, Касинский всегда все знал. Вот и залетел высоко. Не помню, вы на одной парте сидели или он прямо перед тобой? Но за яблоками в мой сад вместе лазили, это я помню. Только ты даже повторить за Касинским не желал. Стоял как столб — и глаза в пол. В конце концов весь класс начинал тебе подсказывать, но ты, будто назло, упирался, что не знаешь. Ну, а как собака моя, Лопот, с Франтишеком-причетником на яблоне вас застукали, помнишь? Касинский успел удрать, а ты остался на дереве и ни за что не хотел слезать. Лопот на тебя лаял, Франтишек кричал: слезай, поганец, слезай! Да и мне стало любопытно, что происходит в саду, пришел, упрашивал тебя, грозил: слезь, Петрушка. Слезь, не то заставлю в школе десять заповедей повторить и назвать семь смертных грехов и шесть символов веры. И не за партой, на середину класса отвечать пойдешь. Слезай. Пришлось Франтишеку за лестницей сходить, только силком он тебя и стащил. А рассердился, прямо на месте хотел отлупить, пояс уже вытянул из брюк, но я его удержал:

«Нельзя бить, Франтишек. Он завтра утром придет в костел и исповедуется. Придешь, правда, Петрушка?».

«Как это не бить? — разозлился Франтишек и на меня. — Он исповедоваться придет, а вы его простите, да? К Матишу пускай лазают за яблоками, у него свой сад, не церковный! И Матиш носа не кажет в костел! Еще налево-направо звонит, еретик, что бога нет, а все образовалось из воды. Эва, яблонька аж сгибалась, а теперь что на ней осталось? А вы ему в покаяние влепите три раза «Богородицу» прочитать за такую-то прорву яблок! Другой в мыслях лишь согрешит, а вы ему вон сколько назначаете. Двенадцать, а то и побольше. И только литании. А одна литания — все равно что пять «Богородиц». «Богородица», там чего? Богородице дево, радуйся, и конец. Да и грехи в мыслях, разве это грехи, небось, за яблоками в чужой сад не полезут. А вы еще велите, чтобы я им на урок яблоки приносил. У ксендза Серожинского, что перед вами был, дубовая линейка имелась, он этих сорванцов по рукам лупил, распухшими руками много не нарвешь. А вы: набери им корзиночку, Франтишек, вон с той малиновки у ограды, завтра у меня урок, пусть господь будет добр хотя бы к деткам моим, коли не может ко всем. И получается — господь хороший, а Франти-

шек плохой, потому что сорванцов этих должен гонять. Одни повырастают, другие тут как тут, и так без конца, всю жизнь гоняй, карауль. И всё больше охочи до яблок. А прислуживать как следует не научится ни один. Им бы только стихарь нацепить. А чтоб служебник слева направо переложили, это Франтишек должен их понукать: давай, пора. Эвон, снова ветка обломана».

— Я тебя тогда все утро прождал, — сказал вдруг с обидой в голосе ксендз. И обида его показалась мне ужасно древней, словно бы из другого мира. Полвека — немалый срок. — Я бы ведь тебя простил. Специально даже пораньше пришел в костел, хотя в тот день не собирался исповедовать. Франтишека не было, а обычно являлся чуть свет. Я и вправду не знаю, почему мне так хотелось услышать исповедь из твоих детских уст. За каких-то несколько яблок из моего сада. Но господь, верно, знал. Помню только, что когда я уже в исповедальне сидел, вдруг почувствовал, будто меня придавила великая тишина, и даже показалось, сам костел возведен из этой тишины. И странно, молиться меня совсем не тянуло, хотя потребность молиться у ксендзов и в крови, и в привычке, везде и в любую пору. Возможно, мне не хотелось словами молитвы себя выдать, показать, что я здесь. Хотя бы самому себе и господу богу. Я только прислонился головой к решетке и поддался этой, еще сумрачной после ночи, тишине, забился куда-то в самую темную ее тень, словно бы затаился, прикинулся, что меня нет. И лишь в глубине души слышал вроде бы шорох едва тлеющей надежды, что ты придешь, что вот-вот я услышу в этой тишине твои неуверенные шаги, точно капли, падающие откуда-то на каменный пол. И одновременно терзался, как бы бог этой надежды во мне не разглядел, потому что была это, быть может, тень моего греха, признаться в котором я не умел. И так надежда эта теплилась во мне всю мою жизнь. Не раз потом я приходил раньше обычного, чтобы посидеть в исповедальне и послушать тишину, заполнившую темный костел. Да и исповедальня сама по себе, когда в нее сядешь, словно заставляла напрячь слух, и ты бы слушал, даже если б не слышал ничего, и пусть мертвая тишина стоит по другую сторону решетки, а ты слышишь шепот людских исповедей. Так же точно в беспомощности своей никогда не знаешь, как отличить грехи от страданий. В какой-то момент дверь скрипнула, я выглянул в костел — вдруг ты. Но это пришел Франтишек.

«Чего это вы в такую рань?» — пробормотал он, не скрывая, что сердится, и принялся подметать пол. И со злости не побрызгал водой, поднял пыль, и она тучею застлала костел. А его почти и не видно стало в этой пыльной туче.

«Не пыли так, Франтишек,— укорил я его. — Побрызгай немножко водой».

«Напрасно сидите! Не придет он! — крикнул Франтишек в ответ, не переставая пылить. — За яблоками бы пришел! Прогуляйтесь лучше по свежему воздуху! Нечего в пыли сидеть! Солнышко светит, воробьи чирикают, сразу станет легко на душе! А в костеле должно быть подметено, чтоб не говорили потом: дом божий, а как в хлеву!».

«Кончай подметать, Франтишек! Поди сюда, я тебя исповедую».

«Меня? — Он даже отставил метлу. — Грехи-то мои старые, и одни и те же всегда. Вы ж меня только на прошлой неделе исповедовали. А всю эту неделю я у сестры картошку копал. Откуда было взяться новым грехам?».

«Найдем чего-нибудь. Иди сюда».

— Да только утешить Франтишека было очень легко. Душа простая, доверчивая и всю жизнь при костеле. Хотя, может быть, я чересчур щедро раздавал царство небесное в своих утешениях. Может быть, слишком много обещал людям за всю их нужду, мытарства, отчаяние, страх. Я ведь вас тут уже тыщу лет утешаю, тыщу лет. Мир мимо меня проходит, а заодно и сквозь меня, время проходит, люди,

а я все утешаю, утешаю. Иной раз подумаешь: а по-настоящему удалось кого-нибудь утешить, поверил мне кто-нибудь до конца? Разве я знаю, что такое царство небесное, что такое ад? Разве знаю, куда тот или другой попадет и каков будет там его вечный удел? Не продолжится ли его здешняя судьба? Ведь раз мы забираем с этого света свои души, то, может, и свои судьбы забираем с собой? Грешные, наверное, это мысли, которыми я тут с тобою делюсь, да простит меня бог. Но иногда мне кажется, что единственная мудрость, какую дает нам жизнь — это страх перед жизнью. И тем не менее я утешаю, ибо такую себе службу избрал. Хотя, когда подумаю, что те, кого я утешал, возможно, где-то там, осужденные на вечные муки, меня клянут, то и сам не знаю, не попрекнет ли меня бог, что я плохо свою службу служил. Вроде бы сказано: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Но разве я могу с уверенностью решать, кто достоин прощения, а на ком надлежит грехи оставить? Я бы с превеликой охотою всех простил, потому что мне всех жаль. Но имею ли я право распоряжаться милостью божьей как своей, даже если мне очень кого-то жаль? Богу тоже этого человека жаль? Безгранична милость его —это так. Но мои-то права не безграничны, а сколь они широки, я не знаю сам. Ведь я всего лишь человек среди людей, и все меня с ними соединяет. Так что я одним прощаю грехи, быть может напрасно, на других оставляю, когда уже не могу простить, и блуждаю посреди всех этих тайн, как только человек может блуждать, и, к прискорбию своему, ничего не знаю, как только человек может не знать, и беру на свою совесть чужие грехи, сам будучи грешен. Ну, а если призвание мое вовсе не знать, а утешать? Ох, поистине тяжкий это хлеб — всю жизнь утешать безутешных, заблудших, беспомощных. Тяжкий и премного горький. Нужно самому быть одним из них, наверное, даже беднейшим из бедных, растерянным от непостижимости этого и того света, а может, и грешным, как они, чтобы утешение мое не осталось словами, чтоб наше утешение было общим, как и общая у нас судьба. Я часто себя спрашиваю: а не искал ли ты во всех тех надеждах, которые пробуждал в людских сердцах, в чужих надеждах, не искал ли утешения сам для себя? Только чем дольше человек утешает других, тем труднее ему утешить себя, тем сильнее он проникается сомненьем. И потому, как видишь, невеселый я ксендз. Хотя, может быть, это старость. Да, конечно, старость. Осталось мне только одиночество с богом. — Он как будто глубоко задумался, но тут же встрепенулся: — Ну а кто тебе будет строить склеп?

— Мне тут Возняков советуют,— сказал я. — Но я, пожалуй, Хмеля найму.

— Найми Хмеля,— резко бросил он. — Возняки спустя рукава работают.

Я знал, что спустя рукава, и только для того про них сказал, чтобы ксендз посоветовал Хмеля. Просто мне хотелось, чтобы вышло, будто он меня уговорил Хмеля нанять, тогда, может, и за место меньше возьмет. А он ничего не взял. Только махнул рукой, когда я у него спросил: сколько, отец?

— Пусть тебе хоть там спокойно лежится. Нисколько.

Правду сказать, с Хмелем я уже сговорился. Сразу, как вернулся из больницы, прямо с автобуса пошел к нему. Он недалеко от остановки жил, я и подумал: зайду и сразу узнаю, сколько чего для такого склепа нужно, ну и возьмется ли он и когда. Нечего откладывать, раз-другой отложишь, а дальше само отложится, навсегда. Но Хмеля я не застал, только его жена была.

— О господи, вернулся! — обрадовалась она, похоже, от всей души. — А мой к брату в Болешицы пошел. И чего ты надумал склеп ставить? Не такой и старый ведь. Может, больной?

— Не больной. Скажите вашему, я в воскресенье зайду. А что там у меня дома, не знаете?

— Ты еще дома не был?

— Я прямо с автобуса, хотел по дороге сразу с вашим поговорить.

— Ну чего там может быть, придешь — увидишь.

— А как Михал?

— Встретила я его тут как-то, с месяц назад, возле магазина стоял. Ну что, Михась, не скучаешь по Шимеку? — спросила. А коровы твои, одна вроде у Божиха, а другую Таляра взял. Лошадь где, не скажу. Говорили, да я позабыла. Столько хлопот, всего не упомнишь.

Лошадь была у Солуха, мне по дороге Стах Кветень сказал.

— Заморили тебе коня, ты его и не узнаешь. Ихний в конюшне стоял, а на твоем пахали. Ну а ты сам-то навечно уже останешься хромой?

Кроме того, Стах мне сказал, что померла Валишина, что Ясек Чумчум разбился на мотоцикле. И что собаки у меня нет, но трудно сказать, то ли сама сорвалась с цепи, то ли ее кто спустил, известное дело — собака. Да я могу у Микуса взять щенка, у него недавно сука ощенилась. Михала он видел, но когда ж это было, когда это было? Короче, сидел как-то на крылечке и осколком стекла морковь скоблил. Хороша морковка, а, Михал? Ешь, ешь, от моркови кровь прибывает. Вон Ментус идут, может они его видели. Не видали, Ментус, Шимекового Михала?

— А в хате его нету?

— Не знаю, я из больницы вернулся, с автобуса иду.

— Верно, в хате. Где ему еще быть? Ты теперь с палками ходить будешь? До конца, что ль?

— Не так уж много мне до конца осталось, Валерьян.

— Много — немного, а нынче за день больше набегаешься, чем, бывало, за месяц. Вот и не скажи — может, у тебя еще долгий путь впереди. Не то что мне, один шаг шагнуть.

— Да вы хорошо выглядите.

— Снаружи, может, а нутро у меня как у той старой вербы, что росла за мостиком. Схожу только к сестре в Зохчицы и помру.

Не было Михала дома. Я обошел двор, овин, хлевы, накричался: Михал! Михал! Везде разруха. Стал искать, вдруг где-нибудь в мешке завалялись остатки зерна, я бы свез на мельницу, на хлеб. Был бы хлеб, считай, и начало есть. Но ни зерна в мешке, ни мешков. А я три оставил. Один с рожью, другой с отрубями и третий пустой. Зашел в сад, там несколько деревьев стоят засохшие, да и остальные какие-то хилые, кривые, и весь сад вытоптан, как гумно. Потом слазил на чердак, подняться еще с грехом пополам поднялся, хуже было спускаться. Потом посидел в горнице, подумал обо всем об этом, хотя чего тут было думать, и так ясно — надо сначала начинать. Но пока что встал и потащился в деревню разыскивать Михала.

Обошел ближайших соседей, тут закрыто, там закрыто, все в полях, понятно — страда. У Кусьмерeков только Рысек был.

— Не видал, Рысек, Михала?

— Какого Михала? — Башка всклокоченная, зенки красные, видать, вчера крепко выпил, в техникум не ездил, каникулы.

— Ну, брата моего.

— А, старика этого.

— Не такой он еще старик.

— Как не старик? Борода вот посюда, как у этого, ну, Иисуса Христа, или у того, другого.

— Борода у него? Я не знал.

— Борода. Выпьете, дядя, стопочку? Голова трещит, а тут еще отец велел в поле идти. Я им говорю: кончайте сеять рожь. Засадите все кукурузой и разводите скотину. Телят, свиней, представляете, сколько можно заработать? Я бы себе мотоцикл купил. Или даже машину.

Я зашел к Калуже, через два дома от Кусьмерековъ, но была только старая Калужина, сидела на скамеечке и кормила кур.

— Не видали, бабуся, Михала?

— Ой, вернулся, слава тебе господи! Мы думали, не вернешься уже. Михала? Да я, золотенький, теперь никуда не хожу. Ноги отказываются носить. Разве только на дорогу и выйдешь. Когда ж это ты охромел? На обе ноги? Ирка наша вторую дочку уже родила, а ирод этот и не думает жениться. Где ж такое видано? А девка — кровь с молоком. Ох, ну и жизнь настала.

Я вспомнил, Хмелёва говорила, что одна моя корова у Божиха. Может, и Михал там. Но была только корова. А Михал приходил к ним, но уже с весны не показывался. Недавно только разок заглянул, дала ему баба моя миску капусты, он все умял, она еще подложила, а хлеба с полбуханки съел. Попробуй у Козяры спроси. Говорили, он с Козярой сено свозил. Ну ладно, давай тогда мою корову. Взял я корову за веревку, вывел из хлева, а он — что с меня причитается.

— За что?

— Как за что? За корову. Целый год у нас простояла, как Пражух помер.

— Ах ты дьявол! — Меня прямо затрясло.— Ты ведь ее доил! Она два ведра молока давала, это ж сколько у тебя было сметаны, масла, сырков?!

Я отвел корову в хлев, привязал и снова в деревню искать Михала. Ехал Квятковский за снопами.

— Не видели Михала?

— Тпру,— остановил он лошадь.— Михала?

— Ну, брата моего?

Он снял шапку, почесал лысую башку.

— Вроде где-то видал. Ну-ка погоди. Не в костеле часом? А может, возле часовенки около Мыги. Садись, подвезу до Мыги, там спросишь.

У Мыги никого не было, только собака караулила у дверей. Я наподдал ей палкой.

— Они, верно, в поле! — крикнул Квятковский с телеги.— Может, он с ними пошел! Присаживайся, покурим!

— В каком поле, не знаете?

— В Зажече или на помещичьем. У них и тут и там рожь. Жаль, мне не в ту сторону, а то бы подвез. А лучше погоди, они к вечеру вернутся, тогда и узнаешь.

Куда ж идти, на помещичье или в Зажече? Ближе было до помещичьего, я пошел на помещичье. На счастье, они как раз там косили. Хорошая у них была рожь, на одном только краю чуток полегла. Эдек косил, Хелька подхватывала.

— Бог помочь!

— Благодарствуй! Вернулся, Шимусь? Прямо к жатве. Рожь у тебя за Пшикопой, кооператив засеял. Только как ты, бедолага, с этими палками убирать будешь? Подожди, мы свое уберем, подсобим.

Но Михала с ними не было, и они не знали, где бы он мог быть. Заходил к ним, может, месяц, а то и два назад. От еды отказался, только выпил сыворотки. Помог им сечку рубить. Они его не просили, он сам, по своей воле. Но силы у него о-го-го сколько Эдек не успевал подкладывать солому. Велели ему на следующий день обедать прийти, не пришел. Сходи к Паёнкам, у них спроси. Паёнкова ему есть носила, когда он прошлый год вилами ногу пробил. От лодыжки аж досюда и почти насквозь. Кровь так и хлестала, ничем не могли унять, только Паёнк спиртом залил и приложил чего-то. Твой брат по овину ходил и тыкал вилами в снопы в закромах, будто чего-то искал. Паёнкова раз ему горницу подмела прибралась, всю одежду перестирала. Ее Блашина встретила, когда она на реке поло-

скала. Вши, говорит, так и кишели. Постель ему переменила. И Паёнковы подштанники дала, рубаху. А сам Паёнк что ни день приходил, перевязывал рану. Свет не без добрых людей.

— Ну не буду вам мешать. Постою на дороге, авось проедет кто, подвезет.

— Заходи как-нибудь.

Но никто по дороге не ехал. Правая нога у меня разболелась, пришлось сесть, отдохнуть, растер ногу и пошел дальше. Только возле самой уже деревни, гляжу — Кудла едут. Подвезете? Садись. Кусочек и то хорошо. Нет, не видели они Михала и не слыхали, где бы он мог быть. Сами-то за мельницей живут, как бы уже за деревней, разве что баба пойдет в магазин и чего-нибудь там прослышит, а так не знают ничего. Вроде бы радио у них есть, да испортилось, уже с год стоит, молчит. Сюдаков сын обещался прийти починить, только его днем с огнем не сыскать, а если и встретится когда, за ухом скребет и свое: да, надо бы как-нибудь к вам заглянуть, надо бы заглянуть. И чего вы так далеко построились, жили б поближе, скорей бы зашел. Ну а теперь жатва, нет времени слушать, чего там по радио говорят. Да и все равно правды не скажут, но хоть маленечко погудит.

— Остановитесь здесь, возле распятия, я к Флореку Заваде зайду.

С Флореком мы в одном классе учились и потом, все молодые годы, вместе и на свиданки бегали, и на гулянки, и в пожарниках вместе служили, я и подумал: уж он-то должен знать. Несколько раз навещал меня в больнице и обязательно чего-нибудь приносил — сигарет, пирога, а то колбасы, пол-литра и всегда: чего волнуешься, не волнуйся, не пропадет твой Михал. Лучше думай, как отсюда побыстрей выйти. Обрадовался Флорек, когда меня увидел, расцеловал, похлопал по спине, погоревал над моими палками, сказал, у кого лошадь, у кого коровы, за бутылкой полез. Магда ему пообедать предлагала, хотя сами только приехали с поля. Но где Михал, не знали. Был у них в прошлое воскресенье. Обедом его накормили, он поел, посидел, но больше не приходил. Хотели даже у себя оставить. Уговаривали: останься, Михась, мы на жатве, а ты приглядишь за домом. Сколько можно по людям ходить? Попробуй зайди к парикмахеру Жмуде, он стрижет, бреет, знает больше других. И окно у него на дорогу, хочет не хочет, а видит, кто идет и куда. А мы теперь с утра допоздна в поле. Вроде он собирался Михала постричь, побрить, гмина ему велела. Кто-то нам говорил, не помнишь, Магда, кто?

Я зашел к Жмуде. Вернулись, пан Шимек? Ну и как? Теперь уже на всю жизнь с палками? Да, точно, дала мне гмина поручение брата вашего постричь, побрить. На собрании кто-то поднял вопрос: мол, это позор для гмины. Позор, чтобы человек вот так, без присмотру. Но сами понимаете, силком ведь я его в кресло не усажу. Стрижка, бритье, с позволения сказать, дело добровольное. Кто желает, милости просим. Как будет угодно, короче, длинней, под бобрик, наголо, бачки косые или прямые, побрызгать или по сухому, может одеколончиком? Пожалуйста. Я никому не навязываюсь. Приведут его, посадят, я постригу, побрею, как всякого другого. Сколько раз мимо ни проходил, я выскакиваю и за ним: пан Михал, пан Михал! Ноль внимания. Может, теперь, когда вы вернулись. Милости просим. Жду.

Повстречался мне Здун. Не видели, Здун, Михала моего? Ну, брата? Ушел, что ль, куда? Ну, ушел. Коли ушел, вернется. А чего это у тебя с ногами? С лестницы упал?

Я пошел к Фулярскому, поля у них нет, переписали все на зятьев, сад только остался и пасека в саду; верно, дома сидят и, может, знают, где Михал. Но и они не знали. Был один раз у них, но еще в том году. Фулярский пчел окуривал. Пришел, встал возле улья и стоит. Уходи, покусают тебя. Покусают, уйди. А он хоть бы что. Пол-

зают по нем, а он стоит. То ли не чувствовал, то ли они его не кусали. Пчелы, чтоб ты знал, умеют плохого от хорошего отличить. И плохого изжалят с головы до ног, а по хорошему будут разгуливать, и ни одна не тронет. К Вроне или к Матейке сходи, они поближе к тебе живут, скорей могут знать, мы-то на другом конце.

Да, встречал его Врона пару раз. По деревне шел. Куда? Врона не стал спрашивать, зачем спрашивать у человека, куда тот идет? Ежели кто идет, значит, куда-то идет, и сам знает куда, а другим, куда он идет, вовсе не обязательно знать.

Ноги уже отказывались меня нести. В правой словно гвоздь торчал, и от него горело в паху. Я почти совсем не мог на нее наступать, больше волочил по земле. Ладони распухли от палок. Зайду-ка я к Войтеку Капустке. Скорей всего Михала и там нет, зато недалеко идти. О, вернулся, скажут, так я хоть присяду, передохну чуток, воды напьюсь, а то во рту пересохло. Но они, как назло, еще не приехали с поля. Мальчонка только пригнал коров, я его спрашиваю: может, ты видал Михала, брата моего? Такой, борода вот посюда? Пацан посмотрел на меня, точно я хотел его придушить, и ни бе ни ме. Немой, что ли? Но ведь поменьше был, говорил. Ты теперь в каком классе учишься, Ирусь? Опять ни бе ни ме.

Вылез из овина дед, весь в трухе, в мякине. Михала? Я тут яйца ищу, куры заразы, вечно теряют яйца. То в крапиве, то в малине снесут, а сноха, ведьма, меня пилит, что я их на сигареты краду. А я не курю, видит бог, полжизни уже. Дух спирало, ночами не спал, вот и бросил. А хотя бы и так, раньше все тут было мое. Мое, а не ее, приблуды. Да захоти я, мог бы яйца за плетень кидать, по овину лупить. Мое, бог свидетель. Ой, твой брат большой был начальник. Видел я его, но давно уже, давненько. На автомобиле приезжал, на черном, как сейчас помню. Важный такой, а меня узнал. Руку подал. Спросил, сколько я получил по реформе. Как у вас теперь, по справедливости? Гектар, Михась. А другим по три, по четыре давали. Жарища, он мог куда-нибудь на реку пойти. Вон, Кулявик по дороге идут. Спроси у них. Не видали где, Сильвестер, Михала?! Шимекового брата?!

Михала?! А, твоего, Шимек. Вернулся. Слава богу. И ноги целы, не отрезали. Слава богу. Видел я его, в окне стоял, неделю тому или две. Я в магазин шел, а он стоял и будто на свет божий глядел. Хотел я его спросить: ну что, Михал, как живешь? Но чего спрашивать через стекло? Да и чудно он как-то глядел, может и не на этот свет. Зайди к Войтеку Задрожному. Он давеча говорил в шинке, что видел его у Мацалы, ботву со свеклы Михал твой обрезал. Мы пиво пили.

Задрожный обозлился, стал материться, черта поминать, мол, ничего он такого не говорил, Кулявику помстилось. Может, ему Мельчарек сказал. И ботву обрезают осенью, а теперь лето. С осени разве упомнить? А в шинке их тогда было человек двадцать мужиков, не он один. И пива, вот те крест, он не пил, потому как не любит. Пил лимонад. Что начальника надо сменить, а то больно засиделся на своем месте и хитер как тыща чертей, это да, говорил. И все об этом говорили. Только как сменить? И все прикидывали, все говорили как. Пока кто-то не поставил пол-литра — без водки в таком деле не разберешься. Потом еще пол-литра. И так каждый по пол-литру, откуда же ему помнить, что Михал у Мацалы ботву обрезал. Как-то мы его видели, из костела шли, но когда ж это было? Зоська, не помнишь, когда это могло быть? А в мае. Точно, в мае, мы даже удивлялись: только май начался, а он босой. Ты чего, Михал, босой? Май еще только, холодом тянет от земли.

Я вышел на дорогу, а куда идти, не знаю. Может, к Мацале? Но вижу — Дерень идут. Ой, натерпелся ты, бедолага, натерпелся за свое! Михала у вас случайно не было? Не сегодня, так, может, вчера, позавчера? Правду сказать, не было. И еще я тебе скажу: с норовом он, дьявол, хоть и твой брат. Захожу тут как-то к нему зимой, баба меня

погнала: поди глянь, может, он больной лежит, а мороз на дворе — железо рвет. И правду сказать, в хате у тебя как в норе. Стекла точно известкой кто побелил, сплошь замерзшие, холодень, зуб на зуб не попадает. А он сидит на лавке и на руки дует. Зашел бы ты. Михась, говорю, к нам, обогрелся, горяченького поел. Думаешь, пришел? Не пришел. Ой, тяжеленько тебе будет на этих ногах за плугом, по полю. Одну, говорили, вроде собирались отнять. Но, вижу, обе целы. Работника нанять придется. А знаешь, сколько теперь дерут за день? Да и особо некого нанимать. Все норовят на завод. Вона Антошка идет, совсем уже баба не в себе, но ты у ней спроси, что тебе стоит, сдвинутые часом лучше знают.

Не видели моего брата, Михала? Куда ж он у тебя подевался? Плохо, выходит, глядел. Да меня два года не было. Ну, ежели два года, не найдешь. Сколько за два года народу перемерло, боже ты мой. С Ядвисей Оконёвой мы только-только цветочки раскидывали в день Тела Господня. Помню, у ней розовая ленточка была в косе. И поди ж ты, нету ее. А чего у тебя с ногами-то? А ничего. С палками просто хожу. Как ребятишки на ходулях. Удобней так, что ль? Удобней. Благодарствуйте.

Ой, Шимек, вернулся! Стах Соберай вылетел из хаты, когда через окно увидел меня у калитки. А мы-то хотели в воскресенье тебя навестить! Тереска курицу собиралась зарезать, бульону тебе сварить! Заходи же в дом, заходи, ну, вернулся. Я и бутылку бы прихватил. Мы думали, раньше осени не вернешься. Садись, рассказывай, как там было. Может, в другой раз, Стах, мне Михала надо найти. Вижу и у вас его нет. Бывал, заходил довольно часто, всегда поест, посидит. Как-то целый день ветки рубил. Мы не заставляли. Он сам. Взял топор, в аккурат возле колоды лежал. А у Божиха ты был? Корова твоя у него. Был, корова уже в хлеву. Зайди к Задрожному. Заходил. А к Капустке? Тоже был. О, знаешь, кто тебе лучше всех скажет — Жмуда, парикмахер. Он стрижет, бреет. И у Жмуды был. Ну ладно, пойду дальше искать. Загляни в воскресенье, отметим твое возвращение.

Ехал Франек Дуда со снопами с поля. Не видал, Франек, моего Михала? А что, нет его? Ну, нету. Теперь, брат, сосед соседа и то не видит. Все в полях, косят, убирают, ночь выгонит, ночь пригонит. Может, он с кем-нибудь в поле, а ты понапрасну только ищешь. Н-но! Погоди. Тпру! Вроде я его видел. На прошлой неделе пошел пива выпить в шинок, а он у Мальцов под ясенем сидел, качал коляску. У Эльки Мальцувны дитё родилось. Сходи спроси.

Я заковылял к Мальцам, Элька дома была, кормила грудью ребенка. Родила, Эля? И кого, мальчика или девочку? Мальчика. Когда ж ты, дядя, вернулся-то? Мама наша обревелась вся, как услыхала, что тебе ноги должны отрезать. Места себе не находила. Боже мой, боже мой, такой мужик. А назвали уже? Мирусем. Зенек так захотел его окрестить. Тятя — тот ни в какую, только чтоб Валентием. Где ж это слыхано, ребенка Валентием называть? Мирусь, Мирусь, хороший ты мальчуган, Мирусь. Вроде у вас Михал мой был, я его ищу, мне Франек Дуда сказал. А как же, был, вчера только. И все время заходил. А то с Мирусем побудет, если мне сбегать куда-нибудь надо. В коляске его повозит, покачает. Раз на реку уехали, я их найти не могла. Все думают, дядя, он не говорит. А он с Мирусем разговаривал.

Я вышел на дорогу. Думал, сейчас измолочу палками мальцевский ясень,— может, хоть он мне что-нибудь скажет. Черт подери! Надо, видать, от хаты к хате. Только в какую сторону сперва? К магазину? Или лучше в сторону мельницы? Нет, к магазину. В сторону мельницы. К магазину. В сторону мельницы. Точно у дороги сто сторон. Зашел к Бонку. Не видели. К Суйке. Не видели. К Собочинскому. Там никого, хата заперта на замок. Подивился я: сами в поле, а дверь на замок? Прежде никто не запирал. Верно, теперь без этого нельзя. У Мадея кричу, зову: Валек! Валек! С тех пор как он новый дом построил,

нужно по ступенькам взбираться, а тут по ровному месту едва ковыляешь. Даже вроде бы занавеска шевельнулась в окне, или это у меня уже рябило в глазах.

С неба зной лился, снизу припекала земля. Я ее чувствовал не только в ногах, в палках, но и аж где-то под ребрами. Поясница разламывалась. Раньше я знать не знал, что такое поясница. Мог невесть сколько перетаскать, отшагать — и ничего. Надо бы хоть минутку передохнуть.

— Здравствуйте, дядя Северин! — Старый Грабец сидели на лавочке у своей хаты. Я был уверен, что Грабеца уже нет в живых. Не знаю, с чего это я взял. Другое дело, что в их годах уже три раза можно было помереть. В больнице, что ли, мне кто-то сказал. — Посижу с вами маленько.

— Присаживайся, места и тебе и мне хватит. А ты кто будешь?

— Неужто не признали? Шимек Петрушка.

— А, Шимек. Мне, милок, тьма глаза застит, я и вижу и не вижу. Теперь-то разглядел. Лихо ты на гулянках отплясывал, было на что посмотреть. И выпить любил. С поля идешь?

— Нет. Михала ищу, брата. Куда-то пошел.

— Что ж он, сам не знает, куда пошел?

— Знает, наверное, но по-своему.

— А ты бы как хотел? Каждый по-своему знает. Он тебя старше, моложе?

— Старше.

— Вот и знает лучше тебя. Отец, мать живы?

— Нет, давно уже померли.

— И правильно сделали. Незачем долго жить. На одну жизнь одна война, и хватит, прощайся с этим светом. Не то что я, четыре. Может, и ты был на войне?

— Был. Но когда это было!

— Я так и подумал, а то откуда бы палки.

— Это не с войны. На дороге.

— Со снопов слетел.

— Вроде бы.

— Нечего зараз много брать. Без телеги можно остаться. И лошади тяжело. Лучше два раза съездить. Правда спутники эти, скажи?

— Ну, летают ведь, значит правда.

— Вроде бы оно так, но кто их там видел? Звезды вот в ясную ночь видать. И собаки бы лаяли.

— Высоковато для собак.

— Луна выше, а лают. Война там не ожидается, не слыхал?

— Далась вам война. Давно ли эта была?

— А правители должны схватиться. Что они за правители тогда? Мы б хоть от налогов избавились. За мной черт-те сколько тыщ. Еще пеню без конца накидывают. А взять неоткуда.

— А у кого есть откуда, Северин? Одно уродится, так другое сгниет. Как у вас жито?

— Как везде.

— Зерно крупное?

— Ни крупное, ни мелкое.

— А почему не косите?

— Жду, покамест который-нибудь из сынов приедет.

— А что сеяли?

— А ничего. Пошто сеять, когда некому убирать.

— И не болит душа, что земля пропадает?

— Чего ей болеть? Бог боли не чует. Была жизнь, да вся вышла. Надо смириться.

— За косы! За косы! И в поля! Еще день, два — и дожди зарядят. Это к нам Гуля подошел, баба послала его за солью к обеду, и он возвращался из магазина.

— Не видал, Марьян, моего Михала? — Я просто так спросил, не надеясь, что он знает. А этот как ни в чем ни бывало:

— Да он навоз у Скобеля выгребает.

— Навоз у Скобеля? — Я так и подскочил, схватился за палки. — А я его, черт подери, по всей деревне ищу!

— И зачем ищешь? Надо бы сразу к Скобелю идти.

К счастью, до Скобеля было недалеко, он прямо за магазином жил, чуть пониже, ближе к реке. Мне бы на ум не пришло идти к Скобелю спрашивать, не у него ли Михал. К Скобелю даже оселок для косы занять никто б не пошел, закваску для хлеба, отрубей для жура, плуг, телегу, лошадь, не говоря уже о деньгах. Я вошел во двор, а Скобелев пес кинулся на меня и не дает дальше шагу ступить, лает-заливается. Я огрел его палкой по хребту, точно это сам Скобель был. Отцепись, дьявол! Он заскулил. Поджал хвост. Вышел из овина Скобель:

— Чем тебе пес не угодил?

— Где Михал?!

— Ишь ты, горячий какой. Сперва надо сказать: слава Иисусу Христу, коли в дом пришел. В хлеву он. Выгребает навоз.

Я прямиком к хлеву, вижу — Михал, брат мой, босиком в навозе по щиколотку и вилами машет, точно Скобелев батрак. А худющий, как смерть на хоругви. Борода по грудь, волосы на плечи свисают. Я едва узнал на нем новехонький синий, в белую полоску костюм, который купил ему к пасхе, еще до больницы. Три тысячи пятьсот отдал. И вроде он был в том самом галстуке, вишневом в белый горошек, который я ему тогда же купил, — что-то у него на шее болталось. Но и то я скорей догадался, в грязи он был по уши, как свинья.

— Михал! Это я, Шимек!

Он посмотрел в мою сторону: мол, кто это ему в дверях свет заслоняет, и снова опустил глаза, воткнул вилы в навоз.

— Сукин ты сын, Скобель! Как же ты мог его к навозу?! Такого человека?!

— Полегче, полегче. Думаешь, теперь, как раньше. Хо-хо! Не те времена. Что я, задарма должен был ему жратву давать?! Кабы не я, он бы с голодухи сдох. Все только жалеть горазды. А приглядеть, накормить — тут жалостливых нет. Бог пускай приглядывает. Эвон, встретил я его тут как-то в саду, он зеленые сливы жрал.

— И ты за миску жратвы батрачить его заставляешь?! Скопидом проклятый! Ты хоть знаешь, кем он был?!

— То-то и оно, кем был, неизвестно. Помалкивают люди. Кто богом обижен, тому старого не помнят.

— Ни хрена люди не знают!

— Люди все знают.

— Михал! — Я вырвал вилы у брата из рук. — Домой! Быстро! Ох, я бы тебя этими вилами, Скобель, гад! — И воткнул вилы в землю у его ног, он даже побледнел. А Михала погнал впереди себя.

Он шел покорно, я с трудом ковылял за ним. Может быть, ему казалось, снова его кто-нибудь из хозяев к себе работать ведет. А так как он никогда не спрашивал, кто и куда, то его можно было и на край света завести. На смерть повели б, даже не спросил бы: за что? Шел бы и шел. Будто одно знал: надо идти. А во мне кипело все. Точно кто-то палкой ворошил мое нутро, скреб по самому дну чугунка, где булькала каша. Я чувствовал: надо чего-то сделать, чтоб он понял, что я вернулся, что я его брат, и веду его домой, и никогда больше, никогда, никакой Скобель, Мацала или кто другой не заставит его возить снопы, обрезать ботву, выгребать навоз.

— Быстрей. — Я подтолкнул его палкой в спину, хотя сам идти быстрее не мог. Ноги у меня прямо отваливались, ладони обжигал влажный жар от лопнувших волдырей.

Вошли в горницу.

— Здесь твой дом, — сказал я. — Садись.

А сам пошел в хлев, снял веревку у коровы с рогов. Веревка была длинновата, я сложил ее вчетверо. Вернулся в горницу. Михал сидел, как я ему велел, лоб подпер кулаками и смотрел в пол. Воняло от него, вся горница пропахла Скобелевым навозом. Я подошел на расстояние вытянутой руки. Правую палку отложил, а левую отставил подальше и крепко на нее оперся, чтобы не потерять равновесия.

— Придется тебя отлупить, — сказал я и изо всех сил вытянул его скрученной веревкой по спине, он даже покачнулся. Но хотя бы голову в плечи втянул или посмотрел, кто его бьет и за что. Только пыль поднялась от неподвижной спины и еще сильней завонял Скобелев навоз. Я встал поудобнее, а то палка чуть не выскользнула у меня из руки, и снова ударил, и снова, и еще раз. А он ничего. Хотя стоило ему легонько меня толкнуть, и я б растянулся на полу. Мужик он по-прежнему был здоровущий, несмотря на то что отощал, а я на одной палке в ободранной, распухшей руке и на двух подламывавшихся от усталости, изувеченных ногах даже в пол хорошенько упереться не мог. И при каждом ударе веревка гнула меня, как тростинку ветер. А нужно было стоять твердо, как стол на четырех ножках, чтобы подошвы прямо приросли к земле, а земля не смела под ними шелохнуться. Вот тогда можно бить. Не только веревкой, но и всем телом, всей болью, яростью. Тогда б и из камня можно выжать слезу. Хотя из камня скорее, чем из него. Он вдруг оторвал руки от головы, положил их на колени, а сам нагнулся, словно подставляя спину, чтобы мне удобнее было бить. И я стал хлестать веревкой по этой спине, перед каждым взмахом собираясь с силами, точно взваливал на телегу мешки с зерном. И при каждом ударе выкручивался весь. Ярость во мне росла. Ее б и на десять веревок хватило. Я чувствовал эту ярость даже вокруг себя, будто и горница вместе со мной взъярилась, и вся хата, хлев, овин, двор, вся деревня, земля. Она, ярость эта, помогала мне забыть, что я, брат, бью своего брата. А за что бью? Этого я, по правде сказать, не знал и, видно, никогда уже знать не буду. Это только он знал. Но с его губ звука не сорвалось. Хоть бы тело само по себе застонало под ударами, как всякое тело, когда его бьют. По дереву ударить — и то закряхтит, камень отзовется эхом. А тут только веревка постанывала. Веревка свивалась от боли. Кабы могла, наверное б, на меня набросилась и придержала хоть руку мою, чтобы перестал бить. Или бы как змея обвилась вокруг моей шеи и вздернула под потолок.

Я запыхался. Точно взбирался на крутую гору на своих переломанных ногах. Чувствовал, что кончаются силы. Рука ослабла, и веревка уже только моталась из-за моей спины на его. Вдруг палка, которая давно уже дрожала подо мной, как ивовый прут, когда я замахнулся, выскользнула из моей руки. Я покачнулся и, если б не схватился в последнюю минуту за стол, наверняка бы упал. Хотел сразу за палкой нагнуться. Но удержала страшная боль в правом колене, я облился холодным потом, что-то хрустнуло в крестце. И только потихоньку, осторожно, одной рукой придерживаясь за стол, а другую вытянув, как грабли к земле, стал наклоняться все ниже и ниже. В конце концов поднял палку. Но когда распрямился, у меня потемнело в глазах. Едва дотащился до лавки и плюхнулся на нее без сил, точно вернулся с поля после целого дня косьбы.

— Не будешь больше навоз у Скобеля выгребать,— сказал я.

Михал сидел, опустив голову на грудь, уронив руки на колени, будто и не чувствовал, что я перестал его бить. За окнами по-прежнему скрипели телеги, люди везли и везли снопы. Почти все уже обзавелись резиновыми колесами, а на резиновых телега не так слышна, как на железных ободах. Поэтому больше было слыхать лошадей. Они тяжело ступали, точно тащили эти телеги на своем горбу.

Захотелось мне, чтобы кто-нибудь из соседей, из деревенских, пришел. Или хоть кто незнакомый. У меня ни к кому никаких дел не было, и ко мне ни у кого. Но все равно — пусть бы зашел, может по пути окажется или пойдет с поля и узнает, что я вернулся. Или просто так, потому что не к кому больше зайти. Кусь, Пражух, были бы живы, непременно б зашли. Те, кого нет в живых, самые верные. Я даже стал прислушиваться, не раздадутся ли в сенях чьи-нибудь шаги. Может, щеколда стукнет. Откроется дверь. Кто-нибудь переступит порог, скажет: слава Иисусу или добрый день.

— Чего так сидите, будто на меже? С поля, что ль, приехали али помер у вас кто?

— Ни с поля не приехали, ни помер никто. Я Михала отлупцевал. Вот этой веревкой.

— Отлупцевал? Брат брата? Вроде старые вы уже. Братья больше дерутся, покуда не подрастут.

И, может, от напрасного этого ожиданья надумал я Михала вымыть. Постригу, побрею, тогда и гости пускай приходят. Я поднялся с лавки. Приспособил палки к ободранным ладоням. Руки у меня горели по самые локти. И на ногах я едва стоял.

— Не уходи никуда,— приказал Михалу. — Я тебя вымою. — И потащился искать лохань. К счастью, у Паёнков была лохань, так что долго ходить не пришлось. Паёнк даже принес ее мне в хату. Поставил посреди горницы, щепочек подложил, чтобы не качалась. Потом принес из родника два ведра воды, налил в чугуны, поставил на плиту.

— Человек человеку должен в беде помогать. Ты мне тоже помог, когда у меня случилась беда. Помнишь, какую на похоронах нашего Влодека сказал речь?

— Когда это было, Бронислав. А вы все помните.

— Как же не помнить, я до смерти не забуду. Ксендз чего-то пробормотал, лишь бы отделаться. Только и думал, как бы поскорей воротиться в плебанию, да ногами притопывал. Ему что Влодек наш, что другой кто, один черт. Не сказал даже, окаянный, что парня мина разорвала, можно было подумать, он от дизентерии помер или от тифа. Я говорил: не ходи, Влодек, приедут саперы и разминируют. Нет, пошел. А ты и не глядел, что мороз, хотя аж слезы замерзали в глазах. И ничего не пропустил — и что хороший был сын, и что родителей уважал, и что как пшеница пророс из зерна, но до своего колоса не дорос — точно кто-то нарочно его лозой сбил. Слышишь, мать, сказал я своей, какой у нас был сын? И господь его у нас забрал.

Я насобирал во дворе хворостин, разжег плиту. Огонь зашумел, и сразу горница словно ожила. А вскоре над чугунами заклубился пар.

— Раздевайся,— сказал я. Поставил между плитой и лоханью стул, привалившись к плите, переставил чугун с водой сперва на этот стул, потом со стула на пол, поближе к лохани, и тогда только, нагнув, вылил из чугуна воду. Лицо сразу оросило паром. Я подбавил немного холодной из ведра. — Ну, вода стынет. Раздевайся.

А он хоть бы что, продолжал сидеть. Я как мог, одной рукой, стащил с него одежду — другой надо было держаться за стол. Хорошо, он не противился. А воняло еще от него этим навозом — в носу свербило. Только когда я стянул с него подштанники, он вдруг съежился и задрожал, словно застыдился, что голый.

— Меня тебе нечего стыдиться,— сказал я. — Я твой брат. Кроме нас с тобой, никого тут нет. Паёнк уже ушел. Ну иди. — Взял его за руку и подвел к лохани. Он остановился, словно испугался. — Не бойся, это вода,— сказал я.

Он вцепился в мою руку и не выпускал, будто я его в глубокий омут тащил, хотя вода ему была чуть повыше щиколоток. В лохани этой он мне показался на кого-то похожим, но я не мог вспомнить на кого. Может, из-за волос, падающих ему на плечи, и бороды по пояс.

А худой был — кости чуть кожу не протыкали, и еще кожа эта на нем обвисла, как, бывает, в оттепель обвисает на ветке снег. Спина от моей веревки в синяках. А в паху седой как лунь. Хотя на голове кое-где только белели седые волоски, и то же самое в бороде. А ведь в паху волос самый последний седеет.

— Садись,— сказал я. — Сперва я тебя намылю.

Я принес из больницы кусочек мыла. Кто-то оставил в умывалке, и я взял, точно предчувствовал, что он мне понадобится. Подставил скамеечку к лохани, сел и водой из ковшика облил Михала с головы до ног, чтобы он отмок немного. Потом потер обмылок в руках, получилась пена. И осторожно намылил Михалу спину, грудь, руки, вообще все. Кожа на нем дрожала как на кролике, когда того гладишь по шерстке. Я и в себе чувствовал эту дрожь, хотя едва его касался, и то больше пеной, чем рукой.

— Не дрожи так,— сказал я. — Ничего плохого я тебе не делаю. Мою. Ты всегда мыться любил. Помнишь, как мать нас купала на пасху или на рождество и ты ни за что из лохани не хотел вылезать? А меня отцу приходилось ремнем загонять, вечно я притворялся, что жутко хочу спать. И то вода мне была чересчур горяча, то мыло щипало глаза. А как вечерами на реку ходили, помнишь?! Сперва ты мне спину мыл, потом я тебе. А пятки терли камнем или песком. А не хотелось мыться — привидениями друг дружку стращали. Чаще я тебя. Глянь, Михал, чего-то стоит. Там. Ну там, возле ивы. Белое, точно в саване. Дух! И бежать. Я первый, ты за мной. Мать, отец: что стряслось?! Мы духа видели! Небось, мыться неохота было, наказанье господне с этими мальчишками,— мать, как всегда, свое. Ну куда с такими грязными ногами в постель? На реке — это, должно, Бартошкин дух, отец скорее готов был нам поверить. Надо бы спросить: во имя отца и сына, чего ты, душа, желаешь? Бартошка б вам худого не сделала. Она живая любила на реку ходить, вот и теперь приходит. Сядет, бывало, на берегу, уставится на воду и глядит. И чего ж вы там, Агата, видите, спросил я как-то у ней, когда за водой пришел к роднику. А все разное, Юзеф, разное. Хотя что она могла видеть — песок, ил, камни, да как речка течет.

Я передвинулся со скамеечкой на другую сторону лохани, чтоб удобнее было дотягиваться до Михала.

— А помнишь, как на Иоанна Крестителя мы раз возле Блаха купались? Купанье с Иоанна Крестителя начиналось. Он в этот день реки крестит. Хотя я часто и раньше купался, иногда даже в мае. Жара в тот год стояла несусветная, листья на деревьях скукоживались. Мальчишек, девчонок тьма тьмущая, тел больше, чем воды. Река аж на ивы выплескивалась. Фредек Земб пригнал лошадь, мы ее облепили, сколько поместилось на спине, и — но! — вверх, вниз по реке. И на шею ей вешались, и за хвост цеплялись. Крику, визгу, светопреставленье. А ты сидел на берегу, под ракитовым кустом, и глотал слезы, потому что не умел плавать. Я тебя уговаривал: иди сюда, Михал, научишься, схватишься за конский хвост и ногами колоти что есть сил. Иди! И все тебя уговаривали. Самое лучшее — с ходу вниз головой! Сложи руки как для молитвы, вытяни вперед и прыгай! Ну, Михал! Не, ребята, кинем его, скорей научится! Давай его сюда! Ты наутек. Мы за тобой. Догнали на Махалинином поле, ты в борозде споткнулся. Вырывался, плевался, руки нам кусал. Но нас было четверо. Затащили тебя в реку, раскачали за руки, за ноги и бултых! Нас так и окатило водой. Махай, Михал! Махай! Руками, ногами! Но ты, точно назло, не пошевелил ни рукой, ни ногой, сразу пошел ко дну. Пришлось мне за тобой нырять. Ты воды нахлебался, что и дух не мог перевести, а потом еще на тебя икота напала. А отец меня дома ремнем, вроде я тебя утопить хотел. А ведь так скорей всего можно научиться плавать. И всех так учили, за руки, за ноги — и бултых! Спасайся, не то потонешь! Меня даже с ивы бросали, откуда повыше. А

как потом пригодилось. В войну понадобилось однажды прыгнуть с моста. Сзади погоня, спереди засада, а другого пути не было.

Я встал, подлил из чугуна горячей воды. Поболтал рукой вокруг его ног, смешал с остывшей.

— А помнишь, перед войной ты как-то приехал в шляпе? Стал на пороге и будто заробел, что на тебе шляпа. И мы глаза вылупили — Михал и не Михал. Ты ее поскорей сорвал с головы, но отец: ну-ка, надень, я на тебя погляжу. Ничего, идет тебе, только на себя мало похож. Дорого отдал? А мать: что ж ты подешевле, сынок, не взял, за эти бы деньги костюм можно купить. Воскресенье было. Отец хотел, чтобы мы по деревне прошлись,— может, ксендза повстречаем, он вроде постоянно о тебе спрашивал. А у нас девки были на уме, что нам ксендз, да еще в такую жару, и я потащил тебя на речку. Девчонки тоже все уже стали невесты, вода в реке так и бурлила. Я разделся и сразу — бух! — с головой. А ты сел на берегу под ракитовым кустом, в теньке. Подплыла к тебе Стефка Магежанка и ну завлекать: может, разденешься, Михась? Жара такая, раздевайся, залезай в воду. А груди у ней точно речной водой опились. Идет тебе шляпа-то. Надолго приехал? Магеры думали, ты на ней женишься. Но счастья б она тебе не принесла. В войну спуталась тут с одним, он за мукой приезжал, и упорхнула с ним. Мужика бросила, ребенка. Михал! Михал! Иди купаться! Все девки тебя звали. Парням стало завидно. Не зовите вы его! У него, должно, чахотка! Чахоточным нельзя! Вон, видали, какую себе шляпу завел, чтоб не подумали, что деревенский. Ну прямо задница из-за куста торчит! Подскочил кто-то сзади, сорвал у тебя эту шляпу с головы и швырк в реку. Все наперегонки за ней. Один в нее воды набрал. Другой нахлобучил себе на башку и поплыл. Я к нему, хотел отобрать. Но он дальше закинул, в кучу ребят. А те давай ее теребить, вырывать друг у дружки из рук. Стефка Магежанка слезу пустила. Вы, свиньи! Вы, свиньи! — стала кричать. Ни у кого из вас никогда такой шляпы не будет! Кто-то нырнул и поднял со дна реки камень. Сунули этот камень в шляпу и давай топить. Наконец я кое-как вырвал ее у них и забросил куда подальше, вниз по реке, мол, я первый доплыву. И доплыл бы. Но Болек Куска выскочил на берег и по берегу добежал раньше меня. Схватил шляпу, побежал дальше, на мелкое место, там влез в нее ногами и стал топтать, возить по илу, по песку, по камням. Ох, и измордасил я его тогда, месяц парень губы не мог сомкнуть, все будто смеялся. А рубашку, портки я ему ножиком изрезал, ботинки закинул в воду. Прилетели они с братом Вицеком и с ихним стариком к нам в хату, так я и Вицеку приложил, и старику. А ты хоть бы что, глядел, как твою шляпу уродуют, потом встал, сказал: пошли, Шимусь. Оставь им эту шляпу, пусть забавляются.

Я поднял его из лохани, вытер. Одевать не во что было, завернул пока в рядно. Где смог завязал, в иных местах сколол булавками. Нашлись, к счастью, три английские булавки в ящике от швейной машины.

— Теперь я тебя постригу, побрею.

Оказалось, что я нисколько не потерял сноровки. Опять бы мог стричь, брить, как в прежние времена. Хотя, верно, мало кто помнил, что я когда-то стриг, брил. Может, только кто-нибудь из стариков. Но старики поумирали почти все. Теперь молодые сделались старыми. А за ними и те, кто помоложе, готовились старыми стать. У недавних еще мальчишек в волосах пробивалась седина, залысины появлялись, под глазами мешки, на физиономиях борозды да бугры. Правда, когда рядом живешь, особо не замечаешь, как старость без удержу подминает людей. Кажется, старики откуда-то приходят в деревню, а молодые уходят и возвращаются уже стариками. И только иногда подивишься, что это те же самые люди. Но наверное, те самые.

Мне пришлось задом опереться о стол, иначе я бы не устоял. Волосы у Михала были жесткие, густые, от матери, как и у меня. У Антека со Сташеком волосы отцовские, Сташек почти что уже облысел, да и у Антека проплешины светились, будто в дырявой стрехе. Я остриг Михала под бобрик, а то вши так и кишели. Потом вымыл ему голову.

— Ну, а теперь поедим.

Я принес из больницы полпачки чаю, немного сахару, полбуханки хлеба, кусочек сыра, две котлеты. Все это мне санитарка Ядзя на прощанье дала. Вышла за мной в коридор, когда я к ней заглянул, чтобы сказать до свиданья.

— Возьмите. — И сунула мне сверток. — Не придется сразу в магазин бежать. А домой вернетесь — обязательно надо поесть.

Мне стало неловко, о доме я ей мало чего рассказывал и в основном неправду, кто ж говорит правду женщине или покойнику? Хотел даже сказать, что меня, верно, с обедом будут ждать. Я, мол, предупреждал, что возвращаюсь. Но чего-чего, а что у меня никого нет, она знала, кому же было ждать? Да и не позволила она мне долго отнекиваться.

— Берите, берите. Кушайте на здоровье. — Я хотел поцеловать ей руку, но она и левую и правую спрятала за спину. — Да вы что, санитаркины руки целовать! Лучше навестите нас как-нибудь, если на ярмарку приедете или так, при случае. Весело с вами было. Иной раз обсмеешься. А то все помирают да помирают.

Я даже про Михала ей ничего не рассказывал. Говорил только, что у меня три брата, и все трое городские. Антека со Сташеком она даже видела, когда они приезжали меня навестить примерно через неделю после того, как я попал в больницу. Не представляю, откуда они узнали, я их не извещал. Одеты — заглядишься. Костюмы, рубашки, галстуки, шик-блеск. Даже приятно было, что у меня такие братья. Но через час я уже был сыт по горло, хотя мы не виделись года два. Не успели спросить, одну ногу мне переехало или обе и долго ли буду лежать, а уже начали тихонько меня отчитывать, что я сам виноват. Вместо того чтобы рожь, пшеницу сеять, надо было сад разбить, пасеку завести или на разведение скота перекинуться, как они мне советовали не раз. Не пришлось бы от дождя убегать и хлеб в воскресенье свозить. В воскресенье отдыхать положено. С женой, с детьми сидеть дома. Или, если погожий денек, в машину — и в лес, на реку. Но я все думал, вечно буду молодой. Эта нет, та нет, ну и получил свое. К счастью, вошла Ядзя, и я ее с ними познакомил: это мои братья, Антек, Сташек, а это панна Ядзя, санитарка.

— О, пан Шимек у нас молодец,— сказала она, словно почувствовала, что они меня ругают. — Натерпится, как мало кто, а не пожалуется. И пошутить любит.

Только тогда они перестали меня пилить. Хотя Сташек, видать, не выговорился, потому что, когда Ядзя ушла, сказал:

— Или на ней женись. В больнице привыкла работать, вот бы и в поле была подмога.

Сумерки лезли в окна, в горнице посерело. А мы пили чай, ели хлеб с сыром. Котлеты я оставил на завтра. Телеги со снопами все еще покряхтывали на дороге. Иногда кто-нибудь крикнет: н-но! Иногда лошадь заденет подковой о камень. У кого-то дрога потрескивала, скрипели несмазанные оси, позвякивал нашильник у дышла. Я ждал, что Михал хотя бы спросит: «Где ж ты так долго был?».

Кошка и та сразу вспрыгнула ко мне на колени и стала ластиться, точно жалея, что не может ни слова сказать по-людски. Собака, если б была, тоже бы, верно, сорвалась с цепи от радости, что я вернулся. И всякий, кто меня ни встречал, говорил по крайней мере: о, вернулся. А тут брат — и ничего.

— Говорили тебе, что я в больнице?

Он поднес кружку к губам и выпучил глаза, они у него сделались круглые, как медяки, но напрасно бы я старался что-нибудь в этих глазах прочитать. Не поймешь, смотрели они, думали или, может, им умереть хотелось и не видеть ничего. А кружку Михал держал как-то чудно, двумя пальцами за ручку. Я даже поглядел — вдруг и сам так держу. Но я держал обыкновенно, всеми пальцами, в обхват. А хлеб и сыр он у себя на ладони крошил и из горсти только брал, точно выколупывал семечки из подсолнуха. Правда, он всегда не по-людски ел. На завтрак, если жур с картошкой, так я пол-ложки картошки, пол-ложки жура, едва такую ложку с верхом пропихивал в рот. А он отдельно картошку, отдельно жур, этого на кончике ложки, того на донышке, да и вдобавок почти не двигал челюстями. Как тут наесться, только вдвое больше наработаешься рукой. Человек для того ест, чтобы желудок был полон. А от желудка сила. А сила для работы. Я его не раз спрашивал: если есть, как он, вкусней кажется, или скорей наешься, или что? Пусть скажет. Надо думать, это не секрет? Не потому, что я так же научиться хотел, мне хорошо есть как ем. Но, думал я, хоть столечко от него узнаю, ведь по тому, как человек ест, много разного можно узнать.

А отрежет себе хлеба ломоть, уж такой тонкий, хоть гляди сквозь него на свет. И даже если пустой хлеб ел, все равно ломоть плашмя в растопыренных пальцах держал, как будто с него могли посыпаться кусочки колбасы. Или яблоко — сперва разделит на четыре равные части, выковыряет косточки, срежет кожуру и только такие белехонькие четвертушки отправлял в рот. А воду пил — то хоть бы разок у него в горле забулькало, как оно бывает, когда дорвешься до воды.

Но может, я за эти два года от него отвык. И теперь трудно наново привыкнуть, что этот старый человек в белом рядне Михал, мой брат. А возможно, и он уже позабыл, что мы братья. Что это значит: кто-то кому-то брат? В детстве я его не больно-то и любил. С чужими ребятишками куда было веселей. А Михал плавать не умел, из рогатки стрелять не умел, по деревьям лазать не умел. По стерне босиком колко ему было. А мы с ребятами бегали взапуски, кто первый долетит до межи. Еще выбирали жнивье не после косы, а после серпа, чтоб кололось сильней. Или где больше всего чертополоху в хлебах росло. В основном у Валишки либо у Бодуха, вдобавок ихние поля были длинные, как кишки. Пока до конца такой кишки добежишь, все ноги в крови, а заболеть ничего не заболит, не посмеет.

Учился Михал, что правда, то правда, из нас, четверых братьев, лучше всех. Раз даже получил в награду книжку, как самый лучший ученик в школе. А на книжке ему написали: Михалу Петрушке за отличные успехи и примерное поведение, а также с благодарностью его родителям. Так из-за этой-то благодарности отец его редко когда гонял в поле. А шли к поздней обедне, на всех на нас давал одну монету с тем, чтобы на поднос ее положил Михал. И когда мать в воскресенье делила курицу, отец вроде бы строго следил, чтобы всем досталось поровну, а выходило всегда, что Михала обидели, и отец приказывал добавить ему хотя б желудок или шейку. А еще мог Михал вечером допоздна книжку читать, и керосину ему никто не жалел. Другое дело, что я книжек не любил. В школе, правда, заставляли, ну тут уж поневоле читал. Да и не очень-то я понимал, зачем вообще читать, неужто времени не жалко? Отец иногда пытался мне разъяснить:

— Ты, пентюх, да хотя б для того, чтобы чтеньем бога славить.

А я ему на это однажды сказал, что, когда вырасту, не буду верить в бога, и убежал из хаты. Хотя сам не знал, что значит верить или не верить, просто назло сказал. Ну и едва кончил школу, книжки в дальний угол и начал бегать по гулянкам. После первой гулянки отец меня отлупил. После второй отлупил. Но после третьей я схватил вилы: а ну, попробуйте. Ох и избил же он меня тогда цепью от телеги, я весь в синяках был, пришлось матери прикладывать мне примочки.

— И чего ты его исколотил? — причитала мать. — Родное дитё так отлупцевать, господи боже мой!

— Какое он дитё. Разбойник! Тебя же из дому выгонит на старости лет.

А Михал читал. Годы шли, а он читал и читал. А тут как-то приехал из города дальний родственник матери, троюродный, что ли, брат, портной. И мать его упросила, чтоб он взял Михала к себе. Пусть хоть портняжному ремеслу обучится, что ему дома делать? Коров Антек уже пасет, гусей — Сташек. А земли не так уж и много, управимся без него. И портняжье ремесло — дело хорошее, на месте сидишь, под крышей, и себя сам обшиваешь. В деревне портного нет, выучился бы, вернулся и здесь шил. Чулан бы ему освободили, а может, и машинку купили. А пока б шил на той, что есть.

— Возьмите, не пожалеете. Хороший он мальчик и портным будет хорошим. Не тянет его, как других, то туда, то сюда. Всё бы книжки читал. А мы в долгу не останемся — когда мучицы пришлем, когда курочку.

— Лучше бы, конечно, он ксендзом стал,— поддержал просьбу матери отец. — Мы его в ксендзы хотели определить. Да не сдюжим. Сами видите — еще трое у нас. На всех не хватит земли. А так хоть одним меньше, и то будет полегче.

Ну и уехал он к дядюшке этому учиться на портного. Прожил у него, наверное, года три. Каждое второе воскресенье, а то и воскресенье за воскресеньем подряд приезжал домой. И на каждую жатву, на выкопки. И всегда матери хотя бы катушку ниток привозил, иголки, отцу сигареты, Антеку, Сташеку конфет, мне бутылку пива. Только молчун сделался. Ничего не хотел рассказывать, как ему там — плохо или хорошо. Ни как кормят его, и не обижает ли дядькина жена. Отец у него спрашивал:

— Портки-то уже сможешь пошить?

Он никогда не отвечал — да, нет. Только плечами пожимал — кто его знает, сможет, не сможет.

— Видать, на портного не меньше учиться надо, чем на ксендза,— вынужден был отец отвечать самому себе.

Мать в каждый его приезд собирала что могла, лишь бы он с пустыми руками не уезжал. Муки, крупы, гороху, сырок, кусочек сала, иногда курицу. А яйца все до единого припрятывала, чтобы с Михалом дядюшке послать. Мы сами ели что придется — лапшу, так только на воде, кашу, чуть забеленную молоком, а все, что получше, дядюшке. И вечно: то оставь, это не трогай, это дяде. Я как-то поймал в силки зайца, тоже отправили дядюшке. Вот он обрадуется. Никогда раньше мы не сушили слив, а теперь начали сушить, чтобы было чего дядюшке послать. У нас уже дядюшка этот поперек горла стоял. Сташек, который еще мало чего понимал, спросил как-то: а что он, трехглавый змий, столько должен есть? И даже у отца иногда вырывался вздох, что лучше бы Михал был ксендзом. Только мать: тише, тише — все старалась смягчить,— иной раз и ото рта надо оторвать, а выучится Михась, так и Сташеку, и Антосю, и Шимусю, и тебе, отец,— всем вам костюмы сошьет.

Но тут однажды в воскресенье Михал приехал и объявил, что больше у родственников не живет, а работает на заводе и чтоб мать ничего ему с собой не давала, он теперь не станет у нас брать. Расстроились все, столько муки, крупы, гороху, яиц, кур, сырков пропало зазря. Отец только сказал:

— Я думал, диагонали куплю, может ты мне костюм сошьешь. Но видать, такова воля божья. Похожу еще в старом.

С тех пор Михал все реже приезжал. Раз в месяц, в два, на рождество, на пасху, в страду. Хотя косец был не ахти какой. Рывком заносил косу и шагал чересчур быстро, а размах брал такой, словно хотел сразу целую полосу повалить. Оттого коса у него постоянно вты-

калась в землю и тупилась скорей, и сам после одного покоса так уставал, точно скосил целое поле. Правда, он и раньше не особо умел косить. Да и когда ему было выучиться? Тут с малолетства вбивали в голову: ксендз, ксендз, а у ксендза работник есть, самому косить не надо. Хотя мне кажется, навряд ли бы из него вышел хороший ксендз. Ксендзом быть — призвание нужно иметь и язык без костей. Каждое воскресенье проповедь, а еще похороны, венчанья. А когда исповедуешь, сколько надо вдалбливать людям: не греши, не греши, бог на тебя смотрит с небес. Бог умер за наши грехи. Все тебе будет посчитано на страшном суде. Это откуда же столько слов взять? Притом, чтобы на ксендза учиться, надо верить в загробную жизнь.

А тут как-то в воскресенье собралось у нас человек пять соседей, отец, мать, и зашел разговор о загробной жизни, один того усопшего видел, другой этого. А Михал собирался на поезд, закрывал чемодан, поздно уже было, а чемодан, точно назло, не хотел закрываться. И вдруг Михал как крикнет: нету загробной жизни! Здесь только жизнь, и в нее надо верить! Соседи рты разинули, отец с матерью со стыда не знали, куда деваться. А он схватил свой чемодан, так и не закрытый, пнул ногою дверь и из сеней уже бросил: до свиданья.

Я волей-неволей за ним, потому что должен был его отвезти на станцию. Но он мне за всю дорогу слова не сказал. Другое дело, что мы мчались сломя голову, так как поезд уже посвистывал за лесом. Только на станции, когда второпях прощались, Михал буркнул:

— Извинись перед отцом с матерью.

До самого рождества не показывался, потом только на пасху приехал, и так уж повелось до конца. А приезжал, так мало чего говорил, сядет, бывало, и думает, думает. Отец у него спрашивает:

— И что ты на этом заводе делаешь?

— Что на заводе делают,— отмахивался он. — Разные вещи.

— А платят много?

— Не много, но мне хватает.

— А живешь где?

— Там, у одних.

— Хорошие люди хоть?

— Неплохие.

Мать спрашивала:

— Девушка у тебя есть? Только не зарься на богатство, сынок. Возьми которая победнее, пусть и в одной рубашке, главное, чтоб с душой.

— Не время теперь, мать, о девушках думать, есть поважнее дела.

Ну, а я его уже ни о чем не спрашивал, для меня девушки были важней всего. Что это еще за дела — поважнее? Вот и посылай такого в город, только мозги сдвинутся набекрень. Да будь я на его месте, о, я бы знал, как попользоваться городским житьем. Тоже кой о чем был наслышан. Генек Вось приезжал в отпуск, он на действительной служил, не рассказывал, что ль? Прямо мурашки бегали по спине.

Темнота все гуще застилала горницу. Лицо Михала в этом сумраке будто почернело. Люди свозили и свозили хлеб.

— А помнишь,— сказал я,— ты как-то обещал надолго приехать. Поговорить мы с тобой собирались. Но не хочешь, не говори. Хочешь так жить, молчком, живи. Только что бы было, если б все в деревне поумолкали? И только бы пахали, сеяли, косили, свозили, и никто б никому даже «бог помочь» не говорил. А если вслед за людьми собаки, кошки и всякая иная тварь ни птицы б не щебетали, ни лягушки не квакали? Это ли не конец света? Даже деревья говорят, если получше прислушаться. И каждое на своем наречье, дуб — на дубовом, бук — на буковом. Реки говорят, хлеба. Весь мир — сплошная речь. Попробуй, вслушайся хорошенько — услышишь, что говорили

сто, а то и тысячу лет назад. Слова ведь не знают смерти. Точно сквозистые птицы, один раз сказанные, веки вечные над нами кружат, только мы их не слышим. Но может, с высоты, на какой бог сидит, голос каждого человека отдельно слыхать. Даже то, что я тебе сейчас говорю. Что говорят у Машика, у Дереня и в каждом дому. А если к земле обратить ухо — кто знает, вдруг услышишь людской шепот и что люди думают, что им снится, где у кого кот мяучит, в чьей конюшне лошадь ржет, которое дитя материнскую грудь сосет, а которое только приходит на свет, потому что все это речь. Бог велит людям словами молиться, потому что без слов он бы человека от человека не отличил. Да и человек сам бы себя от других не отличил, не имей он слов Со слова жизнь начинается и словами кончается. Смерть — это ведь то же самое, конец словам. Начни с первого попавшегося, какое тебе ближе всего. Мать, дом, земля. Скажи хотя бы: земля. Ты же знаешь, что такое земля. Плюешь куда? На землю. Ну, то, по чему ходишь, на чем хаты стоят, пашут что. Не раз ведь держал в руках плуг. Помнишь, как отец учил нас пахать? По очереди тебя, меня, Антека, Сташека. Чуть который-нибудь из нас повыше плуга подрастет, того брал с собою в поле, когда на пахоту ехал. Клал наши руки на чапыги, сверху свои и шагал сзади, будто нес тебя, обняв. Ты его тепло на своей спине чувствовал, его дыханье на голове. А слова его точно откуда-то с неба неслись. Не так держи, ровнее, посередке борозды иди, глубже бери, раз земля сухая, вот вырастут у тебя побольше руки, в этой будешь вожжи держать, а в той кнут. Научишься, научишься, наберись только терпенья. В земле и крот буравит ходы, и деревья коренятся, и окопы роют в войну. Из земли родники бьют, и пот людской впитывается в землю. И на своей земле, а не на какой другой каждый человек приходит на свет. А помнишь, когда кто-нибудь в мир уходил, всегда брал с собой в узелке горстку земли. Или моряки, когда землю где-то там, далеко-далеко, увидят, кричат: земля! земля! У тебя когда-то такая книжка была, там кричали: земля! И господь сошел на землю. И человека после смерти хоронят в земле. Будем и мы с тобой в ней лежать. Я склеп надумал строить. На восьмерых, чтобы всем поместиться. Может, и Антек и Сташек с нами захотят. Говорится: дай бог, чтоб земля на нем легким пухом лежала. Где они легче найдут? Говорится: на какой земле родишься, та земля — твоя колыбель. Смерть тебя только как бы обратно в нее кладет. И колышет, колышет, пока ты снова не станешь нерожденный, незачатый.

◆

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА

Советский переводчик с польского. В ее переводах опубликованы произведения многих польских писателей, в том числе Г. Сенкевича (участвовала в переводе трилогии «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыёвский»), Я. Ивашкевича, М. Домбровской, Я. Парандовского, М. Хороманьского и др.

Публицистика

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

НА САМОМ ДНЕ

Главы из книги

Перевод с немецкого Э. ВЕНГЕРОВОЙ

Подопытный человек ищет заработка

Прекратите опыты над животными — возьмите турок!

Надпись на фасаде здания в Дуйсбург-Ведау

Осман Токар (22), мой товарищ по работе, турок, потерял жилье. Адлер так долго задерживал ему жалованье, что хозяин квартиры, которую Осман снимал, не согласился больше ждать платы. Осману пришлось освободить помещение, оставив там свою жалкую обстановку: хозяин запер ее в подвале в качестве залога, пока Осман не уплатит долга — 620 марок. С тех пор у Османа нет постоянного жилья. Иногда он спит у своего родственника на матраце в прихожей, иногда его пускают переночевать друзья. Надолго он нигде не может остаться — у всех теснота. Осман со стыдом признается мне, что несколько раз уже ночевал на скамейке в парке, теперь ему грозит высылка, поскольку он не имеет постоянной прописки и неоднократно обращался за пособием.

В Турцию ему не хочется. Он пару раз ездил туда в гости, но в Германии, окруженный холодом отчуждения, он все же чувствует себя больше дома, чем на родине своих родителей, где он провел только первые два года жизни. По-немецки он говорит чуть лучше, чем по-турецки, но оба языка так и остались для него чужими. Он не знает, где, на самом деле, его место, он чувствует себя так, словно у него «украли душу».

Я приглашаю Османа пожить на Дизельштрассе, но он отклоняет предложение. Работая у Тиссена, он заболел хроническим бронхитом и боится спать «в ядовитой постели рядом с коксовым заводом». Иногда он думает о том, чтобы покончить с собой. Как-то мы отработали вместе целую смену в бункере, полном угольной пыли. Мы литрами вдыхали грязь, а потом нас рвало черной мокротой. Во время короткого перерыва мы выползли из бункера на свет божий, и тут он как бы невзначай заметил: «Я иногда представляю себе, что кидаюсь в печь, прямо головой в текучий огонь. Он зашипит — и больше ничего не почувствуешь».

Я (Али) подавленно молчу.

«Мы боимся, потому что не знаем, еще никто так не делал,— говорит Осман.— А как червяк ползать в пыли и чтобы тебя всегда топтали, ведь это много хуже». Он рассказывает про одного рабочего, который попал в печь во время аварии и мгновенно сгорел. От него совсем ничего не осталось, и поэтому из печи символически вынули стальной брусок и передали близким для «похорон». На самом деле его тело вместе со сталью было развальцовано на листы — для автомобилей, горшков или танков.

Осман говорит, что хочет съездить к своему дяде в Ульм. Там он сможет получить жилье и работу, пусть такую же вредную для здоровья, как у Тиссена, но за нее, по крайней мере, платят. Сначала он не признается, о чем идет речь. «У Тиссена мы должны глотать пыль и делать много тяжелой работы. На другой работе мы должны только глотать и кровь сдавать». Осман говорит, что на эту работу очень охотно берут турок и других иностранцев, например, индонезийцев, эмигрантов из Латинской Америки и пакистанцев — как человеческих подопытных кроликов для фармацевтической промышленности. Я спрашиваю его: не могу ли я принять вместо него участие в опыте, который должен начаться на следующей неделе. В качестве возмещения предлагаю ему половину обещанной платы — 1000 марок. Он согласен. Меня это устраивает, потому что из-за больной спины и бронхита, который постепенно становится

Окончание. Начало см. в № 8, 1986 г.

хроническим, мне следовало бы уже давно бросить тяжелую физическую работу у Тиссена.

Осман связывает меня с «LAB» — институтом в Ной-Ульме. Институт размещается в массивном, мрачного вида здании; в нем стоит тяжелый, спертый запах, чем-то напоминающий молодежные ночлежки пятидесятых годов. В качестве хозяина ночлежки — «папаши» — выступает радостно-возбужденный дежурный лет двадцати пяти, встречающий нас при входе. Он старательно пытается создать свободную, непринужденную атмосферу. В «зале ожидания» слоняется несколько бритых «панков» (судя по всему, они числятся здесь в постоянных клиентах), несколько иностранцев явно южного типа, несколько безработных подростков. И двое «бичей», один слегка в подпитии.

Я (Али) предъявляю записку, которую дал мне Осман, и спрашиваю «папашу», заведующего приемным покоем, не может ли он предложить мне опыт полегче, не слишком опасный. Осман предупредил меня (Али), что предстоящий тест должен вызвать очень неприятные и болезненные побочные явления. «Только не бойся,— пытается успокоить меня «папаша».— До сих пор все выходили отсюда живыми». И: «У нас здесь совсем запросто». К своим подопытным «папаша» обращается подчеркнуто фамильярным, развязным тоном, всем «тыкает», а меня (Али) предупреждает: «Сначала поглядим, годишься ли ты нам вообще».

Меня (Али) направляют на предписанное обследование. Берут анализы крови, мочи, снимают ЭКГ, обмеряют и взвешивают. Потом меня осматривает врач. В первый момент я теряюсь, потому что принимаю его за «соотечественника». Но, к счастью, он не турок, а болгарин-эмигрант. Но он хорошо знает «мою родину» и немного беседует со мной о Турции. Он сообщает, что раньше было больше турецких испытуемых, однако в последнее время некоторые из них вернулись в Турцию. Он считает, что здесь составилось хорошее мнение о моих турецких земляках, они «стойко держатся» и не «хнычут из-за всякой малости». Он еще светит мне (Али) в глаза и устанавливает, что я ношу контактные линзы, но, к счастью, не замечает, что они темные. Я объясняю, что мне их прописали специально для сварочных работ и что очки обошлись бы дороже.

Али признан годным. Значит, пока что его будут использовать как здорового и прописывать медикаменты в виде таблеток и инъекций, каковые, возможно, сделают его больным. Али должен дать письменное согласие на проведение над собой опыта, после чего ему вручат информационный листок на пяти страницах, написанный по-немецки, где речь идет о медикаментах, подлежащих на сей раз испытанию: «Информация для испытуемых об исследовании сравнительной биопереносимости при четырех различных комбинациях препаратов с содержанием фенобарбитала и фенитоина».

Али никогда не слышал про эти медикаменты, и даже «папаша» произносит «фенобарбитал» и «фенитоин» чуть ли не по слогам. «Ты эти названия сразу забудешь,— говорит он.— Это лекарства не от одной болезни, которой может заболеть каждый, а, как сказано в информационном листке, против эпилепсии и судорог у детей».

Почти все независимые от промышленности исследователи резко критикуют применение таких комбинированных препаратов. Комбинации двух сильнодействующих средств часто затрудняют подбор необходимой пациенту дозировки. Зато небрежно работающим врачам комбинированные препараты вполне подходят: меньше забот с пациентами.

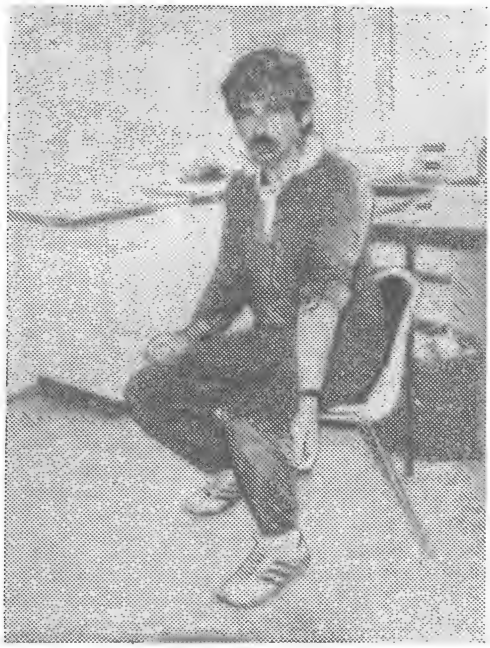
Кроме всего прочего, фенобарбитал относится к группе барбитуратов, к которым больные привыкают особенно быстро. Из-за большой опасности привыкания в последние годы были запрещены сотни лекарственных средств, в том числе и барбитураты. Таким образом, опыты проводят с давно известными комбинированными препаратами, фактически снятыми с продажи. Никто не объясняет, зачем их в таком случае вообще нужно испытывать.

Опыт должен продолжаться в общей сложности больше одиннадцати недель, включая четырехкратное суточное пребывание на казарменном положении в стационаре.

Гонорар — 2000 марок. В качестве побочных действий, возникающих сравнительно часто, информационный листок называет: «усталость, резкую смену настроения, нарушение координации движений, нарушение функций нервной системы и свойств крови, нарушение кровообращения, сужение полей зрения, аллергические реакции». Примерно у 20% пациентов отмечено «набухание десен». Кроме того, не исключены «сыпь, зуд, одышка, озноб, тошнота и рвота», а «в редких случаях — угрожающие жизни приступы удушья и остановка дыхания, требующие незамедлительного врачебного вмешательства».

Но это, дескать, не так страшно, поскольку в чрезвычайных ситуациях фирма гарантирует свою помощь: «Если, против ожидания, в связи с участием в этом опыте возникнут вредные для здоровья последствия, фирма «LAB» или ее заказчик предоставит бесплатное медицинское обслуживание в требуемых размерах». Однако: «Из числа этих последствий решительно исключаются такие, которые лишь опосредованно связаны с участием в опыте (например, несчастные случаи на дорогах)». А что, если «испытуемый» с «нарушениями кровообращения и координации движений» попадет под машину?

Получив мое заявление о согласии на опыт, мне (Али) вручают схему приема медикаментов и расписанный по часам график сдачи анализов крови.



Исследование начинается только завтра, объясняют мне, тем не менее я (Али) с этой минуты не имею права покидать территорию, то есть здание института и прилегающий к нему двор. «Добровольная сдача в плен»,— шутит «напаша». Мне вручают постельное белье — пододеяльник, простыню, наволочку. На первом этаже находится «стационар»: лаборатория, комната для сдачи анализов крови, реанимация. На втором — холл с телевизором и палаты.

Я вхожу в палату. Человек, сидящий на нижней койке двухъярусной кровати, не поднимает глаз. Двое за столом продолжают решать кроссворд. Я (Али) попадаю в палату № 2 с окнами во двор. Слева вижу авторемонтную мастерскую, а перед ней, между каменной оградой и мусорным баком, несколько серых садовых скамеек из пластика. Справа — склад оптовой торговой фирмы. На заднем плане — площадка, куда сгружают привезенные на склад продукты. Унылая картина.

Все, кто предоставили себя в распоряжение института в качестве подопытных, чуть ли не заклинают друг друга, что никакого риска нет. «Для них риск куда больше, чем для нас,— говорит один.— Если что случится, разразится страшный скандал. А этого они себе не могут позволить». Некоторые здесь не в первый раз. «Я на этой панели давно пасусь»,— замечает второй. Он постоянно ездит из одного такого института в другой. В фармацевтической промышленности это называется «подопытный туризм».

Кто-то рассказывает о «профессионале», раскатывающем по стране в автомобиле с прицепом для жилья. Он якобы не только сам предлагает себя для опытов, но и вербует других за хорошие комиссионные.

К ужину все собираются за длинным рядом столов. Четыре женщины сидят вместе. Когда их принимали, им предложили пройти тест на беременность. Если во время испытаний, которые длятся несколько месяцев подряд, они все же забеременеют, то ребенку это грозит тяжелейшими и неизлечимыми травмами. На этот случай «LAB» обещает, однако, «медицинскую и моральную помощь». Интересно, что имеется в виду?

Через окошко с откидной доской каждый получает тарелку: хлеб, масло, несколько ломтиков сыра, один помидор, один огурец, один перец. По телевизору показывают «Бонни и Клайд». Занавески задернуты, чтобы предохранить телевизор от закатных лучей солнца. Антенна сломана. Воняет пеплом и застоявшимся табачным дымом. Почти никто не может уснуть, а передача по телевизору кончилась. Мы молча сидим до полуночи во дворе, курим и пьем безвкусную воду из пластиковых стаканчиков: это единственное, что мы еще имеем право проглотить.

Те, кто лег в постель, неподвижно глядят в потолок или пытаются заснуть. Кто-то уснул, забыв про включенный на полную мощность транзистор. Передают «Музыку после полуночи». Свет никто не гасит. С 2.30 передают «Музыку до рассвета». Потом я выключаю радио и зажигаю зеленый неоновый свет. С площадки, куда доставляют грузы, доносится непрерывный грохот вагонеток. За окном ветер гонит по двору пустые пластиковые стаканчики. Кто-то онанирует под одеялом, снова и снова, не находя облегчения.

В 6 часов дверь открывается: «Подъем!» Мы встаем молча, не здороваясь. Каждый занят только собой. Моя бутылка для анализа мочи помечена номером 4. Это значит: в 6.04 получай канюлю, в 7.04 — глотай лекарство, в 8.04 — сдавай кровь и т. д.

Сначала мы еще выстраиваемся по порядку. Потом запоминаем свое время и очередь. Тот, кто за мной, только что выпущен из тюрьмы и не может нигде найти работу. Здесь никого не интересует его прошлое. Двое молодых субъектов, которые вводят нам канюли, беседуют о предстоящих экзаменах. Они еще не закончили медицинский. Оба следят, чтобы мы приняли медикаменты. У них на глазах я должен проглотить две капсулы. Сначала я замечаю, как несколько сужается поле моего зрения. Я пытаюсь выглянуть во двор, но солнце бьет в глаза, и глазам больно.

Я лежу на кровати в полусне. На сдачу очередного анализа крови бреду как лунатик. Все выглядят бледными и осунувшимися. Одна из женщин жалуется на приливы, головокружение и нарушение кровообращения. Рука у нее холодная, шершавая, безжизненная.

На следующий день мне становится совсем худо. Бессмысленный опыт —

ведь все побочные явления известны. Их-то мы как раз и ощущаем: тяжелейшее чувство подавленности, сильная головная боль, полная апатия и замутненность восприятия плюс постоянная сонливость. И десны сильно кровоточат. Семь раз у нас брали кровь, и каждую минуту мы можем зачем-нибудь понадобиться.

У других тоже тяжелое недомогание. Но только когда проговаривается один, выясняется, что голова болит почти у всех. Они молчали явно из страха, что их не допустят к следующим тестам. Один из подопытных признается: «Я уж который раз загибаюсь. Как-то сделал одновременно два теста, очень срочно деньги понадобились. Тогда я чувствовал, что вот-вот кончусь. Сердце то колотится как сумасшедшее, то совсем замирает. Ну, думаю, все, пропал...» Другой, помоложе, рассказывает, что на нем испытывали действие сильных транквилизаторов. Транквилизаторы довольно быстро вызывают привыкание. После теста все участники «расклеились». Некоторые свалились тут же, на месте, не могли держаться на ногах, пришлось их уносить. «А когда мы потом по-тихому заглянули в их карточки, то в графе «побочные действия» было подчеркнуто «нет».

Я (Али) после «первого захода», то есть по истечении суток, решаюсь прервать опыт. Обычно на протяжении одиннадцати недель подопытных три раза помещают в стационар. И побочные действия становятся, как мне объясняют, еще ощутимее. Кроме того, в течение всех одиннадцати недель нужно ежедневно — в том числе по субботам и воскресеньям — в 7 часов утра являться в «LAB» для сдачи анализов, а всю мочу за это время собирать в пластиковые емкости. Тот, кто раньше времени прервет опыт, не получит гонорара. Ни пфеннига.

Бременский профессор Эберхард Грайзер считает, что «примерно две трети такого рода исследований переносимости не нужны». «Это — исследования, методика которых приспособлена для коммерческих целей, причем польза и затраты находятся в извращенном соотношении». Два года назад, например, в Дублине погиб тридцатилетний «профессионал» Нил Раш. Он скончался во время серии опытов ганноверской фирмы «Кали хеми», испытывавшей средство против аритмии сердца. Фирма отказалась нести ответственность за эту смерть: имело якобы место «неправильное поведение подопытного». За день до этого Нил испытывал в другом институте сильное успокоительное средство. Совмещенное действие двух медикаментов, как показывают результаты вскрытия, привело к смертельному исходу в течение нескольких минут.

Кто-то из подопытных фирмы «LAB» сунул мне (Али) еще один адрес: «БИО-ДИЗАЙН» во Фрайбурге-им-Брегау. «Там всегда нужны люди, и платят они хорошо. А главное, жратва получше, чем здешняя». Я (Али) отправляюсь по указанному адресу. В отличие от довольно затрапезной «LAB», «БИО-ДИЗАЙН» построен по последнему слову архитектуры, сияет чистотой и чем-то напоминает космическую станцию. Дама в приемном покое предусмотрительно задает тот же вопрос, что и Адлер, когда вербует новичка. Только в более корректной форме: «Кто вас к нам направил?» Я (Али) называю знакомого по «LAB».

Али тут же получает соблазнительное предложение: 2500 марок за пятнадцать дней. Но — «полный стационар». На вопрос Али: «А платить налог должен?» — следует ответ: «Нет, здесь о доходах не сообщают. Здесь служба здоровья».

Похоже, что как раз для этого опыта смельчаков не находится, иначе зачем бы им подсовывать приманку в виде аванса: «Если бы вы решились принять участие, мы в порядке исключения могли бы побеседовать об авансе». Из «За вами будет отличный уход. Еда — в неограниченном количестве».— «А за что так много деньги? Что делать?» Молоденькая служащая разъясняет мне (Али), и я, кажется, замечаю на ее лице меланхолическую усмешку.

«Это антагонист альдостерона, вещество, называемое месперинон. Оно вызывает усиленное выделение через почки скоплений жидкости. Этот минералокортикоид — гормональный препарат. То, что в настоящее время поступает в продажу, относится к группе спиронолактонов. Установлено, что принимаемый достаточно долго, этот препарат приводит к так называемой гинекомастии, то есть образованию груди у мужчин. Но за две недели этого может и не произойти».

Я (Али). А вы уверен?

Служащая института. Мы этого не ожидаем. В том-то и цель исследования. В таких случаях никогда нельзя знать наверное.

Я (Али). А если случится, то потом пройдет?

Служащая (утомленно). Да, конечно, потом пройдет.

По другому пункту она тоже говорит неправду. На вопрос: «Как быть с потенция? Остается?» Али получает ответ: «Ну, в этом отношении опасаться нечего». На самом деле почти никакого опыта применения месперинона на человеке нет. В сопроводительном тексте к эксперименту ясно указано, что возможны такие побочные явления, как «головная боль, подавленность, нервозность, боли в желудке, кожная сыпь», а при высоких дозировках также «гинекомастия и импотенция».

«БИО-ДИЗАЙН» пытается при всех обстоятельствах держать своих подопытных в узде. В договоре «институт» угрожает: «В случае преждевременного расторжения договора фирма «БИО-ДИЗАЙН» вправе потребовать от испытуемого возмещения части затрат на проведение эксперимента...» То, что этот кабальный договор однозначно аморален, явно не смущает «БИО-ДИЗАЙН». С помощью такого договора подопытные лица подвергаются чудовищному давлению, цель которого — заставить их вы-

держать эксперимент до конца любой ценой, несмотря на боли и побочные явления. За гладким любезным фасадом института красоты скрывается бездушный современный доктор Мабузе[1], который по поручению крупных фармацевтических концернов поставляет им попавших в безвыходное положение людей, чтобы на них исследовать варианты своих коммерческих стратегий.

По счастью, крупные денежные суммы меня не соблазняют, и я могу себе позволить поблагодарить и отказаться. У многих других такой возможности нет. Фирмы вроде «LAB» и «БИО-ДИЗАЙН» наживаются на экономическом кризисе, который толкает в их объятия все большее число людей.

Ответственные лица ссылаются на так называемые «этические комиссии», где заседают ученые и даже священники. «Этические комиссии» — это добровольные комитеты контроля, чьи решения имеют законную силу только в США и Японии, но не в ФРГ.

В данной связи говорить об этике — цинизм. Состав этих комиссий в любой момент может быть частично или полностью изменен. Они целиком зависят от благорасположения шефа фирмы. Но даже если бы речь шла об административных органах, как в других странах, комиссии по «этике» могут в лучшем случае высказывать суждения по медицинским вопросам. Человеческая же этика по меньшей мере потребовала бы поставить вопрос об отчаявшихся людях, отесненных на край общества и только поэтому согласных выступать в качестве кандидатов на самоубийство в рассрочку.

Мое предложение: следует издать закон, который обяжет тех, кто больше всех наживается в фармацевтической промышленности, проделывать опыты лично на себе. Преимущества не замедлили бы сказаться: эти люди в значительно лучшей физической форме, чем истощенные «профессионалы», а благодаря своим доходам они могут позволить себе куда более продолжительный отпуск и курортное лечение. Количество опытов таким образом резко сократилось бы и свелось к разумному минимуму. Это предложение не столь уж несерьезно. Еще шестьдесят лет назад фармацевты исследовали действие новых медикаментов прежде всего на самих себе.

Насколько часто возникают такие якобы редкие побочные явления, я испытал сам. После возвращения из «путешествия» по фармацевтическим лабораториям нижняя десна у меня опухла и нагноилась. Зубной врач поставил диагноз: «набухание десен» и сразу же безошибочно заключил: «Вы принимаете медикаменты, содержащие фенитоин?» Когда я это подтвердил (фенитоин входит в состав медикаментов, которые испытывала на мне «LAB» в Ульме), зубной врач тут же — по побочному действию — предположил, чем я «болен»: «Вы эпилептик?»

[1] Персонаж повести Р. Л. Стивенсона «Странная история д-ра Джекила и м-ра Хайда».

Повышение

Я чувствую себя таким разбитым и жалким, что больше не решаюсь оставаться у Тиссена, хотя многие товарищи Али вкалывают на Адлера несмотря на болезни и травмы. Некоторые выдерживали по 16 часов с гриппом и температурой — из страха, что на их место пригонят новенького. Мехмету, например, во время работы придавило ногу чугунным бруском. Спецобуви ему не выдали, и нога вздулась так сильно, что пришлось разрезать ботинок и обмотать проволокой, чтоб держался. Превозмогая страшную боль, стиснув зубы, он прихромал на работу, и никто не услышал от него ни единой жалобы.

Я могу позволить себе сыграть ва-банк и извлечь пользу из своего тяжелого положения. Я узнал, что Адлеру нужен подручный и шофер, и пускаюсь на хитрость, чтобы устроиться на это место. Прошу Адлера принять меня по поводу невыплаченных денег. Он, как всегда, очень несдержан, спрашивает, как это вообще мне взбрело в голову не являться на работу несколько дней. Я (Али) прошу извинения, уверяю, что уже совершенно выздоровел, что это больше никогда не повторится. Он милостиво позволяет мне прийти завтра. «Но чтобы без опоздания, ровно в 14.00». Знакомая история: на следующий день не приходит Адлер. Три часа спустя, около пяти пополудни, я (Али) застаю его дома. Он сразу же берет высокомерный тон: «Сейчас мне некогда. Пришли бы пораньше. Я принимаю ванну». Не принимает он никакой ванны — я же вижу, он полностью одет.

Я (Али). Я могу еще немножко ждать, сидеть на лестница. Уже три часа сидел, ждал.

Адлер (резко). Ничего не выйдет. Не выйдет. Придешь завтра.

Я (Али). Теперь не хотел деньги, хотел немножко спрашивать.

Адлер. Сказал, не выйдет. Позвони завтра.

Я (Али). Пожалуйста, только пять минута. Через один час я уезжать.

Адлер. Позвоните мне завтра. Можем обсудить ваши дела по телефону. Сейчас никак не могу.

Я (Али). Я сказать хороший вещи, хотел вам помогать.

Адлер (заинтересован, испуган). В чем дело?

Я (Али). Должен вам помогать, потому что вам может что случаться.

Адлер. Со мной? Почему? Кто?

Я (Али). Я приходил потом, когда вы принял ванна.

Адлер. Нет, подождите, да входите же

Али с опаской входит в его кабинет и сообщает ему, что один из рабочих, которому Адлер задолжал жалованье, хочет предъявить судебный иск, но Али этого не допустит.

И Али начинает играть роль придурковатого подхалима, который рвется принести себя в жертву своему господину,

если надо, отдать за него жизнь. «Я учил каратэ, особый турецкий каратэ, называется сису». Разумеется, это полная чепуха, я не владею никаким каратэ, а «сису» по-фински означает «терпение, выдержка, упорство». Но он этого не знает. «Я вам помогал, если вам кто чего сделал. Я знаю один прием, и тогда с ним кончать». В доказательство своей бешеной решимости Али изо всех сил грохает кулаком по письменному столу

Адлер в некотором замешательстве. Он окидывает Али оценивающим взглядом. «Кто мне угрожает?— спрашивает он.— Вообще-то хорошо, что ты хочешь защитить меня. Так и должно быть. Но какая же сволочь мне угрожает?» — «Я теперь не знаю имя,— говорит Али.— Но я ему сказал, кто хочет убивать Адлер, должен убивать Али, я человек Адлера». Он не замечает, что Али в запале неожиданно употребил правильную форму немецкого родительного падежа.

Адлер клюнул на приманку. Примерно пять минут он читает вслух списки турецких и арабских работников — теперешних и прежних,— с которыми он до сих пор не расплатился и которые теперь в его глазах потенциальные убийцы. Али внимательно слушает, просит повторить отдельные фамилии, однако каждый раз энергично трясет головой,— имени мстителя в списках нет. Чтобы не навлечь подозрения на кого-либо из товарищей, Али придумывает фантастического араба, «который член турецкий общества бокс». У этого араба «такой кулаки!» (Али размахивает руками в воздухе), недавно он «одним удар сбил половина лицо» немцу, «кто ему оскорбил и обманывал». «Нос совсем сломал, один глаз закрывал, и весь лицо косой».

Адлер озабочен, а Али заводит разговор о прочих своих преимуществах: он не только знает каратэ, но «долгий время такси, был водитель», а еще раньше «работал шофер у другой шеф», который «имеет большой фабрик». «Какую фабрику?» — со знанием дела осведомляется Адлер.— «Он делать такой разговорный машина»,— заявляет Али. «Ты имеешь в виду walkie-talkies?»[1]— соображает Адлер, и Али с гордостью подтверждает его догадку. В случае надобности он мог бы даже получить оттуда соответствующую справку, поскольку глава фирмы — мой (Гюнтера Вальрафа) хороший знакомый. «У мене еще висел в шкаф униформ,— продолжает хвастаться Али,— красивый фуражка и хороший материя».

«Так-так, интересно,— говорит Адлер,— значит, ты умеешь водить машину?» — «Да, никакой проблем,— уверяет Али.— Шеф мог всегда спал, когда Али водил машина, и я умел тоже все чинить, если машина сломал». Это чистое вранье, но я (Али) делаю ставку на то, что мерседес Адлера — марки 280 SE, со специальным оборудованием и всевозможными штуковинами — довольно новый, и ему вряд ли потребуется ремонт. «Что ж, столковаться можно,— говорит Адлер.— Работа для водителя у меня всегда найдется, а ты избавишь меня от этих наглых типов. Ты только назови мне фамилии. У меня есть прямой выход на полицию для иностранцев. Их в два счета уберут отсюда. Они и опомниться не успеют».— «Я сам все сделать,— пытаюсь я (Али) переключить его внимание,— вы больше не должен бояться, если они знал, что я агент от Адлер, один удар Али — и они мертвый, один удар — и все кончен. Вы не должен звать полиция, я лучше делал».— «Ну хорошо,— говорит Адлер.— Придешь завтра в 10.30, может, и сгодишься».

Таким вот образом Али получил «повышение», из глотателя пыли и чернорабочего самого низшего разряда он превратился в шофера и личного охранника. В общем это верно, что в нашем обществе еще имеются скрытые возможности роста. Даже для самого последнего гастарбайтера.

Адлер пытается сразу же — такова его манера — начать с обмана. Нанимая меня на должность, он говорит: «Послушай, ты еще болен. Мы немедленно оформляем тебя членом местной страхкассы, ты идешь к врачу, берешь больничный, получаешь деньги по больничному, а работаешь уже у меня».

Несколько следующих недель возить Адлера стоило мне неимоверного самоотречения. Он придирался к каждому повороту руля. «Будь любезен, не выдрючивайся». «Прекрати гонку». «Сколько раз повторять: тебе доверены ценности, машина стоит много денег». «Я хочу, чтобы меня везли разумно и без риска. Ты отвечаешь за то, чтобы машина и я прибыли домой в целости и сохранности». А ведь Али и так ведет машину медленно и осторожно, в три раза медленней, чем собственную развалюху. Это даже и ездой нельзя назвать, так, какое-то мягкое, плавное парение. Но Адлера терзают преувеличенные страхи. А может, эти вечные придирки необходимы ему только для самоутверждения.

Адлер вызывает Али к своему дому обычно за двадцать—пятьдесят минут до отъезда. Он пользуется Али как будильником. Али звонит. Проходит некоторое время, прежде чем в домофоне раздается заспанный голос Адлера: «Подожди на улице. Я через десять минут». После чего Али ждет и ждет. Когда идет дождь, ему совершенно негде укрыться. Адлеру и в голову не приходит сбросить вниз ключи, чтобы Али смог сесть в мерседес.

Часов в 8—9 в этом квартале начинается утро. В виллах поднимаются жалюзи, медленно открываются окна, скользят вверх автоматические двери гаражей, и ухоженные лимузины вывозятся в деловую жизнь преуспевающими владельцами. Чья-то супруга выставляет на окно роскошную клетку с экзотическими птицами. Цветники тоже ухожены, а газоны всегда подстрижены очень коротко.

[1] Переносные рации *(англ. жарг.)*.

В редких случаях Али получает приказание явиться к Адлеру к 7—8 утра, чтобы через полчаса отправиться в дорогу со своим хозяином. Но как правило, день Адлера начинается не раньше 10—11, зато кончается уже около 14—15, самое позднее — в 16 часов. Перерыв на обед длится час. Бывает, что занятия Адлера в течение дня исчерпываются посещением различных банков в Оберхаузене и Динслакене и контролем за поступлениями на его счета. Странное дело — все банки находятся за пределами его района. По дороге из банка в банк он обычно наносит визит своему приятелю и деловому партнеру Реммерту. Он выбирает такое время, когда его рабочие еще не возвратились со смены, чтобы избежать «нахальных вопросов» и «наглых требований платы». Обычно он еще включает в своей машине и сигнализацию — на всякий случай. Нередко на обратном пути он заезжает на свой теннисный корт в Дуйсбурге. В ресторане при корте надо «кое с кем повидаться» или встретиться со своим «стряпчим», то есть с приятелем, который дает ему советы относительно того, как уклониться от налогов. Официально Адлер указывает, что его оборот составляет от полумиллиона до миллиона марок в год, хотя эта цифра вряд ли соответствует реальности. При его методах ведения дел оборот должен в несколько раз превышать эту сумму — достаточно подсчитать, сколько он наживает только на том, что не проводит по ведомостям нелегальных.

Работать его шофером — мука мученическая. Постоянно он чем-то рискует, постоянно он подвергает свою жизнь опасности. У Али зачастую бывает такое чувство, словно он везет не человека из плоти и крови, а некую чрезвычайно хрупкую, как пергамент, мумию в сосуде из тонкого стекла. А мумия боится, что при малейшем толчке она рассыплется в прах. Адлер постоянно одергивает Али или просто грубо орет на него: «Не обгонять! Медленней, дурак!» То и дело звучит ритуальный возглас: «Будь любезен, не выдрючивайся!» Или: «Мы должны держаться с достоинством. Мы не хулиганы». И это при скорости меньше 50 в городе и меньше 140 на шоссе. Его не волнует безопасность дорожного движения. Он панически боится за свою драгоценную жизнь. Полицейские вызывают у него патологический ужас. Завидев издалека полицейского или даже машину автоинспекции, он приказывает повернуть, сделать крюк, только бы побыстрее исчезнуть из виду.

Адлер никогда не оглядывается назад. Это вообще его жизненный девиз, ибо за собой он оставляет «сожженную землю», как поется в его любимом шлягере о наемниках:

Сто человек по приказу шагают,
Куда нас ведут? Черт его знает.
Идем день за днем, редеет наш полк.
Земля сожжена, а какой в этом толк?

Один раз я (Али) чуть не выдал себя. Он заметил, что я сделал знак рукой стоявшему на другой стороне улицы фотографу, который чуть было не проморгал момент нашего отъезда. «Ты кому это там махнул?» — спрашивает он, видимо что-то заподозрив. «Не махал,— отвлекаю я его,— только делал такой быстрый движений для каратэ. Когда долго сидеть, нужно всегда тренировать быстрый реакция, совсем быстро дергать плечо, рука, нога». И для убедительности я (Али) начинаю во время езды судорожно двигать руками и плечами. Поначалу он наблюдает за мной с задумчивым изумлением. В подтверждение своих успехов (а также чтобы удержать его на безопасном расстоянии в случае возможного разоблачения) я рассказываю ему, что в клубе каратэ все боятся моих молниеносных приемов. Что один мой товарищ, который нечаянно подвернулся мне под руку, когда я отрабатывал ложный выпад, в результате «четыре дня лежал бессознательный». Что я могу ребром ладони разбить «два кирпич вместе, но старый камень, не новый». Это производит на него впечатление, в чем я имел возможность убедиться — в другой связи. «Али один удар, ты лежал мертвый»,— я выбрасываю руку в его сторону. Но чтобы успокоить его, я (Али) прибавляю: «Я подписывал бумага, что буду так делал, если на нас нападений, а первый никогда не начинал». Если б он знал, что я принципиальный противник физического насилия и применения оружия и что в соответствующих ситуациях моим преимуществом является умение бегать на длинные дистанции!

«Будь любезен, прекрати выдрючиваться в моей машине, ты мне порвешь все сиденье. Можешь заниматься этим на улице»,— кричит он вдруг ни с того ни с сего; сиденья такие прочные, что мои безобидные движения не могут причинить им абсолютно никакого вреда. Чтобы уверить его в серьезности моих занятий каратэ и окончательно развеять возникшее было подозрение, я начинаю проделывать ложные выпады и «боксировать» возле машины, когда мне надоедает ждать его перед зданием комбината «Рурколе-Верметехник» в Эссене. На противоположной стороне улицы в многоэтажном здании «Акционерного общества медиков» к окнам сбегаются секретарши, чтобы полюбоваться на сбесившегося «гориллу» перед роскошным лимузином, помахать ему ручкой и немного подзадорить. Али машет в ответ и тем самым устраивает по крайней мере пятнадцатиминутный перерыв в работе «акционерных медиков».

Возвращается Адлер, видит дикие прыжки Али и наплыв зрителей у окон и приходит в ярость: «Немедленно прекрати, идиот, а то еще пойдут разговоры. Занимайся этим в своем обезьяннике на Дизельштрассе или в своем турецком клубе». Али говорит: «Все ясный. Но вы сказал, могу на улица». Он распахивает перед шефом дверцу машины и снова с подобострастным видом усаживается за руль.

Иногда Али слышит, как шеф по радиотелефону аттестует «неудобных» и

«настырных» людей. Против ожидания, в его голосе нет ни злости, ни раздражения, в нем звучит скорее сытое благодушие. «Алло, моя прелесть, послушай,— воркует он,— я убрал тут одного навозного жука. Да, я как раз заезжал в «Рурколе». Этого Т. завтра уволят, здорово у меня вышло, а?»

Приглашая друзей-промышленников и политиков (в том числе одного депутата бундестага) провести уик-энд на его яхте в Голландии, он сообщает кому-то из деловых партнеров по телефону: «От того нахала я избавился. Задал ему сегодня перцу! Чего с ними церемониться! Он меня раздражал». А еще как-то раз, тоже по телефону, он философствует: «Приходится иногда дать по мозгам. Чтоб одно мокрое место осталось. Рассусоливать хуже всего!»

Он может позволить себе не церемониться с людьми. Безработица растет, загоняя в его сети все новых отчаявшихся, готовых на любую работу почти на любых условиях. Некоторых он вообще не знает, разве что по фамилии,— он лишь эксплуатирует объекты и извлекает прибыль. Вот еще один телефонный разговор: «Приходит ко мне клиент из «Рурколе», они там смонтировали новую установку, и говорит: «Слушайте, мы больше не можем взять в штат ни единого человека, абсолютно прекратили прием, но нам нужны электрики». Я им послал электриков в обход Кёльна, обвел вокруг пальца управление по труду, практически все на свой страх и риск, я их даже в лицо не видел, только деньги получал раз в месяц. (Смеется.) Надо уметь устраиваться. Хочешь жить, умей вертеться». И еще: «Приятнее всего иметь дело с китами Можешь мне поверить. Мы работали на всех электростанциях. «Тиссен», «Рурколе», «Рурхеми», «Дженерал электрик» в Голландии — это все фирмы с мировым именем. Туда никакие власти, как правило, не суются, никакой профнадзор. Там у нас развязаны руки. Там люди могут выколачивать рабочие часы, пока не свалятся с ног. Главное, провернуть заказ быстро и без шума. Чем меньше людей, тем лучше, так оно незаметнее. Я лично обхожусь половиной нужного персонала, и касса сходится».

Иногда он с завистью констатирует, что кое-какие конкуренты еще дадут ему очко вперед в смысле хладнокровия и ловкости. Он сообщает, как они «наживаются вдвое» на ядовитых отходах, от которых обязались «избавить» концерны. «Этот Ф. получил заказ от «Рурколе» убрать отходы. Он на этом деле загребает деньги лопатой. Да еще на самóм мусоре. Везет же дураку! Перемалывает это дерьмо в угольную крошку и перепродает на топливо. Проблема только в том, что эту крошку нельзя хранить в силосных ямах. Потому что образуются газы, пары, и все это хозяйство взрывается. Здесь, в Оберхаузене, такая же история выходит с терриконом. Город продал его на откуп одному голландцу. Голландец получает деньги за вывоз — с кубометра. Голландцу надо свезти терриkон до шоссе. И что же делает этот тип? Перемалывает эту дрянь и перепродает на теннисные корты. Сейчас спрос на покрытия для кортов. А в шлаке-то и кислота, и всевозможные яды. Если кто на таком корте растянется, раны будут жуткие. Это уметь надо: делает деньги из дерьма, да ему же за это втридорога и платят. Милый мой, милый мой, стоит такому типу сунуть палец в дерьмо, а уж золото само прилипнет!»

Хотя Адлер нажил себе состояние на мусоре, грязи, пыли или, как он изволит выражаться, на дерьме, сам он тщательнейшим образом соблюдает чистоту и опрятность. Он просто панически боится прикоснуться к грязи мира сего. Его рабочие рабы для него — каста нечистых, неприкасаемых, они вызывают у него омерзение, он желал бы держаться от них как можно дальше. А когда они снова и снова приходят к нему домой, требуя платы за свой труд, он всякий раз возмущается. Его выводит из себя не только угроза финансового «облегчения», но и близость пота, грязи и нищеты, хотя просители приходят к нему всегда чисто и аккуратно одетыми. Единственным исключением всегда бывал я (Али). В большинстве случаев я вполне сознательно заявлялся в его чистенький дачный пригород в своих пропитанных машинным маслом и мазутом рабочих шмотках — обдрипанный, изможденный трудяга — и, к его ужасу, становился прямо на коврик у входа.

Став шофером, Али — с точки зрения костюма — приспособился к хозяйскому мерседесу. Безупречная стрелка на брюках, свежая белая или серая рубашка, галстук, вместо тяжелых грязных башмаков — начищенные до блеска кожаные полуботинки. Но все равно Али для Адлера — недочеловек из пролетарских низов. Самый адрес Али — Дизельштрассе — вроде клейма. Адлер считает, что там живет последняя мразь, что живет она в последней грязи и работает тут же, рядом, в самой распоследней грязи.

Однажды я (Али), его шофер, опять жду его полчаса перед домом. Дело происходит рано утром, в 7.30. Али срочно понадобилось справить нужду. Он звонит и спрашивает Адлера, нельзя ли ему посетить хозяйский туалет.

Адлер. Тебе по-маленькому или побольшому?

Я (Али). Все.

Адлер (с отвращением). Ну оправься на улице.

Я (Али). Где можно на улица?

Адлер. Зайди за угол, куда-нибудь, ступай.

Я (Али). Какой угол?

Адлер. Все равно.

Он отсылает Али на улицу, как собаку. Да и во дворе у него негде приземлиться, двор просматривается насквозь, со всех сторон. Мне охота навалить кучу на капот его мерседеса, прямо на фирменную звезду. Через десять минут, ког-

да Адлер спускается вниз, я спрашиваю его: «Ваш туалет сломанный, да?»

Адлер. Нет, не сломан. Но мы таких вещей не любим. Да, не любим. У чужих людей... и так далее, и тому подобное, я вам скажу совершенно честно, мы опасаемся инфекции. Мы в принципе не делаем таких вещей у чужих. Кругом столько болезней. Можно заразиться и так далее, и тому подобное. Понимаешь? А ведь в этой области опасность инфекции довольно большая.

Я (Али). Когда к вам гости, они должны всегда выходить на улица?

Адлер (смущен, колеблется). У меня, что называется, гостей не бывает, но мои монтеры и так далее, и тому подобное в мой туалет не вхожи, и они это знают. Никто и не просится. Я с этим делом очень-очень осторожен.

Я (Али). И вы боитесь тоже зараза?

Адлер. Ты имеешь в виду СПИД? Каждый боится, а как же. Но я берегусь, я, например, никогда не захожу в чужие туалеты в незнакомом месте и все такое. Ни в какие чужие туалеты.

Я (Али). Гм.

Адлер. Ни в общественные, ни даже в гостях.

Адлер продолжает размышлять вслух: «Я почти никому не подаю руки. А если вынужден с кем-нибудь поздороваться, сразу потом мою руки».

Я (Али). Если все люди будет так делать, как вы, тогда ничего больше не случаться?

Адлер. Ясное дело, не стало бы никаких болезней. Но не все так делают. Есть настоящие свиньи в этом отношении. Как подумаешь, прямо с души воротит.

Хорошо бы устроить Адлеру экскурсию по уборным фирмы Реммерта. С осмотром места действия. Там всего две уборные для рабочих. Грязь чудовищная. Туалетную бумагу фирма не предоставляет, уборка почти никогда не производится. Один клозет без двери. Наплыв посетителей всегда довольно большой, так что присаживаются кто где может. Какой-то немец начертал на стенке фломастером: «Только для туземцев».

Иногда на шоссе между Оберхаузеном и Эссеном или по дороге в Везель, когда мимо мелькают пейзажи и никто не звонит ему наперебой по телефону, на Адлера находит философский стих. Он ловит свою любимую станцию «Радио Люксембург», ее он готов слушать с утра до вечера, балдея от шума и впадая в беспроблемно-безмятежное настроение. Если передают новости, он слегка убавляет звук. Хотя обычно он неразговорчив и не расположен к общению со своим турецким шофером, раз в пять-шесть дней преуспевающий делец Адлер вдруг испытывает неодолимое желание развить принципиальные идеи касательно положения нации и высказать их своему шоферу в нескольких связных фразах.

По радио как раз звучит замечательная песня «Доброе утро, Германия, я тебя люблю», когда Али спрашивает: «Господин Адлер, как давно вы стал себе хозяин и предприниматель?» — «Пять лет назад», — объясняет Адлер. До этого он служил главным агентом по снабжению на перспективном металлургическом комбинате «MAN». «Но за эти пять лет я кое-чему научился, узнал больше, чем за всю прежнюю жизнь. И насчет прохиндейства, и так далее».

Али. А деньги зарабатывать тоже больше, чем весь прежний жизнь? И что есть прохиндей?

Адлер. Что ж, деньги надо уметь зарабатывать. Но у нас в Германии развелось много тунеядцев, которые не желают работать, а только зарятся на чужой бумажник. Они способны на всякую подлость. Это мразь. А свои люди, собственные рабочие, — они давно уж не те, что прежде. Прежде немецкий рабочий был прилежен и добросовестен. Конечно, Гитлер был диктатор, но в этом отношении...

Али. Однако столько людей убивал...

Адлер. Да, и вел войны, которые были не так уж необходимы.

Али. Потому что проиграл?

Адлер. Потому что он слишком быстро преуспел и хотел вознестись еще больше. Прежде всего, насчет евреев, что он с ними сделал, тут двух мнений быть не может. Да ведь их нигде не уважают, евреев... Только мы нынче одно забыли: он каждому дал хлеб и работу. Как стал он у руля, так и безработица кончилась... Еще один-два миллиона безработных — и мы снова получим такого вот Гитлера. Можешь быть уверен. Вот тогда и начнется — политические беспорядки и все такое!

Али. Да, тогда будет наш очередь. Тогда мы будем как евреи.

Адлер (смеется). Пока не бойся, в газовую камеру мы вас так сразу не отправим. Вы нам нужны для работы. А насчет евреев, это укоренилось в веках. Видишь ли, евреи, они всегда торговали, то есть заставляли других работать на себя. А то, что производили другие люди, они по дешевке скупали и дорого продавали. Такая уж у них манера, у евреев. Евреи — лентяи от рождения, и работать не желают, и обогащались за счет других народов, и потому их нигде не уважают — ни в Германии, ни в Америке, ни в России, ни в Польше. А турки — другое дело. Ты же сам прекрасно знаешь, что вы умеете вкалывать. Так что можешь не беспокоиться. Если что, издадут законы, что все турки обязаны в течение года покинуть Германию, если, к примеру, безработных станет на миллион больше.

Али. Вы думал, будет больше?

Адлер. Да, все так считают, кто понимает в этом деле. Политики и большие люди в промышленности. Только

об этом нельзя говорить каждому встречному-поперечному. К примеру, все больше становится компьютеров и роботов. Если бы я мог вместо людей использовать машины — каждая машина обошлась бы мне в 100 000 марок,— то у меня было бы на трех человек меньше. Я бы на это пошел. С машиной никаких неприятностей.

Али. Мгм.

Адлер. Понимаешь? Это надежнее. Машина работает без накладок. Теперь везде такая тенденция, почитайка великие произведения, все автоматизировано. И это дело развивается, а работы, к примеру в металлургии или строительстве трубопровода, их выполняют другие страны, Нигерия, к примеру, или ГДР, им это обходится намного дешевле, чем нам, потому что у нас слишком уж высокая оплата труда. Мы же больше не конкурентоспособны. Вот они всегда говорят, что мы должны устранить безработицу, это каждому ясно, только с этим никто не справится, при нашей экономической системе это невозможно, наоборот. Народу все прибывает, молодежь кончает школу, хочет получить работу, а работы нет. Ранняя отправка на пенсию и так далее — все это заплаты на старых башмаках, можешь не сомневаться. Это как в Древнем Египте. Они раньше считали, что бывают семь лет тучных, а потом семь лет тощих. У нас так: было сорок лет тучных, а надо перестраиваться на тощие, пока не произойдет, возможно, новый военный конфликт или что-нибудь в этом роде, чтобы снова потребовалось строить.

Али. Вы думает, снова будет война?

Адлер. Да, если прибавится еще больше безработных, в Германии, по крайней мере, начнется гражданская война. Еще миллион безработных — и все они выйдут на улицы, пойдут на баррикады. Получится хаос, и прости-прощай наше правовое государство.

Его прерывает сообщение по радио: «В случае, если брак с немецким гражданином расторгается, разрешение на пребывание в стране иностранца должно быть ограничено в сроке или отменено».

Адлер. Ну вот, пожалуйста.

Радио: «...отказал в иске турку, проживающему в ФРГ в течение пяти лет. Его жена, гражданка ФРГ, возбудила дело о разводе и уже добилась права опеки над общим ребенком. После чего город Кассель сократил срок пребывания в стране ее мужа до конца августа текущего года...»

Адлер. Видишь, уже теперь слышишь об этом со всех сторон!

Али. Но что вы про это думать? Теперь она замуж, у жена другой муж, а турок выгнал, прочь, уходи вон. Не имеет прав больше видеть свой ребенок!

Адлер (невозмутимо). Пусть уезжает, с ним все ясно. Ты же слышал, это была так и так ошибка немецкой политики. Когда у нас было экономическое чудо, мы слишком широко открыли шлюзы, и все турки, которые хотели приехать, могли приезжать, и все итальянцы, которые хотели приехать, могли приезжать... Это была большая ошибка немецкой политики, нельзя было этого делать.

Али. Но мы не сами ехал, нас привезли, и тогда не был никакой компьютер, люди нужен.

Адлер. Да, это был обоюдоострый меч. Сейчас в этом раскаиваются. Но тут все взаимосвязано: турки приехали, и самая грубая работа была выполнена иностранцами, а немец перестал работать, он себя жалел. И сейчас еще жалеет. Немец больше не хочет работать и создает еще больше трудностей.

Основная ошибка была в том, что впустили так много иностранцев. Но я уверен, если бы убрать всех турок — у нас теперь 2,3 миллиона безработных,— то безработных стало бы не намного меньше. Это не от турок зависит.

Допустим, все турки уедут, тогда безработных станет не намного меньше, не намного, тогда их станет 2,2 миллиона, но это ничего не дает. Нашу беседу прерывает другое сообщение по радио: «...он обвиняется в пособничестве фирмам «Феба», «Клёкнер», «Крупп», «Маннесман» и еще одиннадцати... Принимая эти вклады, он оказывал им содействие тем, что...»

Али. Этот... ну, министр экономики, пойдет в тюрьма?

Адлер. Нет, абсолютно исключено, тогда пришлось бы посадить половину правительства. Этот номер не пройдет.

Али. Получают миллиард прибыль и хотят все больше, больше.

Адлер. Ясное дело, ты вот тоже хочешь всегда получать от меня деньги.

Такова уж человеческая природа, скажешь, нет?

Срочный заказ, или «Будет сделано»

Инсценировка действительности

> Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.
>
> *К. Маркс. Капитал, книга I, глава «Так называемое первоначальное накопление», примеч. 250.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 770.*
> *Маркс цитирует здесь одного английского профсоюзного деятеля по имени Томас Дж. Даннинг (T. J. Dunning. Trades' Unions and strikes. London, 1860, p. 35, 36).*

Бывают же такие совпадения: у Адлера есть свои люди на атомной электростанции «Вюргассен». Их немного — так удобнее. Нужно, чтобы они были рассредоточены и не бросались в глаза. Тут — человек тридцать, там — десять, где-то — один. Если против ожидания дело сорвется, скажем, в Гамбурге, то обязательно выгорит в Рурской области у Тиссена, Стига или же на заводах «MAN». Или в Южной Германии на угольных разработках. Как это он любил говорить? «На наш век дерьма хватит». И еще: «Законы для того, чтобы их обходить». Торговля людьми, которую ведет Адлер с атомной электростанцией,— примерно того же пугающего свойства, что и деловые отношения мистера Хайда с доктором Мабузе. Преступная энергия таких, как Адлер, используется в случаях «острой технической необходимости» в атомной энергетике. Предмет торговли: турки на сжигание.

Я хочу проиграть экстремальную ситуацию и набрасываю сценарий. Друзья и коллеги готовы принять участие: кёльнский актер Генрих Пахль исполнит роль Шмидта — ответственного за технику безопасности на атомной электростанции, а мой коллега Уве Херцог — роль его помощника, эксперта Ханзена.

Допустим, на атомной электростанции «Вюргассен» произошла техническая авария, из-за которой станция перестала давать ток. Грозят миллионные убытки. Нужны рабочие-турки, чтобы проникнуть в отсек, полностью загрязненный радиацией, и устранить повреждение. Более чем вероятно, что при этом они подвергнутся облучению в таких дозах, что последствия окажутся самыми тяжелыми, всего вероятнее — рак.

Условие: турки не должны ничего знать об опасности задания, и после его выполнения их следует как можно скорей отправить на родину. «Шмидт» полагает, что Адлер вполне надежный партнер в такого рода сделках. Первый контакт — по радиотелефону. Я (Али) как раз везу Адлера из фирмы «Рурколе-Верметехник» (Эссен) домой в Оберхаузен, когда в машине раздается звонок.

Пахль/Шмидт. Добрый день. Моя фамилия Шмидт, из отдела техники безопасности атомной электростанции «Вюргассен». Господин Адлер, такое дело. Я вам прямо скажу, о чем речь. У нас прокол, авария, самим не справиться. Я думаю, нам пригодился бы партнер вроде вас. Нужен персонал для несколько более интенсивного и довольно кратковременного использования. Поскольку дело очень спешное, поставим вопрос таким образом: не могли бы мы встретиться? Я нахожусь сейчас недалеко, в Рурской области. Скажем, через час? На автостоянке «Лихтендорф», между поворотами на Вестхофен и Унну. Скажем, в полвторого. Подходит?

Адлер вытаскивает из бокового кармана на дверце специальную карту Рурской области и внимательно ее изучает. Потом обращается ко мне (Али): «Прибавь скорость. Быстро доставишь меня к Реммерту в Оберхаузен, а потом в другое место. В половине второго мне нужно быть на стоянке «Лихтендорф». Там меня ждет один клиент. Новый заказ».

На обратном пути от Реммерта он то и дело понукает меня (Али), требует гнать изо всех сил — очень уж ему не терпится. «Прибавь газу, я не могу позволить себе опаздывать». Какая-то женщина, сидящая за рулем машины, не успевает после обгона быстро поменять ряд. Он прямо выходит из себя: «Дура набитая, сволочь, прижми ее, чтоб уступила, мы же опаздываем». Спешит так, что вдруг против обыкновения переходит на «мы».

Мы прибываем на стоянку с пятиминутным опозданием. Он подхватывает свой «кейс» и быстрым шагом устремляется навстречу новому заказу, не забыв, однако, дать мне очередное задание: «Возьмешь из «бардачка» щетку и тряпку и быстро наведешь в машине порядок. Чтоб к моему возвращению ни пылинки».— «Все ясный»,— отвечаю я кратко и со значением. Этот ответ, как я заметил, нравится ему больше всего.

Я с облегчением удостоверяюсь, что машина моих друзей уже на месте. Пока я навожу идеальный порядок в машине, Адлер сидит в кафе на стоянке и выуживает новый заказ.

Разговор двух «спецуполномоченных» атомной электростанции с Адлером состоялся в среду 7 августа [1] в 13.30.

---

[1] 1985 года.

Пахль/Шмидт. Мы в страшном цейтноте. Короче, это дело надо провернуть до пятницы.

Адлер. Я, стало быть, субподрядчик. Мы, что называется, на все руки. Наши клиенты — это, например, тяжелая промышленность, «Рурколе», «Стиг» и так далее, и тому подобное. Мы уже не раз работали на вас (на АЭС «Вюргассен» — **Г. В.**).

Пахль/Шмидт. Мы прокрутили два варианта. В данном случае нужно человек восемь надежного персонала — из тех, что до сих пор еще ни разу не работали по этой части...

Адлер. Ясно.

Пахль/Шмидт. Их придется послать в отсек. Это во-первых. Может, они справятся быстро. Но не исключено, что дело затянется.

В этом вступлении — довольно прозрачный намек на «горячий» заказ, и Адлер мгновенно улавливает суть. Он тут же твердо обещает «прислать завтра восемь или десять надежных людей», а потом задает вопрос, выдающий особую осведомленность: «А как с пропусками в зону радиации — все будет улажено?» Пахль/Шмидт подготовлен к вопросу и сразу же требует первого нарушения: «Разумеется, без пропусков» — время дорого, повреждение должно быть исправлено самое позднее в пятницу к 18.00. Но Адлера это не смущает: «Так, значит, без пропусков?.. Вам нужно восемь человек завтра, без пропусков. Все ясно! Я делаю на этом свой бизнес. Вы — свой. Совершенно сверхсекретно и так далее, и тому подобное».

Таким образом Пахль/Шмидт получает возможность выставить дальнейшие требования. Он сразу же дает понять, что люди «должны быть не из местных», что ему нужен «иностранный персонал», который можно будет «немедленно отправить обратно». И Пахль/Шмидт называет главную причину, почему необходимо быстрое исчезновение рабочих: «Конечно, всякое может случиться...» И поясняет: «Ведь здесь срабатывают разные факторы... В случае рака латентный период растягивается иногда лет на двадцать».

Адлер (с облегчением). Вот именно.

Пахль/Шмидт (успокаивает). Так что никаких прямых доказательств.

Но тут Херцог/Ханзен раскладывает чертежи, не оставляющие у Адлера никаких сомнений относительно команды смертников.

Херцог/Ханзен. Взгляните. Вот они, трубы. Диаметр 67 см. Люди должны залезть внутрь...

Адлер. Здесь... радиация?

Херцог/Ханзен. Да, это установка, где выравнивается давление. Между ней и машинным залом проходят трубы, по которым радиоактивный пар движется к турбине. А в середине такой трубы застрял наш «ерш».

Адлер. Гм, гм.

Херцог/Ханзен. Может, вам знакомо это устройство? Маленькое такое лазерное устройство. Ощупывает трубы изнутри, чтобы обнаружить места повреждения. Вот этот-то «ерш» и застрял, никак не можем вытащить. Незадача. Придется запустить туда людей, дело нетрудное, физическая нагрузка небольшая, но люди должны быть вполне здоровы.

Адлер. Они здоровы. Да-да, как же.

Херцог/Ханзен. Им надо залезть внутрь. Только вот что. По техническим причинам мы пока не можем точно сказать, какой там уровень радиации. Может, он чертовски высок.

Адлер. Послушайте, дать им с собой счетчики или еще что?

Херцог/Ханзен. Дозиметры будут. Это не проблема. Выдадим спецодежду и все такое. Вопрос в том, какая там радиоактивность. Собственно, мы можем установить это только после того, как они вылезут.

Адлер (рекламирует свой живой товар). Значит, так: все люди у меня в разгоне, например у Тиссена. Завтра сниму оттуда восемь человек, выберу, которые получше... Завтра утром прибудем. Это, стало быть, иностранцы. Есть там один немец, а в принципе только иностранцы. Они не разберутся. А потом молчок, и через неделю я их сплавлю.

Похоже, у вас бывают разные возможности, я заинтересован в долгосрочном контракте, людей хватит. Для меня это был бы оптимальный вариант. Очистные работы и прочее. Я говорю на будущее...

Пахль/Шмидт. Предлагаю так: сначала раскрутим это дело. Думаю, если мы друг друга устроим и все будут довольны, мы охотно свяжемся с вами еще раз. Если, скажем, поступит определенный сигнал об аварии...

Адлер. Да?

Пахль/Шмидт. Найдется у вас тогда персонал?

Адлер. Конечно. Ассортимент у меня широкий. Могу немедленно прислать смену.

Пахль/Шмидт. Затем этот персонал в обозримое время по некоторым причинам придется отправить на родину.

Херцог/Ханзен. Мы должны быть готовы ко всему. Риск большой. Возможно, нам удастся, так сказать, несколько стимулировать их возвращение в Турцию.

Адлер. Что ж, если им предложить разумную сумму...

Пахль/Шмидт (имея полную возможность проявить щедрость). Дайте прикинуть. Устроит вас, скажем, 120—150 тысяч марок?

Адлер. Ну, теперь я в курсе ваших проблем. Я предприниматель, значит, участвую во всем. Я не прочь заработать, и люди не прочь заработать. Так. Значит, я подыскиваю людей. Ваши проблемы мне ясны. Так. Кого мы имеем в распоряжении? Кто занесен в консульстве в список нежелательных? Ну, это мне известно. У кого трудности с отделом по иностран-

цам? Тоже известно. Так. Значит, их и возьмем.

Для Адлера «дело» ясно. Он еще раз осведомляется об именах обоих «спецуполномоченных»: «Господин Шмидт и господин...» — «Ханзен»,— еще раз представляется Херцог/Ханзен,— и Адлер делает вид, что припоминает: «Как же, слыхал вашу фамилию, да, да, из Вюргассена...» Перспектива крупной выручки укрепляет его доверие. И он еще раз заверяет обоих «партнеров» в своей собственной благонадежности, чтобы затем сразу перейти к главному — вопросу о деньгах.

Адлер. Значит, так. Я своих людей держу в узде. Когда мы прибываем к заказчику, они должны работать. Закрыть на все глаза и работать. Не глазеть направо, не глазеть налево. Кто болтает, вылетает немедленно.

В других местах тоже всякое случается, у Тиссена нам тоже приходилось делать разные дела, и все осталось шито-крыто.

Значит, так. Завтра у нас 8.8.85. Давайте уточним для порядка: сколько вы предполагаете заплатить?

Пахль/Шмидт. Наша смета предусматривает 120—150 тысяч марок. Риск вы берете на себя. Значит, если потом что-нибудь обнаружится, ваше дело подстраховаться, чтоб к тому времени их и след простыл.

Адлер. Теперь еще один вопрос. Я хочу знать наверняка. Когда они оттуда выйдут, они, значит, уже будут заражены... так, что ли?

Пахль/Шмидт. Думаю, мы друг друга поняли. За то мы и платим. В том-то и затруднение, что в обычных обстоятельствах пришлось бы потом поставить людей на учет, обеспечить медицинскую помощь. Как раз этого мы вообще не можем себе позволить, нам ни к чему запросы, вопросы. Кто-нибудь задержится в Германии, начнет болтать, пойдут разговоры. Стало быть, мы должны предотвратить это любой ценой.

Херцог/Ханзен. Их надо убрать! Немедленно!

Адлер. Все ясно... Честно говоря, есть у меня на примете приятели, наберу смену из них. Пошлете их в опасную зону? Да нет, это не проблема.

Итак, все понятно. Послать «приятелей» в «опасную зону» для Адлера «не проблема». Остается обсудить детали.

С транспортом улажено. Пахль/Шмидт даст микроавтобус, который на следующий день доставит рабочих из Вюргассена в Дуйсбург. Адлер сообщает, что его постоянные кадры в настоящее время живут в Вюргассене в гостинице «У поворота» и что он готов сам приехать туда, чтобы сразу, на месте, произвести расчет.

Из закусочной они выходят вместе. По довольной физиономии Адлера я (Али) вижу, что сделка по продаже человеческих жизней заключена. Я распахиваю перед ним дверцу машины, как он этого требует, а он молча регулирует высоту и угол наклона мягкого сиденья, чтобы принять самую удобную и расслабленную позу. «В Оберхаузен»,— бросает он мне и погружается в молчание. В какой-то момент я даже ловлю себя на мысли, что, возможно, был несправедлив к нему. Что он все же ужаснется, отклонит сделку, откажется выполнить этот преступный заказ. Есть же у него совесть. Нельзя же быть настолько бесчеловечным. Он не станет рисковать жизнями людей. Да, его люди, работающие у Тиссена, тоже — пусть медленнее — сжигают легкие в густой пыли тяжелых металлов, подобной бомбе замедленного действия, неизбежно вызывающей рак. Но там можно хотя бы отогнать от себя эти мысли. Здесь же ситуация однозначна. Пыль у Тиссена видна каждому, даже если многие не знают, чем она грозит. Но о том, что радиация на атомной электростанции несет с собой болезнь и гибель, никто из смертников не подозревает.

Может быть, Адлер сейчас испытывает угрызения совести, думаю я. Я почти надеюсь, что он отклонит предложение. Однако, как я вскоре замечаю, его мысли движутся в другом направлении. В своем маленьком блокноте он пишет цифры, кажется, что-то подсчитывает. Неожиданно он прерывает молчание: «Ты можешь в срочном порядке, до завтра, найти мне семь-восемь твоих земляков, которые желают немного подзаработать? Работа хорошая, но надо выложиться на все сто».

Я делаю вид, что задумался. Адлер: «Если ты так быстро не справишься, я попрошу К., у него всегда под рукой есть люди». К.— турок, которого он использует в качестве своего доверенного агента. Когда у Адлера не хватает людей, их раздобывает К.

«Я тоже могу,— бросаю я (Али).— А что они должен уметь?»

«Ничего особенного они не должны уметь,— говорит Адлер.— Должны только быть беднее бедного. Я придаю этому большое значение. Скажи им, что я тоже в свое время был беден...»

Я смотрю на него с изумлением: «Вы был бедный? Когда вы был бедный?»

«Да-да, после войны мы же все были бедны. Найди мне таких, которые боятся, что их вышлют». Он замечает мое недоумение и быстро подсовывает объяснение: «Я хочу им помочь, поскольку им здесь плохо, понимаешь? У меня ведь всегда были прогрессивные взгляды, собственно, я с молодости социал-демократ».

«Это как?» — спрашиваю я.

«Это такая партия, она за рабочих,— поучает он меня.— И я в ней состою».

«Какой работа? — интересуюсь я.— Сколько деньги платить?»

«Деньги хорошие,— говорит он.— 500 марок за два дня. А работа... легкая, по очистке. Там и грязи-то нет никакой, даже рук не замарают».

«Где?» — любопытствую я (Али).

Он увиливает от точного ответа, продолжает лгать: «Километров сто отсю-

да». (На самом деле Вюргассен расположен примерно в 300 км от нас.— **Г. В.**).

«Или найди таких, которым надо скрываться, потому что у них нет вида на жительство,— продолжает он.— Тогда они сразу, как выполнят заказ, смогут вернуться в Турцию. Найдешь мне людей — получишь тоже 500 марок».

«А можно брать людей из ночлежный дом?»

«Только никаких дел с властями! — отрезает он.— Имей в виду: деньги левые».

«Что есть левые?» — спрашиваю я.

«Левые, без налогов. Получаешь наличными. Никаких расписок и тому подобного. Так сказать, из-под прилавка, ведь так им выгоднее. Они получат деньги на проезд до Турции, а там вложат их в дело. Пусть возьмут с собой что-нибудь для ночевки. Нижнее белье и прочее. Все остальное получат на месте. А где ты их найдешь?»

«Есть разный люди, живут подвал, спрятанный».

«Вот и хорошо,— говорит он.— Если они прячутся по подвалам, значит, у них нет никаких контактов. Сколько же их?»

«Ну, можно пять...»

«Ладно,— говорит он.— Ты поищи получше, может, наскребешь человек восемь. Звони мне в любое время. Даже в теннисный клуб. В мою контору их не приводи, а собери у себя на квартире, на Дизельштрассе, я за ними заеду. И запомни, важно только одно: чтобы потом они исчезли! Пусть они мне предъявят письменные доказательства, что им запрещено пребывание в стране. Ведь им запрещено, правда? Их разыскивает полиция для иностранцев?»

«Да,— говорю я.— Один так, другой так».

«Значит, тебе ясно, что все должны убраться отсюда! Не дай бог, через месяц узнаю, что они еще ошиваются здесь. Это непременное условие».

Я еще раз спрашиваю, о какой работе идет речь. Но он говорит только: «Тебе не понять, им объяснят на месте. Это вообще не проблема. Главное, нужно этим людям помочь, они здесь достаточно настрадались...»

Он говорит, как пастор, в его голосе неожиданно звучат елейные ноты. Но тут же он берет прежний тон: «Имей в виду, я должен быть в них уверен».

«Все ясный»,— говорю я (Али).

Я должен позвонить ему вечером, чтобы доложить обстановку. Вечер, время 21.00. Я дозваниваюсь ему в ресторан теннисного клуба. К этому времени он уже получил от своего заказчика Шмидта информацию о том, что шести человек достаточно. (У меня было мало времени, и большего количества участников я не сумел привлечь).

Похоже, Адлеру неудобно говорить из клуба. Там сидят его партнеры по сделкам, они знают его как облупленного, так что при них он никак не может сказать, что благодетельсгвует туркам. Или что его партия, представляющая в Рурской области интересы предпринимателей, является «партией за рабочих». В теннисном клубе такое заявление было бы встречено громовым хохотом.

«Как я сказать, чтоб мой друзья поверил?» — задаю я (Али) вопрос, приводящий его в смущение. «Я сейчас не могу разговаривать,— увиливает он.— Позвони мне через час домой».

Дома его голос в телефонной трубке снова отдает пасторалью. А я (Али) снова упорно допытываюсь: «Как я объяснять, почему вы такой добрый для люди?» Он еще сильнее жмет на свою благотворительность. Он говорит уже не о «беднейших из бедных», а о «беднейших из беднейших», которым он «накинет от себя еще несколько марок». Я «заглатываю крючок» и все настойчивее пытаюсь описать ему нищету некоторых турецких рабочих. Он едва скрывает свое глубокое безразличие. Только для того, чтобы удержать меня на крючке, он с трудом выдавливает из себя: «Об этом мы побеседуем позже». Он даже готов принять мое предложение похлопотать о разрешении на работу и жилье для «беднейших из беднейших», прекрасно зная, что обещал «спецуполномоченным» убрать иностранных рабочих так быстро, как только возможно.

Утро следующего дня. 9.30. Уполномоченный АЭС Шмидт справляется у Адлера по телефону, все ли идет по плану.

А д л е р. В настоящий момент я собрал эту команду, они ждут. Теперь скажите, только совершенно честно, с кем я имею дело? Вы не господин Шмидт с атомной электростанции «Вюргассен». Это мне известно. Господин Шмидт, откройте карты. Кто вы такой? Чтобы я знал, с кем имею дело. И тогда мы ударим по рукам.

Мы предвидели, что Адлер наведет справку в Вюргассене и выяснит, что на самом деле господин Шмидт не покидал предприятия. Пахль/Шмидт в этом случае должен заявить Адлеру: «Не пытайтесь застать меня в моем кабинете. Дело настолько секретное, что я буду, к сожалению, вынужден сделать вид, что незнаком с вами, и сказать: «Я вас не знаю, мы никогда не встречались, и никакого заказа не существует». Мы весьма чувствительны к вопросам безопасности учреждения, а враги подслушивают везде, даже в собственном доме». По всей видимости, Адлер звонил по телефону не сам, а через третье лицо. Но и этот вариант мы предусмотрели.

П а х л ь / Ш м и д т. Не волнуйтесь. Это дело нужно провести в высшей степени деликатно. Тому Шмидту, о котором говорите вы, оно не по плечу. Это решение администрации.

А д л е р. Понял.

П а х л ь / Ш м и д т. Тут требуется известный такт. При этом доверие является непременным условием.

А д л е р. Верно, я тоже так считаю.

Пахль/Шмидт. Если нет доверия, стоит еще раз все обдумать. Мы в такой ситуации, что для нас...

Адлер. Да, но...

Пахль/Шмидт (возвысив голос, с пафосом). Именно потому, что мы отвечаем за энергетическое снабжение Германии и для нас нет иной возможности...

Адлер. Да, но...

Пахль/Шмидт. Ведь я вчера вечером предупредил вас на случай, если вы позвоните, что и там, у нас, в это дело посвящен очень узкий круг лиц, отвечающих за безопасность. Вы понимаете?

Адлер (перебивает). Конечно!

Адлера мучают сомнения. Однако интонации Пахля/Шмидта, все более и более властные, рассеивают их.

Адлер. Господин Шмидт, от кого исходит заказ? Есть письменное указание?

Пахль/Шмидт. Никаких письменных указаний. Вы понимаете?

Адлер. Да...

Пахль/Шмидт. Послушайте. Во-первых, теперь нам нужно уже не восемь, а только шесть человек персонала. Сумма оплаты снижается таким образом со 130 только до 95 тысяч. Поэтому я предлагаю...

Адлер. Мгм...

Пахль/Шмидт. ...не будем мелочиться, сойдемся на 110 тысячах...

Адлер. Мгм...

Пахль/Шмидт. ...но сюда войдут подъемные или, если угодно, премиальные на обратную дорогу.

Адлер. Ясно.

Пахль/Шмидт. Мы примерно подсчитали, на человека приходится по 500 марок. Мы должны исходить из того, что они справятся и что вы выплатите людям деньги, господин Адлер!

Адлер. Ну, разумеется.

Пахль/Шмидт. Кроме того, мы должны иметь гарантию, что это действительно крепкие, выносливые люди.

Адлер. Да, они как раз такие.

Пахль/Шмидт. Нам не нужны слабаки, которых свалит с ног первая доза в несколько миллирентген.

Адлер. Нет, нет, они народ выносливый, так быстро не загнутся.

Пахль/Шмидт. А если вам нужен какой-нибудь бригадир смены, то он тоже должен быть иностранцем.

Адлер (перебивает). Ясно. Но, господин Шмидт, спрашиваю еще раз. Значит, это по заказу атомной электростанции Вюргассен?

Пахль/Шмидт. Да.

Адлер. Это точно? Верняк?

Пахль/Шмидт. Верняк. Вы совершенно правильно поняли. Какие у вас сомнения? Послушайте, вы просили меня выложить карты на стол. Я сказал вам достаточно много.

Адлер. Да, конечно.

Пахль/Шмидт. Мне, например, неизвестно, насколько вы умеете держать язык за зубами. И со своей стороны я хотел бы спросить вас, откуда у вас сомнения. Если вы скажете, откуда они, мы сможем об этом побеседовать. Но тогда вам придется...

Адлер (перебивает). Да, я понимаю, что дело требует чрезвычайной секретности и так далее, и тому подобное, чего ж тут не понять. Только если ко мне кто-то приходит и говорит: я, дескать... и представляется: моя фамилия Шмидт, я со станции Вюргассен, а я знаю, что это не так... тогда у меня, знаете ли, возникают, как говорится, сомнения. Во что я ввязываюсь? Это в самом деле АЭС... или что? Видите ли, я не хотел бы идти на какое-то грубое нарушение или уголовщину, нет. (Адлер покашливает.) Ведь я, господин Шмидт, позвольте так выразиться, ничего не знаю, а хотелось бы знать, действительно ли мой партнер — управление по энергетике?

Пахль/Шмидт. На первый раз я пропускаю мимо ушей «грубое нарушение»...

Адлер. Да...

Пахль/Шмидт. ...а тем более «уголовщину» Если с вашей стороны есть возражения, вы должны были мне непременно сказать об этом.

Адлер. Не-ет, с моей стороны...

Пахль/Шмидт (перебивает). Какие-нибудь привходящие обстоятельства?

Адлер. С моей стороны абсолютно ничего Я поставлю вам людей.

Назначается встреча. Адлер предлагает встретиться на автобусной остановке перед главным вокзалом.

Пахль/Шмидт. В 14.00. Там и обговорим финансовую часть и форму оплаты. О'кей? Договорились, господин Адлер?

Адлер (удовлетворенно). Да, конечно.

Итак, подозрения устранены. Жадность, страсть к наживе заставляют его забыть об осторожности.

Четверг, 8 августа, 12.00. Адлер садится в свой мерседес 280 SE и приказывает моему сменщику, шоферу-турку, доставить его в Дуйсбург-Брукхаузен, чтобы принять от меня под свое начало команду смертников.

Он ставит машину не на самой Дизельштрассе, а за углом, на Кайзер-Вильгельмштрассе, напротив коксового завода Тиссена. Его роскошный экипаж в этом квартале нищеты привлекает внимание. Из-за занавесок испуганно выглядывают турчанки, они боятся, что в очередной раз грядет снос домов или принудительное выселение: тогда их жилища по требованию санэпидемстанции будут замурованы. Турецкие дети, держась на почтительном расстоянии, восхищенно разглядывают адлеровский мерседес. Адлер чувствует себя не в своей тарелке. Он курит одну сигарету за другой и постоянно оглядывается. Из труб тиссеновского завода то и дело вырываются клубы сажи, и легкий ветер относит эту гадость прямо в ущелье жилого квартала. Эту гадость не только обоняешь, ее ощущаешь на вкус, сажа

скрипит на зубах, глаза начинают слезиться.

От различных соединений серы — в зависимости от погоды и времени дня — у человека перехватывает горло. В этом квартале очень высок процент астматиков и легочных больных. Поражает бледность детей. Мне бросается в глаза маленький худой мальчуган лет пяти-шести: серьезное, усталое, изможденное, как у взрослого, лицо.

Хотя в центре Дуйсбурга светило солнце, здесь серо и сумрачно; солнечный свет только угадывается за заводскими тучами — сюда он не проникает. Все это время я наблюдаю за Адлером с другой стороны улицы и чувствую, насколько ему неуютно. Дизельштрассе и все это окружение для него — помойка, преддверие ада. Собственно, ад находится за заборами и каменными стенами, которые стережет заводская охрана Тиссена. Там воздух еще грязнее, а кроме того, стоит невыносимый шум. К нам, на территорию предприятия, Адлер не заходил ни разу, это слишком обременило бы его нежную душу — не дай бог, начнут преследовать кошмары.

В своем сшитом на заказ костюме Адлер кажется здесь совершенным чужаком, нереальным и почти непристойным, как чистенькие дяди на предвыборных плакатах, которые подолгу висят в этом квартале, поскольку здесь не окупается реклама товаров потребления, за исключением пива и сигарет.

Наш «редеющий полк» состоит из шести турецких друзей, которых я посвятил в дело. К моему удивлению, смысл и цель заказа и невозмутимое бесстыдство Адлера поразили их меньше, чем меня. Они уже давно свыклись с этой реальностью и кое-что испытали. Им я тоже не говорю, что я немец, чтобы не создавать между нами слишком большую дистанцию. Тем более что Адлер мог бы почувствовать ее и насторожиться.

По параллельной улице, незаметно для Адлера, я контрабандой препровождаю всю «группу» в свою квартиру на Дизельштрассе. Потом привожу Адлера. Он предпочел бы, чтобы «люди», как он их называет, подошли к нему на улице, но я говорю: «Нехорошо, слишком опасный, некоторый не имеет документ». Тем самым я готовлю развязку задуманной нами истории, но об этом речь дальше.

«Ну, если это непременно нужно...» — говорит Адлер и направляется к дому 10 по Дизельштрассе. В подъезде сильно пахнет мочой: засорилась канализация. Адлер торопливо поднимается вслед за мной. На площадке второго этажа я открываю дверь и представляю ему своих турецких друзей.

Он коротко здоровается, окидывает их взглядом и пересчитывает: «Два, четыре, шесть. Все ясно. Так, подходит. Ну-с, все ли понимают по-немецки?»

«Да, многий понимать»,— вру я. (Тем самым я вынуждаю его обратиться к ним с небольшой речью...)

«Мы — монтажное предприятие в Оберхаузене,— представляется Адлер.— Мы получили задание провести ремонт на атомной электростанции «Вюргассен». Работы там на два дня, и нам нужно пять-шесть человек. Нам хорошо заплатят, и вам тоже должны хорошо заплатить. Итак, если есть вопросы, спрашивайте, не бойтесь. Я немедленно отвечу на все».

Он производит впечатление открытого и симпатичного человека, и тому, кто еще никогда не имел с ним дела, может показаться даже обаятельным. Чтобы он почувствовал себя еще уверенней, я условился с турецкими друзьями, что они будут говорить по-турецки. Я (Али) — почти не зная турецкого — перевожу «свободно», то есть задаю те вопросы, которые важны мне в данный момент. Он до сих пор не заметил, что я (Али) никогда не обращаюсь к своим товарищам по-турецки и что мой немецкий совсем не тот язык, каким пользуются взрослые иностранцы. Не заметил, например, что я оперирую отнюдь не ординарной лексикой, только искажаю окончания, говорю вместо «жульничество» — «жульство» и «встречанье» вместо «встреча». Мои хитроумные обороты позволяют иногда извлечь из него и более определенные высказывания. Он ничего не замечает, поскольку «его иностранцы» для него всего-навсего рабочий скот. Пока они терпеливо ишачат, Адлер — последний, кто станет возражать против их присутствия в стране. Более того, он — один из немногих, кто действительно знает им цену. Только когда они имеют наглость роптать и требовать давно причитающуюся им плату, в ход идет брань: «пьянь», «сволочь», «подонки», «бездельники».

«Турецкий друг хотел спрашивать,— говорю я,— как мы туда ехать?»

Адлер рекламирует поездку как бесплатный пикник, на который они отправятся в автобусе с буфетом и где их будут поить кофе и кормить пирожными. «Все даром,— говорит он.— В три часа с Дуйсбургского главного вокзала вас заберет автобус, а через два дня на другом автобусе вернетесь домой. Ночевка даром, кормежка даром, все даром». (Мне снова приходит на память его любимый дурацкий шлягер с припевом:

Сто человек собрались веселиться.
Я — вне закона, вольная птица.)

«Один друг не понимать,— подбираюсь я к Адлеру.— Почему 500 марок? Деньги — много, работа — мало».

И тут он раскалывается: «Ты послушай. Дело вот в чем. Германия большая. Электростанций много. Есть и одна такая атомная, где мы теперь работаем. Она сейчас не дает тока, там капитальный ремонт. И вот установили, что кое-что из оборудования требует срочной починки. Значит, это нужно сделать быстро-быстро, чтобы на следующей неделе пошел ток. А к тому же нельзя, чтобы узнали газеты, а то встрянут ЗЕЛЕНЫЕ и так далее, и тому подобное. И тогда им придется закрывать станцию, так-то вот». И дальше с нескрываемым отвращением в голосе: «Это такие поли-

тические группировки в Германии... Работы должны быть выполнены срочно, чтобы на следующей неделе электростанция снова дала ток. За это они и платят хорошие деньги, и вы тоже получите за это хорошие деньги».

«Господин Адлер,— пробую я (Али) залезть к нему в душу,— один говорил, немцы всегда обманывать».

Адлер на провокацию не поддается. Чтобы выиграть время, он сначала прикидывается дурачком: «Что?»

«Один говорил, немцы всегда обманывать».

«Разве я вас обманывал?» — парирует он.

Жаль, сейчас неподходящий момент, чтобы перечислять все его мошенничества: он задолжал мне 2000 марок, несколько раз не выплатил жалованье моему товарищу по работе, он прикарманивает часть налогов и общественных взносов «и так далее, и тому подобное».

«Они хотел, чтобы вы сами сказал, как вы платить для турки»,— выкручиваюсь я из щекотливого положения. И попадаю точно в цель, такая постановка вопроса вполне в его вкусе. Адлер картинно усаживается, его новый шофер подносит ему зажигалку — наконец-то он чувствует себя благодетелем униженных и оскорбленных. «Работодатель» Адлер начинает распространяться о том, как он стал тем, чем он стал, и как много людей обязаны ему здоровьем и средствами к существованию.

«С тех пор как я выбился в люди, я работаю с турецкими сотрудниками. И до сих пор турецкие сотрудники никогда еще на меня не обижались и так далее, и тому подобное. Я всегда легко находил с ними общий язык, в отличие от немецких сотрудников, я собираюсь и дальше продолжать это сотрудничество и давать им работу».

Он заставляет их вкалывать на себя до полного изнеможения, оставляет подыхать и называет это «сотрудничеством». К тому же слово «сотрудник» звучит так солидно, оно подразумевает «социальное партнерство», оно должно проливать бальзам на души тех, из кого выжимают все соки, подвергая оскорблениям и издевательствам.

«Тут есть один, кто высланный из Турция»,— возвращаюсь я к предмету разговора.

«Это ничего,— произносит он великодушно.— Мы потому и не берем немцев, что они слишком много рассуждают, это я вам прямо говорю. Не столько работают, сколько потом болтают и так далее, и тому подобное. А вот турецкие сотрудники умеют держать язык за зубами. Понимаете?.. Потому-то я и не беру немцев. По мне, хоть бы их и не было».

«Вот этот, Айт,— я показываю на одного из турецких товарищей.— живет в подвал».

Адлер останавливает меня жестом руки: «Ну и что? Хорошо. О'кей. Это ничего. Я ничего не знаю».

«Немного помогать можно»,— закидываю я удочку.

И он снова начинает играть в благотворительность, как многие из предпринимателей послевоенного времени: «Конечно, поможем. Я всегда охотно помогаю самым бедным. Я сам с молодости социал-демократ, то есть член социал-демократической партии. Значит, я за рабочих. Например, теперь мы хотим помочь людям, желающим малость подзаработать. И если потом вам придется уехать в Турцию, то у вас будет по 500 марок или около того... кое-что заработаете».

Я (Али) показываю на турецкого товарища по имени Синан: «Он спрашивать: может, работа опасный?»

Еще одна зацепка для Адлера — его речь могла бы сделать честь любому представителю любой атомной электростанции: «Нет, это не опасно. Это большая атомная электростанция, и защитные устройства там исключительные, как везде в Германии. Немецкие станции самые безопасные в мире. На них работают тысячи людей. Об опасности не может быть и речи».

Я (Али). Ничего никогда не случался?

Адлер. В Германии еще никогда ничего не случалось на АЭС.

Что касается этой АЭС, может, это и верно, хотя совсем близко от Вюргассена потерпел аварию реактивный самолет. Если бы он упал на эту станцию, произошла бы катастрофа, масштаб которой трудно вообразить. Несчастные случаи на АЭС в ФРГ отнюдь не редкость — даже официально признано пять со смертельным исходом.

Однако для Адлера эта работа «неопасная». И нетрудная, как он уверяет. А когда я (Али) интересуюсь: «Они должен высоко залезть?» — он увиливает: «Нет, то есть, стало быть, да, то есть на станции, не знаю, но там кругом сплошь этажи, верно?»

Я (Али). Они спрашивал, что надо делать?

Адлер. Это ремонтные работы, слесарные, легкие слесарные работы. Но их обязательно надо сделать. Для этого нужны пять-шесть человек. Мы так рассчитали, иначе не выходит. Пять-шесть человек справятся за два дня. Потому и посылают туда людей. Там есть защитные приспособления. Стало быть, человек там на первом месте, сами увидите.

Наверное, ему и самому странно слышать себя, и он продолжает разглагольствовать, пытаясь «закамуфлировать» чудовищность ситуации, когда людей обрекают на сожжение: «Стало быть, ясно, что с человеком там ничего не случится! Стало быть, защитные приспособления исключительные. Атомная электростанция, даже остановленная, конечно, немного излучает. Но вам скажут, как далеко можно заходить, а потом сейчас же вытащат назад. Так что здоровье не пострадает. Сами увидите. А если что, скажете, дескать, мы этого делать не будем, или еще что. Сами увидите. Только так: важно одно — мы работу сделаем, нам работу оплатят, и мы ее забудем. Не надо, например, говорить, что был какой-то дефект. Стало быть, электростан-

ция придает этому большое значение. Главное: кончил дело — гуляй смело! До следующего раза. У нас такие заказы бывают часто. Мы должны быть очень тактичными, держать язык за зубами и работать. Кончил дело — гуляй смело! За это — получай деньги! Ну, вроде все ясно. Отъезжаем сегодня днем, а самое позднее в субботу к полудню работу закончим, вас доставят в Дуйсбург, на главный вокзал, разойдетесь по домам, и дело в шляпе. Получите ваши деньги, и больше не будем об этом говорить».

Мои турецкие друзья подавленно молчат. Желание продолжать игру как-то пропадает.

Подобно всем опытным обманщикам, Адлер испытывает своего рода прилив вдохновения, желая окончательно убедить собеседников в серьезности своего предложения: «Все люди, которых я нанимаю, получают хорошие деньги. Стало быть, это не вопрос, раз мы договариваемся. 250 марок вам выплатят завтра, 250 марок — по окончании работы, наличными. Вот Али, мой шофер, он поедет с вами, чтобы вас опекать. Держитесь его, он тоже ручается, что вы получите ваши деньги».

И Адлер в который уже раз расхваливает надежность и заботливость немецких атомных промышленников. «Там вам выдадут рабочую одежду. Выдадут обувь. Выдадут каски. Все выдадут. И как говорится, повторенье — мать ученья: не болтать. Особенно с газетными писаками, а то...!»

Широким жестом он вынимает из бумажника купюру в пятьдесят марок и вручает ее мне (Али) со словами: «Вот тебе на первое время пятьдесят марок, можешь подкормить ребят. Надо заморить червячка, чтобы не скиснуть сразу, как начнете работу. Ясно?» Выходя из квартиры, он благожелательно-отеческим тоном бросает: «Ну, всего лучшего, ребята. Встретимся в три. На вас можно положиться! Все ясно?»

Пятьдесят марок, поделенные на семь. Последняя трапеза обреченных стоимостью в 7 марок 14 пфеннигов.

Мне снова приходит на память пошлятина, которую он любит слушать в автомобиле, что-то насчет «приказа, который никто не хотел отдавать» и «пути, по которому шли умирать» и дальше:

Идем день за днем, редеет наш полк.
Земля сожжена, а какой в этом толк?

Может, мне только кажется, что он любит эту песню. А он не улавливает в ней никакого трагического смысла и бездумно напевает про себя:

Сто человек собрались веселиться.
Я — вне закона, вольная птица

14.00. Встреча Адлера со «спецуполномоченным» и его ассистентом в привокзальном ресторане Дуйсбурга. Еще раз однозначно, прямым текстом излагаются все детали, чтобы Адлер потом не смог сослаться на свое недопонимание или некомпетентность.

Херцог/Хансен. Господин Адлер, сегодня утром мы получили новые замеры. Они подтверждают наши самые худшие предположения. Это будет трудная, весьма щепетильная акция. В трубе обнаружена сильная радиация, а им нужно залезть внутрь... (Осторожно оглянувшись на соседние столы, он говорит шепотом.) Уровень радиации в тридцать раз выше, чем максимальная годовая доза, а ваши люди схватят ее в один прием. Это может плохо кончиться.

Адлер. А что произойдет, например, если этого не сделать?

Херцог/Хансен. Тогда мы не сможем подключиться к сети. Никак! Труба лопнет. Миллионы, миллиарды марок убытка.

Адлер. Значит, ничего не поделаешь. Придется им залезть внутрь и исправить

И для собственного спокойствия добавляет: «Официально я ничего не знаю. Вы просите у меня людей, я поставляю, они садятся в автобус. А вы их отвозите в Вюргассен. Для меня, в сущности, инцидент исчерпан. Кончил дело — гуляй смело. Я чист. Могу вас заверить, что эти люди не будут задавать лишних вопросов, они даже не знают, где этот Вюргассен...»

Единственно, что его волнует — это «money», «black», «cash»[1] и «без обложения налогом».

Адлер. Меня интересует, как я получу свои деньги? Вы проведете их через бухгалтерию?

Пахль/Шмидт. Это идет не совсем по официальным каналам, иначе мы не стали бы таким секретным образом...

Адлер. Для меня провернуть такое дело — значит немного пошевелить мозгами. Я помогаю вам вытащить ваш «ерш», ну скажем так, из дерьма. Вы тоже могли бы пойти мне навстречу и заплатить всю сумму «black».

Пахль/Шмидт. Это особая графа. Это вообще не выплывет.

Адлер (алчно). Слушайте, а как вы уплатите остальное? Чеком или наличными?

Пахль/Шмидт (настаивает на своем). Первую половину «cash». Вторую половину чеком на предъявителя.

Адлер. А кто выпишет чек?

Пахль/Шмидт. Чек — из нейтрального источника.

Адлер. Ясно. Чтобы потом не пронюхало финансовое управление.

Херцог/Хансен. У вас уже были сложности с властями?

Адлер. Да нет. Я, знаете ли, всегда выполняю свои обязательства. И всегда получаю свои характеристики и рекомендации от страхкассы и финансового управления, а управление по труду даже официально направляет ко мне людей. (Смеется.) Они своего не упустят. Кошкам только бы не упустить мышек. А если мышки платят

[1] Деньги, налево, наличные *(англ.)*.

более или менее пунктуально, тогда их оставляют в покое.

Херцог/Ханзен. А как вы уладите дело, если с вашими людьми произойдет во время работы несчастный случай? Сможете замять? Поймите, мы не хотим, чтобы они потом обращались к врачу и прочее.

Адлер. Уладим. Заказчика я этим не обременяю. В статистику несчастных случаев это не попадет. У нас была тут одна авария на химкомбинате в Руре. Так мой клиент вообще не имел с этим дела. А что может произойти в крайнем случае? Что, они сразу потеряют сознание?

Херцог/Ханзен. Если кто-нибудь сорвется, будет худо. Там внутри высота примерно десять метров.

Адлер (беззаботно). А нельзя будет вытащить его потом на тросе или как-нибудь еще?

Херцог/Ханзен. Попытаться можно, но это чертовски трудно. У трубы крутой изгиб. Не дай бог попадется бугай поперек себя шире.

Адлер (успокаивает его). Нет, какое там. Они же, бедняги, не каждый день едят досыта. Кожа да кости.

Херцог/Ханзен. Мы надеемся, что сразу они у нас не сорвутся. Чисто технически, судя по опыту, с радиацией дело обстоит так: если они схватят слишком сильную дозу и подействуют дополнительные факторы, то не раньше чем через месяц — но тогда они должны уже быть далеко — обнаружатся явные симптомы: выпадение волос, импотенция, рвота, понос, общая слабость и прочее. Что же касается дальнейших последствий, то мы все равно не будем их наблюдать. Через несколько лет неизбежен рак, но к тому времени это мероприятие будет давно забыто.

Адлер. Я считаю, это не моя печаль. Не моя печаль. Я на это смотрю совершенно трезво. Дело есть дело, и я понимаю, что на атомных электростанциях происходят кое-какие вещи, которые не должны получать огласки, ясно. Я делаю свое дело, как всякий другой.

Херцог/Ханзен. Ну, говоря между нами, Вюргассен — большая помойка.

Адлер. Да, знаю, устарела... А вы тот самый господин, с которым я имел дело несколько лет назад?

Херцог/Ханзен (тоном оракула). Значит, вы не верите собственным глазам!

Я (Али) подхожу к их столику.

Адлер. А вот и он. Это господин Али, который возглавляет и опекает бригаду и за всем следит.

Мне: «Тебе ясно? То, что скажут эти господа,— рассматривать как указание».

И: «Как ребята? О'кей?»

Я (Али). Они все спрашивал, желал все знать, мой друзья как малый дети. Всегда спрашивал, спрашивал. Некоторый говорил, они должен все равно как драться с дракон... так опасный.

Адлер. Да что там, атомные электростанции надежны, надежней всех в мире. Ведь я им объяснил сегодня утром. Там защитные устройства и тому подобное.

«Все ясный»,— говорю я. Адлер посылает меня к «бригаде», которая уже ждет на площади перед вокзалом.

Когда я ухожу, Адлер говорит «спецуполномоченным»: «Он, конечно, не знает, о чем речь. Он их доверенное лицо. Этот если скажет: будет сделано, значит, будет сделано. Он проследит, чтобы никто не поднимал шума и чтобы все работали на совесть. Они ведь как дети, им надо спокойно ответить».

Херцог/Ханзен интересуется, «надежный ли человек этот Али», и Адлер снова пользуется случаем, чтобы покрасоваться в качестве благодетеля и наврать с три короба: «Бедняга! Знаете, я пригрел его полтора, да, полтора года назад. Знаете, чем он занимался, чтобы заработать на жизнь?»

Пахль/Шмидт. Нет.

Адлер. Подрабатывал в качестве подопытного кролика у черт знает каких врачей. Они его кололи.

Херцог/Ханзен. В Турции?

Адлер. Здесь! В Германии. Просто в голове не укладывается, что у нас происходят такие вещи. Мало им мучить животных.

Херцог/Ханзен. И он давал себя колоть?

Адлер. Давал. Потом пришел к нам, сам не свой, едва на ногах держится. Это бросилось мне в глаза. В чем, думаю, дело? Спрашиваю, что случилось? А он и говорит: доктор, мол, сделал мне укол, я за это получаю восемьсот марок в неделю. Я говорю: «Хватит! Это свинство! Кончай с этим, мальчик!» Ведь он хороший парень.

Херцог/Ханзен (интересуется). Так как, вы уже проинструктировали людей?

Адлер (дает полный отчет о встрече). Сказал им, что они поедут на атомную электростанцию, что должны выполнить там срочную работу, очень важную, чтобы электростанция снова могла давать ток, пусть не волнуются, все пройдет спокойно, не будет никакой прессы и так далее, и тому подобное, и что все в полном ажуре. Сказал, что там защитные устройства, что немецкие атомные станции вообще самые надежные в мире. Ясное дело! Вы, говорю, получите спецодежду, все получите, будете в полной безопасности.

Пахль/Шмидт. Условие такое: в течение ближайших двух недель они должны исчезнуть.

Адлер. В течение ближайших двух недель их не будет.

Пахль/Шмидт. Чтобы духу их не было.

Адлер. Идет! Прежде всего, у меня нет администрации и ничего такого, у меня никто не знает, когда и что делается. Я один это знаю, так оно лучше! Если всякий раз ставить в известность десять человек — тогда нечего и ого-

род городить. Стало быть, вы можете на меня положиться. Мы участвуем во всем».

«Мы участвуем во всем!» — девиз Адлера и большинства других поставщиков людей и партнеров концернов.

«Мы всегда участвуем во всем» — пароль капитализма. Причем следовало бы добавить: «Всегда, когда пахнет прибылью». И если до сих пор, за исключением экспериментов в третьем рейхе (использование останков убитых заключенных в концлагерях, цена — 11 марок 50 пфеннигов за труп), людей еще не перерабатывали на мыло, то происходит это не по соображениям гуманности, а только потому, что делать мыло из людей невыгодно

Адлер вместе со «спецуполномоченными» покидает привокзальный ресторан, чтобы погрузить «бригаду» в микроавтобус, который должен вот-вот подъехать.

Проблема состояла в том, что мы не хотели заходить так далеко — доставать машину и ехать в Вюргассен. На следующий день Адлер явился бы туда, как обещал, чтобы сразу получить свою «выручку». Одно время я взвешивал этот вариант: неожиданно и физически ощутимо столкнуть его с тем, что он совершил. Ведь Эйхман тоже никогда не видел своими глазами горы трупов, он «только» организовывал доставку еще живых людей в лагеря массового уничтожения. Я предполагал вечером в какой-нибудь комнатке гостиницы «У поворота» в Вюргассене представить Адлеру некоторых «облученных» турецких друзей. Я думал их соответственно загримировать: ошметки кожи на лице, выпадающие целыми прядями волосы, люди в полной прострации лежат на кровати, валяются на полу... Впрочем, это и так достаточно понятно.

Не хватает финала, финала, который не вызвал бы у Адлера недоверия, подозрения, что это инсценировка, и в конечном счете не спровоцировал бы его побег за границу. Нельзя позволить ему замести следы и уничтожить компрометирующие документы.

Лучше всего устроить так, чтобы все развеялось, как дым, у него на глазах, как джинн, выпущенный из бутылки, который снова уменьшается, залезает обратно — и его закрывают пробкой!

Когда Адлер, «спецуполномоченные» и я (Али) подходим к «бригаде», чтобы погрузить ее и отправить на сожжение, нас вдруг оттирают, козыряя удостоверениями, «полицейские служащие в штатском». Проверка документов. Двое из турков удирают, остальных «забирают». Все происходит, как в замедленной съемке, как на первой театральной репетиции. По прошествии некоторого времени это должно было подействовать на Адлера, как всплывшее в памяти кошмарное воспоминание.

Произошла накладка, чуть было не испортившая все дело. Изображать патруль взялись двое наших друзей — директор школы и протестантский пастор. (Мы предусмотрительно вооружили их наручниками и игрушечными пистолетами.) Но кто-то из них принял за Адлера фотографа Гюнтера Цинта, который незаметно снимал ход операции, и направился прямо к нему.

Пахль/Шмидт немедленно реагирует и, насколько может, исправляет положение. Он говорит: «Это наши сотрудники с АЭС, их направили наблюдать за отправкой». Адлер одобрительно кивает: «У вас все прекрасно организовано». Но как нам теперь быть? Я обсуждаю с турецкими друзьями, можно ли позволить себе роскошь вызвать настоящую полицию. Некоторые не имеют при себе документов, но если их отведут в участок, тем достовернее будет впечатление.

Один из наших вызывает полицию, причем точно описывает место, где происходит торговля приехавшими нелегально турками. Ровно через пять минут подъезжают два патруля, шесть сотрудников в штатском быстро выходят из машин и направляются к группе турецких друзей. И тут — в пятнадцати метрах от нас — они замечают все того же фотографа Гюнтера Цинта, нацелившего на них свою камеру. Они, естественно, принимают это внимание на свой счет и делают вывод, что какая-то газета расставила ловушку, чтобы доказать, как легко можно по простому доносу арестовать иностранцев (об этом я узнаю позже — неофициально — в дуйсбургской уголовной полиции). Рассудив таким образом, они возвращаются к своим машинам. Только их и видели.

Мы остались с носом. Время поджимает. Адлер начинает беспокоиться, поскольку «автобус с АЭС» все не подходит. Гезине, подруга Синана из нашей бригады, вдруг предлагает спасительный выход. Из студенческой пивной, что рядом с вокзалом, она приводит двоих посетителей, которых в спешке не удается, конечно, посвятить во все подробности. Мы успеваем только сказать им, что нужно разыграть операцию по аресту, чтобы разоблачить крупного воротилу — из тех, кто торгует людьми. Они изъявляют готовность. Один, как потом выясняется, — член городского совета «зеленых».

Они-то и «арестовывают» наших турецких друзей. Ничего похожего на жестокую реальность: забирая «задержанных», они прямо-таки уводят их за ручку. Но Адлер на это клюет.

Айт сопротивляется, ему заламывают руки за спину, я бегу вслед, потом, запыхавшись, возвращаюсь назад, а Адлер, не в силах поверить, что такой бизнес лопается у него на глазах, испуганно спрашивает: «Что там происходит?»

«Полиция, — бросаю я. — Забирал их, потому что он не имел документ». Эти слова оказывают магическое действие. Втянув голову в плечи, оглядываясь по сторонам, Адлер быстро пробирается к своему «мерседесу», оставленному на автобусной стоянке. Он шагает быстро, почти бежит, но при этом старается сдер-

жать шаг, чтобы не бросаться в глаза и не утратить солидности.

Своих партнеров по бизнесу он просто бросает на улице. Пахль/Шмидт бежит за ним, требуя объяснений: «Что произошло, почему они все бегут? Как это могло случиться? Вы же сказали, что на вас можно положиться!»

Адлер, задыхаясь, на бегу: «Конечно, можно. Сейчас же позвоните мне по радиотелефону». И прыгает в машину, которая тут же трогается с места. Пахль/Шмидт едва успевает крикнуть ему вслед: «Господин Адлер, вы нужны нам как партнер...»

Эпилог,

или Банализация преступления

Чтобы все шло своим порядком, Пахль/Шмидт вечером еще раз звонит Адлеру. Адлер слегка смущен, пытается спустить дело на тормозах: «Да, господин Шмидт, хорошенькая история вышла сегодня днем».

Пахль/Шмидт (с упреком). Да уж! Как это вы оплошали, господин Адлер?

Адлер. Сам не понимаю. Ребята попались не совсем надежные. Каждому-то в душу не залезешь.

Пахль/Шмидт. Какой же вы видите выход из положения?

Адлер. Послушайте, я тут принял кое-какие меры, я поставлю вам новых людей.

Пахль/Шмидт. Нет, так не пойдет, господин Адлер. Вам вообще не надо больше принимать никаких мер, мы сами все организуем. Мы же вам сказали, что нужно провернуть задание к 18.00 завтрашнего дня. А мы-то считали вас человеком опытным, господин Адлер!

Адлер (защищаясь). Но из шести только двое оказались ненадежными.

Пахль/Шмидт (перебивает). Только двое, только двое! Вы знаете, какой это процент — двое из шести?

Адлер. Да.

Пахль/Шмидт. Сами можете подсчитать, господин Адлер, это треть, господин Адлер, тридцать три и три десятых процента, понятно?

Адлер. Ну, а теперь-то чего делать?

Пахль/Шмидт. Теперь уж ничего не поделаешь, господин Адлер. Мы прислали двух сотрудников, чтобы они доставили смену на место работы. С нашей стороны все шло как по маслу, приезжает наш автобус, а вас и след простыл. И вы все еще не в состоянии объяснить происшедшее. Как будет дальше? Нам придется организовать все заново — без вас. Всего наилучшего! (Бросает трубку.)

Через полчаса я (Али) являюсь к Адлеру. Адлер тут же набрасывается на меня (Али): «Ты кого мне приволок! Да они же сплошь нелегальные!»

Я (Али). Я же сказал, два человек не имел документ. Полиция его забрал.

Адлер (смеется). Да, это я видел.

Я (Али). Остальные хочет деньги. Они не виноват. Другой работа бросил, и теперь ничего не получал.

Адлер (презрительно). Они еще и наглые. Скажи им, что дело не выгорело. Ничего не будет.

Я (Али). Но вы сказали, что хочет им помогать.

Адлер. Да, но за это они должны сперва поработать.

Я (Али). Полиция приходил Дизельштрасс и хотел все узнать. Я не был. Теперь я должен идти полиция и рассказывал...

Адлер (перебивает). Да, не вздумайте называть моей фамилии! Я не хочу, я не могу иметь с этим ничего общего, ясно?

Я (Али) (с невинным видом). Что я ему сказать?

Адлер. Ну, скажи, к примеру, что был какой-то господин Мюллер или как его там, обещал, дескать, работу, и вы уговорили этих ребят. А тут...

Я (Али). А если полиция хотел узнать, как он выглядел?

Пауза.

Адлер. Ничего не говорить. Не знаете — и все!

Я (Али). Ничего не знать.

Адлер. И ничего не понимаете. Лучше всего скажите, что не понимаете по-немецки.

Я (Али). Ясный. Мы не можем еще что делать для друзья?

Адлер. Для этих ребят ничего, а для вас — охотно. Потом. Кажется, мои заказчики остались на бобах. То-то они скисли. Такой прокол... Значит, если кто придет, скажешь, какой-то господин Мюллер или как его там, из Дуйсбурга... где живет, не знаешь, где его контора, тоже не знаешь. А организовал это ты, хотел дать им немного подзаработать.

Я (Али). Я не должен сказать ему про атом?

Адлер. О, нет, нет, нет, нет, нет, не дай бог! (Смеется:) Так кого они взяли?

Я (Али). Два человек из подвал. Теперь их выслать Турция.

Адлер (успокоенно, радостно, удовлетворенно). Бедняги, их вышлют в Турцию! Какая подлость! Но я и понятия не имел, что на вокзале шастает столько полицейских!

Я (Али). Но вы сказал, встречанье на вокзал.

Адлер (с упреком). Тебе бы раньше предупредить меня, назначили бы в другом месте.

Следующий день, пятница 9 августа. Адлер приказывает своему новому шоферу Абдулле — «брату» Али — заехать за ним в 10.00. Он последовательно объезжает несколько банков, регистрирует поступления на свои счета, получает свою долю дохода с фирмы Реммерта, а по дороге болтает с Абдуллой о том, что его заботит.

Адлер. Они чертовски долго тянут с выполнением заказов. Чтобы вовремя купить новую модель, приходится заказывать ее за год до выпуска.

«Не двигаться вперед — значит, отступать» — этого испокон века боятся все полководцы, завоеватели и капиталисты. Рост прибылей любой ценой — таков все еще девиз капитализма, даже если этот рост не сопровождается больше бешеной экспансией. В соответствии с конъюнктурой проявляет скромность и Адлер: «Пересяду со своей 280 SE на 300 SE новой серии. Осенью. Когда этой стукнет полтора года». (Теперешняя машина со всеми модными штуковинами и ухищрениями комфорта стоила 100 000 марок, следующая будет намного дороже.)

Абдулла (возвращает Адлера к теме разговора). Эти двое сидят теперь в тюрьме.

Адлер. Наверное, их вышлют. Мне очень жаль ребят. Но с другой стороны, я вам вот что скажу. Может, так оно и лучше. Что они здесь видят, в Германии? Им нельзя свободно перемещаться, так ведь?

Абдулла. В общем-то, да. А в Турции тепло... Погода хорошая.

Адлер. Ну, тогда что им здесь надо? Ютятся в подвалах. Вечно боятся полиции. Работы у них нет, жить не на что... ничего нет.

Абдулла. Работы тоже нет.

Адлер. Что же их здесь еще держит?

Абдулла. Али, конечно, теперь немного печальный.

Адлер. Еще бы. Напустил в штаны со страху. Не надо было договариваться на вокзале. Надо было договориться где-то еще... Чертовски не повезло! На главном вокзале всегда ошиваются полицейские.

Абдулла. Такое уж это место.

Адлер. Да-да.

Абдулла. Вы думаете, они еще когда-нибудь сделают вам заказ?

Адлер. Обязательно. Я уже давно туда вхож, в Вюргассен. Не первый год имею с ними дело...

Абдулла. Они, конечно, здорово платят?

Адлер. Да, мы от них получаем хорошие заказы. С ними — никаких проблем. Вот только на этот раз сорвалось. С этим клиентом одно плохо: очень уж серьезная лавочка. Иной раз бывают заказы не то чтобы слишком чистые. Они тоже боятся, потому что если выплывает наружу через газеты и так далее, и тому подобное, что на электростанции был дефект...

Абдулла. Они еще больше боятся.

Адлер. Они еще больше боятся...

Оба смеются.

Адлер. ...что вылетят оттуда в три счета, ха-ха. Они еще больше наложили в штаны со страху. Вообще-то на атомную станцию вход только по пропускам. Государственное постановление. А дирекция на него плевала. Пускает людей так, без пропусков. Нарушение налицо! Тут надо глядеть в оба. Они сами нарушают законы Германии, вот и боятся полиции. (Смеется.)

Абдулла. Но зато они, наверное, платят хорошие деньги?

Адлер. Они платят хорошие деньги. За то, что они нарушают законы, за то, что мы обходим законы, понимаешь? За то и платят. В том-то и дело. Если бы государство знало, чем они занимаются, даже теперь, чем они теперь занимаются, им бы не поздоровилось!

Чертовски не повезло! Каждый день новые сюрпризы, ну что вы скажете? (Смеется).

Абдулла. Когда они забрали товарищей, я тоже, может быть, испугался.

Адлер. Один из полицейских увел сразу двоих, вот так. (Показывает.) Они и меня могли взять. Начали бы задавать дурацкие вопросы, а я, в моем положении, не могу себе этого позволить — иметь дело с полицией и так далее, и тому подобное.

Абдулла. У нас, например, в Турции таких законов нет.

Адлер. Я знаю. У вас гораздо свободнее. А здесь, куда ни повернись, — на все есть закон. Не успеешь оглянуться, как опять нарушил. Здесь, в Германии, столько законов — черт ногу сломит. А им только того и надо, у них с этим строго. Если бы это дело вышло наружу, то генеральный директор этой электростанции получил бы самое меньшее год тюрьмы. Паршиво. Того и гляди, вляпаешься. Потом не отмоешься. Мне-то все равно ничего не будет. Если кто и нарушил, так эти, с электростанции. Они нарушили законы. Они мне говорят: нужно шесть человек для срочных ремонтных работ. Я отвечаю: о'кей, можете получить. Что вы там делаете с этими шестью, я не знаю. Куда вы их там запускаете, с пропуском, без пропуска, это ваше дело, верно?

Абдулла. Не понял.

Адлер. И не надо. Век живи — век учись. В следующий раз не надо назначать на главном вокзале. Кажется, мог бы сообразить... Так вляпаться!

Итак, мы попытались инсценировать действительность. Возможно, аналогичные и не менее чудовищные заказы выполняются в еще больших масштабах. Если наша инсценировка поможет усилить бдительность и контроль общественности и отдельных средств информации за деятельностью этих подпольных сил, тогда игра стоила свеч. Дело не в Адлере. Вся его преступная энергия и образ мыслей выдают посредственность. Нет ничего ошибочней, чем демонизировать его. Он — один из многих тысяч подручных, которых обогащает система безграничной эксплуатации и презрения к человеку.

РАДИЙ ФИШ

ШЕСТЬ ЧАСОВ С ГЮНТЕРОМ ВАЛЬРАФОМ

В зал Дома профсоюзов во Франкфурте-на-Майне, рассчитанный мест на двести пятьдесят, набилось с тысячу человек. Сидели на подоконниках, на полу в проходах, стеной стояли в дверях. Рабочие, литераторы, профсоюзные активисты, учителя, библиотекари собрались на встречу с одним из самых необыкновенных писателей нашего времени.

Едва ли не каждая его книга бомбой взрывалась в сознании западных немцев, и волны этого взрыва раскатывались далеко по миру. Но резонанс его последней книги «На самом дне» превзошел все. Свыше миллиона экземпляров продано за пять недель. Такого еще не бывало.

...В зале стало душно. Стекла окон запотели. Слушатели, особенно молодежь, начали проявлять нетерпение. Сообщили: Вальраф позвонил, извинился — его задерживают пробки на дорогах, вызванные диковинными здесь в ноябре минусовыми температурами.

Что я знал о Вальрафе? Работал на конвейерах кёльнского завода Форда. Несколько месяцев провел в ночлежном доме. В годы вьетнамской войны выдал себя за немецкого промышленника, получившего американский заказ на производство напалма и якобы терзаемого муками совести. От его имени разослал письма католическим каноникам и епископам с вопросом, не будет ли грехом с точки зрения католической морали, если он примет заказ. Смысл полученных им и, конечно опубликованных ответов был однозначен: если дело идет об уничтожении безбожных коммунистов, то и напалмовые бомбы благословенны.

Когда власти ФРГ готовили «чрезвычайные законы» для расправы с демократическим движением, Вальраф, выдав себя за представителя министерства внутренних дел, добыл неопровержимые улики того, что официально отрицалось: почти на всех крупных предприятиях страны созданы тайные отряды «заводской охраны» во главе с бывшими эсэсовцами, готовые в любой момент выступить против бастующих рабочих.

Вслед за тем Вальраф поступил на службу — естественно под другим именем — в шпрингеровскую газету «Бильд» и раскрыл методологию духовного насилия, с помощью которой подтасовываются и извращаются факты, а хозяева «свободной прессы» манипулируют общественным мнением.

Нужно было до тонкостей знать сам внутренний механизм функционирования общества, изнанку которого он выставлял на всеобщее обозрение.

Разоблачения Вальрафа восстановили против него генералитет бундесвера и сановников католического клира, хозяев банков, концернов, газет. Начались судебные процессы. Посыпались запреты и конфискации книг. Был совершен поджог его квартиры, где хранились досье с еще не опубликованными материалами.

...Зал встречает Вальрафа одобрительным гулом. Он протискивается сквозь толпу в дверях, переступает через ноги сидящих в проходе, пробирается на сцену. С сумкой через плечо, в куртке, в джинсах. На бледном лице очки в черной металлической оправе. Худой, сосредоточенный.

Я вспоминаю, как он описал одно из своих перевоплощений в процессе его «охоты за правдой». «Нет, это не я. Из зеркала на меня глядит чужое лицо. Ненавистная физиономия карьериста. Костюм с иголочки, галстук-удавка. Тщательная стрижка. Загар преуспевающего бизнесмена (результат облучения «горным солнцем»). В порядке самоутверждения — массивный золотой перстень (взятый напрокат). Дорогой пиджак щедро полит мужскими духами «Аква брава».

Говорят, по одежке встречают; здесь, на Западе, по одежке и различают. В костюмах, при галстуке, аккуратно подстриженные, с золотыми обручальными кольцами на руках сидят в бундестаге депутаты христианских, социальных, свободных и прочих «демократических» партий. Сама благопристойность, само благополучие — представители истеблишмента. Иное дело — депутаты «зеленых»: бороды, длинные волосы, расстегнутые вороты рубах, свитеры, джинсы. Они представляют «альтернативу» — «свежую струю», импонирующую молодежи, тем, кто не желает интегрироваться в «систему».

— Твоя книга «На самом дне» вознесла тебя на вершины гражданской совести,—

говорит с трибуны работник профсоюза металлистов.— И потому мы приветствуем тебя здесь, Гюнтер Вальраф!

На лице писателя застенчивая улыбка. Глядя на этого худого человека, внешне ничем не отличающегося от собравшихся в зале, трудно себе представить, что это он во времена «черных полковников», зная, на что идет, приковал себя к столбу на главной площади Афин и разбросал листовки с призывом к свержению диктаторского режима. Был избит полицией, подвергся пыткам в охранке, осужден на тюремное заключение. А потом описал пережитое в книге «Греция — фашизм по соседству». Трудно поверить, что этот спокойный моложавый человек, похожий на учителя или студента-старшекурсника, многократно рискуя головой, проник в секретную организацию португальских «ультра», под маской уполномоченного западногерманских правых добрался до главы антиправительственного заговора генерала Спинолы, выведал его планы, получил список оружия, заказанного на Западе, и, обнародовав все это, сорвал путч, задуманный по чилийскому образцу.

...В зале не продохнуть. Гюнтер снимает через голову свитер. О чем-то кратко совещается с распорядителями. В помещении установлена аппаратура теле- и радиокомпаний, среди них — программы баварского телевидения.

— Эта программа,— сообщает писатель,— вчера назвала меня «фальшивым Вальрафом», хотя в моей книге приведены только факты. За этим выпадом явственно чувствуется рука Штрауса. Нужно ли, чтобы здесь, где мы собрались, дабы обсудить наши проблемы, присутствовали информаторы наших врагов?..

У Франца Йозефа Штрауса, председателя правящей в Баварии партии ХСС, есть основания гневаться на Вальрафа. Расследуя заговор португальских путчистов, он обнародовал и связи генерала Спинолы с председателем ХСС, который обещал тому свою поддержку. Стало известно, что Штраус беседовал и с тайно прибывшим в Мюнхен Тюркешем, фюрером турецких неофашистов, известных под кличкой «серые волки», и заверил его, что «с помощью хорошо организованной пропаганды для «серых волков» будет создан в ФРГ благоприятный политический климат». Вальраф решил проверить достоверность этих сведений своим методом. Явился на многолюдное чествование Штрауса, выдал себя за представителя Тюркеша и был тут же допущен к вождю ХСС. Тот сердечно приветствовал его. Похлопал по плечу. Сделал дарственную надпись на большом фотоальбоме, выпущенном в свою честь: «Для Али с сердечным приветом.— Ф. Й. Штраус». Фотография этой встречи «защитника демократии Штрауса с Гюнтером Вальрафом — «приближенным» Тюркеша, прославившегося лозунгом: «Смерть всем вонючим евреям, сукиным детям-коммунистам и греческим собакам!» — а также факсимиле дарственной надписи помещены в книге «На самом дне».

— Раус! Нидер! — несется из зала.— Вон! Долой!

Писатель поднимает руку: так не годится. Коллега из баварского телевидения ему знакома, он уверен в ее личной добросовестности. Надо прежде выслушать ее, если она хочет что-то сказать.

Тележурналистка баварской программы выходит на сцену. Волнуясь и запинаясь, обещает приложить усилия, чтобы происходящее в Доме профсоюзов вышло в эфир в правдивом освещении.

— Ваши намерения у меня не вызывают сомнений, — отвечает Вальраф. — Но над вами стоят ваши шефы. Вряд ли они разделяют их.— Писатель ставит вопрос на голосование. Лес решительно поднятых рук свидетельствует о мнении собравшихся. И журналистка, с горящими от стыда щеками, вместе с сотрудниками выносит прочь свои камеры, микрофоны, осветительную аппаратуру.

На следующий день заголовки правых газет обвиняют: «Вальраф ограничивает свободу информации». Эту новость я приношу ему рано утром — вчерашняя беседа с друзьями затянулась далеко за полночь, и Вальраф еще не видел газет. Известно: лучшие сорта лжи делаются из полуправды. В этом обвинении правда лишь одна: Вальраф действительно ограничивает информацию о самом себе. После публикации новой книги в квартире писателя в Кёльне раздался телефонный звонок, незнакомый мужской голос предупредил: «Если он не угомонится, ему несдобровать... дело идет о миллионах марок». Вальраф сообщил об угрозах полиции, но на ее помощь надежды плохи. Чтоб узнать, где он остановился во Франкфурте, пришлось звонить по нескольким телефонным номерам поочередно.

Впервые мы встретились с Вальрафом двенадцать лет назад в дни Пятой конференции писателей Азии и Африки в Алма-Ате, куда он был приглашен в качестве наблюдателя. Я познакомил его с турецким прозаиком Бекиром Йылдызом, который четыре года работал в Западной Германии монтером, наборщиком и составил себе имя книгами о жизни турок в ФРГ.

Во времена Гитлера так называемых «восточных рабочих» нацисты силой свозили из оккупированных вермахтом стран, за четыре марки в день продавали на предприятия Круппа, где они жили в жутких бараках и трудились до полного истощения сил. В шестидесятые годы промышленники ФРГ завербовали в Греции, Италии, Пакистане, а главным образом в Турции миллионы так называемых «гастарбайтеров» — «рабочих-гостей» и употребляли их на самых тяжелых, грязных, низкооплачиваемых работах. Пользуясь темнотой турецких рабочих, незнанием языка и условий, не расходовались и на технику безопасности. В турецкой литературе последних десятилетий, поэзии и прозе, сложилось целое направление под названием «литература переселенцев»,— повествующая о жизни полутора миллионов турецких рабочих в Западной Германии. Я рассказал Вальрафу о новеллисте и поэте Фетхи Савашчи, двадцать лет работающем чернорабочим на фабриках Сименса в Мюнхене, о втором поколении

турецких писателей-эмигрантов, пишущих уже на немецком языке.

Удивляло не столь частое для литераторов его умение слушать. Говорил он мало, но его редкие вопросы били в цель. В день нашего приезда в Москву пришла весть о свержение законного правительства в Чили. Друзья волновались, тяжело переживали гибель президента Альенде. Вальраф оставался невозмутимым, даже отстраненным. Сдержанность Вальрафа — не что иное, как постоянное сосредоточение воли, выдержка, присутствие духа.

Через год в репортажах из Португалии, где Вальраф — один среди врагов — вел свою разоблачительную работу, я прочел: «Постоянное нервное напряжение, необходимость выдерживать роль сделали свое дело. Равно как и необходимость смеяться, когда поднимались тосты за «истребление политических противников». Нас провожают в гостиницу. После этого я теряю контроль над собой. Что-то вроде нервного припадка, длительные приступы спазматических рыданий».

Вскоре после этих встреч я впервые услышал о его намерении испытать на себе, что значит быть турком в Западной Германии, иностранным рабочим. Сказано это было как бы между прочим, в сослагательном наклонении. Даже с некоторой долей скрытой зависти — ты вот, мол, знаешь турецкий...

«Десять лет я отодвигал от себя эту роль,— пишет он в книге «На самом дне».— Наверное, я предчувствовал, что́ мне предстояло. Я просто-напросто боялся... Я знал, что почти половина молодых иностранцев страдает психическими заболеваниями. Они больше не в состоянии переваривать бесчисленные подозрения. У них нет почти никаких шансов на рынке труда. Для них, выросших здесь, нет пути назад, на родину отцов. У них нет родины».

Сперва он думал прикинуться глухонемым. Но это не позволяло вести расспросы. Решил было выдать себя за выходца из крохотной немецкой колонии на востоке Турции, но там, оказывается, все говорят по-турецки. Наконец, родилась версия: он из второго поколения иностранных рабочих, не знает языка, потому что родился за границей, в Пирее, а об этом городе Вальраф мог кое-что рассказать: сидел там в тюрьме при «черных полковниках».

— Но ведь тебе было сорок три года, а второму поколению от силы двадцать пять — двадцать восемь.

— По документам мне было двадцать семь.

— А по лицу?

Вальраф усмехнулся:

— В том-то и дело, что если ты — турок, никто тебе в лицо и не смотрит.

Обретя новый облик, Вальраф явился домой, спросил свою мать, которая открыла ему дверь, нельзя ли увидеть господина Гюнтера Вальрафа. И получил ответ: его нет дома, когда будет, неизвестно. Через неделю писатель повторил свой визит с тем же результатом. Еще через несколько дней Вальраф убрал маскарад, пришел домой. «Гюнтер,— сказала мать,— зачем ты присылаешь ко мне каких-то странных турок. Будь осторожен, это небезопасно». Тут я понял, рассказывает писатель, что можно приступать, меня никто не узнает...

Наш разговор то и дело прерывается. Звонит телефон — издатели, газетчики, знакомые. Просят выступить, договариваются об интервью, обсуждают книгу. Приходят и уходят друзья, профсоюзники, рабочие вожаки, литераторы. Гюнтер говорит по телефону, прихлебывает кофе, отвечает на вопросы, поблескивая стеклами очков, прислушивается к беседе, которую ведет с гостями Герберт Вайсенбергер, друг и, как он сам назвался, «импресарио» писателя, хозяин квартиры. Здесь воочию видишь, что только со стороны может показаться, будто Вальраф — одиночка, ведущий партизанскую войну. Нет, за ним, за него — организованные рабочие, профсоюзы, левые партии, прогрессивные газеты — все, кому дорога честь нации. Вальраф — их голос, их совесть.

Пока писатель дает интервью корреспондентке журнала «Ньюсуик», мы с Вайсенбергером размышляем о причинах необычайного успеха новой книги Вальрафа, которого не ожидал и сам автор. Отчего на Западе даже хорошая книга известного писателя имеет небольшой, по нашим меркам, тираж? Неокапиталистическое общество научилось интегрировать критику, направленную в его адрес, в традиционной художественной форме. Романы, новеллы, которые «пахнут» литературой, обычно не задевают читателя, приученного к мысли, что жизнь — это одно, а литература нечто совершенно иное. Как говорил Салтыков-Щедрин, писатель пописывает, а читатель почитывает. А потом оба идут делать свои дела, «жить обычной жизнью».

В книгах Вальрафа каждое слово, каждый абзац, каждый образ подтвержден его собственным опытом, прочувствован собственной кожей, неотделим от его жизни. Он никогда не играл в литературу.

Средства массовой информации, политики и публицисты изо дня в день внушают, что ФРГ — «правовое общество». Это представление сделалось стереотипом обывательского мышления. Гюнтер Вальраф своей книгой разбивает штампы удобно-привычного мышления: добродетельный, «конституционный» политик, оказывается, может быть пособником нелегально или полулегально действующих неофашистов; уважаемый, преуспевающий бизнесмен — преступником, которому место за решеткой; рабочий, якобы защищенный трудовым законодательством,— продаваемым и перепродаваемым бесправным рабом. И не только иностранец, но и немец, оказавшийся на самом дне. При нынешней безработице им легко может стать каждый. Удар, нанесенный книгой Вальрафа, можно сравнить с нокаутом.

В своем творчестве Гюнтер Вальраф сумел продолжить лучшие традиции немецкой демократической культуры. Обычно на ум в первую очередь приходят книги «неистового репортера» 30-х годов Эгона Эрвина Киша. Но, думается, следовало бы

назвать имя такого выдающегося художника, как Бертольт Брехт. Пятьдесят с лишним лет назад в статье «Пять трудностей пишущего правду» Б. Брехт утверждал: «Нужно обладать м у ж е с т в о м, чтобы писать правду вопреки тому, что повсюду ее душат, обладать у м о м, чтобы познать правду вопреки тому, что повсюду ее стараются скрыть, обладать у м е н и е м превращать правду в боевое оружие, обладать с п о с о б н о с т ь ю правильно выбирать людей, которые смогут применить это оружие, и, наконец, обладать х и т р о с т ь ю, чтобы распространять правду среди таких людей».

Вальраф этими качествами обладает. Мало того, он обращается и к драматургическому опыту Брехта: книги Вальрафа — это, по сути, зафиксированный на бумаге спектакль, где он и автор, и постановщик, и главный исполнитель. Только разыгрывается этот спектакль не на театральной сцене, а в действительности — в пивном зале, на собрании заговорщиков, в заводском цеху или страховой конторе. По терминологии западного театроведения, такой спектакль именуется «хэппенингом».

Перед отъездом в Москву мы вместе с молодым турецким писателем Озгеном Энгином едем к Вальрафу домой. Он живет в рабочем районе Кёльна. В квартале старых домов, где ныне обитают многие «гастарбайтеры». Поднимаемся по скрипящей деревянной лестнице. Дверь открывает жена писателя Дорис. На руках у нее девятимесячная дочь, имя у нее русское — Надя.

— Еще одно успешное произведение Вальрафа?..

— Для одного года, пожалуй, все-таки многовато,— улыбается Дорис.

Нас приглашают к столу. На столе турецкая вяленая колбаса-суджук, йогурт, маслины, овечий сыр.

— Смотри,— говорит мне по-турецки Озген.— Мы его совсем отуречили. Теперь он — из наших...

За шуткой слышится гордость. Я понимаю его: все рабочие люди — будь то немцы, турки, греки или итальянцы — считают Гюнтера Вальрафа своим.

Новая книга писателя принесла ему и немалые деньги.

— Я никогда не имел желания стать миллионером,— говорит Гюнтер.— Не собираюсь менять образ жизни и теперь Это может скверно сказаться на моем внутреннем мире.

Значительная часть гонорара за книгу «На самом дне», которую автор посвятил товарищам по труду — Джемалю Алтуну, Семре Эртаму, Сельджуку Севинчу и всем остальным,— отчисляется в особый фонд правовой защиты и просвещения иностранных рабочих. А миллион марок — на постройку дома, где за символическую плату смогут жить вместе немецкие и турецкие рабочие.

Во Франкфурте-на-Майне «зеленые» подарили мне плакат. Если перевести его текст с гессенского диалекта на русский язык, он будет звучать примерно так: «Не болтай, сделай что-нибудь».

Рабочий, репортер, культуролог, актер, писатель, Гюнтер Вальраф продолжает делать огромное дело.

Франкфурт-на-Майне — Москва

◆

ГЛАЗАМИ «ПОСЛЕДНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ»

...Останется лишь хлам железный
да будущего смех глумливый,—

эти строки рано погибшего польского поэта и писателя, бывшего узника Освенцима Тадеуша Боровского звучат как горький упрек короткой памяти грядущих поколений, тем, кто с циничной усмешкой отвернулся от знания, оплаченного такой дорогой ценой.

Их нельзя не вспомнить сегодня, перед лицом определенных тенденций, которые все более уверенно заявляют о себе в западной «индустрии развлечений», и тех процессов в массовой психологии, о которых говорит все возрастающий спрос на изделия «поп-фашизма». Именно так назвал нарастающий сейчас в буржуазной массовой культуре «бум» вокруг символов, персонажей, но также — и способов действия третьего рейха американский публицист Элвин Розенфельд. Заглавие его статьи, опубликованной в еженедельнике «Диссент»,— «Где снова обитает Гитлер. (Поп-культура обретает нового героя)» — уже само по себе говорит о многом. Тональность же этой статьи, ее не совсем обычная для умеренно-либерального журнала «Диссент» взволнованность, а местами и сардонический тон воспринимаются как свидетельство той тревоги, которую вызывает у прогрессивной общественности Запада экспансия «поп-фашизма», захлестывающего театральные подмостки и телевизионный экран.

В центре внимания автора — комплекс явлений, уже позволяющий, пожалуй, говорить о складывающемся симбиозе буржуазной политической демократии в ее нынешних формах и фашизоидного сознания, интенсивно формируемого мощными средствами массовых коммуникаций.

«Знаки и символы третьего рейха,— констатирует Розенфельд,— стали элементом общепринятого языка поп-культуры, и сейчас они прямо-таки кишат вокруг нас».

Как известно, процесс усвоения подобных «знаков и символов» массовой, в особенности же молодежной, культурой начался не сегодня; еще печально знаменитые «Ангелы ада» охотно пользовались нацистской эмблематикой в целях эпатажа и устрашения общества. Однако в ту пору она, как и весь быт «Ангелов ада», оставалась как бы «вне закона», принадлежала миру уголовного дна и уж никак не могла претендовать на статус общепринятой моды.

Новый этап в гальванизации нацистской символики обозначили панки, для которых эта символика стала основой провозглашенной ими «эстетики жестокости» и которые вместе с тем уже весьма успешно сочетали некоторую ее, достаточно условную, впрочем, полулегальность с масштабной коммерциализацией. Такая коммерциализация достигла теперь, с возникновением феномена «поп-фашизма», размаха небывалого. Однако специфика его не исчерпывается только этой, «рыночной» стороной процесса возрождения духа третьего рейха, сколь бы ни был органичен торгашеский расчет для фашистского синдрома вообще.

То, что исследует Розенфельд,— это совершенно иная грань рефашизации массового сознания, и это «иное» вынуждает автора, быть может даже вопреки его воле, вплотную приблизиться к вопросу о специфической политической функции, которую подчас все более недвусмысленно начинает играть поп-культура. Теперь рядом с вампирическими масками и сатанизмом панков нередко возникает хихиканье и подмигиванье, а густо замешанная на нацистских темах порнография соседствует с чувствительными вздохами Евы Браун.

С приходом панков фашизм, обернувшийся новым «модным» стилем, легализовал свастику и эсэсовский мундир, нарочито игнорируя их какой бы то ни было исторический и политический «фон», а вместе с тем интенсивно обыгрывая их зловещую и неразрывную сопряженность с темами смерти и мучений. Ныне же, войдя в каждый дом с вечерней развлекательной программой, когда можно

«позубоскалить над нацистскими шуточками популярных телевизионных шоу... или перемигнуться с девицами в высоких черных сапогах»,

он бросает откровенный вызов нашей исторической памяти и нравственному чувству, превращая в объект игры, забавы, шоу самые кровавые акции и самые мрачные политические институты рейха.

Речь идет уже не о том, чтобы заставить забыть, сколько о том, чтобы изменить весь ракурс восприятия лиц и событий в истории нацизма. Мощным инструментом такого фундаментального извращения массового сознания и стала — во многом неожиданно — поп-культура, казалось бы прочно закрепившая за собой репутацию «демократичности». Между тем профашистские интонации и идеи оказались так органичны ей, так естественно напол-

нили и окрасили самые многообразные ее формы, как если бы эти формы были изначально предназначены для подобного содержимого. И наоборот: наполнившись таким содержимым, сами они как будто наконец-то достигли полного «расцвета», обрели возможность реализовать все свои потенции.

Так, «стимулирующая» игра для детей (!) под названием «Гестапо: поучительный опыт геноцида», о которой сообщает в своей статье Розенфельд, вряд ли стала бы возможной, если бы почва для нее уже не была подготовлена игрушками-гильотинами и всеми атрибутами насилия, к которым почти с младенчества приучает телевидение.

И разве не увлекли Америку, а за ней и Европу еще несколько лет назад ставшие последним криком моды так называемые «игры в выживание» (survival games)? В ряду этих игр, которыми предложили тешиться взрослым людям в ядерный век, когда спасение самой жизни на Земле требует от каждого предельного напряжения духовных сил и гражданской ответственности, «игра в войну» сразу же выдвинулась на первый план [1]

Таким образом, комментировала в свое время эту тенденцию газета «Монд», вооружившись пульверизаторами и красной краской,

«...те, кто испытывает ностальгию по военной службе, получили возможность во время уик-эндов воплощать свои фантазмы в жизнь».

Однако возбуждаемые подобными «играми» инстинкты по самой своей природе ненасытны и жаждут максимального отождествления реальности и «фантазма», с максимальным же насыщением «игры» жестокими подробностями и деталями, а потому обращение к «образности» третьего рейха стало и здесь закономерным, наступившим в свой черед этапом в развитии индустрии развлечений. Так, сообщает Розенфельд,

«в Англии, согласно рекламе туристического справочника, можно даже провести отпуск или каникулы в лагере, оформленном в нацистском стиле, окруженном колючей проволокой, прожекторами на вышках, под охраной пятидесяти стражей в мундирах СС».

Несомненно, для таких забав требуется та степень нравственной извращенности, которая не достигается в один день и над созданием которой на протяжении ряда лет целенаправленно трудились пресса, кино и телевидение. В этой связи Элвин Розенфельд высказывает ряд интересных соображений об ответственности того направления в современной «большой» литературе, которое, отстаивая относительность любого, в том числе нравственного суждения о каком-либо из явлений окружающего мира, в конечном счете стало на путь двусмысленных экспериментов по взаимозамене «жертв» и «палачей». И действительно, нельзя не согласиться с ним в том, что позиции нравственного релятивизма, широко распространившейся в современной западной литературе и искусстве, несомненно, принадлежала огромная роль в расчистке почвы для «поп-фашизма» и подготовке общественного мнения если не к оправданию, то, во всяком случае, к «прощению» нацистов.

Хотелось бы подчеркнуть, однако, что самую существенную развращающую роль и здесь сыграла массовая культура, давно приучившая публику гораздо больше интересоваться личностью убийцы и вживаться в его ощущения, нежели сострадать его жертве. Наконец — и это, думается, самое важное — принципиальная установка этой культуры, последовательно отучающей своего потребителя от серьезного размышления и чувствования, ориентирующей его на зрелище, как нельзя более созвучна внутренним устремлениям фашистской «педагогики», сколь бы неуместным ни выглядело данное слово.

Пожалуй, наиболее ярким, но вместе с тем и тревожным образом свидетельствует об этом активное проникновение фашистских тем и интонаций в сферу рок-музыки (еще совсем недавно бывшей едва ли не синонимом антибуржуазного бунта), что, несомненно, резко усиливает их резонанс в многомиллионной, прежде всего молодежной аудитории. Так, принадлежащий к числу наиболее популярных рок-ансамблей «Пинк Флойд» недавно посвятил Гитлеру свою новую песню, а в поставленной в Лондоне рок-опере «Фюрер» Ева Браун поет, трогая самые чувствительные струны в сердцах своих слушателей: «Когда я прислоняюсь к его плечу, я знаю: черные дни уже позади...»

«...Если дела и дальше пойдут таким образом,— справедливо замечает Розенфельд,— то черные дни еще грядут. Хотя ничто из вышеописанного не может быть названо явно и преднамеренно пронацистским, все это влечет за собой разрушение всякого нормального представления о ценностях, а затем и изъятие отпечатков пальцев Гитлера из истории массовых убийств».

При том, что сам по себе этот прогноз не может вызывать возражений, никак нельзя согласиться с тем, что здесь нет ничего «пронацистского» и «преднамеренного». Реабилитация Гитлера и забвение преступлений фашизма — цель, к которой упорно стремятся определенные политические круги. Что же касается «букета» из сентиментальных вздохов, «поучительного опыта геноцида» и «нацистских шуточек популярных телевизионных шоу», то от него исходит чистейший пронацистский смрад — смрад «обыкновенного фашизма», как его назвал М. Ромм.

Обыкновенный фашизм — это то качество, то состояние духовной жизни оглупленных масс, а точнее — тот уровень их духовного падения, без которого не стала бы возможной политическая победа фашизма в Германии в 1933 году, не опустившись до которого не прошагали бы по Европе солдаты третьего рейха под гром победных маршей и гогот кабаков, предназначенных «только для немецких мужчин».

[1] См. «ИЛ», 1985, № 5.

Именно такое сочетание душевной неразвитости, неспособности самостоятельно мыслить и зверской жестокости отвечало политическим целям, а потому и преднамеренно формировалось всем мощным пропагандистским механизмом рейха.

Потакание низменным инстинктам толпы, духовное развращение самого демоса, собственно и подменяемого этой толпой,— такова одна из самых коварных и опасных личин антидемократизма, и пусть не обманывает нас приставка «поп».

Уже нельзя не замечать то опасное сходство с подобными «педагогическими» установками, которое все более отчетливо проступает за всем многообразием и пестротой проявлений нынешнего «поп-фашизма». Пожалуй, его «нравственный» вектор сейчас достаточно четко обрисовался, и наиболее кратким, но и достаточно полным образом его можно было бы определить как стремление к ампутации т р а г и ч е с к о г о ч у в с т в а, самой способности души человеческой ощущать «ужас и сострадание», если напомнить о классической концепции «очищения трагедией» Аристотеля.

Но там, где трагедия подается и воспринимается как водевиль, как шоу, там отчетливо слышатся звуки фокстротов, сопровождавших «опыты геноцида», веселые наигрыши губных гармоник и громкий смех.

«...Собаки рвали детей... А немцы хохотали... Сядем над разорванным дитяткой и ждем, когда сердце у него остановится... Снегом прикроем... Вот ему и могилка до весны».

«...Взрослые сразу пошли ко дну, а дети все время всплывали. Фашисты, смеясь, били их веслами. А они не тонули, как мячики.

Стояла такая тишина, а может, у меня заложило уши. И мне казалось, что стояла тишина, что все замерло. Вдруг среди этой тишины раздался смех, какой-то молодой, утробный смех, стояли молодые немцы — наблюдая все это, они смеялись».

Уже на протяжении ряда лет, начиная с книги С. Смирнова о защитниках Брестской крепости, советская документалистика ведет упорную, страстную и героическую борьбу против инерции забвения и ее спутника — цинизма, пришествие которого с такой горечью предсказывал Боровский и которым оказалась затронута даже часть нашей молодежи. Собственно, пафос этой борьбы — преодоление той душевной лености, той неприспособленности к масштабным и «высоким» чувствам, которые столь усердно и также на протяжении ряда лет воспитывает поп-культура и которые логично привели ее к флирту с фашизмом. Не приходится, к сожалению, закрывать глаза и на то, что подобные тенденции, полномасштабно развернувшиеся в буржуазной культуре современного Запада, обнаружили способность к экспансии и за ее пределы.

Но никогда еще, даже несмотря на те потрясения, которые уже заставили нас пережить книги Адамовича, Гранина, Алексиевич, документалистика не прорывалась с такой силой к самой сути войны, как это делает устами «последних свидетелей» Светлана Алексиевич в своей второй книге — книге «недетских рассказов» о войне, из которой и взяты приведенные выше отрывки.

Сила этого прорыва такова, что и само название книги приобретает как бы второй и даже третий смысл: «последние» — те, кто дошли до последних глубин трагического опыта, но также и те, кому принадлежит последнее слово на суде истории в тяжбе с нравственным отупением «поп-фашизма».

Аналогии их откровениям приходится искать даже не у великих писателей близкого нам времени, а гораздо дальше — в греческой трагедии и самых высоких образцах фольклора. Там, где коллективный духовный опыт человечества поднимается до постижения неотменимых нравственных законов бытия, нарушение которых неотвратимо влечет за собой гибель и хаос. Как такое нарушение и предстает в детских воспоминаниях война, как извращение столь чудовищное, что изменяется весь облик мироздания, а потому в детских и совсем не искушенных душах рождается образность древних мифов:

«Услышал слово «война», такое страшное, казалось, в этот момент, и небо потемнело...»

Такое «потемнение» мира — сквозная тема «недетских рассказов» («...все почему-то из тех дней помню в черном цвете. Как шли черные танки...», «...страх мне всегда казался черного цвета»), рядом с ней — тема огня, «горевшего бесконечно». Мрак и огонь с архаических времен — центральные образы апокалипсических мифов. И вороны на кровавом поле («Я только увидела, когда переступала ручей, что вода в нем красная... И как вороны поднялись... Их было так много, что я закричала...»), и «пески рудожелтые», которые в русском фольклоре так часто являются символом окончательной погибели:

«...Все было выжжено до желтого песка... Куда-то исчез чернозем, на котором все росло, только желтый-желтый песок... Как будто мы стоим возле свежевскопанной могилы...»

Масштабность этих откровений — следствие не только специфики детского восприятия, стирающего детали и охватывающего самые крупные и яркие черты явлений, и даже не органичной эмоциональности детских впечатлений. В их основе — особая, почти уникальная душевная способность, которую хотелось бы назвать мужеством трагического видения и которой, как оказалось, в наибольшей степени были наделены эти самые слабые и беспомощные жертвы войны.

Там, где сознание взрослых, защищенное способностью рационализировать, возможностью действовать, наконец — юмором или даже цинизмом — как бы уклоняется от прямого всматривания в ужас происходящего, там детская память вбирает в себя как раз этот ужас, и если разум еще не может понять и назвать, то чувство все равно нащупывает последнюю исти-

ну. («...А мы уже все в крови, потому что мама в крови. Думаю: мы не понимали, что это кровь и что такое кровь, но до нас дошло, что это что-то страшное».) Способность к трагическому, масштабному чувствованию предстает в экстремальной ситуации войны как самая суть «детскости», отнюдь не тождественной инфантильности с характерными для нее «непониманием» и способностью к легкому забвению. Более того: «детское» , свидетельствуя против «инфантильного», как истина свидетельствует против лжи, заставляет вспомнить о той целительной, очищающей роли трагедии, которую отводили ей в Древней Греции, но и о том, что ценой трагедии оплачивается жизненно необходимое человечеству знание о ненарушимых нравственных законах. В свод их — и об этом также напоминают «последние свидетели» — несомненно, входит и закон памяти страдания, не могущий быть попранным безнаказанно, без того, чтобы не повлечь за собой лавинообразный процесс душевного омертвления.

Так, одним из первых признаков омертвения живой ткани является утрата ею способности ощущать боль.

Устойчивость стереотипных представлений и сострадание к ребенку (нередко — и даже как правило — они сочетаются с отказом выслушать его всерьез) не позволяли до сих пор детской памяти войны занять подобающее ей место в литературе, психологии и даже истории.

Фундаментальные основы целого нового направления в истории второй мировой войны заложила, работая как историк, польская исследовательница Зофья Токаж, интервью с которой в феврале нынешнего года было опубликовано журналом «Кобета и жиче».

Быть может, кому-то во многом новое отношение к ребенку на войне, формируемое ею, покажется непривычно суровым, даже жестким. В действительности же оно — свидетельство не только подлинного уважения к человеческой, в том числе и детской личности, но также и страстной гражданственности исследовательницы, гражданственности, невозможной без смелой исторической памяти.

Зофья Токаж, член делегации ПНР на состоявшейся в феврале в Варшаве Международной встрече друзей детства, которую ООН включила в разряд важнейших мероприятий, приуроченных к Году мира, практически всю свою жизнь в науке посвятила изучению мартирологии польских детей в годы гитлеровской оккупации. В 1939 году, когда началась война, ей было три года, когда она окончилась — восемь. Следует неизбежный вопрос, основанный на широко распространенных представлениях о детской памяти:

«— Вы, наверное, немногое помните?

— *Прошу не переносить в те годы сегодняшних представлений, да, сегодня мой сын не помнит того, что с ним было в 3—4 года. Но я и мое поколение стали свидетелями событий недетского масштаба, а потому я их помню. Дети уже в первый год войны понимали, что́ происходит, что́ такое лагерь, облава, эсэсовец и его пес. Когда я читаю воспоминания и слышу рассказы людей, в возрасте 8—10 лет переживших концлагерь, понимаю, что это уже не были дети».*

По мнению вроцлавского врача-психиатра Кемпистего, продолжала Зофья Токаж, в такой экстремальной ситуации происходил ускоренный процесс душевного развития детей, быть может даже их старения, а потому и устами их говорят не дети, но выстраданная ими вневозрастная умудренность.

Не следует забывать и другой причины, по которой показания детей как жертв войны должны быть выслушаны с особым вниманием — *важного* места, которое принадлежало истреблению детей в гитлеровских планах геноцида и порабощения народов. В том, что касается Польши, статистика ошеломляет: только по официальным данным, дети составили 35% всех ее человеческих потерь в годы войны, однако Токаж полагает, что эта цифра не отражает реальности, и процент детей от числа погибших равен, по крайней мере 46.

Как известно, на Западе широко распространено мнение (оно получило отражение также и в статье Розенфельда), что объектом геноцида как такового во время второй мировой войны было только еврейское население оккупированных стран. Между тем, не говоря уже о том, что такому же тотальному истреблению подлежали и цыгане, численность славян, согласно гитлеровским планам, надлежало резко сократить, а что касается польского народа, то ему, как известно, надлежало вообще исчезнуть с карты Европы. Поэтому неудивительно, что дети — естественное будущее каждой нации — должны были принять на себя основную тяжесть этого удара.

Одно из важнейших достижений работы, проделанной Зофьей Токаж, в том и состоит, что она исследовала не только откровенные (массовые казни) формы геноцида, но также и его потаенные, скрытые разновидности, расшифровка которых требует немалых усилий.

Исследовательница собрала уникальную документацию, раздвинула границы связанных с историей гитлеровских преступлений знаний, но есть нечто, что и сейчас, спустя десятилетия работы с предельно драматичным материалом, еще вызывает у нее тягостное изумление, продолжая оставаться непонятным,— добровольное зверство тех, для кого фашизм, видимо, и впрямь сделался «потребностью сердца», если воспользоваться отвратительной формулировкой одного из дельцов «поп-фашизма», упоминаемой в статье Розенфельда.

Но если это невозможно понять, полагает Токаж, то об этом нужно знать и помнить — помнить и потому еще, что способность чтить память мучеников и сострадать их мукам является необходимым условием душевного развития и формирования человека. Эта мысль Зофьи Токаж о воспитании способности сопереживания трагедии как важнейшей задачи этического воспитания вообще представляется сегодня прямо-таки бесценной на фоне бес-

численных разговоров о необходимости забыть прошлое, а также перед лицом натиска ухмыляющегося «поп-фашизма», благоприятную почву для которого создает и пагубная тенденция не обременять детскую голову и душу сложными впечатлениями и размышлениями.

«Я вовсе не считаю, что над прошлым нужно непременно проливать слезы. Но его нужно изучать и знать. Прежде всего для того, чтобы оно могло стать элементом воспитания поляка. Молодой человек, не знающий о трагедии войны, духовно обеднен. Я не требую от своего сына, чтобы он плакал перед каждым мемориалом убитых, но хочу, чтобы он знал: место это требует уважения, это часть коллективной судьбы его народа и часть его судьбы как части этого народа».

Важен и политический аспект такой памяти, особенно перед лицом процессов, идущих сегодня в ФРГ.

«Я имею в виду оспаривание результатов Ялты и Потсдама, требования пересмотра западных границ ПНР. Однако всем тем, кто чувствует себя обиженным таким устройством мира, можно всегда — и с аргументами в руках — ответить: ведь это вы развязали войну, вы создали Освенцим, а потому именно так, а не иначе должен был организоваться послевоенный мир. А мы, поляки, о прошлом забывать не можем...»

Да, несомненно, эта дальняя политическая цель манипуляций по стиранию памяти войны, лицемерных указаний на сорок прошедших лет (лицемерных, ибо кое-кто и сегодня так же хорошо, как и сорок лет назад, мстительно помнит о западных границах) ни на минуту не должна ускользать из нашего поля зрения. И чем настойчивее твердят торговцы мундирами штурмовиков и орденами третьего рейха о том, что вся эта галантерея и для них, и для покупателей лишена какого-либо исторического и политического значения, тем очевиднее делается, что за кулисами поп-нацистского театра хорошо об этом значении помнят.

«...Как поясняет владелица шикарной панк-лавки в Лондоне,— пишет Розенфельд,— они любят нацистские атрибуты потому что это «выигрышно смотрится». Может быть, голову этой дамы никогда не посещала мысль о том, что «нацистские атрибуты» в свое время оказались у истоков хорошо известных истории событий. Вполне возможно Продолжительный и снисходительный флирт с нацистской символикой — бесчисленные игры, эстрадные номера фильмы, порнография, поп-музыка — не только притупляют политическую бдительность, но в конце концов гасят и уничтожают всякое чувство истории».

Не странен ли, а вместе с тем и не страшен ли такой органичный симбиоз поп-культуры и утраты политической бдительности, более того — самого чувства истории? При чтении статьи Розенфельда мне вспомнился поучительный рассказ об одном из путешествий Синдбада, забросившем его и его спутников к жестокому царю-людоеду. Страшный правитель не сразу убивал свои жертвы, а сначала откармливал их особой пищей. «...И вот брюхо их раздулось, они утратили разум и память и сделались подобны скотам». Только могучий внутренний голос, предупредивший Синдбада о погибельности сладкой пищи, спас его от страшной участи.

Ориентация на развлечение «во что бы то ни стало», на легкость, бездумность и смех (смех особого свойства, который скорее принято именовать гоготом), в сочетании с острыми зрелищами, ориентация на аффект, а не на чувство — эти характерные установки поп-культуры далеко не так невинны, как это, к сожалению, нередко полагают. Последовательно отучая «мыслить и страдать», отучая чувствовать и приучая потреблять, она щедро разбрасывает свой отупляющий корм шоу и зрелищ, и если от этой фольклорной метафоры вновь обратиться к экспансии современного «поп-фашизма», то, мне думается, самым опасным в этом процессе следует счесть даже не отказ говорить об ужасах войны, а отказ у ж а с а т ь с я им. Об ужасах не забывают — разве что на начальной стадии, когда предлагают детям младшего возраста игру «Как Гитлер украл розового кролика». А потом ужасами этими предлагают потешиться, позабавиться, от них «о т к у ш а т ь».

Но хорошо известно: воспитание способности забавляться войной всегда было первейшей заботой любой милитаристской пропаганды, и еще знаменитый русский просветитель Дмитрий Ростовский сформулировал столь же блестящий, сколь и жуткий афоризм: «Война питается деньгами, а увеселяется кровью». Сегодня такое «увеселение», формируемая «поп-фашистской» субкультурой потребность в нем, параллельная накоплению средств массового уничтожения, напоминает нам о том, что в вековой традиции глумливый смех всегда считался атрибутом духа небытия.

Быть может, пишет Розенфельд, индустрия развлечений добьется своего, и настанет день, когда в ответ на упоминание о преступлениях Гитлера скажут: «А был ли этот парень и впрямь таким монстром?» Однако цель ее, как кажется, еще масштабнее, и если не выработать сильное противоядие этим растлевающим влияниям, то может наступить и такой день, когда скажут: «Так ли уж страшно, что этот парень был монстром? Если это з а б а в н о...»

КСЕНИЯ МЯЛО

Критика

Н. АНАСТАСЬЕВ

ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА

Сначала предполагалась рецензия.

В конце минувшего года, к сорокалетию Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом, вышел массивный том «Вторая мировая война в литературе зарубежных стран» Такой книги у нас еще не было. Были главы и фрагменты в монографиях, посвященных той или иной национальной литературе. Был коллективный труд «Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы» (1977). Была выдержавшая три издания книга П. Топера «Ради жизни на земле», значительная часть которой посвящена литературе о второй мировой войне. Но опыт целостного исследования предпринят впервые.

Такой опыт, естественно, заслуживает пристального внимания, особенно если иметь в виду, что, отпраздновав годовщину Победы, мы вступили в год, объявленный Организацией Объединенных Наций Годом мира. Подобное соседство красноречиво: человечество не задумывалось бы о своем будущем столь напряженно, не боролось бы за него столь настойчиво, если бы не сохранилась память о жертвах, которыми оплачен сегодняшний, пусть хрупкий, мир.

Это ощущение связи времен живо в литературе, оно живо и в литературе о литературе — в книге, о которой идет речь. И в отклике на нее, если бы он получился, следовало прежде всего отметить стремление авторов показать, что военная проблематика в прозе, поэзии, драматургии, документалистике 40—80-х годов — это далеко не просто проблематика историческая. Оно, это стремление, вполне осуществившееся, надо сказать, придает единство коллективному труду, который в противном случае рисковал бы раздробиться на фрагменты-статьи, связанные лишь тематически — создавался-то он усилиями двадцати трех авторов.

Далее надо было бы сказать об открывающейся панораме, об огромном фактическом богатстве книги. Широкий читатель имеет более или менее ясное представление о месте, которое занимает военная тема в литературах обеих Германий, Югославии, Франции, Англии, США. Но даже читатель не рядовой — критик весьма смутно, можно предположить, догадывается, что и на окраинах — в невоевавшей Швеции, в нейтральной Швейцарии, в вовсе далекой Австралии понятия «война» и «литература» тоже не разделены глухой стеной. Из статей И. Куприяновой, В. Седельника, А. Петриковской мы узнаем об этом.

Еще можно было бы написать, что в книге хорошо прослежена динамика темы — военная проза 70-х отличается от военной прозы 40-х.

Первый опыт — это первый опыт, он связан с издержками, так что, подчиняясь рецензионному канону, следовало бы, в меру собственного понимания, указать на просчеты — частные, а возможно, и общие. От частных пока увольняюсь, а об общих, не удержусь, скажу.

Книга открывается статьей П. Топера, в которой намечены основные линии движения военной литературы. Большое внимание в этой статье уделено опыту наших писателей: это такая высота, с которой впрямь можно посмотреть далеко, во все концы литературного света.

Определив точку опоры, сформулировав, уже в подзаголовке, проблему — «Советская литература о Великой Отечественной войне в контексте мирового литературного процесса»,— автор провел ряд интересных, перспективных параллелей. Вернее бы сказать — обозначил линии существенных схождений и отталкиваний.

Скажем, так: «В «Судьбе человека» М. Шолохова заключена полемика со «Стариком и морем» Э. Хемингуэя и другими произведениями писателей Запада». Или так: «Не случайно... в 60-е годы во всей мировой литературе, как и в литературе советской, стала по отношению к войне все настойчивее звучать тема памяти». Сказано неразвернуто, но лаконизм понятен: перед автором вступительной главы стояла слишком обширная задача, чтобы он мог позво-

АНАСТАСЬЕВ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ (род. в 1940 г.)

Советский критик и литературовед, доктор филологических наук. Автор книг: «Фолкнер. Очерк творчества» (1976), «Разочарования и надежды» (1979), «Творчество Эрнеста Хемингуэя» (1981), «Обновление традиции» (1984).

лить себе уходить в подробные разборы. Можно было, следовательно, ожидать, что они осуществятся в последующих главах. К сожалению, этого не произошло. Сказалась давняя наша беда — угнетает бремя специализации, сосредоточиваясь на той или иной национальной литературе, авторы не решаются выйти за ее пределы, хотя нередко аналогии, порой явные, порой отдаленные, напрашиваются.

Вернемся, однако, к гипотетической рецензии. Закончил бы я ее, опять-таки в соответствии с каноном, следующим образом: каковы бы ни были утраты такого крупного новаторского исследования, каковы бы ни были его частные или более значительные достоинства, главное — масштаб мысли. Читая книгу, ощущаешь живую реальность понятия, которое еще в прошлом столетии сформулировал Гёте, затем авторы «Манифеста коммунистической партии», всемирная литература. Ибо авторам, пусть не всегда в достаточно выявленном виде, удалось вписать частную — казалось бы частную — проблематику в цельную картину послевоенной литературной жизни во всем многообразии ее связей.

Но именно поэтому я и ухожу от рецензионной формы, во всяком случае в привычном понимании. Те или иные наблюдения могут вызывать согласие или несогласие, книга как целое, как общий план побуждает к соразмышлениям, а также к посильному объединению тех смысловых нитей, которые существуют под переплетом автономно. Впрочем, по мере надобности я буду возвращаться и к источнику.

С этого, собственно, начну.

П. Топер, затем А. Зверев (в статье о литературе США) вспоминают известное высказывание немецкого музыковеда и философа, одного из лидеров франкфуртской школы, Т. Адорно: после Освенцима литература невозможна. Вспоминают — и соответствующим образом комментируют его. Между этими комментариями поместилось рассуждение Н. Павловой, автора статьи о военной литературе ГДР: «Разбирая «Мы не пыль на ветру» М. В. Шульца, критика отмечала, что этому роману свойственна некоторая «идилличность». «Немного узнаем мы... о том, что выпало на долю Руди Хагедорна за шесть лет фронтовой жизни и госпиталей. Эпизоды, которые он вспоминает на страницах книги, скорее анекдотичны, чем страшны». В начале 60-х годов подобная сдержанность была оправданна. Писателям ГДР важно было не пугать читателя ужасами войны... а заставить его разобраться в ее причинах».

Рассуждение это, независимо от того, принимать его или нет, никакой видимой связи с тем, о чем пишут, полемизируя с создателем «негативной диалектики» П. Топер и А. Зверев, не имеет. Если не считать, конечно, того, что цитата в цитате — слова из давнего предисловия того же П. Топера к русскому переводу романа М. В. Шульца

Однако связь есть. Приняв в соображение, что не только писателям ГДР «важно было не пугать, а... заставить разобраться», легче увидеть корень заблуждений франкфуртского философа,— заблуждений, которые, превратившись в теоретическую основу «контркультурной» деятельности неоавангарда, нанесли немалый ущерб искусству.

Человек незаурядной учености, человек глубоко искренний и совестливый, наконец, человек, наделенный развитым художественным вкусом (недаром столь уважительно относился к его мнениям Т. Манн), Адорно совершенно справедливо полагал, что любая эстетизация фашистских злодеяний обернется в искусстве фальшью и безнравственностью. Кошмар Освенцима, считал он, обрекает музы вечному молчанию, лишь документальное свидетельство способно воссоздать правду трагического опыта.

Как мы знаем, искусство устояло под напором анархического бунта, размах которого, впрочем, не предвидела и сама «негативная диалектика» — потому поспешила отмежеваться от его результатов. Знаем мы и то, что, при всех впечатляющих успехах и общественной популярности литературы факта, она не смогла вытеснить традиционные жанры. Более того, роман и повесть, стихотворение и драма бесстрашно испытывали, продолжают испытывать себя той самой страшной реальностью, которая, по мысли Адорно, исключает литературу из круга существования.

Что дает ей силы достойно, сохраняя верность гуманизму, выдерживать эту немыслимую тяжесть? Прежде всего — развитая, веками укреплявшаяся способность художественного слова чутко реагировать на меняющиеся императивы жизни. С этим Адорно, для которого понятие традиции всегда оставалось врагом номер один, который считал, что тотальная репрессивная система позднебуржуазной цивилизации уничтожает все, в том числе и искусство (в его сложившихся формах), посчитаться не захотел.

Литература «потерянного поколения» — Хемингуэй. Ремарк, Олдингтон, молодой Дос Пассос,— ее предшественники, прежде всего А. Барбюс, ее современники, например А. Цвейг,— создали чрезвычайно предметный, даже форсированно натуральный облик войны — той, первой мировой. Насильственная смерть видна здесь, как правило, во всех своих устрашающих подробностях.

Большинству летописцев последней войны (некоторое исключение составляет западногерманская проза 40-х годов — молодой Бёль и другие) такая стилистика чужда. Как никакая иная, советская литература изобразила правду этой войны во всем ее трагическом величии, но эта правда добывается за пределами натурализма. У Симонова в «Живых и мертвых», у Бакланова в «Июле 1941 года», у Быкова в повести «Мертвым не больно» показан самый тяжелый для нас период войны, показан жестоко и мужественно, без прикрас, тут есть ощущение страдания и боли, но нет предсмертных конвульсий, нет стервятников, выклевывающих мертвым глаза. И лишь в сознании которое утратило любые признаки человечности, которое способно упиваться насилием, война встает картинами, вызывающими ужас и содрогание. Вспомним, например, «Карателей» А. Адамовича с их внутренним монологом убийцы-полицая. Но изображенная со стороны жертвы та же, по существу, ситуация —

фашистская неволя — теряет немалую долю натуралистической откровенности,— положим, «Нагрудный знак «OST» В. Семина. Тем же путем идут и многие зарубежные писатели — «Выбор Софи» У. Стайрона.

Это не значит, конечно, что литература уходит от прямоты. Это не значит также, что прежний эстетический опыт предан забвению. Уроки Хемингуэя, уроки военной литературы более отдаленных времен глубоко восприняты в наше время. Но восприняты — как мера постижения войны, не как мера стиля. Ибо есть предел: никакая словесная материальность не могла бы адекватно передать немилосердие бедствия, пережитого народами в годы фашистской агрессии. Вот откуда это неожиданное, казалось бы, целомудрие литературы — конечно, сравнительно с известными образцами.

Военная литература нашего времени, как правило, ищет правду не в телесной достоверности картин массового истребления всего живого на земле. Она осваивает войну исторически. В этом отношении совершенно незаменимыми оказываются эпохальные открытия Толстого. Осознанно, а порой и стихийно следуя ему, писатели самых разных творческих пристрастий превращают «тему войны» в источник напряженных раздумий о судьбах культуры и цивилизации, о главных вопросах человеческого существования. Вот почему литература о войне не знает границ места. Действие может разворачиваться на фронтах шириной в сотни километров, может замыкаться ячейкой окопа, может вообще удаляться от полей сражений — масштаб художественной мысли, если эта мысль подлинно серьезна, от таких обстоятельств не зависит.

Литература о войне не знает также границ повествовательного времени. События могут происходить в 1939 году, в 43-м, в 45-м, но могут также переноситься в 70-е и позже, видимо или незримо связываясь с незабытым прошлым.

Словом, так или иначе рассказ о войне перерастает собственные рамки. Поэтому на тематическом срезе, как на срезе дерева, можно увидеть историю роста: рассматривая «тему» войны, мы по существу обращаемся к крупным проблемам всего послевоенного развития мировой литературы. К ее социально-нравственному содержанию, поэтическим особенностям, герою, позиции автора и проч. И естественно, следует иметь в виду, что на том же срезе с особенной резкостью проступают основные линии размежевания: литература, вдохновляющаяся идеалами жизни мира, гуманизма, противостоит потоку сочинений конформистских, а то и неприкрыто милитаристских. Об этом, впрочем, дальше, а пока замечу, что и гуманистическая литература развивается во внутренней полемике, произведения, возникшие на разной национальной почве, в разных жизненных и эстетических условиях, отличаются друг от друга не только индивидуально, но и типологически.

В книге «Вторая мировая война...» — возвращаюсь теперь к ней — хорошо, без нажима, но и с полной определенностью показана сложная зависимость творческих решений, порой даже жанров, стилей от реальности пережитых и переживаемых событий. Скажем, в нидерландской литературе, как видно из статьи И. Волевич, есть военные сюжеты, но литература польская, если вспомнить известные слова молодого Маяковского, пишется войной, здесь, по словам А. Пиотровской, «произведения о войне столь многогранны и столь глубоко отражают народную жизнь, что именно они наиболее полно передают сегодня национальный характер польской литературы, ее специфику». Такое различие естественно и понятно, как и различие, положим, между одноязычными, но растущими на принципиально различной общественной почве литературами ГДР и ФРГ, что согласно отмечают авторы соответствующих статей. Но, случается, расхождения возникают в пределах непосредственной близости, там, где ожидать их, казалось бы, трудно. Скажем, единство чехословацкой прозы о войне, пишет С. Бэлза, складывается на пересечении несходных творческих поисков: «В Чехии в условиях протектората вооруженное сопротивление фашизму не приобрело такого размаха, какого достигло оно в Словакии. Поэтому, например, для чешской литературы не типичен жанр эпопеи освободительной борьбы, столь широко представленный в словацкой «повстанческой» прозе. На первый план в чешской литературе выдвинулась не героика партизанской борьбы, а драматизм столкновения человека с бесчеловечностью фашистской идеологии и осознание им необходимости отстаивания гуманистических ценностей и свободы». Так история жизни корректирует художественную историю с ее давно сложившимися традициями, так характер войны накладывает резкий отпечаток на своеобразие литературы.

Причем само это понятие — характер войны — оказывается чрезвычайно многосложным. Войны справедливые, войны несправедливые — ленинский критерий сохраняет всю свою бесспорность и теперь, становясь основой оценок и самих войн, и их отражения в общественном сознании, в том числе в литературе. Огромное значение, уместно повторить, имеют также пути социального развития, так что П. Топер был совершенно прав, написав в одной из своих работ, что «литература о прошедшей войне, возникшая в странах социализма, имеет ясно выраженное отличие от буржуазной литературы Запада. Осмысленное искусством, это время входит в историю не как годы гитлеровской войны а как годы антигитлеровского Сопротивления. Кровавые трагедии, не переставая быть трагедиями, видятся из перспективы сегодняшнего дня, подтвердившего, что жертвы были не напрасны. В этом — важнейшая особенность литературы социалистических стран...»[1].

В то же время «характер войны», как показало недавнее прошлое,— это не только разделение по линии справедливости — несправедливости. И определяется он не только различиями в послевоенном жизнеустройстве. Характер войны — это еще и мера народного участия, народного переживания военного лихолетья.

---

[1] П. Топер. Ради жизни на земле. М., 1975, с. 235. *(Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, прим. автора статьи.)*

Справедливые войны тоже бывают разными.

Американская пропаганда немало усилий потратила на то, чтобы внедрить в сознание соотечественников, да и всего западного мира мысль, будто именно США внесли решающий вклад в Победу. Недоказуемое — не доказывается, разбивается о факты (иное дело, что новым поколениям в США эти факты практически неведомы, недаром в американском прокате знаменитый фильм Р. Кармена шел под названием «Неизвестная война»). Но против корыстного идеологического хитроумия свидетельствует не только трагическая статистика смерти и подвига. Против нее выступает и сама литература США — не та, конечно, литература, что является частью интегральной системы духовного подавления народа, а та, что более дорожит жизненной правдой, нежели пропагандистской схемой. Об этой литературе точно написано в статье А. Зверева: опираясь на действительность, она изображает не столько войну, сколько армию — как символ уничтожения личности. «Такой поворот темы предопределил и внутренний трагизм книг американских писателей о войне, и их ограниченность: великий исторический итог битвы с фашизмом остался где-то далеко, «за кадром»,— добавить что-либо к этим словам по существу мне нечего. Думаю, с ними согласятся и наши читатели, которым вполне доступны книги Н. Мейлера и Дж. Джонса, И. Шоу и У. Сарояна, К. Воннегута и Дж. Хеллера. И в то же время мне жаль, что мой старый университетский товарищ и коллега-американист упустил — возвращаюсь к тому, о чем говорилось,— возможности сопоставлений; они могли бы оказаться поучительными в плане решения всегдашней нашей критической проблемы: жизнь народа — жизнь литературы. А. Зверев тонко анализирует поэтику известного романа Дж. Хеллера «Пункт 22» — война предстает в нем как чудовищный абсурд, как мельтешение клоунских масок. «Антифашистский характер войны не показан Хеллером — это несомненный изъян его произведения»,— пишет автор, и он прав. Прав он также, говоря, что «до известной степени... атрофия гражданского сознания персонажей естественна и закономерна». Но далее читаем: «Дело не только в том, что писатель достоверно передал характер отношения к войне, отличавший множество ее американских участников». Нет, дело все-таки в этом, прежде всего в этом. Ничего даже отдаленно похожего, в поэтическом смысле, нельзя обнаружить ни в советской военной прозе, ни в польской, ни в югославской. Почему, собственно? Разве нет писателей, владеющих соответствующей стилистикой, чужда она той или иной национальной традиции? Не в этом дело, естественно. Просто все тот же характер войны на Восточном фронте, прежде всего у нас, отторгает всяческую буффонаду. Да что там буффонаду: по словам В. Быкова, даже фантазировать на тему такой войны — кощунство[2].

Такая война и война другая — этим определяются пути литературы, различия, которые особенно резко проступают там, где между действительностью и читателем убраны перегородки в виде сюжета, образа и т. д.,— словом, там, где жизнь говорит собственным своим языком,— в документалистике.

Вот два сочинения, построенные сходно, на первый взгляд вообще одинаково: «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина и «Хорошая война» С. Теркела[3]. В обоих звучат голоса свидетелей: советские писатели записывают рассказы, воспроизводят дневники ленинградцев-блокадников, С. Теркел разговаривает с соотечественниками — ветеранами второй мировой. Впрочем, не только с ними — в круг собеседников попадают и люди, родившиеся годы спустя после Победы. А если добавить к этому, что С. Теркел обращается к американцам самого разного социального положения — от бедняков, ставших жертвами депрессии 30-х годов, до обеспеченных представителей «верхушки среднего класса»,— самых разных профессий — от рабочих и фермеров до политиков, ученых, литераторов,— то сразу станет виден замысел: автор хочет представить всю Америку в ее отношении к одному из крупнейших событий столетия.

Столь же масштабен план «Блокадной книги». Да, время и место действия ограничены, да, испытания, выпавшие на долю ленинградцев, исключают аналогии, и все же за неотразимостью правды этого опыта вырастает нечто еще более значительное — опыт всей сражающейся страны. Война директора Архива Академии наук СССР Георгия Алексеевича Князева — «крохотный радиус», восемьсот метров, отделяющих его дом от здания Архива. Но через этот радиус «проходила наша Великая Отечественная, где гибли, стреляли, наступали, где было все».

Однако же сходный, сливающийся фон двух книг с предельной резкостью, повторяю, выявляет коренное различие пережитого, коренное различие душевного состояния. Чем питается мужество пятидесятилетнего ученого, чем питается поразительная, толстовская, как пишут авторы, совестливость пятнадцатилетнего мальчика Юры Рябинкина, который беспощадно казнит себя за лишнюю крошку съеденного? Осознанием или ощущением собственного страдания как частицы общенародного горя.

Это ощущение, как видно из представительной книги С. Теркела, нашим вчерашним союзникам чуждо. Они вели справедливую войну. Но народной эта война не стала. На наш слух покажутся дикими, кощунственными слова бухгалтера из Лос-Анджелеса: «Для тех из нас, кто не побывал на фронте, война стала довольно приятным временем. Она, в общем говоря, не вошла в наше сознание как война... внезапно мы убедились, что неплохо преуспеваем. По-настоящему мы не страдали». На наш слух, странными покажутся признания фронтовиков: они видели смерть, они-то страдали, но десятилетия словно стерли память, за их словами даже не мерцает смысл таких понятий, как народ, идеалы,

[2] См.: В. Быков. Великая академия — жизнь. «Вопросы литературы», 1975, № 1.

[3] Фрагменты из нее в «Иностранной литературе» публиковались (1985, № 5, 10) См. также статью Г. Злобина («ИЛ». 1985. № 11).

история, будущее, культура. Ни у кого из них не найдут отклика слова из дневника Г А. Князева: «О будущем лучше не думать... Будущего у нас нет... Но у родины будущее есть!» И никому не доступна температура ненависти, испытанной Юрой Рябинкиным: «Чтобы поскорее лопнула эта фашистская свинья, черт бы ее побрал». Тут, напротив некая склонность к пониманию: немцы, мол, тоже люди.

Но это не кощунство и не странность — это тоже правда И быть может, этой правдой психологически объясняется (хотя ничуть не оправдывается), что слишком много все же американцев сегодня пребывают в состоянии гражданской апатии, слишком легко поддаются разного рода пропагандистским трюкам.

Вернемся, впрочем к литературе.

Непримиримость правд ленинградского школьника и калифорнийского бухгалтера порождает — внутри очевидного сходства — различие творческих решений. Я говорю о мере авторского участия в повествовании С. Теркел не молчит. Уже в самом заглавии — «Хорошая война» — слышится и горечь, и ирония. и даже злость по отношению к соотечественникам, обнаруживающим глухоту к всемирной трагедии. Больше того, в предисловии автор дает своим чувствам выразиться непосредственно. Он пишет о том, что заставило его взяться за работу — случайный разговор с молодой женщиной, вполне интеллигентной, вполне преуспевающей, от которой он услышал: «Ничто не связывает меня со второй мировой войной. Она осталась в учебнике, не более. Битвы выигранные, битвы проигранные. Или костюмированные представления, наподобие тех, что показывают по телевидению. Это просто история из прошлого. Такая далекая, такая абстрактная».

Но далее С. Теркел оставляет нас наедине со своими собеседниками, никак не вмешиваясь в наш молчаливый диалог, предоставляя читателю самому все оценить и сделать выводы.

А авторы «Блокадной книги» становятся ее героями, обращаясь прямо и к тем, кто пережил блокаду, и к тем, кто лежит на Пискаревском кладбище, и к тем, кто читает их записи сегодня, сорок лет спустя.

Зачем? Ведь блокадные дневники и услышанные истории в комментариях не нуждаются, стороннее слово, даже предельно участливое, все равно будет заглушено неподдельным голосом самой боли. Но авторы ведь и не комментируют. Они рассуждают о совести, нравственности, интеллигентности, даже литературе, и нужно им это для того, чтобы довести до полной ясности изначально присущее их невыдуманным героям чувство сопричастности народному подвигу. В документе как таковом «радиус» Князева в масштабе всей страны все-таки не отразится — нужен еще взгляд извне, испытание войной завоеванным миром.

Разная действительность — возвращаюсь я к тому, о чем идет речь,— разная литература, даже если поначалу она кажется одинаковой.

Будем все время помнить об этом, будем это учитывать.

Но не утратим за естественными, неизбежными, поучительными расхождениями центростремительных тенденций. Мировая литература, в том числе мировая литература о войне,— это не просто механическое сцепление разнородных величин, это процесс непрерывных творческих контактов и встречных движений.

«...Речь идет о художественном «взрослении» литературы о войне, о ее приобщении к философско-нравственной проблематике, о выдвижении на первый план проблемы личности т. е. сосредоточенности на внутреннем мире человека, на объективных и субъективных факторах формирования его характера и сознания».

«Усиление внимания писателей к душевному состоянию человека в югославском романе в 50-е годы носило широкий характер».

«С конца 60-х годов личность в литературе в гораздо меньшей степени зависит от действительности — утверждается сила ее сознания. способного овладеть реальностью и предъявляющего к ней свой счет».

«Уроки истории снова выдвигают на первый план проблему моральной ответственности личности, фигуру человека, не желающего приспосабливаться к фашизму, к насилию, лжи».

Это я, как догадался читатель, цитирую авторов книг «Вторая мировая война...». Мог бы цитировать и далее, но приращение получится чисто количественное: речь все время идет об одном и том же. Об общей закономерности (допускающей, естественно, значительные отклонения) литературы, которая от документально точного воспроизведения событий идет к созданию личности человека, готового, как выражался еще Гегель, взять на себя все бремя поступка, пережить собственную судьбу как судьбу мировую, ощутить ответственность за настоящее и будущее.

Эта закономерность четко проступает в опыте нашей литературы, которая создала — от шолоховского Андрея Соколова до Степаниды Богатьки из повести В. Быкова «Знак беды» — чреду цельных, крупных характеров, прошедших суровую закалку войной.

Эта закономерность, всякий раз по-своему, проступает в литературах социалистических стран — можно вспомнить Руди Хагедорна, Давида Грота, Яна Ляха из хорошо знакомых нам романов М. В. Шульца «Мы не пыль на ветру», Г. Канта «Выходные данные», Е. Брошкевича «Долго и счастливо».

Та же закономерность обнаруживается и на путях движения критического реализма XX века.

Для литературы Запада потребность в незаурядной, сильной личности, превозмогающей историческую безбытность и осознающей себя субъектом действительности, имеет особый, роковой, можно сказать, характер.

«Куда девались все герои?» — вопрос английского критика, прозвучавший в 60-е годы, был лишен малейшего налета риторики. Он и сейчас сохраняет актуальность. Осматриваясь в нынешнем литературном пространстве, легко различить людей со стертыми приметами индивидуальности, людей, безвольно плывущих по течению, тех

самых «статистов в явленье проходном», которых на заре бунтарской молодости высмеивал Элиот. И совсем мало тех, кого можно было бы не в формально-литературном, но существенно-жизненном, поведенческом смысле назвать героями. Эту ситуацию с беспощадным реализмом запечатлел известный западногерманский прозаик З. Ленц. Персонажам его романа «Живой пример» предстоит составить хрестоматию для юношества: «Примеры из жизни — жизнь как пример». Однако, перебрав множество возможностей, они согласно приходят к убийственному итогу: «Вполне современный вдохновляющий пример — это исправно действующая ветряная мельница, каковая при достаточно сильном движении воздуха неустанно крутит у всех на глазах свои четыре крыла».

Было бы, разумеется, сильным преувеличением сказать, будто, уходя от скучного буржуазного быта, который она научилась изображать с большим мастерством, поворачиваясь в сторону героической действительности — войны, литература путем простой смены объекта решает все свои проблемы. Достаточно вновь вспомнить американский роман, достаточно вспомнить роман английский. Военный летчик Йоссариан («Пункт 22» Дж. Хеллера), рядовой Прюитт («Отныне и во веки веков» Дж. Джонса), лейтенант Хирн («Нагие и мертвые» Н. Мейлера), «нетипичный англичанин» Гай Краучбек (трилогия И. Во «Почетный меч») — какие же это герои? Скорее — жертвы косного, бездушного порядка.

И все-таки, если находила, если изображала в последние десятилетия литература критического реализма подлинно значительного, попросту говоря, положительного героя, то осуществлялось это едва ли не исключительно на «военном плацдарме».

Скажем, художник Нансен из другого романа З. Ленца — «Урок немецкого». Вот красноречивое опровержение теории «ветряных мельниц» — человек, который в самых жестоких условиях, презирая возможность расправы, бросая вызов системе фашистского угнетения, упорно продолжает отстаивать гражданскую и творческую независимость, достоинство личности.

Или крестьянин Пасифико из романа М. Делибеса «Войны отцов наших». Действие здесь, правда, отделено от событий национально-революционной войны испанского народа тремя десятилетиями, но ясно, как пишет И. Тертерян, что «война, не будучи непосредственно предметом изображения, определяет характеры и судьбы персонажей».

Можно обратиться к литературе страны, находящейся далеко в стороне от театров боевых действий,— к литературе Австралии. В частности, к роману К. Маккалоу «Непристойная одержимость» (странным образом творчество этой писательницы выпало из поля внимания авторов «Второй мировой войны...», ее имени нет ни в главе о литературе США, где сейчас живет К. Маккалоу, ни в главе о литературе Австралии, где она родилась, провела молодые годы, о людях и жизни которой пишет книги). Главное лицо этого романа[4] — медицинская сестра с «говорящим» именем Онор («честь») Лэнгтри. Медицинская сестра — по профессии, по службе. Но жизнь ее не служба — служение. Недаром говорят о героине, этом и впрямь «положительно прекрасном» человеке: «На ней отпечатались все шрамы мира... Она приняла на себя всю его боль»

Ряд примеров можно продолжить — обращаясь и к собственному читательскому опыту, и к наблюдениям коллег. Конечно, как и всегда, всякий раз ощущается специфика, общее, как говорят, проявляет себя в форме особенного. Но черты его не разрушают единства.

Большая дистанция отделяет живописца Нансена от быковского Сотникова — один сражается с фашизмом с оружием в руках и гибнет, другой — лишь стоически защищает суверенность собственного духа. И все-таки оба эти человека сделаны из одного материала, оба до конца и несгибаемо остаются верны нравственному долгу, оба — герои в высоком смысле этого понятия.

Большая дистанция разделяет доктора Таню Овсянникову из трилогии К. Симонова «Живые и мертвые» и Онор Лэнгтри из романа К. Маккалоу. Одна — в самом пекле войны, другая — за сотни миль от нее, в тыловом госпитале. Но их роднит полная самоотреченность, готовность до конца отдать себя людям.

Так встречаются персонажи разных книг. А за их перекличкой слышится продуктивный творческий диалог различных художественных направлений.

Он, этот диалог, завязывается и на других «этажах» литературного дома.

Снова прибегаю к цитированию.

«Во второй половине 50-х годов в литературе Польши... пробуждается тяга к эпическому освещению недавнего прошлого».

«Одно из важных последствий художественного развития темы войны — необыкновенное обострение в литературе интереса к истории народов Югославии».

«Как несомненное достоинство романов Д. Нолля и М. В. Шульца критика подчеркивала их широкую эпичность».

«Роман А. Лану соединяет в себе характерные тенденции современной французской антивоенной прозы: эволюцию от непосредственной передачи документального материала к обретению эпичности».

«Для послевоенного финского романа характерно тяготение к эпической масштабности».

Всего, впрочем, не перескажешь, потому прошу читателя поверить на слово, что в приведенных цитатах национальные адреса легко заменимы, вместо финского романа может быть роман итальянский, вместо польского — болгарский.

Откуда подобная однонаправленность художественных интересов? Конечно, в большой степени она объясняется стремлением реалистической литературы охватить войну во всей ее полноте. Это хорошо показано в статье К. Рехо «Набат Хиросимы». Японская военная проза, пишет автор, развивалась в полемике с национальной традицией «эгобеллетристики», где «автор не выходит за пределы собственного «я» и не соприкасается с жизнью других». Для изображения событий, меняющих судьбы

[4] Подробнее см. о нем в рецензии Н. Анастасьева в «ИЛ», 1984, № 9. *(Прим. ред.)*

мира, такая форма решительно не подходила, и на смену «эгобеллетристике» пришел «тотальный роман» (термин известного у нас писателя Хироси Нома) с его широкими панорамами, с его роевой стихией, попадая в которую индивид испытывает чувство нерушимой связи с массой.

Но дело не просто в том, что изображение войны в толстовском духе — как эпоса народной жизни — есть верный путь к познанию собственно войны.

Тут я возвращаюсь к тому, о чем бегло уже шла речь. Шесть военных лет произвели столь колоссальное потрясение в человеческом мироустройстве, в душах людей, что границы сразу разомкнулись и вперед и назад. Война — это не только война, это пред- и послевоенная действительность. Такое ощущение резко зафиксировано в лучшем романе английского прозаика Дж. Фаулза «Даниэл Мартин». «История XX века разделена глубокой пропастью. Границей. Родился ты до 1939 года или после». А в литературе ФРГ из него же, этого ощущения, выросло целое направление — проза «расчетов с прошлым».

Опять-таки не забудем о специфике — другим литературам, особенно западным, столь сильное, на грани взрыва, напряжение не свойственно. Даже Фаулз, что видно из приведенных слов, а еще более из всего повествовательного строя романа, не столько переживает, сколько рассуждает, отчасти остраненно.

Понятно также, что осознание войны в ее мировом значении вовсе не обязано выливаться в форму классического романа-эпопеи. Хотя самый факт ее повсеместного роста — от «Хвалы и славы» Я. Ивашкевича до трилогии норвежского писателя Юхана Боргена «Маленький лорд», «Темные источники», «Теперь ему не уйти», а там еще «Почетный меч» И. Во, «Табак» Д. Димова и т. д.,— самый этот факт должен бы насторожить тех из нас (говорю, в частности, и о себе), кто полагает, что фронт литературы XX века безраздельно занят «центростремительным» романом. Впрочем, повторяю, повествовательной нормы нет, эпопея действительно вполне может осуществляться как эпопея субъективная, когда резонатором вселенских сдвигов становится индивидуальная судьба. На памяти «Доктор Фаустус» Т. Манна, «Весна священная» А. Карпентьера — если говорить о произведениях крупнейших.

Но естественное и плодотворное многоголосье эстетических решений идет к стабильному центру: литература осваивает войну в системе человеческих отношений, в масштабе истории. Это показатель зрелости художественного реализма, который Освенцимом не был убит, наоборот, был укреплен.

И это же — основа сближения очень разных порой явлений. Многое смущает в последних романах Ю. Бондарева («Берег», «Выбор», «Игра») — прежде всего видимые волевые усилия авторской мысли и авторского слова, которые далеко не всегда находят опору в реальности человеческих характеров. Но сейчас меня интересует не мастерство исполнения, а существо замысла. Он кажется плодотворным, перспективным для литературы: диалог времен, взаимодействие пластов истории. Писатель Никитин, художник Васильев, кинорежиссер Крымов интересны лишь постольку, поскольку их нынешняя смятенность поверяется моральной высотой военного опыта. Чуть только эта связь ослабевает — остаются лишь нарочито форсированные душевные вибрации. Сами книги живут лишь постольку, поскольку удается показать, как нити прошлого тянутся в настоящее. Чуть только они рвутся — целое распадается на фрагменты (в «Игре» это особенно чувствуется).

Точно так же выстроен роман У. Стайрона «Выбор Софи». Действие протекает в трех временных плоскостях: первый послевоенный год, когда повествователь, молодой романист Стинго, вернувшись с тихоокеанского театра войны, обдумывает планы на будущее и встречается с бывшей узницей Освенцима Зофьей Завистовской; год 1943-й — описание лагерной Голгофы; наконец, наше время, с высоты которого герой обдумывает прошлое. Так создается крупное историческое полотно, и прочностью его внутренних сцеплений определяется творческое значение романа, который стал одним из самых ярких событий в американской литературе последних лет.

Стремление к обобщенному, философски-насыщенному изображению войны, к осознанию природы фашизма и сил преодоления зла породило в литературе еще одну общую склонность — она интенсивно осваивает форму притчи.

Прежде всего тут следует назвать, конечно, «Чуму» А. Камю и «Повелителя мух» У. Голдинга. Но сходным образом построены произведения румына Д. Р. Попеску («Скорбно Анастасия шла»), венгра Ф. Шанты («Пятая печать»), многие повести В. Быкова.

Словом, не просто творческие пристрастия того или другого писателя, но закономерно развивавшееся явление.

Правда, в данном случае, как мне представляется, общность, удерживаясь как общность, с особенной рельефностью обнаруживает значительное несходство составляющих ее величин. Сказываются особенности художественных методов.

В известной своей статье «Притча» (являющей в некотором роде развернутый комментарий к «Повелителю мух») Голдинг указал, что, при всей фантастичности изображенной в романе ситуации, он порожден вполне реальными событиями недавней истории. В другом месте (эти слова приводятся в статье А. Саруханян) писатель говорил: «Нацистская Германия... всего лишь особого рода болячка, от которой все мы страдаем. И вот я изобразил английских мальчиков и сказал: «Смотрите. Все это могло случиться и с вами». В сущности говоря, именно в этом — весь смысл книги». Так оно и есть. Истребительная война подростков, очутившихся на необитаемом острове,— это в немалой степени устрашающая метафора фашизма как идеологии и практики, базирующейся на нерассуждающем подчинении авторитету силы, исключающей из своей системы основные понятия нравственности.

В «Чуме» жанровый канон притчи, персонажи которой, «как правило, не имеют не только внешних черт, но и «характера», в

смысле замкнутой комбинации душевных свойств: они предстают... не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты этического выбора»[5], выдерживается еще более последовательно. Однако не зря, созидая нерасчлененный образ существования, автор обозначает время и место действия: алжирский городок Оран, 19... год.

И все же, все же... И у Голдинга, и у Камю реальность, конкретная, переживаемая реальность заставляет угадывать себя, лишь с величайшим трудом пробивается сквозь плотную оболочку экзистенциалистских философем. «Образом чумы я хочу передать атмосферу удушья, в которой все мы томились, атмосферу угрозы и изгнания, в которой мы жили. Одновременно я распространяю его значение на бытие в целом» — таково авторское разъяснение. Но, читая роман без подсказки или испытывая позднейший писательский комментарий материей текста, видишь, что «бытие в целом» все же растворяет в себе Оран 19... года.

Вот здесь и начинается принципиальная полемика художественных систем.

В статье П. Топера читаем: «Ситуация «Чумы» А. Камю — необоримая и неустранимая болезнь (фашизм, война и т. д.), неизвестно откуда пришедшая и неизвестно почему ушедшая,— невозможна в советской литературе». Это правильно, я бы только добавил: она, эта ситуация, невозможна вообще в литературе социалистического реализма с ее доверием к человеку, с ее опорой на осязаемую действительность, с ее представлением о мире как мире изменяемом.

Обращаясь к повестям В. Быкова, с появлением которых началась в нашей критике и поныне не иссякшая полемика о творческих возможностях притчи, означенную разницу хорошо можно увидеть. Его герои также несут бремя морального выбора, в его книгах действия, совершенно ничтожные порой по своему практическому результату («Дожить до рассвета»), насыщены смыслом всей войны, а значит — всей действительности. Притчи! Но — другие притчи. Притчи, прочно стоящие на фундаменте определенного исторического опыта, показанного в своей пластической осязаемости. И выбор другой. Между равнодушием, конформизмом и выполнением долга, борьбой доктор Рие героически выбирает борьбу. Только борьба эта изначально жертвенна: микроб чумы неуничтожим, крысы ушли из города, но в любой момент могут вернуться. Между предательством и смертью Сотников выбирает смерть, и знает, что ее ценой — выше которой не бывает — оплачивается Победа, а значит — жизнь.

Спор мировоззренческих позиций отзывается сдвигами формы: утрачивая часть традиционной абстрактности, «бесхарактерности», притча, то есть уже как бы не вполне притча[6], обнаруживает новые художественные ресурсы в плане освоения истории, ее переломных моментов.

Это не значит, разумеется, что внутренние преимущества творческого метода автоматически порождают безупречный результат. Василь Быков — первоклассный прозаик, но и он сталкивается с немалыми затруднениями, созидая образ, сочетающий в себе высокую степень универсальности с материальной телесностью. Об этом убедительно написал в свое время Л. Лазарев в очерке творчества белорусского писателя[7]. «Пятая печать» Ф. Шанты — сильное произведение, но ее автору не всегда удается примирить бытийно-философский и жизненно-конкретный планы повествования. На это указывает в статье о венгерской литературе О. Россиянов, подкрепляя свои суждения ссылкой на проницательного и чуткого С. Залыгина[8].

Но меня сейчас, как и прежде, интересуют не сами эти трудности и даже не то, насколько писателям удалось с ними сладить. Исключительно важно само творческое задание: общечеловеческое содержание доказывает свою человечность лишь в постоянном контакте с непосредственной исторической реальностью.

У нас, как легко заметить, речь все время идет о литературе, которая лишь по сложившейся и не очень точной терминологии называется военной. На самом же деле, конечно,— антивоенной, антифашистской. Мы видим, что во многом ее линии сходятся, во многом — позиционно расходятся. Об этих схождениях-расхождениях можно было бы, развивая положения, четко обозначенные в статье П. Топера, рассуждать и далее. Но это потребовало бы слишком много места.

Так что, заключая заметки, хочу еще раз сказать о главном — о единстве мировой антивоенной литературы, о том, что в современных условиях становится выше любых расхождений, сколь бы значительны они ни были.

Надо говорить об историческом пессимизме как мировоззренческой основе французского экзистенциалистского романа.

Надо говорить об идейной ограниченности американского романа о войне.

Надо говорить о слабостях «репортажного реализма», характерного для литературы ФРГ первых послевоенных лет: «натуралистическая передача ужасов войны может оглушить читателя, но она не способствует осознанию реальных исторических взаимосвязей» (И. Млечина).

Словом, нужно критическое осмысление такой концепции гуманизма, которая, осуществляясь художественно, слишком смутно видит, а иногда не видит вовсе, «третью действительность» — будущее. Но столь же важно помнить о том, что это концепция *гуманизма*, иными словами, концепция, противостоящая идеям и практике человеконенавистничества, позиции исторического беспамятства, которая в конце XX века может обернуться тотальным истреблением всего живого. В этом смысле писатели-гуманисты традиционной, то есть буржуазной, «выучки» становятся союзниками пи-

[5] Краткая литературная энциклопедия, т. 6. М., 1971, с. 21.

[6] Быть может, это внутреннее перерождение имел в виду писатель, недоумевая по поводу «придуманной на ходу приверженности автора к жанру притчи» (В. Быков. Великая академия — жизнь. «Вопросы литературы», 1975, № 1, с. 139).

[7] См.: Л. Лазарев. Василь Быков. М., 1979, с. 182—183.

[8] См.: С. Залыгин. От человека к человечеству: заметки читателя венгерской прозы. «Литературная газета», 1982, 2 июня.

сателей, исповедующих социалистические, то есть подлинно гуманистические, идеалы.

Мы рассуждаем о литературе, ее достоинствах и утратах, но всегда ли отдаем себе отчет в том, что не только, а может быть, не столько те книги, о которых мы худо ли, хорошо ли пишем, составляют духовную пищу американцев, англичан, итальянцев и т. д.? Боюсь, что нет, не всегда. Разумеется, теоретически мы отдаем себе отчет в том, сколь серьезную угрозу таит в себе индустрия массовой культуры, покушающейся на самые основы человечности, беззастенчиво подменяющей ценности духа «идеалами» вульгарного практицизма и грубой силы. «Сама жизнь ставит вопрос о сохранении культуры, о защите ее от буржуазного разложения, от вандализации. Это — одна из общечеловеческих задач»,— сказано в Политическом отчете ЦК КПСС XXVII съезду партии. Нельзя сказать, будто литературоведение и искусствознание не участвуют в решении этой важнейшей задачи. Но чаще всего, к сожалению, получается так, что наша критическая мысль, осваивающая зарубежный опыт, движется как бы двумя параллельными потоками: в одном искусство как искусство, в другом — «китч». Понятно, что реальная картина таким образом невольно деформируется, ведь, оказывая угнетающее воздействие на духовный мир людей, сея зерна вражды и ненависти между народами, массовая культура бросает вызов реализму в искусстве, подменяет правду истории реакционной фальшью. Увы, усилия ее не остаются тщетными — огромный кассовый успех фильмов типа «Рэмбо», огромные тиражи беллетристических сочинений типа откровенно милитаристского «Мятежа на «Кейне» Г. Вука — это показатель.

К чести авторов «Второй мировой войны...» следует сказать, что инерцию замкнутого рассмотрения явлений культуры и антикультуры они преодолевают.

И. Млечина пишет не только о прозе В. Кёппена, Г. Бёля, А. Андерша, Г. Грасса, но и о так называемой «солдатской» литературе, воспевающей «рыцарей» минувшей войны. Романы В. Хайнриха, Х. Конзалика не искусство, убийственный примитив, рассчитанный на самое неразвитое сознание. Тем не менее эти книги, по свидетельству автора, до сих пор пользуются спросом «на внутреннем рынке, торгующем идеологией».

А. Зверев пишет не только о Хеллере и Воннегуте, Стайроне и Джонсе, но также о политическом романе на темы второй мировой войны (тот же Вук, затем Р. Пауэлл, некоторые другие) — о беллетристике, «настоянной на шовинистических идеалах панамериканизма и служащей реакционным целям».

К. Рехо показывает, что набат Хиросимы отозвался в литературе не только критикой японского милитаризма, но и воинственными идеями реванша. Едва ли не буквально воспроизводя давнее, очень давнее высказывание лидера итальянского футуризма Ф. Маринетти («Война — социальная гигиена мира»), иные современники повторяют: «Война — здоровье мира», «Война оздоровляет искусство» и проч.

Так создается безыллюзорный облик литературы, так, побеждая соблазны избирательности, критическое зрение обретает глубину.

Подобный синтетический подход продуктивен применительно к любому проблемно-тематическому слою творческой деятельности. Но коль скоро речь идет о военной теме, он обретает особую значимость.

Почему, зададимся еще раз вопросом, эта тема не уходит из литературы? Наверное, все-таки не просто потому, что слишком жива еще память о пережитом кошмаре. Но и потому, что на критическом рубеже истории, когда понятие «гибель человечества» утрачивает метафорический смысл, остался, по существу, только один вопрос: война, которая станет последней, или мир?

Этот вопрос стоит перед народами, испытывая их волю, моральную выносливость, веру в бессмертие. Стоит он, во всей неотложности, и перед литературой. «С кем вы, мастера культуры?» — когда это было сказано? Сегодня уклониться от ответа еще менее возможно, чем пятьдесят лет назад, в горьковские времена.

Будем помнить о том, что милитаризм духа питается не только политическими доктринами и военными программами типа «стратегической оборонной инициативы», но также беллетристическими и киносочинениями людей, мыслящих, как сказано в интервью М. С. Горбачева газете «Юманите», категориями каменного века.

Но будем также помнить о вековых традициях прогрессивной культуры. С какими бы трудностями она сегодня ни сталкивалась, можно с уверенностью говорить о том, что чувство ответственности за будущее у нее не притупилось. Как была, так и остается она совестью народов, совестью поколений, не желающих оставлять по себе безлюдную пустыню атомного пепла.

Мы живем в Год мира.

Верим в то, что он растянется в необозримую перспективу.

Не в последнюю очередь эта вера укрепляется неиссякшим и неиссякаемым пафосом гуманизма, который несет в своей кровеносной системе мировое искусство.

◆

Критика

НИКОЛА ПЕТЕВ

«...И ВСЕ ДОЛГИ И ПРАЗДНИКИ...»

Заметки о молодой болгарской поэзии

Болгарская поэзия всегда была сильна революционностью, связью с народом, лучшим ее образцам неизменно свойственна политическая зрелость. И самое молодое поколение наших поэтов свято хранит верность этим принципам.

Вглядываясь в произведения так называемого апрельского поколения, заявившего о себе в 60-е годы, нельзя не заметить в них какую-то особую — благородную — зависть к поэтическим предшественникам — поколению 40-х годов, на долю которого выпало с оружием в руках участвовать в грандиозной схватке с фашизмом, с бездуховностью его идеологии.

Поколения, идущие вслед за апрельским, испытывают аналогичное чувство по отношению к тем, кому довелось быть в гуще борьбы за преодоление догматизма, за восстановление ленинских норм жизни нашего социалистического общества. Я убежден, что и грядущие поколения будут завидовать сегодняшним тридцатилетним поэтам, их бескомпромиссной борьбе за сознание каждого человека, за формирование нового мировоззрения, за повышение социальной ответственности каждого.

Есть анекдот о лучшем охотнике на слонов в Африке: когда его спросили, как удалось ему заслужить такую высокую оценку, он ответил, что приехал в Африку искать самый красивый цветок и самую красивую бабочку, но потерял очки... и пришлось заняться слонами. Мне кажется, что поэзия, потерявшая «общественное зрение», революционный запал, оторвавшаяся от народных корней, не поднимается выше самых малозначительных пластов жизни.

Гражданская позиция поэта — по сути его политическая позиция. Какова она — исключительно важно как для самого молодого автора, поскольку именно гражданская позиция определяет направление развития его индивидуального таланта, так и для литературно-критической оценки его творчества. Наш известный беллетрист Драгомир Асенов говорил, что для определения достоинств произведения небезразлично, какие проблемы выносятся на поверхность, каков круг героев, где обнаруживаются конфликты, каковы обобщения и выводы. Если в произведении нет четко выраженной авторской позиции, как бы ловко в стилевом отношении ни было оно «слеплено», его «сердечная недостаточность» видна сразу.

Хотел бы пояснить, что, говоря о гражданской позиции, я имею в виду передовое, ищущее и открывающее новые художественные формы и законы социальное мышление. Вот почему, когда такая позиция налицо, могут быть подчас прощены отдельные профессиональные «недоделки», отсутствие же ее очень скоро выдает духовную бедность автора. Конечно, это вовсе не означает, что следует поощрять непрофессионализм. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, социалистической литературе необходимы и мастерство, и новаторская сила, способные овладеть душами и умами человечества. Погибший во время Великой Отечественной войны советский поэт М. Кульчицкий когда-то написал, что следовало бы декретом правительства запретить писать о Родине бездарные стихи.

Я испытываю удовлетворение оттого, что молодые поэты, о которых пишу в этой статье, не «лжеписатели», а активные фигуры нашей литературной жизни, что общественные интересы в центре их твор-

НИКОЛА ПЕТЕВ (род. в 1951 г.)
Болгарский критик. Автор ряда сборников статей, в том числе «Смена-81», «Здесь, во времени» (1985) и др.
Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

ческого внимания. Пусть их размышления о путях социального развития иной раз и не совсем бесспорны, пусть не всегда еще зрело их профессиональное мастерство, но честность в отстаивании своей позиции объединяет их и подкупает читателя.

Громогласный пафос поэзии 50-х годов не свойствен сегодняшним молодым. Как бы отстраняясь от него и, напротив, впитав традиции апрельского поколения, они интерпретируют тему родины в духе глубоких, ответственных раздумий. Видимо, поэтому тема эта нередко воплощается в описании родного края или детского воспоминания как символов Родины. «Правда состоит в том, что Болгария — отечество для всех нас, — пишет Йордан Радичков,— но я думаю, что кроме того у каждого человека есть собственное маленькое отечество — его родной край, дом, с порога которого он взглянул на мир, двор, где сохнет белье, его мать, собирающая в сумерках высохшее белье...» Молодые поэты тоже преданы своим «малым отечествам», сознавая, что вместе они и есть наша общая Родина. Марин Балтов, например, так заключает свое стихотворное размышление на эту тему:

Как тебя мне постигнуть,
моя истина южная?
Вновь к тебе возвращаюсь,
необъятная, нужная[1].

(Из стихотворения «Фракия»)

Сквозь призму родного края молодая поэзия воспринимает нравственную сущность родины в целом. Кстати, концепция «малой родины», которую исповедовали в свое время Блок и Есенин, как отмечает, например, советский критик Ал. Михайлов, находит выражение и в стихах многих талантливых современных советских поэтов.

Вовсе не случайно в связи с темой гражданственности молодой болгарской поэзии мы обращаемся к понятию патриотизма и с полным правом говорим о социалистическом патриотизме, ибо для нас любовь к родине неотделима от преданности новому общественному строю и приобретает общенародный характер.

Подчеркнем: в нашей поэзии, особенно в молодой, отражена неразрывная связь социалистического патриотизма с интернационализмом. Тема любви к родине, преданности ей — одновременно и классическая и современная, и не только потому, что поэты — душа отечества, как говорил Аполлинер, и эта душа открыта народу, но и потому, что родина означает наше прошлое, сегодняшний день и будущее. Молодая болгарская поэзия разрабатывает патриотическую тему, усваивая опыт национальной и всей социалистической классики, ищет новые пути в осмыслении нравственности и духовного мира сегодняшнего гражданина нашей родины.

Гражданское чувство побуждает молодых поэтов обращаться к революционной истории страны, пытаться осмыслить прошлые битвы и страдания, самопожертвование и подвиг народа. В прошлом Болгарии есть многое, что взывает к патриотическому чувству читателя, обостряет его эмоциональное восприятие, воспитывает. Наше преклонение перед подвигом народа, перед памятью вечно живых рождает строгую требовательность к самим себе:

И на пороге тот болгарский праздник,
в который
убедимся мы опять,
что мертвых большинство,
что мы несем
в себе
народа своего святую память
и все долги и праздники...

(Недялко Славов)

Тот же мотив преклонения перед героями прошлого, продолжения их революционного дела мы встречаем у Любомира Николова в сборнике «Приливом призванные». Позволю себе процитировать его стихотворение «Те, кто повесил Бояна Чоноса».

Заставите вы плакать даже речку,
заботливо намыливая петлю,
и матерей красивых наших
заставите вы плакать,
ведь они
останутся с утробами пустыми.
А те, зачатые когда-то ими,
принявшие обличие
Свободы,
людскими названные именами,
в лохмотьях, в тряпках —
в том, что бог послал,
висят распятые...
Повешенные!
А вы живете — неизменные
в пространстве
и времени —
в своих домах удобных,
вы руки потираете:
и нынче
парней для виселиц нетрудно отыскать.
Я сомневаюсь даже в том, что вы
умрете —
вы, дети крыс, наследники кротов.
А памятник, взошедший над тюрьмою?
Я знаю, вы подроете его
своими мордами
и выйдете наружу.
И хоть я не знаком с породой вашей —
из нор
вытаскиваю вас я за хвосты.
О, сколько змей длиннющих!
По ночам
я дверь свою обматываю ими...

В этом стихотворении — ясная авторская позиция, интересное образное решение суда над убийцами, над фашизмом.

Зрелость мысли мы видим и в стремлении молодых поэтов показать человека не только как объект истории, но и как сознательного ее творца. С этим связано понятие героизма в сегодняшней жизни.

Идея непрерывности исторического пути, осмысление истории и отражение ее в современности занимают большое место в произведениях молодых поэтов, являясь яркой, сильной стороной их творчества, продолжением лучших традиций болгарской литературы. Борьба за национальную независимость, антифашистское сопротивление — не случайные темы в творчестве поэтов, о которых идет речь. Они — важный критерий их нравственной зрелости, и это позволяет нам провести параллель между нынешним молодым поколением и теми, кто боролся, кто погиб, побеждая. О героизме погибших пишут

[1] Переводы стихов молодых болгарских поэтов из сборников последних лет выполнены специально для этой статьи Лориной Дымовой. *(Прим. ред.)*

Ивайло Балабанов, Тодор Чонов, Марин Балтов, Йордан Ганчовски.

И все же гражданская позиция нынешних молодых яснее всего проявляется в размышлениях о сегодняшнем дне. Правда, иные из них идут по пути лакировки, раскрашивая действительность розовой краской. Это самый легкий, но и самый нечестный путь, предательский с точки зрения традиций прогрессивной болгарской поэзии. Другой путь — смелое проникновение в жизнь, неподвластность конформистским тенденциям, открытый и глубокий взгляд как на завоевания, так и на несовершенства нашего общества.

Говоря о значении Апрельского пленума БКП, мы обязательно должны иметь в виду, что он нацелил нас на усиление роли критики. Он привнес в нашу жизнь дух перемен, требование перестройки и окружающей жизни, и психологии каждого человека. В критических произведениях молодых поэтов живет несокрушимый оптимизм, обусловленный верой в идеалы социализма. Произведения, в которых смело и остро критически исследуются «больные» проблемы, служат гораздо больше пользе общества, чем те, в которых негативные явления обходятся стороной. Такая критичность несет в себе заряд созидания. Я хотел бы для иллюстрации привести стихотворение Ивана Методиева «Восхваление моего отца»:

Разве был мой отец спекулянтом,
чтобы я был богат?
Разве он, говорю, продавал по углам
семечки, доллары, тряпки
или имущество вдов перекупал,
чтобы я был богат?
Разве прикидывался он бедняком,
чтобы я был богат?
Может быть, говорю, выпрашивал он
чаевые,
чтобы взятки давать? Или мысли пустые
на полные карманы менял?
Может быть, дирижировал он
концертом для гайды и скрипки,
чтобы я был богат?
Или навязывал кому-нибудь
по-христиански
половину своей нищеты?
Или во имя правды
клеветал на других?
Разве, говорю, верил он
чему-нибудь больше, чем человеческой
вере,
чтобы я был богат?
Нет у него ничего, кроме собственных
рук.
Он беден, как солнце,— лишь свет
принадлежит ему.

Таков протест молодого поэта против проявлений пошлости, имеющих место как издержки быстрого социального развития. Эта проблема волнует и Марина Балтова, бескомпромиссно заявляющего: «Для всех, мечты свои предавших, голосовал бы я за смертный приговор!»

Исподволь, ненавязчиво, сквозь характерные черты лирического героя проступают идейные, нравственные убеждения молодых авторов. Словно из разноцветных камешков складывают они мозаичный портрет героя нашего времени, нашего современника, стремящегося ускорить процесс перемен, «подстегнуть» время. В их поэзии речь идет о молодом сверстнике, о его проблемах, находящих и не находящих пока решения, о его месте в жизни, об осуществившихся и неосуществившихся мечтах, о победе нравственности — а порой и о «нокдауне», в который отправляет его жизнь, о наступлении алчной посредственности, о мещанстве — и о стремлении к полету. Вот круг тем, поднимаемых в поэтических дебютах этого года. Молодой герой стремится быть сильным и непреклонным. Паруш Парушев в книге «Остров» и одноименном стихотворении попытался это выразить так:

Он дрожит от холода, один средь хаоса,
и трескаются кости,
и ни на что другое не хватает сил —
лишь стиснуть зубы...

Не нужно видеть в этом апологию индивидуализма. Это скорее ответная реакция на обывательский конформизм, это желание действенно отстаивать чистоту идей и истинных жизненных ценностей.

Основное внимание в произведениях упомянутых авторов нацелено на нравственность современника. Иначе и быть не может в то время, когда усилия общества устремлены к воспитанию новой, гармоничной личности, личности социалистической. Поэты берут на себя часть этих общественных усилий. Как-то, говоря о своей книге, Паруш Парушев сказал: «За всем этим я пытался провести мысль об устойчивости, но и об изменчивости ценностей, среди которых живет человек в наше быстротечное время».

Гражданская позиция молодых поэтов проявляется и в авторской оценке своих героев. Это либо сочувствие, либо морально-этический приговор. У тех поэтов, которых можно назвать наиболее импульсивными, сочувствие и приговор порой как бы «спекаются» воедино, и из этого сплава вырастает взывающая к уму и сердцу читателя тема ответственности. Стихотворение «Моему сыну» из сборника «Огонь на берегу» Валери Станкова наполнено исключительным драматизмом, вобравшим в себя исторический опыт человечества, опыт социального развития. Поэт напоминает об ответственности, о долге каждого человека перед обществом:

Словно в пустыне безмерной
рыжие пятна зари...
Тысяча лет мне, наверно,
а тебе всего-навсего три.
Ты весь из звуков и света,
а во мне — тишина...
Ты на свете живешь — и это
большая моя вина.
Сядь-ка с отцом своим рядом —
пусть он и плох и хорош.
Сын, я скажу тебе правду —
не нужна нам с тобою ложь.
Часто уже спотыкается
сердце мое на ходу...
Как без меня ты останешься?
Как без тебя я уйду?
Словно в песках бесконечных
рыжие пятна зари.
Тысяча лет моих вечных
Ложатся на твои три!

Едва ли какой-либо другой период человеческой истории породил столь разноплановые проблемы в жизни и духовном мире человека, как последняя половина XX века. Отчуждение, вызванное немилосердным, но вместе с тем желанным наступлением технической революции, заставляет нас вновь обратиться к корням, к здоровому нравственному началу в че-

ловеке. В статье о творчестве Ивана Методиева Димитр Танев очень точно заметил: «Говоря другими словами, он вводит в действие именно культивированные, обогащенные, отшлифованные ощущения современного человека и, не нанося ущерба легкости, осязаемости, чистоте внешнего опоэтизированного пласта, нередко насыщает свои маленькие стихотворные композиции ассоциативной силой, социальным и нравственным смыслом, тонкой иронией, подлинным волнением по поводу судьбы самого насущного: земли, дерева с птицей, пшеничного колоса, капли воды, листа клевера». В этом взгляде на будничные, простые явления жизни — исток нравственности лирического героя молодой болгарской поэзии. В нем — стремление вновь обрести те исконные человеческие устои, которые в какой-то мере обесценены технизацией и рационализмом. Подобные мотивы звучат в стихах Недялко Славова, Веселена Сариева, Червенко Крумова.

Молодые болгарские поэты отстаивают ту нравственность и особую моральную силу, которую мы отождествляем с высоким понятием — нравственность народа. Требование именно такой нравственности звучит в поэме Владимира Левчева «Взрываю самого себя»: «Пусть люди станут равными по делам!» В недавнем сборнике Марина Балтова «Конец белых полей» сильное впечатление производят стихотворения «Снова проснулись», «Оптимистические поиски самого себя», «Суд» — их герой, преодолевая пути-перепутья сегодняшней социальной действительности, кровно заинтересованно всматривается в нее, задает себе вопросы о нравственных категориях времени (так опосредованно создается психологический портрет нашего молодого современника), не закрывает глаза на недостатки, которые иные предпочитают не замечать. Он верен правде и, безвинный («я жил без вины... и живу все еще»), несет в себе «свою» и «чужую» вину.

Порой мы говорим о пессимистических настроениях у молодых, иногда небезосновательно, но все же нельзя не заметить их глубинного, выстраданного оптимизма. Драматизм вступления в творческую жизнь определяет гражданскую активность. Стихотворение Марина Балтова «Оптимистические поиски самого себя», написанное на эту тему, яркостью, парадоксальностью образного строя напоминает молодого Любомира Левчева:

Прощайте,
мерцающие,
таинственные слова!
Прощай,
небо мое болезненное!
Прощайте,
умные, предусмотрительные
скучные боги,
битвы —
прощайте!
И добро пожаловать,
ветер,
огонь,
свет
и дорога.
Есть еще время!
Времени много
вину свою
заслужить...

Прощание с иллюзиями, с заученными, но не пропущенными через собственный жизненный опыт истинами, обращение к сюжетам, в которых социальная действительность выступает как существенная черта бытия, мы видим в сборниках «Простые чувства» и «Пейзажи души» Ивана Методиева, в «Нежной машине» Добромира Тонева, в «Прикосновении света» Ивана Странджева, в «Шестнадцати стихотворениях» Владимира Левчева, в «Огне, вспоминающем об искре» Румена Леонидова. Эти книги последних лет интересны открытием исключительно остро чувствующего лирического героя. Не он ли наш современник — легко ранимый, пребывающий в напряжении чувств? Не он ли — та самая личность, которую стремится постичь общество, та лакмусовая бумажка, которая позволяет отличить правду от неправды, лжи и соответственно радостно или тревожно реагирует на соприкосновение с жизнью? Не он ли — одно из самых больших завоеваний послеапрельского времени?

Со страниц сборников молодых перед нами встает их сверстник, находящийся перед серьезным нравственным выбором, стремящийся к социальной ответственности (правда, пока больше занимающийся самоанализом, чем действующий — но, может быть, это подготовка к действию?), личность, заряженная чувством общественной справедливости.

И, быть может, именно он предвестник настоящего героя, которому выпало счастье и труд изменять сегодня мир?

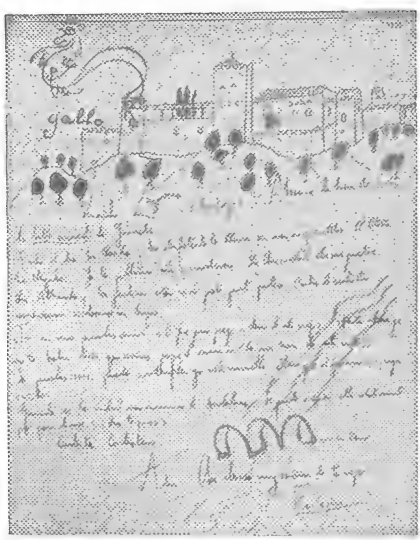
Перевод с болгарского
МАРИНЫ КОЛЕВОЙ

◆

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

КАК ПОЕТ ГОРОД ОТ НОЯБРЯ ДО НОЯБРЯ

Перевод с испанского, вступление и комментарии А. ГЕЛЕСКУЛА



«Я вспоминаю Гранаду, как вспоминают умершую невесту, как вспоминают солнечный луч — издалека, из детства»,— тоскует в письме двадцатилетний поэт, еще не напечатавший ни единой строки. Уроженец Пастушьего Ключа, глухого селения гранадской долины, Гарсиа Лорка как поэт родился в Гранаде и навсегда сохранил к ней сыновнее чувство. «Слишком много дала мне Гранада, одарив меня своим светом и болью,— это ее кровь, ее поэзия и тайна в моих жилах... Если однажды я стану знаменитым, половина моей славы должна принадлежать городу, который вылепил меня таким, как есть,— неисправимым поэтом»,— говорил он в 1929 году, уже став знаменитым. А через год писал из Америки друзьям: «Я изголодался по родной земле... Так хотелось бы спеть вам старинную песню!»

Из гранадского детства он вынес и те два талисмана, что потом тайно вели и хранили его поэзию. Народные песни и народный театр марионеток.

Драматургом и режиссером Гарсиа Лорка стал, едва научившись ходить, в детстве у него уже был театр — свой, но традиционно народный, кукольный. Позже молодой музыкант Лорка собирал у себя уличную детвору — разносчиков газет, чистильщиков,— и в родительской гостиной балаганили марионетки, а в антракте малыши философствовали: «Куклы живые, а такие маленькие — почему же они не растут?» Но при этом звучала, впервые в Испании, музыка Стравинского, а исполнял ее, скрытый за занавешенным роялем, другой великий гранадец, тогда уже прославленный Мануэль де Фалья. Все это вместе — простота, радушие и высочайшая культура — было полностью в духе Лорки и в духе Гранады. Свою детскую любовь поэт пронес через всю жизнь — сочинял, ставил, а незадолго до конца, импровизируя пролог к очередному кукольному балагану, обещал испанскому Петрушке — Дону Кристобалю: «Я люблю тебя с детства, а когда состарюсь, мы сдружимся насовсем и пойдем потешать тех, кого не пускают в театры».

Музыкантом Гарсиа Лорка стал раньше, чем поэтом, но много раньше, еще до того, как родители перебрались в город, завладела им поэзия испанской песни. Народная традиция была и семейной; в домашнем кругу Федерико обычно пел, а гитару брала младшая из сестер. Ни тогда, ни позже он не переоценивал свой голос, но песня была у него в крови. Один его дед сам слагал песни, другой — виртуозно владел народными инструментами и даже — по тем временам редкость — концертировал однажды в Париже.

Неудивительно, что в 1920 году, когда ученый Менендес Пидаль, собирая народные романсы, навестил Гранаду, его проводником стал будущий поэт. Оказалось, до этого юноши фольклористы и не подозревали, что древнейшие испанские баллады сохранились у гранадских цыган. Лорка повел ученого на холмистую окраину, в Альбайсин — старинный квартал, населенный беднотой, рабочими, ремесленниками (когда-то там жила мусульманская знать, и само название, арабское, родственно русскому «Сокольники»). В архиве ученого остался автограф поэта — текст ныне знаменитого романса «Херинельдо, Херинельдо, паж любимый короля», записанного в мавританском лабиринте Альбайсина. Еще выше, за чертой города, в цыганских пе-

щерах на склонах Сакро-Монте — Святой Горы (в лекции «Как поет город...» Лорка вернул ей арабское имя — Масличный Холм) они услышали романс о библейской Фамари. Через несколько лет эта народная тема, преображенная гением Лорки, завершила его «Цыганское романсеро», да и весь путь к пещерному городу и дальше, к часовне Михаила-архангела на Масличном Холме, отлился в чеканные строфы. Быть может, и сам замысел книги смутно возник еще тогда.

Но литературным планам предшествовал иной, самый давний — издание фольклорного сборника «Песни гранадской долины». Лорка задумал его в восемнадцать лет и вынашивал всю жизнь. В 30-е годы он выпустил ряд пластинок, а несколько песен аранжировал и тем ввел в мировой вокальный репертуар. Больше того, он искал для песен пластическое воплощение и пробовал ставить их на сцене («как делают в России»)[1]. Видимо, это было заветным желанием, и лекция «Как поет город...» — по сути еще одна попытка песенной сценографии,— быть может, репетиция неосуществленного замысла. Но ни состариться, ни бродить с марионетками и ставить песни поэту не было суждено, а рукопись лекции полвека пролежала в семейном архиве. Лишь в позапрошлом году ее опубликовали в Испании, и то не полностью — две страницы ее утрачены.

В оборванной и зачеркнутой автором фразе, с которой начинается уцелевший лист: «...ни литература, ни эпика; важно вызволить и понять человеческий голос, который горюет, или шутит, или говорит о быстротечном, о том, что не смеют доверить мраморным скрижалям»,— пожалуй, краткий смысл всей лекции. Поэтому она доверительней по тону и проще по замыслу, чем другие выступления Лорки. И поэтому же с невольной грустью воображаешь ее не на бумаге, а в звукозаписи. Самой лекцией, впервые прочитанной, или скорее пропетой, 29 октября 1933 года в Буэнос-Айресе, поэт, видимо, не был недоволен и повторял ее трижды, в последний раз — в Барселоне, в канун рокового 1936 года.

«В Гранаде мне спокойно и чуть печально,— признавался Лорка в письмах.— Я в мире с самим собой». Такова и тональность его лекции; лишь упоминание о бомбах и летних беспорядках звучит диссонансом. Летом 1932 года, которое Лорка провел дома, в Севилье вспыхнул военный мятеж генерала Санхурхо. Но в тот раз рабочие спасли Республику, разоружив военных. Через четыре года заговор повторился (покойного Санхурхо сменил Франко). Исход оказался зловещим и для Андалусии, и для всей страны.

Рабочий Альбайсин взялся за оружие, наполовину самодельное, а по его мавританским дворикам ударила артиллерия. Город захватили мятежники. Два года в маленькой Гранаде длились массовые расстрелы (скупые официальные списки казненных обрываются ноябрем 1937 года). «Гранада научила меня быть с теми, кого преследуют»,— говорил поэт. С ними он и остался — в братской могиле близ Виснара.

Но все три военных года держались горные городки гранадской округи (и тот самый Гуадис, где совсем еще молодой Лорка собирал колыбельные песни,— гуадисской колыбельной начинается его трагическая «Йерма»). Отрезанные и окруженные в глубоком вражеском тылу, гранадские горцы выстояли до конца войны[2] и сложили оружие последними. В любви к родному краю Федерико Гарсиа Лорка не обманулся — земля и люди были достойны своего поэта.

---

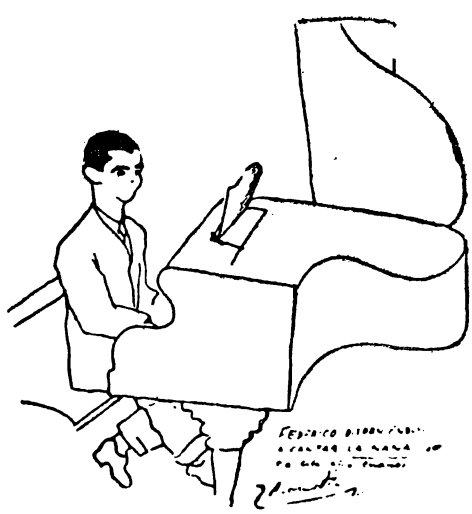
[1] См. «ИЛ», 1985, № 7. Ф. Гарсиа Лорка. «Четыре интервью».

[2] Национально-революционной войны испанского народа 1936—1939 гг. (Прим. ред.)

Дамы и господа!

Как ребенок тянет гостя к матери, околдованный ее праздничной нарядностью, так и я хочу показать вам мой родной город. Мою Гранаду. Это немыслимо без музыки — и мне придется петь, а я не мастер. Я пою как поэт, а вернее — как любой погонщик волов. Голос у меня скудный и горло не соловьиное. И не удивляйтесь, если я, как говорится, пущу петуха. Но вероломное пернатое, смею заверить, не будет той зловредной птицей, что когтит теноров и потрошит их лавры, и если вылетит, я сумею заколдовать его и серебряным петушком посажу на плечо девушки, самой грустной в этом зале.

Коренной гранадец, если он вернулся издалека и в пути ослеп, определит время года по тому, что поют на улицах.



Федерико Гарсиа Лорка на своей лекции. 1928 г.
Рис. испанского художника Хосе Морено Вильи.

Давайте и мы пройдемся вслепую. Оставим наши глаза на ледяном блюде, дабы впредь не кичилась Санта Лусия[3].

Да и с какой стати при встрече с городом полагаться лишь на глаза, а не на вкус или чутье? Медовый пряник с орехами, и миндальное пирожное, и ванильный бисквит из Лаухара скажут о Гранаде не меньше, чем изразец или мавританская арка, а толедский марципан с его чудовищной оторочкой из бисерного аниса и слив, изобретенный поваром Карла V, выдает германскую сущность императора больше, чем его рыжая бородка. И если собор навсегда пригвожден к той старине, чей стертый облик вечен и недоступен сегодняшнему дню, то песенка перелетает к нам одним прыжком, живая и трепетная, как лягушонок, и свежесть ее печалей и радостей — не меньшее чудо, чем проросшее зернышко из гробницы фараона. Итак, давайте вслушаемся в Гранаду... *(В рукописи утрачена страница.— А. Г.)*

У года, как известно, четыре времени — зима, весна, лето и осень.

У Гранады — две реки, восемьдесят колоколен, четыре тысячи водостоков, пятьдесят родников, тысяча один фонтан и сто тысяч жителей. Кроме того, фабрика струнных инструментов и магазин, где торгуют роялями и губными гармошками, но главное — бубнами. И наконец, места отдохновения, два для песен — Салон и Альгамбра[4] и одно для слез — Аллея Грусти[5], квинтэссенция европейского романтизма, а в довершение — целое войско пиротехников, которые строят свои потешные башни в зеркальной манере Львиного дворика, где стоячая геометрия воды заражена львиной яростью.

Горная гряда, то скальная, то снежная, то призрачно-зеленая, высится над песнями — и, бессильные взлететь, они падают на черепичные кровли, сгорают в лучах или задыхаются в сухих колосьях июля.

Эти песни — лицо города, и по ним узнается его пульс.

Приближаешься, и первое, что улавливаешь,— запах донника и мяты, запах трав, истоптанных копытами мулов, коней и волов, разбредшихся по всей гранадской долине. Второе — звук воды. Не шальной воды, бегущей куда вздумается. Не шумливой, но ритмичной воды, мерной, точной, спрямленной геометрическим руслом и сверенной с нуждами полива. Той, что поит и поет в долине, и той, что страдает и стонет, полная крошечных светлых скрипок, там наверху, в садах Хенералифе[6].

В ней нет игры. Игра — для Версаля, где вода — это зрелище, чрезмерное, как море, парадный архитектурный ансамбль, не способный петь. Вода Гранады служит утолению жажды. Она живет и едина с теми, кто пьет ее, или слушает ее, или хочет умереть в ней. Она познает агонию фонтана, чтобы упокоиться в водоеме. Это о ней сказал Хуан Рамон Хименес:

Какая пытка — терпеть
и бредить освобожденьем
и с вечными тупиками
бороться, как с наважденьем,
и лбом упираться в стену,
и биться о камень косный!
И только в последнем сне
увидеть себя бесслезной...

Помимо того, есть еще две долины. Две реки. В них вода не поет, там уже смутный шум, туман, перемешанный струями ветра, который шлют горы. Это Хениль, опушенный тополями, и Дауро, окаймленный ирисами.

Но все в меру, все в лад человеку. Вода и Ветер малыми дозами — лишь необходимое слуху. В этом особость и очарование Гранады. Все для внутреннего убранства — крошечный дворик, крохотная песня, миниатюрная вода и ветер, танцующий на ладони.

Кантабрийское море или гулкий ветер, низвергнутый скалами Ронды, пугают гранадца, замершего, замкнутого, заключенного в раму своего окна. Приручены ветер и вода, ибо кипение стихий ломает людской звукоряд и сметает, истощает человеческую личность, которая не может взять верх и утрачивает свой кругозор и мечту. Гранадец все видит в перевернутый бинокль. Поэтому Гранада не дала героев, поэтому Боабдиль[7], самый прославленный из ее сыновей, уступил ее кастильцам поэтому веками она ищет убежища взаперти, у своих крохотных очагов, разрисованных луной.

Гранада создана для музыки, потому что это пленный город, заточенный в горах, город, где мелодию шлифуют, хоронят и длят стены и скалы. Музыка — наследие городов замкнутых. Севилья, и Малага, и Кадис ускользают через портовые ворота, у Гранады же нет иного выхода, кроме надмирной звездной гавани. Она затворница, чуткая к ритмам и отголоскам, и сама как мелодия.

С наивысшей полнотой ее воплощает не поэзия, а музыка, торный путь в мистику. Поэтому она не драматична, как Севилья, город Дон Хуана[8], город любви, но лирична, и если Севилья торжествует в Лопе, и в Тирсо, и в Бомарше, и в Соррилье[9], и в прозе Беккера[10], то Гранада — это оркестр ее фонтанов, полных андалусской тоски, и

[3] Санта Лусия — католическая святая. По преданию, ослепила себя, чтобы не привлекать поклонников; изображается с подносом, на котором лежат ее глаза.

[4] Альгамбра — дворец и крепость мусульманских правителей Гранады, шедевр мавританского зодчества. Львиный дворик — один из внутренних двориков Альгамбры. В 1526 году внутри Альгамбры Карл V начал строить дворец, но сооружение, чуждое архитектурному ансамблю, осталось незавершенным.

[5] Тополиная аллея над рекой Дарро (гранадцы называют ее Дауро), откуда открывается панорама Альгамбры.

[6] Хенералифе («Высокий сад») — летняя резиденция мусульманских правителей Гранады.

[7] Боабдиль (Абу-Абдаллах) (1460—1526) — последний эмир Гранады, 2 января 1492 года сдал город католическим королям — Фердинанду и Изабелле.

[8] Дон Хуан (Дон Жуан) — легендарный соблазнитель, чье имя стало нарицательным. Прототипом этого фольклорного героя был севильский дворянин Мигель де Маньяра (1628—1679), также упоминаемый в лекции.

[9] Соррилья-и-Мораль Хосе (1817—1893) — испанский романтик, поэт и драматург.

[10] Беккер Густаво Адольфо (1836—1870) — испанский поэт. Лорка имеет в виду его «Легенды».

виуэла[11] в руках Нарваэса[12], и Фалья, и Дебюсси. И если в Севилье человеческое господствует и за каждой стеной бродят Дон Педро[13] и Дон Алонсо[14], Фигаро и Маньяра, то в Гранаде одни призраки блуждают по двум ее заброшенным дворцам, и лихие шпоры становятся сонными муравьями, затерянными в бескрайности мраморного пола, любовная записка — горстью травы, а шпага — хрупкой мандолиной, которую решаются тронуть лишь пауки да соловьи.

Мы в Гранаде, на исходе ноября. Пахнет горящей соломой, и уже загнивают груды палой листвы. Льет, и город безлюден. Но у Королевских ворот — несколько ларьков. Горы закутаны в тучи и словно впитали в себя всю поэзию Севера. Девушка из Армильи, или из Санта Фе, или из Атарфе, служанка, берет в ларьке самбомбу[15] и запевает песенку о четырех погонщиках:

Из четверых заречных
у той излуки
один, на сером муле,
мне горше муки.

Из четверых заречных,
за тем затоном,
быть одному, на сером,
моим законным.

Зачем огня ты просишь
у всей округи,
а у самой в ресницах
живые угли?

Это мелодия вильянсико[16], которая звучит по всей округе и которую мавры унесли с собой в Африку, где она доныне слышится в Тунисе и поется так. *(Исполняется арабский вариант мелодии.)*

О четырех погонщиках поют, подбрасывая в огонь солому, во всех окрестных селениях и в тех дальних, что венком оплетают горную гряду.

Но близится декабрь, небо яснеет, стадами гонят гусей, и бубны, самбомбы, трещотки оглушают город. По ночам в закупоренных домах слышна все та же мелодия, которая льется из окон и труб, будто и впрямь сочится из земли. Голоса набирают силу, улицы полнятся красочными лотками, грудами яблок, полночный колокол будит перезвон, которым монашки торопят рассвет, и все темней, все нелюдимей Альгамбра, и куры хоронят яйца в заиндевелой соломе. Уже монахини святого Фомы надевают на Пречистую деву мантилью с гребнем, а на Иосифа плоскую желтую шляпу. Уже глиняные барашки и шерстяные собачки взбегают по уступам игрушечного мха. Уже начинаются перепалки, и вот из болтовни и звона пробок, и терок, и медных ступок возникает веселый святочный романс о юных пилигримах:

Два пилигрима к папе
пришли с заката,
чтоб повенчал он сводных
сестру и брата.

У пилигрима лентой
тулья повита,
а у невесты шляпка
из аксамита.

Но у моста Победы
пробрало дрожью,
и обмерла невеста,
и сватья тоже.

А у престола папы
в его чертоге
у жениха с невестой
отнялись ноги.

И спрашивает папа,
как были званы.
Он отвечает — Педро,
невеста — Анна.

И спрашивает папа,
откуда родом.
Он говорит — из Кабры,
она — из Ронды.

И спрашивает папа,
по скольку лет им.
Пятнадцать и семнадцать —
ему ответом.

И спрашивает папа,
грешны ли нет ли.
Я с ней поцеловался —
звучит немедля.

А девушка такое
как услыхала,
так разом жарче розы
заполыхала.

И говорит им папа,
клоня тиару:
— Еще таких же грешных
хотя бы пару!

Колокола по Риму
гремят набатом
на радость пилигримам,
уже женатым.

Поют разгульные компании на перекрестках, поют дети вкупе с нянюшками, поют пьяные красотки в экипажах с завешенным окошком, поют в тоске по родным местам солдаты, фотографируясь на хенильской набережной.

Это сама радость, улыбка улиц, и андалусский задор, и все обаяние народа неистребимой культуры.

Но вот, миновав одну за одной людные улицы, выходишь к иудейской окраине и видишь пустыню. И вильянсико совсем иного склада звучит темной тоской.

Кто поет? Это и есть сокровенный голос Гранады, плакучий голос, эхо схватки

---

[11] Виуэла — предтеча современной гитары, излюбленный инструмент испанского барокко.

[12] Нарваэс Луис де (XV — нач. XVI вв.) — гранадский виртуоз, основал школу игры на виуэле и первым в европейской музыке разработал жанр вариаций.

[13] Дон Педро — кастильский король Педро Жестокий (1334—1369) ставший героем народных легенд.

[14] Дон Алонсо — кастильский король-просветитель Альфонсо Мудрый (1221—1284). Был выдающимся поэтом и музыкантом.

[15] Самбомба — примитивный пастуший инструмент в виде барабанчика с продетым внутри стеблем осоки.

[16] Вильянсико — испанские народные песни средневековья и Возрождения, в современном значении слова — рождественские колядки. О языческой природе вильянсико см.: «ИЛ», 1985, № 7, Ф. Гарсиа Лорка, «Четыре интервью».

Востока с Западом у двух заброшенных замков, населенных тенями. Дворца Карла V и Альгамбры.

Любовь моя проходит,
проходит мимо.
Лицо под тенью шляпы
неразличимо.

Несносны эти шляпы,
сплошные прятки.
Такую же в отместку
куплю на святки.

Смолкает последняя колядка, и город засыпает в январском холоде. Но к февралю все ярче и золотистей солнце, и люди выбираются на свет, на загородные пирушки, в оливах повисают качели и слышится то же плясовое «ухуху», что и в горах испанского севера.

По всей гранадской округе поет народ в лад укрытой подо льдом воде. И, толкаясь у качелей, разглядывают ножки, подростки — в открытую, взрослые — украдкой. Но ветер еще пронизывает до костей.

Окраины в эту пору тихи. Лишь собаки и шум олив, да порой — плюх! — выплеснется за порог ведро помоев. Зато в оливах — столпотворение.

Без конца она взлетает,
он глядит, не оторвется
и твердит: — Канат, голубка,
оборвется, оборвется.

Где слетит
она с доски?
На углу
моей тоски.

Иные из этих песен — живой отзвук XV века:

Пойду к оливам, мама,
пойду под вечер
и погляжу, как ветку
колышет ветер,
колышет ветер,
и погляжу, как ветку
колышет ветер

— мелодия равноценна той чудесной, что в 1560 году переложил Хуан Васкес[17]:

К тополям я ходил заветным
поглядеть, как их зыблет ветром.

Я под тополем за Трианой
повстречался с моей желанной.

Я под тополем за Гранадой
повидался с моей отрадой.

Поглядеть, как их зыблет ветром,
к тополям я ходил заветным.

Классическая традиция во всей своей чистоте окрыляет эти песни оливковых рощ.

Не надо удивляться — ведь в Испании песни Хуана дель Энсины[18], Фуэнльяны[19], Салинаса[20] и Писадора[21] доныне звучат в их первозданном виде и то и дело воскресают в Галисии или в Авиле.

К ночи народ покидает рощи, но зачастую, не расходясь, засиживается под чьим-либо кровом.

А весной, едва проклюнутся зеленые почки, балконы распахиваются настежь и все преображается неузнаваемо. Словно, блуждая снегами, вдруг выбираешься прямо в лавры Юга.

На улицах появляются девушки, а в пору моего детства появлялся на садовой скамье и злосчастный поэт по прозванию Лунофил. С побережья идут бочки свежего вина, и город в сумерках поет эту песню, вестницу боя быков, ясную, как воздух последнего мартовского дня:

Пакиро в кафе Чинитас
сказал, завершая пренья:
— Я вдвое, чем ты, цыган —
и я храбрей на арене.

Пакиро достал часы
и брату кивнул сурово:
— В полпятого бык умрет,
я зря не бросаю слова.

Когда же четыре било
и братья на площадь вышли,
вышагивал так Пакиро,
как будто сошел с афиши.

Что дальше? Два приятеля встречаются у Крестовых ворот, через которые вступали в город католические короли:

— Будь здоров. Ну как Гранада?
— Благодарствуй. Как была.
— Что поделывают люди?
— Да какие там дела!
Без конца плетут корзины
да звонят в колокола.

С апреля по июнь Гранада — сплошной колокольный звон. Студенты не могут заниматься. На площади Виваррамблы колокола собора, подводные колокола в тучах и водорослях, не дают перекликаться крестьянам. Колокола Сан-Хуана высекают из воздуха барочный алтарь стенаний и бронзового грома. И лишь Альгамбра становится еще отверженней, еще нелюдимей, растерзанная, мертвая, чуждая городу, далекая, как никогда. А на мостовых — тележки с мороженым, а на лотках — хлебцы с изюмом и тмином, и всюду торгуют вареными в меду бобами.

Тянется праздник Тела Господня, с его великанами и карликами и чудовищем Тараской[22]. Гранадские девушки с точеными нагими руками и лоном как темная магнолия, в неистовстве фейерверка, скрипок и пышной сбруи, разом раскрывают зонтики, зеленые, оранжевые, синие, и плывут на карусели вздохов, любви и тоски в царст-

[17] Хуан Васкес (1500—1560) — испанский композитор-полифонист.

[18] Хуан дель Энсина (1469—1529) — патриарх испанского театра, поэт и композитор.

[19] Фуэнльяна Мигель — испанский музыкант XVI века, мастер виуэлы.

[20] Салинас Франсиско (ок. 1514—1590) — испанский музыкант и композитор, был слепым.

[21] Писадор Диего (1508—после 1550) — испанский композитор.

[22] Тараска — изображение сказочного дракона, карнавальный атрибут романской Европы.

во пиротехнических чудес, волшебное «пойдешь и пропадешь».

Со стороны гранадской долины — праздничный град кастаньет, а навстречу ему, с улицы Эльвиры, одной из старинней-ших,—

там, на улице Эльвиры,
три подружки плутоватых
по ночам идут в Альгамбру
и всегда без провожатых,

— городской напев, один из колоритней-ших:

Под тем листом, листочком,
в тени капустной
мой милый еле дышит.
Как это грустно!

Под тем листом, листочком,
в тени на грядке,
мой милый еле дышит
от лихорадки.

Под тем листом, листочком,
в тени листа,
мой милый еле дышит.
Я заперта.

С последним всплеском фейерверка, едва рухнет на Гранаду его финальный гром, люди как один покидают город и вручают его летнему зною, пришедшему мгновенно Кресла стоят в белых чехлах, балконы закрыты. Те, кто остался, переселяются в подвалы и дворики и тянут ледяную воду из душистой розовой глины запотелых кувшинов. Жить и думать начинают по ночам. Это пора, когда весь город поет под гитару фанданго и гранадины, такие пастушьи и напоенные далью. Так повелось — и ныне и присно. Прошлым летом, когда я был в компании друзей и все они, люди простые, пели, неподалеку взорвалась бомба — и хоть бы кто бровью повел. Лишь один одобрительно бросил: «В лад попала». Так уж повелось. Но сегодня у меня нет гитары, и вы не услышите гранадину. В другой раз. Но они-то и поются летом, гранадины и еще — романсы.

Все романсеро хлынуло в детские уста. Самые дивные баллады, не превзойденные ни одним романтическим поэтом, самые кровавые легенды, непредставимый словесный фейерверк. Все это неисчерпаемо. Беру наудачу — то, что в селениях поют мальчишки, а в Альбайсине на городской площади — девочки.

Кого не захватит августовской ночью эта нежная мелодия романса про герцога Альбу?

— Ведут по Севилье речи,
идут по Севилье слухи,
что женится герцог Альба,
другую берет в подруги.
— Женись он на ком угодно,
меня не смутит известье.
— Смутит или нет, сестрица,
но станет пятном на чести.
Из окон ее светелки
выходит одно к воротам,
и смотрит она на площадь,
заполненную народом.
И герцога Альбу видит
бок о бок с его невестой,
и знак подает условный,
ему одному известный.
— Что Анне Марии надо,
беда ли какая с Анной?
— О герцог мой, герцог Альба,
мой герцог и мой желанный!
Мне правду ли рассказали
о свадьбе твоей нежданной?
— Не ведаю, кто рассказчик,
но не было в том обмана.
Я свадьбу справляю завтра
и жду тебя в гости, Анна.
И только он это молвил,
была она бездыханна.
Послали, ища причину,
за лекарем-иноверцем,
и вскрыл ее тело лекарь,
и надпись нашел над сердцем.
Была золотою надпись,
а сердце — сплошною раной,
и сверху стояло: «Герцог»,
а рядышком: «мой желанный».
— Когда бы я знал, подруга,
что любишь такой любовью,
да разве, душа-голубка,
расстался бы я с тобою!

На цыпочках подкрадемся по красному проселку к кучке людей, полускрытых горной ложбиной. Здесь поют и пляшут. Звучат гитары, кастаньеты и чисто пастушьи инструменты — треугольники и бубны.

Они поют роас и альбореас[23], и качучу, и то самое соронго, что так властно вторглось в музыку Фальи.

Из желтых далей уходит в горы день и с ним песни жатвы и молотьбы, но этот мир полей в Гранаду не проникает...

(В рукописи утрачена страница.— А. Г.)

Сентябрь в гостях, озноб в костях.
Мы у последней спицы колеса.

Кати, колесо, кати,
ведь осень уже в пути.

И начинаются гулянья. С орехами, с кизилом, с алым боярышником, и грудами айвы, и башнями лепешек и марципанов из пекарни Корсо.

[23] Свадебные песни андалусских цыган.

Михаил-архангел, Сан-Мигель, на своем холме вздымает меч, увенчанный подсолнухами. Помните мой романс?

Вверху на башне старинной
в узорах дикого хмеля
огнем свечей опоясан
высокий стан Сан-Мигеля.
В окне своей голубятни
по знаку ночи совиной
ручной архангел рядится
в пернатый гнев соловьиный.
Дыша цветочным настоем,
в тоске по свежим полянам
эфеб трехтысячной ночи
поет в ковчеге стеклянном.

...Один Сан-Мигель на башне
покоится среди мрака,
унизанный зеркалами
и знаками зодиака,—
владыка нечетных чисел
и горних миров небесных
в берберском очарованье
заклятий и арабесок.

Берберское очарованье заклятий и арабесок — это Гранада с Масличного Холма. Смутно все то, что долетает сюда. Это песня всей Гранады разом, слитный голос рек и струн, толпы и листвы, фруктового моря и качельного смеха.

Но меркнет веселье Михайлова дня, и осень рокотом дождей стучится в двери.

Тук-тук...[24]
Кто бы мог?
— Я пришла на твой порог,
Я осенняя тоска.
— Что ты хочешь?
— Смоль виска.
— Не отдам, закрой суму.
— Не отдашь — сама возьму.

— Тук-тук.
Та же тьма...
— Это я, твоя зима.

С первыми ливнями зазеленели луга. Заметно холодает, и никого уж не гянет в сад, а бедный Лунофил сутулится над жаровней. Но закаты — вполнеба; небывалые тучи смывают горную цепь, и нездешние отсветы скользят по кровлям, замирая на кафедральной колокольне. И вновь непритворной тоской звучит голос:

Со своего балкона
окном к лиману
мне протяни платочек,
стяну я рану.

Со своего балкона
окном к низовью
мне протяни платочек,
истек я кровью.

Со своего балкона
с вьюнком по краю
мне протяни платочек,
я умираю.

И оказывается, что дети прогуляли школу, гоняя кубарь.

Оказывается, в покоях зажгли поминальные свечи по усопшим.

Оказывается, уже ноябрь.

Пахнет горящей соломой, и гниют груды палой листвы. Вспоминаете? Льет, и город безлюден.

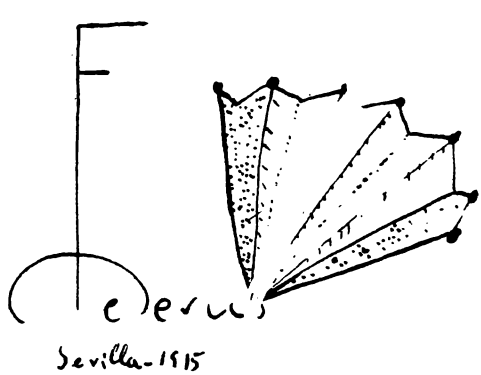
Но у Королевских ворот в ларьке продают самбомбы.

Девушка из Армильи, или из Санта Фе, или из Атарфе, годом старше и, быть может, в трауре, поет хозяйским детям:

Из четверых заречных
у той излуки
один, на сером муле,
мне горше муки.

Из четверых заречных,
за тем затоном,
быть одному, на сером,
моим законным.

Мы проводили год. Так уж заведено. Ныне и присно. Мы уходим, а Гранада остается. Остается в веках и тает в этих бедных ладонях недостойнейшего из ее сыновей.



Факсимиле письма с пейзажем Гранады и остальные рисунки Федерико Гарсиа Лорки у нас в стране публикуются впервые.

[24] Стихотворение Федерико Гарсиа Лорки.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПОДНЯВШИЕСЯ В НЕБО

Жозе Сарамаго. Воспоминания о монастыре. Роман. Перевод с португальского А. М. Косс. Предисловие Е. Васиной. Москва, «Радуга», 1985.

Двадцать второго октября 1730 года, в воскресенье, в селенье Мафра, неподалеку от Лиссабона, состоялось освящение нового монастыря. На церемонии присутствовал сам король Жуан V, по обету которого и был воздвигнут монастырь: за двадцать лет до этого монах-францисканец возвестил государю, что ежели даст он обет, то королева, доселе неплодная, родит. Так и свершилось.

Эти давние события легли в основу романа Жозе Сарамаго — одного из значительнейших писателей современной Португалии. Прежде он был известен как журналист и поэт; в послереволюционные годы его дарование раскрылось с неожиданной стороны, и вот уже 10 лет Сарамаго не перестает удивлять читателей: каждое новое произведение оказывается непохожим на предыдущее. Советский читатель может убедиться в этом, сравнив «Воспоминания о монастыре» с романом «Поднявшиеся с земли» (1980)[1]. Между двумя книгами мало общего. Одна проста, непритязательна, бедна событиями — как крестьянская жизнь, о которой она повествует. Ее композицию можно сравнить с деревенским домом, незамысловатым, но добротным. Вторая напоминает богато изукрашенную барочную постройку, причем «воспоминания о монастыре» оказываются лишь фундаментом, на котором писатель возводит собственное, объемное и многокрасочное здание. И все же есть нечто, объединяющее два романа. В обоих повествование ведется от лица некоего анонимного «мы», всезнающего, наделенного обширной исторической памятью и правом исторического суда; это «мы» как бы олицетворяет народное сознание. В «Поднявшихся с земли» представлен лишь один его пласт, в «Воспоминаниях о монастыре» оно берется во всем многообразии проявлений, образующих общенародную культуру.

Рассказчик не отделяет себя от народного «мы», но и не растворяется в нем — он выступает в роли летописца, причем летописца современного, который смотрит на прошлое из нашего сегодня, постоянно держа в уме весь ход исторического развития. Этот, в общем, не новый прием приобретает в романе оригинальное звучание: Сарамаго не осовременивает прошлое, напротив, воссоздает его настолько точно и ярко, с таким уверенным знанием внешних деталей и примет и с таким глубоким пониманием самого духа времени, что его «воспоминания» кажутся подлинными — как будто индивидуальная память рассказчика вобрала в себя коллективную память нации. А поскольку память эта охватывает и прошлое и настоящее, то их сопряжение не нарушает исторической перспективы, но, напротив, придает ей особую отчетливость, заставляя почувствовать непрерывность исторического времени. История построения монастыря вписана в большую Историю как один из эпизодов, на примере которого можно понять механизм действия целого.

Итак, за точку отсчета взят год 1711-й, когда король дал обет. Летописец рассказывает о сем историческом событии слогом, в котором торжественность переплетается с лукавой иронией. Начавшись на верху иерархической лестницы, действие постепенно спускается вниз, пока не доходит до нищего солдата, возвращающегося с войны. Перед нами открывается вертикальный срез общества, вырисовывается картина страны, где развратный король делит власть со «святой» инквизицией, голодные крестьяне весь век гнут спины, а увечному солдату остается лишь просить милостыню. Дойдя до последней ступени, рассказчик приостанавливается, чтобы «окинуть взглядом» всю картину. Есть не так уж много мест, откуда открывается подобный обзор. Одно из них — площадь, где происходит аутодафе.

На этот жестокий праздник сходятся все — король и духовенство, знать и простолюдины. Здесь завязываются в один узел сюжетные линии романа. Здесь автор сводит главных героев — солдата Балтазара, священника Бартоломеу Лоуренсо и ясновидящую Блимунду. А в центре сце-

[1] Русский перевод — М., «Прогресс», 1982.

ны — осужденные. Среди них — мать Блимунды, признанная еретичкой за то, что верит: «Все могли бы быть святыми, лишь бы захотели». Так в роман входит тема возвышенного и возвышающего человеческого стремления. Есть своя жестокая логика в том, что впервые она звучит во время аутодафе: в стране, управляемой инквизицией, всякий, кто жаждет подняться над скудным «земным уделом», так или иначе станет ее жертвой — как это случится с героями. Но случится еще не скоро. Пока только зарождается любовь Блимунды и Балтазара, а отец Бартоломеу только мечтает построить летательную машину, хотя и не знает толком, какая сила позволит ему преодолеть земное притяжение. Так в реалистическое повествование вплетается притча.

Мечта о крыльях издавна присуща человеку. В ней, как ни в чем другом, выражено стремление духа разорвать поставленные телу пределы. В романе она принимает причудливую и в своей причудливости соответствующую времени форму: фантастика Сарамаго основана на фантастических представлениях тогдашней науки. Писатель придумывает такую машину, какую мог бы придумать реальный Бартоломеу Лоуренсо, ученый и мечтатель. Его пассарола снабжена рулем, парусами и крыльями, а поднимет ее в воздух эфир небесный — «часть вездесущей силы, которая влечет все... к Солнцу».

Сооружение чудесной машины не только сюжетный стержень, но и смысловой центр романа. Как и его герои, Сарамаго верит в высокое предназначение человека: «Люди суть ангелы, родившиеся без крыльев, в этом вся красота, родиться без крыльев и обзавестись ими». Этим возвышенным стремлением поверяется все остальное — и в первую очередь строительство монастыря, которое начинается почти тогда же, когда строится пассарола. Закладка краеугольного камня совершается с превеликой пышностью, шумно и помпезно. Духовенство сзывает народ в Мафру, как в «новый крестовый поход». Со всей страны стекаются тысячи людей — пока еще добровольно. «Богоугодное» строительство мгновенно обрастает публичными домами, казармами, убогим жильем. А с церковных амвонов славословят благочестивого короля... Так возводится монастырь.

Пассаролу в глубокой тайне создают трое — священник, Балтазар и Блимунда. Отец Бартоломеу — мозг троицы, Балтазар — руки, Блимунда же, наделенная даром ясновидения, собирает эфир, который, как считает священник, состоит из воль людских. Воля покидает тело либо в момент смерти, либо еще при жизни (коли слаба); тут-то и надо ловить ее, пока не улетела. И по мере того как растет машина и увеличивается число собранных воль, фантастическая идея обретает художественную реальность воплощенной метафоры — ведь в конце концов именно волей своей человек поднялся в небо... Строительство воздушного корабля сопровождается дивной музыкой — она входит в роман вместе с Доменико Скарлатти. Для Сарамаго музыка сама есть полет. «Когда слушаю я, как играете вы на клавесине, у меня такое чувство, будто я взлетаю»,— говорит композитору священник. И кому, как не музыканту с крылатой душой, впору играть для строителей крылатой машины...

Однако в торжествующую гармонию уже врываются тревожные ноты: к отцу Бартоломеу подбирается инквизиция. И долгожданное счастье полета омрачено угрозой ареста, от которого бегут герои. Увы, от страха, что терзает священника, не убежать. Поднявшись в небо, он обрел было прежнюю смелость и свободу; когда же с наступлением темноты пришлось приземлиться, им снова завладел ужас, столь сильный, что он попытался сжечь пассаролу: «Если суждено мне гореть на костре, так уж лучше на этом». Его друзьям удается погасить пламя, но огонь безумия, сжигающего разум отца Бартоломеу, погасить невозможно. Ночью он скрывается; больше мы его не увидим, услышим лишь весть о его бегстве в Испанию и смерти...

А Блимунда с Балтазаром возвращаются в Мафру. Там полным ходом идет строительство монастыря. И поскольку тело требует пищи, бывшему строителю пассаролы приходится взяться за другую работу, тяжкую и безрадостную. Только раз до убогой хижины, где ютятся герои, отзвуком прежних дней доносится музыка. То приехал в Мафру Скарлатти — узнать, живы ли Балтазар с Блимундой, и навсегда проститься с ними. Больше музыки не будет. Сооружение монастыря, на которое по приказу короля сгоняют народ со всей страны, сопровождается проклятьями, воплями отчаяния, стонами боли, хрипами агонии. Роман как бы делится на две половины: в первой действие, организуемое свободной волей свободных людей, стремилось ввысь, во второй — оно волею короля накрепко придавлено к земле. Трагической кульминацией его становится эпизод доставки в Мафру громадного камня — эта глыба, которую волокут, надрываясь, сотни людей, кажется зримым воплощением бездушной силы, поработившей народ. «Воспоминания о монастыре» дышат живой болью, горечью и гневом — из этого «материала» писатель возводит памятник тем, чьей кровью, потом, слезами пишется история.

Но и в самых бесчеловечных условиях человек может остаться человеком — если только почувствует, что в его слабом теле живет великий дух. Тогда он обретет свободу — как Балтазар и Блимунда. Им дает силы любовь, гордое воспоминание о полете и взятый на себя долг — сберечь спрятанную в горах машину. Правда, снова подняться в небо они не пытаются: пассарола — это реализованная мечта, а мечте нет места в реальности, ее можно только хранить. Однако если человек может взлететь, он взлетит, даже сам того не желая. Это случается, когда Балтазар, как обычно, приходит проверить, все ли в порядке, подновить доски, починить паруса. Неловким движением он приводит механизм в действие — и машина уносит его в безоблачный простор. А Блимунда, не дождавшись его, пускается на поиски...

С этого момента исчезает ирония, то горькая, то лукавая, то язвительная, с самого начала звучавшая в голосе рассказчика,— повествование становится простым и возвышенным, как народная легенда. Девять

лет ищет Блимунда Балтазара и, наконец, находит на площади, где впервые встретила,— среди приговоренных к сожжению. Мы не узнаем, как попал он в руки инквизиции, да это и не важно. Важно другое: и в пламени костра Балтазар сохраняет волю. Он не покаялся, как мать Блимунды, изменившая своей правде и сгинувшая в ссылке, не поддался безумию и страху, как Бартоломеу Лоуренсо, но сохранил верность себе. И потому смерть героя воспринимается как его победа.

Так утверждает себя главная тема романа, идущая crescendo от первого аутодафе к финальному, так обнажается скрытый за кровавым хаосом событий смысл исторического движения и его высокая цель — освобождение человеческого духа, в неодолимую силу которого твердо верит Жозе Сарамаго.

Е. ЗЛОБИНА

ПАНОРАМА ДРЕВНЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И. Д. Серебряков. Литературы народов Индии. Москва, «Высшая школа», 1985.

Новая книга известного советского индолога, литературоведа и критика, лауреата международной премии имени Джавахарлала Неру — первый опыт рассмотрения огромного литературного наследия. Хотя повествование обрывается на историческом рубеже, на 1947 годе, когда Индия обрела независимость, те тенденции, которые выделяет И. Серебряков в развитии ее новейшей литературы, значимы и по сей день: именно они сформировали облик современной индийской литературы. Древность ее парадоксально сочетается с вызывающей молодостью современных форм. Уже в «Махабхарате» и «Рамаяне», в религиозно-философских сочинениях нравственность предстает как непреложный закон бытия, объясняющий смысл и закономерности существования природы и ее неотъемлемой части — человека. Книга И. Серебрякова повествует о неоспоримом вкладе, который внесла и вносит в мировую культуру индийская художественная мысль древности, средневековья и современности.

Основная концепция книги состоит в том, что, несмотря на многовековой путь развития и языковое богатство, индийская литература — уникальное целостное явление, «единство в многообразии», по словам Джавахарлала Неру.

Отмечая художественную зрелость индийской литературы, И. Серебряков вместе с тем имеет в виду неравномерность ее развития на различных индийских языках, обусловленную одновременным сосуществованием в обществе различных социально-экономических укладов и приверженностью огромного большинства населения к традиционным формам культуры. Поэтому в индийской литературе, подчеркивает исследователь, в наши дни бок о бок живут направления, свойственные средневековью, новому и новейшему времени.

Общие закономерности в развитии индийской литературы особенно явственно проявляются в тех направлениях, которые так или иначе связаны с пробуждением национального самосознания, с идеологией национально-освободительного движения. У писателей значительно расширяются представления о мировой литературе, и прежде всего о литературе XX века. Не случайно поэтому И. Серебряков в заключительной главе сосредоточил внимание на таких прозаиках и поэтах, в творчестве которых выявились важнейшие тенденции современного литературного развития. Наступила новая эпоха — эпоха освобождения личности от вековечных предрассудков и обычаев, индийская литература во многом по-новому взглянула на человека и условия его существования.

На протяжении веков индийскими писателями утверждались гуманистическая традиция и идеалы раскрепощения личности и величия человека. Уже в наш век Премчанд, Рабиндранат Тагор, Мухаммад Икбал стали всемирно известны потому, что были народными заступниками, что их бунтующий, испытующий ум не принимал закона социальной иерархии. Они с энтузиазмом и неукротимой энергией утверждали в своем творчестве благородство деяния, необходимость справедливости и социального равенства. На всех этапах развития индийская литература одухотворялась великими идеями человеческого счастья, правды, сострадания, отражала все то, что во все века волновало индийское общество. Со страстным вниманием вглядывалась она в отдельную человеческую судьбу, с сокрушительной иронией, сарказмом подвергала осмеянию устаревшее, не обходила молчанием и жгучие общественные вопросы.

Очевидно также, что индийская литература не была литературой замкнутой: на протяжении веков устанавливались, крепли и расширялись ее международные связи. Знаменателен, например, факт, обнаруженный и введенный в научный обиход И. Серебряковым: уже в 1870 году на бенгальском языке появилась первая книга русской литературной классики — «Крилофер Нити-гольпо», то есть «Басни Крылова».

Увлечение Индией и ее культурой на Западе привело к двум противоположным точкам зрения на их роль и место в истории мировой цивилизации. Согласно мнению одних исследователей, Индия изначально была чуть ли не воплощением квиетизма, по крайней мере ее религиозно-философская мысль представлялась первоисточником мистически-созерцательного отношения к миру. Провозглашая коренную противоположность и разнонаправленность в духовном развитии Запада и Востока, те, кто считал Индию страной, обладающей некоей еще непознанной тайной, особым религиозным чувством, делали неправомерный вывод об особом развитии страны, якобы не подвластном общим закономерностям исторического процесса. Другая точка зрения на Индию и ее культуру — из нее исходит И. Серебряков — предполагает необходимость строго научного подхода к духовной жизни индийцев. Анализ фактов и реалий индийской культуры обнаружил несостоятельность многих ходячих идей об уникальных особенностях так называемой арийской

цивилизации, ее исконной религиозности. И. Серебряков подчеркивает особую роль, которую сыграли в развенчивании «индийского мифа» В. Г. Белинский и его единомышленники — П. Я. Петров и К. А. Коссович. Представляет интерес приведенный исследователем отрывок из статьи К. А. Коссовича: «Говорят, что Индия не имеет истории. Если история есть изображение судеб народа, развивавшегося самостоятельно под влиянием идей, выработанных его жизнью, если народами историческими называются преимущественно народы, организовавшие свой государственный быт при выработанном ими полном просторе для всевозможных проявлений в его недрах свободной мысли и творчества, если есть несокрушимые памятники слова, изображающие его жизнь, то государства древней Индии не уступят никаким самым историческим государствам мира»

Интерес к Индии на Западе, утверждает И. Серебряков, вызывался разными мотивами и общественными запросами. В России это было сострадание к находившейся в колониальном рабстве Индии, что отразилось в публицистике великих русских критиков-демократов Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Представитель шестидесятников, Н. Худяков использовал в своей литературной деятельности буддийские сюжеты для народовольческой пропаганды. И. Серебряков рассказывает читателю о русских индологах-«первопроходцах» И. П. Минаеве и С. Ф. Ольденбурге, Ф. И. Щербатском и А. П. Баранникове, именно они заложили традиции русской и советской индологии.

Существенное место в книге И. Серебрякова уделяется советско-индийским литературным связям, углубленному интересу индийских литераторов к опыту советской многонациональной литературы.

Одно из достоинств книги, на мой взгляд,— развернутый пересказ прозаических произведений, обширные поэтические цитаты, большинство из которых на русском языке появилось впервые.

Вместе с тем панорамное рассмотрение индийской литературы, которое избрал И. Серебряков, привело к некоторому упрощению, известной нивелировке неоднозначных литературных явлений Трудно согласиться с утверждением автора книги, что такое направление как «прайогвад-экспериментализм» открыл дорогу различным проявлениям западного модернизма в литературах южноазиатского субконтинента. Именно с этим направлением связано творчество основоположника новой поэзии хинди Гаджанана Мадхава Муктибодха который отстаивал принцип активного отношения к жизни.

Однако подобные издержки, очевидно, неизбежны, особенно когда исследуется столь обширный материал, затрагивающий и малоизвестные литературы — гуджаратскую, ория, синдхи, ассами

Главное же в том, что мы знакомимся с великим, историческим процессом взаимовлияния и взаимообогащения культур Обменом мудростью, обменом духовными ценностями Индийские писатели-гуманисты вывели свою литературу в открытый космос общечеловеческой культуры. Об этом И. Серебряков рассказывает заинтересованно, увлеченно, со знанием дела.

АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ

КАНАДА СТАЛА БЛИЖЕ

Рассказы канадских писателей. Перевод с английского. Составление и предисловие А. Савуренок. Ленинград, «Художественная литература», 1985.
Канадская новелла. Перевод с английского и французского. Составление В. Каспарова, В. Орлова, Ю. Родман. Предисловие О. Васильева. Москва, «Известия», 1986.
Лампа, зажженная в полдень. Рассказы канадских писателей о молодежи. Перевод с английского и французского. Составление и предисловие Н. Пальцева. Москва, «Молодая гвардия». 1986.

Вопрос о том, что такое канадская литература, лет двадцать назад смутил бы и специалиста-зарубежника. Ничтожно мало было известно о словесности, затерявшейся на периферии мирового литературного процесса.

За прошедшие годы этот огромный «необжитой» массив понемногу нами осваивался и вширь и вглубь, что позволило читателю познакомиться с канадской поэзией, повестью и, наконец, рассказом.

Вряд ли можно переоценить тот факт, что сразу три крупных издательства выпустили сборники канадских рассказов. В каком бы аспекте ни была взята в них Канада — будь то экскурс в историю («Рассказы канадских писателей»), попытка осветить национальный характер («Канадская новелла») или дать срез современности («Лампа, зажженная в полдень»),— все они служат продолжению столь актуального сегодня диалога между культурами, обогащают представление о прошлом и настоящем еще малознакомой нам страны. Канадский рассказ интересен своим чувством места, цепкой этнографической памятью, сохранившей особенности жизненного уклада людей разных национальностей, расселившихся от Монреаля до Ванкувера, от Манитобы до Северо-Западных территорий.

Трудно идти по незнакомой местности без карты,— а примерно в таком положении оказались составители данных изданий. Ориентироваться нужно было в литературе молодой и малоизученной, не определившей окончательно свое лицо. Поэтому, вероятно, не удалось избежать погрешностей в подготовке довольно сложного по составу сборника «Рассказы канадских писателей»: некоторой неровности в отборе новелл, неточностей в названии книги (включающей произведения только англоязычных прозаиков) и биографических справках Например, если верить последним, то участник второй мировой войны и автор мемуаров о ней, известный писатель Фарли Моуэт появился на свет в 1941 году.

Об этом тем более обидно упоминать, что замысел представить историю канадского англоязычного рассказа от его истоков до современности, на наш взгляд, удался. В

сборник вошли ставшие классическими рассказы мастеров этого жанра Томаса Хэлибертона, Стивена Ликока, Эрнеста Сетона-Томпсона, Фредерика Филипа Гроува, Синклера Росса, Морли Каллагана и писателей, завоевавших известность в 60—70-х годах — Фарли Моуэта, Маргарет Этвуд, Джека Ходжинса.

Драма выживания — так можно было бы кратко обозначить одну из главных тем сборника — занимает воображение канадских писателей на протяжении не столь уж долгой истории их словесности. Освоение дикой природы первыми поселенцами, жившими одиноко, изолированно; борьба со стихией и непосильный труд на ферме, выпавшие на долю также и последующим поколениям, сформировали национальный характер с присущими ему упорством и сдержанностью, стойкостью и замкнутостью, умением выстоять и неторопливостью.

Однако не только пафосом жизнестойкости привлекают рассказы Ф. Гроува, С. Росса, Э. Баклера. Интересно в них и другое — как в противоборстве с природой раскрывается сущность человека, как, стремясь противостоять застою, равнодушию, привычным представлениям, личность отвоевывает духовную свободу. Психологическая глубина, точно (но отнюдь не бесстрастно) воспроизведенная работа человеческой души отличают прозу основоположников канадской реалистической литературы.

«Открытием» сборника стали, на наш взгляд, рассказы талантливого, рано ушедшего из жизни писателя 20-х годов Реймонда Нистера, в центре которых — человек в момент нравственного выбора, определяющего его судьбу. Хватит ли силы воли у задиристого Лена Бриндера («Дымчато-зеленые овсы») бросить родительский дом, отупляющий труд на ферме, но тем самым, как он прекрасно понимает, предать отца, оставить его один на один с «этой проклятой землей»? Справится ли с собой герой другого рассказа Нистера («Скирда») или, уступив отчаянию, кончит жизнь самоубийством? Что сильнее: обстоятельства или человек, равнодушие или муки совести, душевная апатия или желание вырваться из замкнутого круга — эти размышления писателя согреты подлинным сочувствием к людям, их боли и страданиям.

Любопытную попытку дать представление о канадском характере сделали составители «Канадской новеллы», собравшей под своей обложкой произведения писателей разных поколений. В большинстве своем это уже известные авторы, сведения о которых можно обнаружить во многих канадских изданиях, но, к сожалению, биографические справки сборника слишком расплывчаты и не всегда точны; так, «малая» проза Маргарет Лоренс представлена в книге новеллой «Не спешите, кони ночи...» из сборника «Птица в доме», почему-то причисленного составителями к разряду романов.

Эта новелла М. Лоренс, как и рассказ выдающегося франкоязычного прозаика Ива Терио «Остров-невидимка», открывает нам ещу одну грань канадского характера — «неодолимую потребность мечтать», познавать новое, вырваться из плена обыденности. Трезвому практицизму своего семейного клана юноша Крис («Не спешите, кони ночи...») противопоставляет настойчивую, но совершенно безнадежную в условиях депрессии мечту получить образование; заоблачным фантазиям рыбака Жоэля об острове-невидимке чужды благоразумие и осторожность. Таким людям обычно не суждено выйти победителями в житейской схватке — Крис сходит с ума, Жоэль гибнет в море. Значит, эти попытки бессмысленны? Притчевый смысл произведений Лоренс и Терио, убеждает в обратном. Магическая способность иначе видеть окружающее передается близким наших героев, обогащая их духовный мир, пробуждая надежду.

Приподнятая стилистика повествования свойственна также прозе другого известного писателя Квебека — Жан-Жюля Ришара, творческая манера которого откровенно живописна. Короткими энергичными фразами он словно набрасывает насыщенные цветом пульсирующие полотна: серебристо-белый мир канадской глубинки с ее показным благолепием и скрытыми за ним страстями («Парень думает о милой»); расцвеченный всеми оттенками красного, готовый в любую минуту взорваться преступлением и насилием современный Монреаль («Багровый город» из сборника «Лампа, зажженная в полдень»).

Третья книга обращена к молодому читателю и знакомит с новеллистикой последних двух десятилетий. Нужно сказать, что этот период стал исключительно плодотворным для литературы Канады, делающей трудный шаг к международному признанию. Сборник позволяет ощутить интенсивность художественных поисков, ведущихся в обеих ветвях литературы, стремление сказать самобытное слово. В число авторов этого тщательно продуманного и откомментированного издания вошли, пожалуй, наиболее заметные и интересные современные прозаики: Маргарет Лоренс, Уильям Кинселла, Элис Манро, Рош Каррье, Маргарет Этвуд, Жерар Бессет. Выбор новелл, как правило, позволяет судить о творческом своеобразии каждого из них, хотя вряд ли творчество такого превосходного стилиста и мастера психологической прозы, как Элис Манро, адекватно представлено ее рассказом «Лес».

Современному канадцу уже больше не нужно отвоевывать себе землю, чтобы прокормиться, но это не значит, что проблема его взаимоотношений с природой потеряла остроту. Оригинальную трактовку этой традиционной для канадской литературы темы дает один из популярнейших сегодня писателей Фарли Моуэт. В искусно выстроенной новелле «Вперед, мой брат, вперед!» он показывает, как беспомощен человек, для которого враждебна дикая природа и непонятны местные жители — эскимосы. От верной смерти спасает летчика Чарли Лэвери эскимоска Конала, хотя несколькими днями раньше он не постыдился бросить ее. Смертельно больная женщина не только возвращает Чарли к жизни, помогая ему почувствовать себя «частичкой

живой реки» и таким образом обрести душевную гармонию, но и называет его братом. Так эскимоска с далекого стойбища дает урок мужества и настоящей человечности представителю белой цивилизации.

О том, как трудно и подчас трагично складываются судьбы коренных обитателей страны (индейцев, эскимосов, метисов), о расовых и социальных противоречиях, разъедающих современное канадское общество, откровенно говорят в своих новеллах У. Кинселла, М. Лоренс, И. Терио.

Впрочем, внимание канадских писателей сегодня сосредоточено не только на внутренних проблемах. Тревогой за будущее всего человечества проникнуты завершающая сборник новелла М. Этвуд «Когда это случится» и рассказ Х. Худа «После тех памятных сирен» (сборник, изданный в Ленинграде). Главное — сделать все, чтобы ядерной катастрофы не случилось, чтобы не стать «седьмым, восьмым и девятым из оставшихся в живых... после тех памятных сирен». С этой мыслью писателей Страны кленового листа солидаризируется человечество.

Тундра Юкона и пыльные прерии Манитобы, резервации близ Эдмонтона и закоулки Монреаля, каменистые скалы острова Ньюфаундленд и лесистые чащобы Онтарио... Для читателя, познакомившегося с канадским рассказом, эти понятия перестают быть отвлеченными, наполняются смыслом. Далекая Канада становится ближе и понятнее. Точно и образно сказала об этом канадская поэтесса Дороти Лайвси: «И этот край, как сад, врастает в душу».

О. Федосюк

Издано за рубежом

ФАУСТ В ЭПОХУ НТР

Jiří Křenek. Tomáš a Markéta. Praha, Československý spisovatel, 1984.

Иржи Кршенек. Томаш и Маркета. 1984.

В 1975 году на страницах журнала «Иностранная литература» был опубликован роман сорокалетнего чешского прозаика Иржи Кршенека «Дички» (№ 5, 6). Это — баллада в прозе о крестьянской семье, укрывавшей в годы немецко-фашистской оккупации молодого русского солдата, которому удалось бежать из плена. Родной валашской[1] деревне писатель оставался верен и в других наиболее значительных произведениях 70-х годов. Поэтому для читателей и критиков было известной неожиданностью появление его романа «Томаш и Маркета», главные герои которого — молодой ученый Томаш Визнер и молодая журналистка Маркета Бронцова — не только горожане, но и представители так называемой интеллектуальной элиты. Однако и для Томаша Визнера дом деревенской тетушки, заменившей ему погибших в автомобильной катастрофе родителей,— своего рода крепость, где он укрывается в трудную минуту и находит нравственную опору.

Роман открывается краткой анкетной характеристикой главного героя, составленной шутки ради его коллегами и записанной ЭВМ «Паккард-202». Эта ироническая замена обширной экспозиции классического романа определяет стилистику всего произведения. Всеобъемлющая ирония, возвышающая точку зрения автора над взглядами и поступками персонажей, заставляет нас смириться с чрезмерным обилием научной терминологии.

В упомянутой анкете интеллект Томаша Визнера (то есть механическая способность мозга вне отношения к нравственным ценностям и нравственной мотивировке поступков) определен буквенно-цифровым обозначением 10—148. И хотя неискушенному читателю трудно уразуметь, что это конкретно значит, всем ходом повествования ему дают понять, что перед ним еще непризнанный научно-технический талант. Впрочем, очень скоро читатель понимает, что суть дела не в научно-технической проблематике и даже не в раскрытии романтики научного поиска, а в отношении героя к этическим ценностям.

Как мы помним, Мефистофель является к Фаусту в облике черного пуделя. В романе Кршенека дух-искуситель подкладывает главному герою «электрическую свинью». В порядке договорного сотрудничества Томаш Визнер должен сконструировать ее для ВУГИ — крупного научно-исследовательского института, занимающегося проблемами интенсификации сельскохозяйственного производства. Директор этого института Яромир Бронец и выступает в роли новоявленного Мефистофеля.

Если шеф экспериментального филиала «Криптограмма» доцент Франтишек Скальник, несколько напоминающий рассеянных чудаков-ученых из юмористических романов, олицетворяет собою бескорыстное служение науке, то Бронец, не имеющий даже ученой степени, умело сочетает «железное» руководство с искусством лавирования и устранения конкурентов.

Какой же путь выберет Томаш, как и евангельский апостол Фома, не принимающий ничего на веру? Сначала он представлен читателю человеком земным и проницательным, ироничным и бескомпромиссным. Он чурается легкой славы и протекционизма. Неразрывная связь с деревней, в которой он вырос, обновляет его духовные силы, дает надежный критерий для трезвой нравственной оценки людей и общественных явлений. Именно в деревне и приходит ему в голову решение сложной научно-технической проблемы. Все это привлекает Маркету Бронцову, которой отец, заинтересованный в одаренном молодом специалисте, советует взять у Томаша Визнера интервью. Так происходит знакомство современного Фауста с Маргаритой, по

[1] Валахия — область на границе Моравии и Словакии.

иронии судьбы оказавшейся дочерью Мефистофеля.

История любви Томаша и Маркеты — история преодоления бездуховности и необязательности в интимных отношениях. До встречи с Маркетой Томаш, как и его коллега по ВУГИ Матерна, в поисках партнерши применяет метод «мышь в лабиринте». Точно так же и Маркета, столкнувшаяся ранее с человеком, который любил не ее, а перспективы, открывавшиеся перед будущим зятем Яромира Бронца, ограничивается в своих отношениях с мужчинами не слишком притязательным минимумом. Лишь постепенно Томаш и Маркета сознают глубину своего чувства и, взаимно обогащаясь, сближаются духовно.

Томаш, мучающийся вечными сомнениями, завидует внешней самоуверенности Маркеты, но в действительности именно он, на многих производящий впечатление циника и фаталиста, помогает ей преодолеть внутреннюю опустошенность, скептицизм и пагубное пристрастие к алкоголю. Однако в конце романа они как бы меняются ролями. Целеустремленность Томаша оборачивается равнодушием ко всему, что выходит за рамки его непосредственного «дела», ради успеха которого он не гнушается и не слишком благовидными средствами. А Маркета, благодаря Томашу поверившая в возможность подлинной любви и бескорыстия, тщетно пытается сподвигнуть его на благородную, хотя, может быть, и безуспешную попытку отстоять справедливость.

Томаш Визнер принадлежит к числу тех литературных персонажей, которые побуждают читателей и критиков размышлять и спорить. Мы симпатизируем ему, разделяем многие его суждения (в романе немало афористически заостренных и метких высказываний, касающихся наболевших проблем общественной жизни). Вместе с тем Томаша Визнера трудно назвать положительным героем. Ведь в конце романа он отказывается сделать как раз то, что в свое время сделал для него доцент Скальник, отказывается «протянуть руку помощи» нуждающемуся в ней. Однако нельзя видеть в нем и грубого приспособленца, который под влиянием Бронца и его окружения отрекается от своих жизненных принципов.

Чешские критики, довольно резко разошедшиеся в оценке характера Томаша, в общем, единодушно отмечают диалектичность образов и взаимоотношений героев. В сквозном диалоге Томаша и Маркеты, в их полярном притяжении и отталкивании раскрывается жизненная правда, которая важнее дидактического «положительного примера». Вероятно, не только для главного героя, но и для автора деревня — воистину «защитная зона», заповедник, где еще имеет силу все, что «чего-нибудь стоит». Но права и Маркета, которая говорит Томашу: «Не слишком ли это дешево — искать истину в заснеженных халупках, как будто она должна пребывать именно там?» И уж конечно она права, ставя под сомнение новоявленное кредо Томаша: «В интересах дела все дозволено».

Трагедийно-романтическая линия произведения развертывается на иронико-сатирическом фоне, перед нами нарочито сниженный, приземленный, буднично-прозаический вариант обработки «фаустианской темы». Не только накал страстей и страданий здесь приглушен, но и сатира остается на уровне карикатуры (образ специалистки по «человеческим отношениям» Драбковой, некоего Вагнера в юбке, впрочем, подвизается она не на научном, а на общественном поприще) или безобидного юмора (сцены, рисующие приезд в чешскую деревню двоюродного брата Томаша — «американца» Войтеха Вальтера Адамца и негритянки Мэри Джо). Наиболее колоритна фигура «местного рецидивиста» Бржети, которого борьба за правду, увы, не обходящаяся без рукоприкладства, уже не раз приводила за тюремную решетку.

Концовка романа печальна. Умирает Маркета. Томаш Визнер накануне научной командировки в Японию доверительно разговаривает со своей красивой и молодой тещей, олицетворяющей мир неприкрытого расчета и цинизма. Наметившееся сближение между ними явно не оборвется. Томаш Визнер, которому кажется, что он нашел выход из лабиринта ошибок и ложных надежд, видимо, заблуждается. И все же роман не вызывает у читателя безотрадного ощущения. Мы верим вместе с героем, что придет время, «когда к честности придется привыкать всем». Да и впечатление такое, что автор не навсегда расстался со своим героем.

Очень многое заключено не в фабуле романа, а в подтексте, в символах-метафорах (мышь в лабиринте, ива под окнами комнаты Томаша и Маркеты). И весьма значимым оказывается спор между Визнером и Бронцем о том, уходят ли льды совсем или просто уплывают. Впрочем, может быть, истина глаголет устами жены Бронца Марики: «Льды плывут, но ты уходишь...»?

Несомненная жизненная достоверность героя, неоднозначность оценок, продуманная «глубинная» композиция при кажущейся импровизационной свободе и непосредственности развития действия делают новый роман Кршенека достойным внимания читателя и критики.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

В ЛАБИРИНТАХ «ЖЕНСКОЙ ДУШИ»

Françoise Sagan. De guerre lasse Paris, Gallimard, 1985.

Франсуаза Саган. Уставший от войны. 1985.

Известная и талантливая романистка, драматург Франсуаза Саган ежегодно публикует новые романы, пьесы и новеллы. Не все равноценно из того, что появляется из-под ее пера, но популярность писательницы с годами растет.

Первый роман, названный весьма символично «Здравствуй, грусть», был опубликован ею в 1954 году, когда автору только что исполнилось восемнадцать. Он же открывает сборник произведений писатель-

нига, вышедший в 1975 году на русском языке. Роман мог бы показаться сочинением на тему «о том, как я провела лето» или дневником летних впечатлений девушки, завершившей среднее образование, если бы не тонкость наблюдений, не умение построить интригу и необычайная легкость повествования. История молоденькой Сесиль, изнывающей от скуки и жары, имела громкий резонанс. Лирическую исповедь героини, открывшей для себя, что идиллическая жизнь с отцом во время каникул и первая любовь не начало бесконечной цепочки радостей и наслаждений, в свое время читали и перечитывали в Европе и США, Африке и Австралии. Название романа Ф. Саган позаимствовала из стихотворения Поля Элюара: «Здравствуй, грусть, ты написана на трещинах потолка, я читаю тебя в любимых глазах...» С тех пор печаль прочно поселилась в произведениях писательницы, вновь и вновь рассказывающих о женщине и ее любви

В том же сборнике Ф. Саган, вышедшем на русском языке, опубликованы наиболее интересные из ее романов 60—70-х годов — «Любите ли вы Брамса?», повествование о чувствах сорокалетней женщины, и «Немного солнца в холодной воде»[1], история любви провинциалки и парижанина. Пожалуй, именно эта книга — наибольшая удача писательницы. Героиня романа Натали Сильвенер привлекательна и физически и духовно. Ф. Саган подчеркивает ее родство с героинями любимых русских классических романов, цельность натуры Натали, бескомпромиссность, сложную душевную организацию. Внутренне независимая она независима в любых поступках. Ее неожиданно вспыхнувшая любовь к «уставшему от жизни» парижскому журналисту Жилю Лантье делает, казалось бы, невозможное. Жиль преображается, но слабый и эгоистичный, он не способен оценить возвышенную душу Натали. Напротив, этот высокий духовный потенциал ущемляет его, ущемленность переходит в раздражение, и вот он восстает против женщины, которую еще недавно вроде бы любил. А Натали погибает.

В журнальном варианте на русском языке опубликован еще один роман писательницы «Утраченный профиль» — о любви миллионера к ничем не примечательной, хотя внешне и приятной, женщине. Это история столько же грустная, сколько смешная. Мечтающая об «эмансипации» женщина ровным счетом ничего не знает о жизни. Желающий добиться ее любви миллионер терпит фиаско. Тем не менее «Утраченный профиль», как и прочие книги писательницы, привлекает множеством верных психологических наблюдений.

Читая романы Ф. Саган, делаешь некоторые выводы: писательница осуждает буржуазный брак, мещанские добродетели, замкнутость и запреты супружеского бытия. Однако герои Саган (чаще героини) несчастливы и презрев эти ограничения. Почему? — писательница не дает ответа. Может быть, из-за ощущения дисгармоничности мира? Однако Ф. Саган не ставит, как, например, Симона де Бовуар, проблем социального положения «второго пола». Ее книги про умных, красивых и несчастных женщин, как представляется, практически не выходят за пределы беллетристики — добротной, хорошего литературного вкуса, но все же беллетристики.

Новая книга Саган выносит на суд читателя историю, действие которой разворачивается во время войны. Участник Сопротивления, Жером и его подруга Алиса приезжают весной 1942 года в Дофинэ, где живет Шарль Самбра, владелец небольшого завода. Война мало занимает его, по убеждениям он сторонник Петена, но думает не столько о политике, сколько о развлечениях. С появлением в доме изящной образованной Алисы он начинает беспричинно тосковать, совершать несуразные поступки, неумело ухаживает за гостьей, для которой, правда, знаки его внимания очень приятны. Вопреки желанию Жерома, Алиса отвечает на ухаживания Шарля: ведь он полон к ней почтения и даже нежных чувств, особенно после того, как она рассказала ему о вынужденном разводе с мужем-евреем, покинувшим родину после прихода фашистов.

Жером, организующий подпольную сеть в Дофинэ, просит Шарля сопровождать Алису, решившую помочь Сопротивлению, в Париж под видом ее мужа или любовника, просит, скрепя сердце. Он видит, что его бывший школьный товарищ, веселый и разбитной малый, увлечен его возлюбленной.

В Париже Шарль и Алиса останавливаются в одном номере отеля. Алиса выходит на явку к участнику Сопротивления. Шарль занимается делами своего завода. Свободный вечер Шарль и Алиса проводят в известном ресторане. Обратный путь они совершают пешком, совсем забыв, что идет война и уже объявлен комендантский час. Немецкий патруль арестовывает Алису и Шарля как заговорщиков. В комендатуре при установлении личности выясняется, что Шарль не муж Алисы. Допрос унизителен для нее, и Шарль бросается с кулаками на обидчиков. За это его подвергают глумлению — раздевают в присутствии Алисы — и после этого освобождают.

Наступил момент возвращения в Дофинэ. Влюбленные Алиса и Шарль с чемоданом фальшивых паспортов пересекают демаркационную линию, но впереди самое трудное — объяснение с Жеромом, который тут же почувствовал отчуждение возлюбленной. С горечью он понимает, что ему придется расстаться с нею навсегда.

Шарль и Алиса проводят счастливое лето, но с наступлением осени Алисе становится скучно, и она уезжает из Дофинэ. Быть может, в Париже она снова будет помогать подпольщикам. Шарль опять начинает заниматься делами завода, но когда его рабочие подвергаются репрессиям, он, «уставший от войны», тоже решает вступить в ряды Сопротивления.

Франсуазу Саган, как и в прошлые годы, занимают в основном интимные чувства ее героев. Ей, очевидно важно, как можно достовернее показать переход женщины из одних объятий в другие, все, что касается психофизиологии чувств, и это писательни-

[1] См. «ИЛ», 1972 № 3.

це, как обычно, удается. Сложнее дело обстоит с духовной жизнью героев. Тот факт, что Шарль Самбра аполитичен и неумен, очевиден, но в чем проявляется интеллектуальное превосходство Алисы и Жерома? Герои беседуют почти исключительно о любви и лишь изредка касаются политики. Время действия, как время военное, почти не ощущается даже в эпизоде с комендатурой. Глумление над Шарлем сродни скабрезному анекдоту. Рискованная операция с доставкой паспортов выглядит как легкомысленное любовное приключение. Писательнице перестаешь верить в главном: в оправданности лучших поступков героев состоянием их души. Движение Сопротивления воспринимается лишь как фон для любовного треугольника. И хотя само обращение писательницы к теме войны нельзя не отметить, и хотя это, возможно, и есть попытка вырваться за пределы беллетристики, попытка эта вряд ли удачна, и, пожалуй, права рецензентка из журнала «Экспресс» Доминик Бона, которая пишет: «Неправдоподобный и наивный, роман «Уставший от войны», за пределами Истории и за пределами Любви».

Столь строгая оценка новой книги Саган понятна. Ведь от писательницы, как много лет назад, по-прежнему ждут открытий и новых решений. Ведь когда-то ее творчество бросало вызов размеренному и апатичному миру буржуазной среды. Ведь она пишет о том же, что англичанка Маргарет Дрэббл, американка Дж. Кэрол Оутс, австрийки Барбара Фришмут и Ингеборг Бахман. Но если, скажем, Дж. К. Оутс не приемлет сосредоточенности только на «женской проблематике», и в лучших произведениях ей удается сопрячь мир интимных чувств с достаточно широким кругом социальных проблем, то Франсуаза Саган, которая сделала было попытку преодолеть социальную беспроблемность, так, в сущности, и осталась в лабиринтах «женской души», ограничив свои возможности тщательным анализом психологии чувств в общем-то заурядных героинь. Критика и сегодня не напрасно хвалит строгий и четкий стиль Саган, заставляющий вспомнить о классической французской традиции. Конечно, и анализ сознания женщины, принадлежащей к буржуазной среде, не лишен интереса.

И все же! Не слишком ли узки поставленные самой себе пределы для писательницы, которой пророчат избрание во Французскую Академию? Особенно если учесть, что первой женщиной, членом Академии, стала Маргерит Юрсенар?

О. ТИМАШЕВА

СОРОК ЛЕТ НАЗАД

Ballard J. G. Empire of the Sun. London, Gollancz, 1984.

Джеймс Боллард. Империя солнца. 1984.

Роман Джеймса Болларда «Империя солнца» основан на воспоминаниях автора, известного английского писателя, об увиденном и пережитом в 1942—1945 годах в японском лагере для интернированных европейцев возле Шанхая. Опубликованный в Англии и США, он вызвал множество откликов и стал литературным событием. По словам одного из английских критиков, «Империя солнца» — это «книга, которую ждали сорок лет».

7 декабря 1941 года, в день нападения на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор, японская армия вступает в Шанхай. Свидетелем этого становится одиннадцатилетний Джим — герой автобиографического романа Болларда, и не только свидетелем, но и жертвой: через несколько часов мальчик, оторванный от родителей, начинает упорную борьбу за выживание в грозных обстоятельствах войны и оккупации.

Война, увиденная глазами ребенка,— это трагедия, подсказанная самой жизнью. Разрушения, страдания, смерть, пропущенные через детское сознание, заставляют читателя с особой силой почувствовать, что такое война. Центральная часть одиссеи Джима — лагерь в Лунхуа, где он пробудет почти четыре года. В этом лагере для гражданских лиц нет каторжных работ, но день за днем все больше людей погибает от болезней и голода. Голод, голод, голод — вот лейтмотив лагерной жизни. Украсть картофелину, получить порцию заболевшего или умершего, «подработать» какими-нибудь услугами — такими заботами полна голова «Джима из Шанхая», как его здесь зовут.

В романе ярко изображена хищническая жестокость японской оккупации. В главе «Экзекуция» (многие главы книги символизируют какую-то сторону войны) узников Лунхуа сгоняют на плац и заставляют смотреть, как японские солдаты палками забивают насмерть китайского кули. В другом месте автор описывает парадоксально-трагическую ситуацию: за воротами лагеря собирается толпа голодающих китайцев. С их точки зрения, лагерь — место, где есть какая-то пища, и этого достаточно, чтобы привлечь новые толпы еще более голодных. Эта картина — своего рода символ японской оккупации; с ее «иерархией» голода, насилия и смерти, и в то же время писатель не отождествляет японский империализм и японский народ. Гуманистическая позиция автора подчеркивается отталкивающей фигурой озверевшего в жажде мщения лейтенанта Прайса. Перенесенные страдания не могут оправдать ответную бесчеловечность, настаивает автор.

Примечательно, что лагерь в Лунхуа — своего рода сколок буржуазного мира: индивидуализм и жестокий эгоизм разъедают жизнь лагеря. И все же, пройдя такие «университеты», Джим не ожесточается, не становится беспощадным хищником. История возмужания героя — это история противоборства между стремлением выжить любой ценой и неосознанным еще, но крепнущим нравственным началом. Важно, что перед глазами у Джима — постоянный пример активной, деятельной доброты, доктор Рэнсом. Это доктор Рэнсом год за годом изо дня в день отдает мальчику часть своего скудного пайка, спасает он и многих других. Так возникает в романе образ истинной, без ложного пафоса, самоотверженности и подлинного гуманизма. Утверждение нрав-

ственности и человечности отличает роман Болларда от тех западных книг о войне, где в натуралистических подробностях утрачиваются нравственные критерии, оправдывается всепоглощающий инстинкт самосохранения.

Роман Болларда полемически направлен против всякой романтизации войны, против поверхностного и облегченного ее изображения. С самого начала автор резко противопоставляет то, что герой видит в действительности, тому, что он видит на экране, в английских и американских фильмах. Настоящая война для Джима — это незахороненные трупы китайских солдат, это публичные казни китайских коммунистов в Шанхае, это умершие от голода узники Лунхуа, японские летчики-смертники камикадзе, убитые китайцы, убитые японцы, убитые американские летчики. Такова страшная правда о войне.

Не со всем в романе можно согласиться. Одиннадцатилетний герой Болларда окружен войной в чужой стране и по младости своей все происходящее воспринимает как хаос, в котором «никто не знает, на чьей он стороне». Что стоит за путаницей мыслей героя, его сомнениями? Прежде всего противоречивость авторской точки зрения. Трезвая оценка военной и политической ситуации в Восточной Азии во время войны, стремление установить вину и ответственность за происходящее сталкиваются в романе Болларда с мотивом равенства сторон перед лицом жестокости войны, жертв и страданий, с представлением о войне как неуправляемой стихии.

В то же время порой в наивных и незрелых рассуждениях героя книги преломляется действительная сложность обстановки, ее реальные противоречия. Боллард настойчиво напоминает о том, что японским империалистам в Китае предшествовали европейские и американские колонизаторы. «Джим из Шанхая» успел на себе испытать ненависть китайцев к англичанам и понять, что ненависть эта заслужена.

Ту же проблему, но с других исходных позиций ставил в своем романе «До встречи в раю» (1969)[1] известный английский писатель старшего поколения Джеральд Хенли. В романе Хенли антимилитаристская направленность сочетается с сожалениями о закате Британской империи. Один из героев романа, майор Брюс, английский разведчик в оккупированной японцами Бирме, убежден, что народы Азии еще пожалеют об англичанах. Однако при всем сочувствии своему герою Хенли честно признает, что никто в Азии об английских колонизаторах с благодарностью не вспоминает, что они так же ненавистны, как и японские захватчики. Однако то, что у Хенли горькая неожиданность, у Болларда — закономерность.

Историческая вина и ответственность английского и американского империализма для Болларда особенно важны. «Пикник, который продолжался пятьдесят лет» — так определяет писатель положение европейцев и американцев в довоенном, полуколониальном Китае. А отсюда и двойственная роль Англии и США по отношению к Китаю во время второй мировой войны. Вот эту двойственность герой книги чувствует, но не может понять.

В романе жестко и резко говорится о попустительстве Англии и США японской агрессии в Китае в 1937—1941 годах. С сарказмом описывает Боллард в конце романа с иголочки одетые, обутые и вооруженные американцами гоминдановские войска, ведущие истребительную войну против Народно-освободительной армии. Для него совершенно ясна и несомненна взрывоопасная обстановка в Китае конца 1945 года, когда там снова пытаются хозяйничать европейцы и американцы, но продолжить довоенный «пикник» они уже не могут. Наблюдая, как американские морские пехотинцы грубо оскорбляют китайцев, герой думает, что китайцы этого больше не потерпят.

Через весь роман проходит образ «ужасного города» — Шанхая, с его роскошью и нищетой, чопорными иностранными банками, ночными клубами, фешенебельными отелями и мрачными притонами, элегантными автомобилями и рикшами, белоснежными пароходами и вереницами гробов с похоронных причалов на Янцзы, города, с его неповторимой уличной толпой — проститутками, нищими и гангстерами. В описаниях этого странно притягательного и устрашающего калейдоскопа звучат ностальгические ноты, но автор убежден: таким город уже не будет и не должен быть.

В романе Болларда ясно обозначена опасность американского империализма и угроза ядерной катастрофы. Едва лишь юный герой книги узнает об окончании второй мировой войны, он начинает бояться третьей. Истоки этой опасности — атомные бомбы, сброшенные американской авиацией на Хиросиму и Нагасаки. Боллард дает почувствовать всю бесчеловечность применения ядерного оружия. Фантастические картины, главы, в которых писатель пытается заглянуть в будущее, менее удачны, но важно направление мысли автора — предупреждение об опасности ядерного уничтожения. Именно атомную бомбу («кусочек солнца») автор считает апогеем войны — отсюда название главы о взрыве атомной бомбы, вынесенное в заглавие. Однако заглавие романа Болларда многозначно: «Империя солнца» — это и милитаристская Япония, и война в Восточной Азии, это и атомная война, и символический образ войны вообще.

У Болларда оригинальная манера живописи словом. Достоверные детали и точные описания переплетаются в романе с фантастикой, условностью и символикой. Этот совершенно особый сплав создает очень сильную, впечатляющую и своеобразную книгу. От картин войны и описаний лагеря для интернированных к ядерному взрыву нарастает антивоенный пафос романа Джеймса Болларда.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

[1] Hanley Gerald. See You in Yasukuni. London, Collins, 1969.

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС БИБЛИОФИЛА

Издательство «Болгарский писатель» приступило к созданию новой оригинальной серии «Клуб друзей юмора и сатиры». Ежегодно будет выходить 4—5 книг, среди которых одна непременно поэтическая. Кроме новых работ современных мастеров юмора и сатиры, серия познакомит читателей с сочинениями незаслуженно забытых болгарских юмористов, а также осуществит переиздания наиболее популярных произведений сатириков и юмористов страны. Читатель легко узнает новую серию по особому графическому знаку и единому художественному оформлению, над которым работают известные болгарские карикатуристы — Борис Димовски, Доньо Донев, Генчо Симеонов и другие. Серию откроют «Викинги» Йордана Радичкова, сборник эпиграмм «Смех сквозь слезы», а в недалеком будущем читателей ждут произведения Радоя Ралина, Станислава Стратиева, сборники «Болгарская басня», «Забытые юмористы», «Над чем смеялся болгарин сто лет назад», «Юмористические рассказы на диалектах» и, конечно, габровские анекдоты. По мнению еженедельника «АБВ», эта серия вызовет интерес у самого широкого круга читателей.

На сцене Народного театра молодежи имени Людмилы Живковой в Софии был показан спектакль по пьесе Жана Кокто «Двуглавый орел», имевший большой успех у зрителей. Постановку осуществил молодой режиссер Здравко Митков. В интервью корреспонденту газеты «Работническо дело» он сказал: «...пьесу «Двуглавый орел» Кокто опубликовал сразу после второй мировой войны, в 1946 году. Это — трагедия, воскресившая высокие эстетические устои романтизма в мировой театральной культуре. Но, внимательно всматриваясь в ее образы, открываешь нашу сегодняшнюю боль, наши сомнения и проблемы». Главные роли в пьесе исполняют популярная болгарская актриса театра и кино Ваня Цветкова, знакомая советским кинозрителям по советско-болгарскому фильму «Барьер», и актер Владимир Пенев.

На снимке: сцена из спектакля по пьесе Ж. Кокто «Двуглавый орел».

(Газета «Работническо дело»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«ТЕНИ БЛИЗКИХ»

Джон Уэйн, известный английский прозаик, поэт, критик, представитель «рассерженных молодых людей» — литературного направления 50-х годов — выпустил книгу воспоминаний «Тени близких». Критик Нейл Берри в рецензии на книгу, опубликованной в «Таймс литерари сапплмент», утверждает, что, несмотря на прежнюю репутацию бунтовщика, Уэйн все же «традиционный» писатель, к тому же с годами его «агрессивность» поутихла — об этом и свидетельствуют «Тени близких». Это сравнительно небольшая книга воспоминаний, почти лишенная той резкости, раздражительности и позерства, которые характеризуют автобиографию Уэйна «В оживленном беге» (1962). Редкий читатель не воспримет эту автобиографию как воплощение самовлюбленности. А в «Тенях близких» Уэйн говорит о себе очень мало, как бы между прочим: книга состоит из девяти глав — портретов людей, которые сыграли важную роль в жизни писателя и которых уже нет в живых. Одни главы, отмечает Нейл Берри, написаны в излишне благочестивом тоне; другие — блестящие портретные зарисовки — являются по существу панегирика-

ми,— увы, в конце XX столетия это выглядит несколько старомодно; третьи просто неинтересны читателю. Зато пространная глава-воспоминание об ученом-литературоведе М. Маклюэне, занимающая центральное место в «Тенях близких», сама по себе достаточно хороша, чтобы «оправдать» книгу в целом. Писатель выразительно, с юмором пишет об этом «эксцентричном канадском католике», с которым был знаком долгие годы. Значительная часть книги отведена воспоминаниям Уэйна об американцах: журналисте Харвее Брейте, джазовом музыканте Билле Коулмене, поэте Роберте Лоуэлле, актере Ричарде Бэртоне.

По сравнению с ранними произведениями Уэйна, считает Н. Берри, новая книга сравнительно скромна и сдержанна; правда, и здесь писателя можно упрекнуть в потаканьи собственным слабостям. «Тени близких» напоминают критику то время, когда «неторопливое, занимательное повествование, изобилующее поучениями, импонировало широкому кругу читателей». Но так или иначе, последняя книга Уэйна доказала, что он гораздо ближе к «традиционной» литературе, чем это казалось раньше. И в этом, заключает Н. Берри, писатель не одинок среди своих «рассерженных» современников.

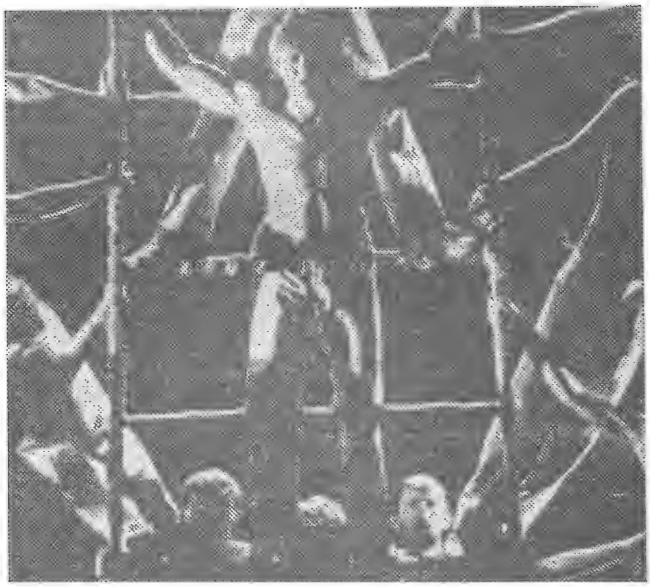
ВЕНГРИЯ

РОК-БАЛЛАДА «КАМЕНЩИК КЕЛЕМЕН»

Двенадцать каменщиков строят крепость. Каждый день возводят они высокую стену, и каждую ночь под воздействием каких-то злых чар стена рушится. Чтобы развеять чары, изгнать злых духов, нужно жертвоприношение — такое в этих краях поверье. И вот каменщики решают замуровать в стену первую женщину, которая приедет навестить кого-нибудь из них. Первой на дороге появляется жена Келемена — ей суждено быть замурованной заживо... И с того дня стена больше не рушилась, стояла крепко — было кому держать ее изнутри.

Таково содержание известной венгерской народной баллады, положенной в основу новеллы и в основу пьесы «Каменщик Келемен» талантливого прозаика, драматурга и публициста Имре Шаркади (1921—1961). Эта пьеса-иносказание о бесчеловечном решении и о малодушии, не позволившем противостоять воле остальных, пьеса, поднимающая один из «вечных» вопросов — можно ли пожертвовать жизнью одного человека ради счастья многих,— не утратила актуальности и сегодня.

Как свидетельствует журнал «Фильм, синхаз, мюзика», вот уже несколько сезонов рок-баллада «Каменщик Келемен» является одним из самых популярных спектаклей Пештского театра. Пьесу Имре Шаркади для музыкальной сцены переработал Чаба Иванка, музыку написал Левенте Сёрени, тексты песен — Янош Броди. Этот музыкальный спектакль завоевал популярность не только в Венгрии, труппа с успехом показывала его и на сценах Вены, Берлина, на Международном театральном фестивале в Нанси (Франция). В настоящее время венгерское телевидение снимает по этому спектаклю фильм.



Сцена из рок-баллады «Каменщик Келемен». В главной роли — Геза Д. Хегедюш.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюзика»)

ГДР

РАССКАЗЫ ГЕРМАНА КАНТА

В издательстве «Рюттен унд Лёнинг» вышел сборник рассказов Германа Канта «Бронзовый век». Пять новелл объединены одним героем — бухгалтером Фарсманом, хорошо знакомым читателям по рассказу «Третий гвоздь» (см. «ИЛ», 1981, № 2).

Книга повествует о жизненных ситуациях, в которых оказался и сам Фарсман, и люди, с которыми он работает и встречается. Это — рассказы о столкновениях Фарсмана с бюрократическими препонами и различными трудностями, о его полуделовой-полутуристической поездке в Польшу, о хлопотах, связанных с восстановлением памятника старины...

«Устами бухгалтера Фарсмана Кант говорит о важных проблемах нравственности, морали, чистой совести человека,— пишет газета «Берлинер цайтунг».— Смешное в этих рассказах соседствует с печальным, а ирония, столь характерная для писателя, временами переходит в сарказм».

«Рисуя картину современной жизни, Герман Кант затрагивает области экономики, культурного наследия, обращается к историческому прошлому»,— отмечает еженедельник «Зоннтаг».

«Главное в книге Канта — а пересказать ее весьма трудно — то, что она заставляет нас задуматься: какие мы сейчас, какими станем в будущем... Новые рассказы писателя,— считает рецензент газеты «Нойес Дойчланд», — внесли заметный вклад в современную прозу ГДР».

ИРЛАНДИЯ

ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ «БЕРЧВУДА»

Имя Джона Бэнвилла стало известно за пределами его родины в 1973 году, когда молодой писатель опубликовал свой роман «Берчвуд» — притчу о страдающей Ирландии (в прошлом году книга вышла в русском переводе). Вот уже пять лет как Бэнвилл пишет продолжение. Английский журнал «Букс энд букмен» публикует интервью Эйлин Бэттерсби с этим «подлинно ирландским писателем».

Бэнвилл, как он сам говорит о себе,— «выходец из мелкобуржуазной среды». Учился в маленьком провинциальном городке, в колледж поступить не смог: «Будь у родителей деньги, я учился бы в Оксфорде или Кембридже, думаю, мне пошло бы это на пользу. Но самое главное — несколько лет я имел бы возможность только читать, только думать». А вместо этого пришлось ехать на заработки в Дублин. Бэнвилл сменил несколько мест, пока, наконец, ему не повезло — его взяли младшим редактором в издательство «Айриш пресс»: «То было время больших ожиданий — я надеялся написать Великий роман, был упрям и полон веры, доводившей меня до дурноты».

Ирландская, английская, американская критика единодушно оценили «Берчвуд» как «Великую книгу». «Это моя ирландская книга»,— говорит Бэнвилл. Писатель, показав крушение рода Годкинов, выразил в «Берчвуде» свое отношение к истории, воскресил самые страшные ее страницы — «великий голод» 1845—1848 гг.

«Совсем недавно, работая над сценарием по «Берчвуду», я осознал, насколько это произведение «политично»,— сказал в интервью Джон Бэнвилл.— У ирландских писателей очень высокий международный авторитет, он зиждется на двух «гигантах», которые своим творчеством противостояли английской традиции... В сущности, ирландской «традиции», как таковой, нет,— считает Бэнвилл,— мы ведь маленькая страна, нам почти не на что опереться. О сути ирландской традиции, наверное, можно сказать так: наша задача создать другую, неанглийскую литературу. Джойс создал глубоко ирландские произведения, Беккет полностью отказался в своем творчестве от национальных черт».

Другие романы Бэнвилла, во всяком случае два из них, тоже написаны на историческую тему. Это — «Кеплер», отмеченный в 1981 году специальной премией газеты «Гардиан», и «Доктор Коперник». «Меня влечет красота математической формулы,— признается писатель.— Ведь сказал же Эйнштейн: из трех способов решения задачи самый правильный — всегда и самый красивый!»

«Часто говорят о поэтичности моей прозы,— сетует Бэнвилл.— Я отношусь к таким определениям с недоверием, в них есть что-то от дозированности, от подсчитанности «украшений» в языке... Конечно, я надеюсь, что обрету силу и точность поэтического языка, особую напряженность, которой ожидаю, в свою очередь, и от читателя: ведь книги, проникнутые поэзией, нельзя читать без внутреннего напряжения...»

Джон Бэнвилл.
(Журнал «Букс энд букмен»)

ИТАЛИЯ

ЧТЕНИЕ ИЛИ ИГРА?

Все большую долю итальянской литературной продукции для детей составляют издания «с сюрпризом». Изобретательность книжных дизайнеров поистине безгранична. Так, издательство «АМЦ» выпускает книги о животных с раскладывающимися страницами — красочными изображениями «героев» в натуральную величину. С ними конкурируют объемные конструкции из бумаги, «вырастающие» на разворотах раскрываемых книг. Книжки серии «Музыкальная шкатулка» (издательство «Фаббри») снабжены фотоэлементами: солнечный свет, падая на страницы, приводит в действие особое устройство, и читатель, перелистывающий книгу, слышит мелодичный звон. Серия «Желтый клюв» издательства «Мурсиа» — «ароматная»: «Алиса в стране чудес» благоухает земляникой, «Питер Пэн» пахнет бананами... Но дальше всех пошло, пожалуй, издательство «Пикколи» — его книжки чисто утилитарны: маленькие читатели, насладившись повествованием, могут использовать их, к примеру... в качестве пояса для юбки или брюк.

Тенденция к «опредмечиванию» детских книг наметилась и в других странах, о чем свидетельствовала прошедшая весной этого года в Болонье 23-я Международная выставка детской книги. Обозреватель газеты «Унита» Ивано Сартори видит в этом результат влияния книг-игр для взрослых, пришедших в Европу из США. Эти издания предоставляют читателю возможность самому определять очередной сюжетный ход путем выбора его из нескольких вариантов. Так, «Мондадори» выпускает детективы, к которым прилагается своего рода досье: протоколы допросов, «вещественные доказательства» и т. д. Но если книги-игры все же в определенном смысле стимулируют читательскую фантазию, то книги-игрушки, вызвав у ребенка удивление и радость, в дальнейшем только препятствуют работе его воображения, навязывая запахами или звуками определенные ассоциации. В результате книги-игры, книги-игрушки, призванные «развлекать» читателя, убивают привычку ко вдумчивому чтению, отмечает И. Сартори.

ЙЕМЕНСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В АРАБСКИХ СТРАНАХ

В последние годы, пишет обозреватель журнала «Аль-аклям» (Багдад), в арабских странах возрос интерес к детской литературе: стало больше детских журналов, детских книг и специальных исследований по детской литературе. Одну из таких работ недавно опубликовал известный йеменский поэт и критик, ректор университета в г. Сана доктор Абд аль-Азиз аль-Мукалих.

Свою книгу, озаглавленную «Исследования о литературе и арабском ребенке», аль-Мукалих начинает с вопроса: «Существует ли сейчас в арабских странах то, что можно назвать детской литературой?» Отвечая на этот вопрос, автор прослеживает особенности, свойственные, по его мнению, детской литературе — как в арабском классическом наследии, так и в творчестве современных поэтов и прозаиков, особенно подробно останавливаясь на поэзии для детей. В книге рассматриваются также отдельные произведения, созданные для детей писателями Сулейманом аль-Исой, Абд аль-Таввабом Юсуфом, Ахмадом Абу Саадом и другими.

МАРОККО

«МАЛЕНЬКИЙ РЫНОК»

Марокканский писатель-новеллист и романист Мухаммед Шукри, известный своим нашумевшим автобиографическим романом «Пустой хлеб» (книга была переведена на несколько европейских языков), опубликовал в Касабланке новый роман под названием «Маленький рынок».

Как отмечает обозреватель иракского журнала «Аль-аклям», по своей тематике, стилю и настроению «Маленький рынок» напоминает прежние произведения писателя: М. Шукри и в этом романе показывает мир дна и задворков, скрытый под «поверхностью жизни» в больших городах, в частности в городе Танжере на севере Марокко, где живет писатель.

«СЫНЫ СВЕТА»

«Роберт Стоун — апостол отчаявшихся. Персонажи его книг — покинутые, изгои, алкоголики, наркоманы, бродяги, — словом, люди, балансирующие на краю бездны. И, как ни парадоксально, блуждая по тропинкам ада, они упрямо взыскуют прочной нравственной опоры, пытаясь обрести спасение в боге или в любви. Это, по мнению критиков, роднит Р. Стоуна с Мелвиллом, Джозефом Конрадом, Фолкнером, Хемингуэем, Грэмом Грином», — пишет литературно-критический еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», отзываясь на выход в свет нового романа Р. Стоуна «Сыны света» в издательстве «Кнопф». Роберт Стоун не стоит на месте, в каждой новой книге он словно бы начинает свой путь с нуля. Так, роман «В зеркалах» (1967; см. русский перевод в «ИЛ», 1973, № 4—6) запечатлел бурную пору «молодежного бунта» 60-х годов. Следующий роман — «Чернорабочие войны» (1974) — представлял собой невероятную одиссею американского журналиста, тайно вывезшего из Вьетнама три килограмма героина. В романе «Флаг на заре» (1981; см. русский перевод в «ИЛ», 1986, № 1—2) писатель анализирует вмешательство США в дела Центральной Америки.

В новом романе Р. Стоун «обживает» Калифорнию, обращаясь к миру «шоу-бизнеса» и киноиндустрии. Голливудский сценарист и актер Гордон Уокер — типичный герой «апостола отчаявшихся». Его покинула жена, с которой он прожил двадцать лет, он давно уже утратил контакт со своими двумя сыновьями, одна за другой сыплются на него профессиональные неудачи. В общем, Гордон Уокер выбит из жизненной колеи. Все, что ему остается теперь, — это предаваться воспоминаниям о своей прежней возлюбленной Лу-Энн Буржуа — талантливой актрисе, которая, как и он, не сумела обрести счастья в жизни. Библейское выражение, вынесенное в заглавие книги, — это грустный и ироничный комментарий писателя к судьбам своих несчастных героев.

Роман Р. Стоуна представляет собой очередную версию темы, весьма популярной в американской прозе, — темы гибели таланта в буржуазном обществе. И еще — это мрачная глава в саге о «безумном, безумном, безумном мире», которую сообща создают американские писатели. «В четырех романах Стоуна, — пишет обозреватель «Нью-Йорк ревью оф букс», — создан неуютный мир, где царит атмосфера трагедии. Позиция Стоуна по отношению к окружающей действительности напоминает нам о гоббсовском принципе «войны всех против всех», и в то же время взгляд писателя на нашу жизнь очень современен. Ибо Стоун чутко улавливает цинизм и безнравственность сегодняшней Америки. Ибо он убежден, что дух нигилизма в сфере морали — это тяжкое наследие эпохи вьетнамской войны и распада традиционных ценностей, начавшегося в 60-е годы, в среде разочарованной молодежи и продолжающегося по сей день, в наши куда более консервативные времена, когда нигилистические настроения в обществе выражаются в бесчинствах уличных банд, росте наркомании, разгуле насилия и безумия».

ФОЛКНЕР: НАЧАЛО ПУТИ

«Истоки искусства Фолкнера» — так называется монография Джудит Сенсибар (книга вышла в издательстве Техасского университета), которая получила самые благожелательные отзывы авторитетных исследователей творчества выдающегося американского прозаика. По словам Дж. Блотнера, биографа писателя, «в этой книге прослежена неразрывная творческая связь между ранней поэзией Фолкнера и его зрелой прозой». Итак, Фолкнер начинал как поэт. В промежутке между 1918 и 1924 годами им было написано около двухсот стихотворений, которые вошли в несколько больших поэтических произведений: пастораль «Мраморный фавн», одноактную символистскую пьесу «Марионетки», а также лирические циклы «Сирень», «Елена», «Весеннее видение» (см. «ИЛ», 1985, № 1).

Как убедительно показывает Дж. Сенсибар, в этих лирических циклах начинающий писатель впервые испробовал композиционный принцип, впоследствии легший в основу построения его романов: циклы предс-

Автопортрет Фолкнера.

ставляют собой серию эпизодов, сцепленных воедино лишь ассоциативными связями, лирическими лейтмотивами. По своей структуре они напоминают симфонические произведения.

Главным действующим лицом — маской «симфонических» циклов Фолкнера является Пьеро, чьи взаимоотношения с возлюбленными (реальной — Коломбиной и воображаемой — Марионеттой) напоминают, как считает Дж. Сенсибар, о сложных перипетиях жизни самого писателя, изобразившего себя «страдающим Пьеро».

Рукописные тексты стихотворений Фолкнера, сохранившиеся в его архиве, органично дополнены рисунками автора, многие из которых воспроизводятся в монографии Дж. Сенсибар. Эти рисунки, выполненные карандашом и тушью, открывают для почитателей таланта Фолкнера новую грань его творческой личности.

Иллюстрации к пьесе Фолкнера «Марионетки». Слева — Пьеро и Мариетта. Справа — Марионетки.

ФРАНЦИЯ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В 1966 году по экранам мира с триумфом прошел фильм «Мужчина и женщина», прославивший имя французского режиссера Клода Лелюша. По его признанию, еще тогда он предлагал исполнителям главных ролей, Анук Эме и Жану-Луи Трентиньяну, вернуться к их героям через двадцать лет. Теперь этот замысел осуществлен. Действие нового фильма — «Мужчина и женщина двадцать лет спустя» — разворачивается там же, в Довиле, где были сняты незабываемые лирические сцены первой ленты К. Лелюша, пишет газета «Монд». Анна Готье, ставшая кинопродюсером, хочет сделать фильм о своей встрече с Жаном-Луи Дюроком, которого продолжает любить. Эту историю она собирается облечь в форму музыкальной комедии, причем главную роль в ней должна сыграть ее дочь. Приехавший на съемки Жан-Луи, консультант крупной итальянской автомобильной фирмы, относится к идее Анны скептически. В самом деле, становится ясно, что комедия обречена на провал, и Анна переключается на съемки детективного фильма. В результате зрители словно смотрят три фильма в одном: комедию, а затем детектив, которые снимают Анна и ее коллеги, и фильм о новой встрече влюбленных, причем кадры, показывающие то, что происходит с героями сегодня, перемежаются фрагментами-воспоминаниями двадцатилетней давности.

Поначалу Ж.-Л. Трентиньян был настроен так же недоверчиво, как и его персонаж. «Я думал, — сказал он во время съемок фильма «Мужчина и женщина двадцать лет спустя» в интервью корреспонденту парижской газеты «Монд», — что спекулировать на былой удаче слишком легко. Но Клод переубедил меня. Тон новой картины совсем иной, в нем нет ничего похожего на то, что обеспечило успех первой. «Фильм в фильме» позволяет совмещать временные планы, ставит трудные задачи, и это меня привлекает... Клод все время делает открытия, и мы вместе с ним тоже открываем что-то новое».

Лелюш работает в своей обычной манере, постоянно импровизируя. Текста сценария для этого фильма, как и для предыдущих, не существует вовсе. Новые повороты сюжета, слова, жесты рождаются прямо на съемочной площадке. Разумеется, и режиссер, и актеры сознательно идут на риск: а что, если новый фильм не выдержит сравнения со старым? И все же они уповают на то, что их нынешняя творческая зрелость способна потягаться с той непосредственностью, которая покорила зрителей «Мужчины и женщины» двадцать лет назад.

КАК ПОГИБ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

31 июля 1944 года пропал без вести при выполнении очередного задания французский военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Обстоятельства его гибели долго оставались неясными, не удавалось точно определить и место падения самолета. Но вот, сообщает газета «Фигаро», наконец появились факты, проливающие свет на события сорокадвухлетней давности: «Обществу друзей Сент-Экзюпери» удалось найти очевидца его гибели... Пятнадцатилетний подросток Робер Пулле видел, как близ местечка Бриньоль (департамент Вар) два немецких самолета атаковали одинокий «П-38», и через минуту французский самолет с загоревшимся мотором круто пошел на снижение в сторону моря. Это был единственный самолет, сбитый гитлеровцами 31 июля в том районе, и речь могла идти только о «Лайтнинге» Сент-Экзюпери, на котором он совершал разведывательный полет. Пулемета на борту не было, и Сент-Экзюпери оказался практически беззащитным перед противником.

Свидетельство Р. Пулле и некоторые другие данные позволяют назвать место падения «Лайтнинга» — это бухта Сан-Рафаэль близ Канна. Очевидно, пишет «Фигаро», теперь власти сочтут возможным организовать поиск самолета, в котором погиб автор «Маленького принца».

Кадр из фильма «Мужчина и женщина двадцать лет спустя».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ФРГ

«ШТАММХАЙМ»

В 1968 году во Франкфурте-на-Майне загорелся универмаг. К поджогу оказались причастными Андреас Баадер и Гудрун Энслин. Два года спустя сторонникам Баадера удалось освободить его из тюрьмы. Среди них была журналистка Ульрика Майнхоф. В тот день, 14 мая 1970 года, возникла «группа Баадера — Майнхоф», назвавшая себя «РАФ» («Роте армее фракцион»). Два года продолжалась подпольная деятельность этой группы: налеты на банки, взрывы бомб, перестрелки с полицией. В 1972 году верхушка РАФ была арестована: Андреас Баадер, Гудрун Энслин, Ульрика Майнхоф, Жан-Карл Распе и Хольгер Майнс. После трехлетнего следствия перед судом, начавшимся в мае 1975 года, предстали четверо из них — пятый, Хольгер Майнс, умер в тюрьме после долгой голодовки.

Процесс продолжался два года. Ульрика Майнхоф не дождалась его окончания — она повесилась. Остальные были осуждены на пожизненное заключение. «Соратники» осужденных пытались обменять их на похищенного президента союза предпринимателей Г. М. Шляйера и на пассажиров угнанного осенью 1977 года самолета «Люфтганзы». Через несколько часов после того, как западногерманское спецподразделение по борьбе с терроризмом освободило авиапассажиров, Баадер, Энслин и Распе были найдены мертвыми в своих тюремных камерах. Заключение прокуратуры — самоубийство.

В конце прошлого года западногерманское издательство «Хофман унд Кампе» выпустило книгу журналиста Стефана Ауста «Комплекс Баадера — Майнхоф», в которой на документальной основе воссоздается история РАФ. Книга вызвала в ФРГ большой интерес и занимает одно из первых мест в списке бест-

На снимке: кадр из фильма «Штаммхайм».
(Журнал «Театер хойте»)

селлеров. Карл-Хайнц Янсен, рецензент еженедельника «Цайт», пишет: «Кто бы ни заинтересовался отныне группой РАФ, ее историей, структурой, ее участниками, должен будет непременно познакомиться с книгой Ауста».

Известный западногерманский режиссер Райнхард Хауф снял по книге Стефана Ауста кинофильм «Штаммхайм» о судебном процессе над Баадером, Майнхоф, Энслин и Распе, который состоялся в здании тюрьмы Штаммхайм.

На последнем международном кинофестивале в Западном Берлине фильм «Штаммхайм» получил главный приз — Золотого медведя.

ШВЕЦИЯ

«ПРОСТОРЫ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

В Гётеборге с большим успехом была показана выставка предметов киргизского быта, носившая название «Просторы Великого шелкового пути» (в древности этот караванный путь, по которому везли шелк из Китая в страны Средней Азии, Ближнего Востока и Европы, проходил через территорию современной Киргизии).

По свидетельству корреспондента одной из крупнейших шведских газет «Дагенс нюхетер», за короткий срок выставку посетило более 11 тысяч человек. В экспозиции были представлены различные традиционные предметы киргизского быта: юрты ковры, седла, национальная одежда, изготовленные народными умельцами ювелирные украшения... Особый интерес вызвало посещение выставки советским писателем Чингизом Айтматовым, чьи произведения широко известны в Швеции (в переводе на шведский язык вышли его книги «Белый пароход», «Прощай, Гульсары», «Джамиля», «Материнское поле», «И дольше века длится день» — роман, который, по мнению шведского корреспондента, заставляет задуматься о необходимости знать и помнить историю своего народа).

В интервью, опубликованном на страницах газеты «Дагенс нюхетер», Чингиз Айтматов рассказал о древней культуре своего народа, вобравшей в себя элементы китайской, персидской, индийской и европейской культур, о роли фольклорных источников в своем творчестве, о тех возможностях, которые открылись перед киргизским народом в советское время.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 25.06.86. Подписано в печать 08.08.86. А 05343. Формат 70×108¹/₁₆
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 27,55.

Тираж 477 000 экз. (1-й завод: 1 — 427 000 экз.) Зак. 2282.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Портрет Крыстю Сарафова в роли Фальстафа (1932)

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В 1987 году редакция предполагает опубликовать следующие произведения:

ДЖУЗЕППЕ Д'АГАТА (Италия)
Америка — о'кей

ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ (Чили)
Любовь и мрак

ВЕРКОР (Франция)
Волчий капкан

ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
Десятый

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ (Болгария)
Чудак

ЛОУРЕНС ПИТЕР (США)
Почему дела не ладятся
(Продолжение «Принципа Питера»)

КЬЯРТАН ФЛЁГСТАД (Норвегия)
У — З

КАРЛОС ФУЭНТЕС (Мексика)
Старый гринго

ТОМ ШАРП (Великобритания)
Дальний умысел

СЮСАКУ ЭНДО (Япония)
Самурай